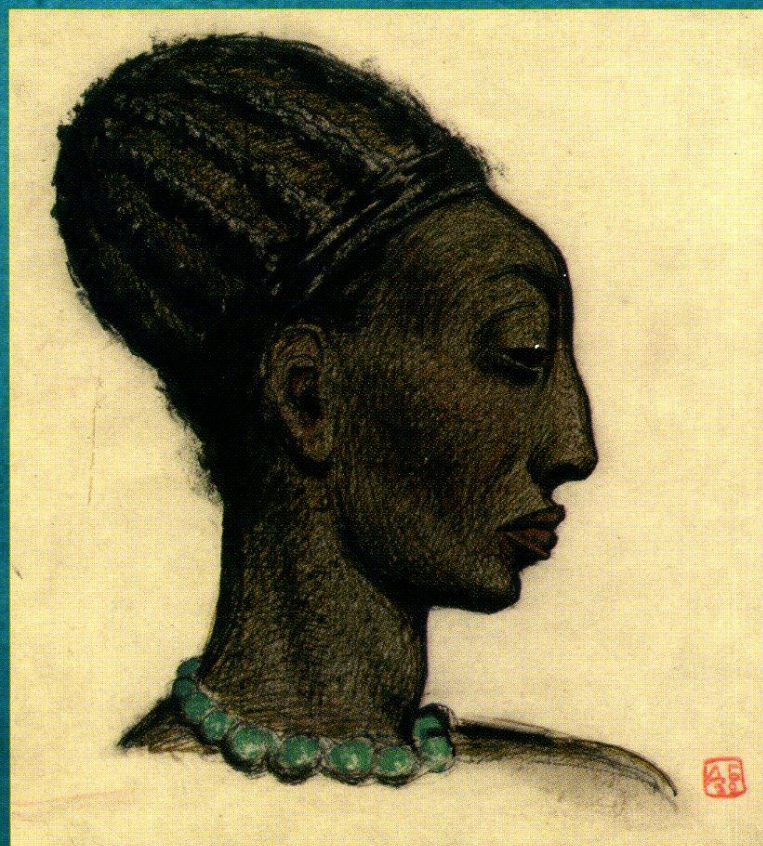


Д.А. Быстролётов
(Толстой)

ПИР БЕССМЕРТНЫХ

*Книги о жестоком, трудном
и великольном времени*



ВОЗМЕЗДИЕ

Том III



*К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Александровича Быстролётова*

Д.А. Быстролётов
(Толстой)

Пир бессмертных

Возмездие

Том III

Москва
Крафт+
2011

УДК 94
ББК 63.3
Б95

*На обложке: Д.А. Быстролётов. Африканская Нефертити
(гуашь). 1932 год*

*В оформлении форзацев использованы:
1-й форзац: фотографии В.П. Абламского,
2-й форзац: фотографии из архива Т.Н. Барышниковой*

Быстролётов, Дмитрий Александрович
Б95 **Пир бессмертных:** Книги о жестоком, трудном и великольном времени. **Возмездие.** Том III / Д.А. Быстролётов. – М.: Крафт+, 2011. – 400 с. – ISBN 978-5-93675-176-9. – ISBN 978-5-93675-181-3 (том III).

Д.А. Быстролётов (граф Толстой) – моряк и путешественник, доктор права и медицины, художник и литератор, сотрудник ИНО ОГПУ – ГУГБ НКВД СССР, разведчик-нелегал-вербовщик, мастер перевоплощения.

В 1938 г. арестован, отбыл в заключении 16 лет, освобожден по болезни в 1954 г., в 1956 г. реабилитирован. Имя Быстролётова открыто внешней разведкой СССР в 1996 г.

«Пир бессмертных» относится к разделу мемуарной литературы. Это первое и полное издание книг «о трудном, жестоком и великольном времени».

Рассказывать об авторе, или за автора, или о его произведении не имеет смысла. Автор сам расскажет о себе, о пережитом и о своем произведении. Авторский текст дан без изменений, редакторских правок и комментариев.

ISBN 978-5-93675-176-9
ISBN 978-5-93675-181-3 (том III)



9 785936 751813

© С.С. Милашов, 2011
© Издательство «Крафт+»,
подготовка к изданию и
оформление, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Молодость в клетке

Книга седьмая

Предисловие	9
Глава 1. Люонга и Аленка	11
Люонга.....	11
Аленка.....	17
Глава 2. Люонга и Морковка	26
Люонга	26
Морковка.....	35
Глава 3. Люонга и Борька	47
Люонга	47
Борька.....	52

Испытание одиночеством

Книга восьмая

Глава 1. Голубой Отель	67
Глава 2. В ожидании конца	75
Глава 3. Голодовки	79
Глава 4. Новая цель	85
Глава 5. Путешествие в Африку	92
Глава 6. Возвращение	101
Глава 7. Снова среди людей	106

Записки из Живого дома

Книга девятая

Предисловие	112
Глава 1. Как я узнал, что Мертвых домов в нашей стране нет	128
Глава 2. На трассе	155
Глава 3. Я разворачиваюсь в полную силу	202
Глава 4. На диком берегу Иртыша	226
Послесловие	287

Человечность

Книга десятая

Глава 1. Необходимый урок	291
Глава 2. Лечение трудом	305
Глава 3. Что такое выбрасывание флага?	307
Глава 4. Беспокойная душа	312
Глава 5. Идеальный законник	323
Глава 6. Помощник смерти за работой	333
Глава 7. Предательский камень	335
Глава 8. Балда	340
Глава 9. Королева в натуральном виде	342
Глава 10. Что такое любовь?	344
Глава 11. Можно ли в заключении быть счастливой?	349
Глава 12. Не примитивная, а человеческая	352
Глава 13. Освобождение? Гм... ..	354
Глава 14. Вот оно, это слово!	356
Глава 15. Академия его имени	365
Глава 16. Главнеющий инструмент	368
Глава 17. Беседы с трупом	376
Глава 18. Низшая точка	387
Глава 19. Разгром всех долиньских	390
Глава 20. Долгожданное торжество.....	396

Всё живое на земле боится смерти, и только один человек в состоянии сознательно победить этот страх. Перешагнув через страх смерти, идейный человек становится бессмертным, в этом его высшая и вечная награда.

Смертных на земле – миллиарды, они уходят без следа, для них опасности и тяготы жизни – проклятье, для нас – радость, гордость и торжество!

Борьба – это пир бессмертных.

*Дмитрий Быстролётов
(Толстой)*

МОЛОДОСТЬ В КЛЕТКЕ

Книга седьмая

Дети – цветы жизни!

М. Горький

Предисловие

Желание написать рассказ о судьбах африканской и наших советских девочек возникло у меня по прибытии в Сиблаг, исправительно-трудовой лагерь, имевший целевое назначение – укреплять здоровье ослабевших и создавать благоприятные условия для малолетних, попадающих в заключение на короткие сроки за незначительные преступления. Такой рассказ был нужен для сравнения. Я полагал, что он даст пищу для полезных размышлений и выводов, и начал медленно отбирать материал сразу же после прибытия на Мариинский штабной лагпункт. Но детей за колючей проволокой там оказалось немного, и, главное, они недолго оставались в моём поле зрения – быстро уходили с этапами и их дальнейшие судьбы оставались мне неизвестными. Зато после перевода на первый лагпункт в Суслово это желание стало таким острым, таким непреодолимым, что через год я уже набросал первую часть – африканскую, оставив вторую, сибирскую, напотом – теперь вокруг меня жили сотни детей и подростков и их коротенькие судьбы как будто лежали у меня на ладони. Предстояло не спеша отобрать материал для советской части этой повести, чтобы не отклониться ни в сторону приукрашения лагерной действительности, ни в сторону вольного или невольного сгущения тёмных красок. Но беспокойная жизнь заключённого не дала возможности довести задуманное до конца – пока я писал о более важном, прошло несколько лет, и меня взяли в этап. Больше встречаться с лагерной молодежью мне не пришлось.

Сидя за рабочим столом во Всесоюзном научно-исследовательском институте медицинской информации много лет спустя, я вспомнил своё старое намерение, тем более что рукопись сохранилась. Поэтому из длинной вереницы воспоминаний, проходящих передо мною, я выбрал и урывками записал судьбы трёх девочек: девочкам в заключении жить труднее, чем мальчикам, они более ранимы и хрупки, а для девушек переходного возраста лагерная жизнь просто смертоносна – заключение, не успев уничтожить физически, прежде всего уродует их души. Однако кое-кто выживал и выходил из лагеря здоровым во всех отношениях. Я это тоже не забыл показать. Мои примеры хороши тем, что исходы трёх историй разные, а и то, что в них общее, читатель без труда увидит сам.

«Позвольте, – скажут некоторые, – что общего между Африкой и Сибирью, и не хотите ли вы поставить знак равенства между колониализмом и Советской властью?»

Ответ прост: в основу повествования положена тема подавления человеческой свободы и протест против угнетения человека человеком. Эти идеи внутренне объединяют четыре рассказа. Но я не настолько глуп, чтобы поставить знак равенства между Советским Союзом и Конго. Более того, я не приравниваю положение негров в Конго тридцать пятого года к положению советских заключённых в эпоху вопиющих нарушений законности при Сталине. Причины и условия возникновения внешне схожих явлений слишком различны. Я просто хочу показать, что насилие – прочный метод управления и что всегда и везде дети страдают от него больше и прежде других.

Поэтому-то пестрота этих сюжетов только кажущаяся: круг затронутых вопросов – моральных, социальных и политических – настолько велик, что в него свободно вмещаются и пальмы, и берёзки.

Люонга и Аленка

Люонга

По профессии я – помимо прочего – ещё и художник, неоднократно бывал за границей и недурно говорю по-французски, а поэтому совершенно естественно, что именно ко мне правление Московского отделения Союза Советских Художников осенью тридцать седьмого года обратилось с просьбой показать Москву и советскую жизнь известному западному живописцу, проверенному другу нашей страны, приехавшему сюда по особому приглашению. На третий день довольно утомительных прогулок по городу к вечеру я доставил нашего друга в гостиницу и уже хотел откланяться, как вдруг он усадил меня в кресло, сел напротив, закурил сигару и сказал:

– Вы помните, с какой гордостью вчера школьники показывали альбом, посвящённый борьбе колониальных народов за свободу? В нём были собраны тщательно вырезанные из газет и журналов фотографии: из каждой глядела отвратительная морда высокого и сильного двуногого зверя с винтовкой в руке, а позади валялись убитые туземцы и пылали их хижины. Создаётся впечатление, что каждый угнетатель обязательно силен и высок, а угнетение имеет только одну форму – физическую. Это – опаснейшая ошибка, так думать – значит ничего не понимать. Сегодня на заводе в разговоре с рабочими я обнаружил такое же упрощённое представление – они тоже ненавидят империалистов, но мало думали о колониализме как о системе не только физического, простого и грубого, но и нравственного, очень тонкого и потому наиболее отвратительного угнетения человека человеком.

Гость задумался и некоторое время курил молча. Потом вздохнул и заговорил снова:

– Три года назад мне самому довелось побывать во Французском Конго: я выпорхнул туда из Парижа в поисках ярких и свежих сюжетов. И совершил там, мой друг, большую подлость... Да, да, не удивляйтесь, именно подлость! Вы не спешите домой? Нет? И прекрасно: сейчас я расскажу вам историю моего преступления, а вы делайте себе заметки, чтобы потом не перепутать трудные имена и необычные бытовые подробности. Когда я уеду, обработайте эту запись и

дайте в печать, конечно, не называя моей фамилии: она не нужна потому, что эта история типична. Я здесь не причём. Пусть советские люди посмотрят на колониализм с другой стороны и поймут отвратительную способность этой системы создавать в подвластной стране условия, которые могут превратить тихого, честного и порядочного человека в негодяя, разрушителя и убийцу. Надо ненавидеть систему, мой друг. Это – главное. Ну, вы приготовили блокнот и перо? Тогда я начинаю!

Я проснулся потому, что большая ящерица, бегавшая по потолку, упала мне на голую грудь. В хижине было совершенно темно и очень душно. С площади доносилось негромкое постукивание опала по обожжённой земле, стража бодрствовала, всё было в порядке.

Я хотел повернуться и заснуть снова, потому что голова болела от жары и тяжёлых путаных снов, как вдруг, снова погружаясь в дремоту, услышал слабый скрип, едва уловимый в безмолвии ночи. Кто-то лёгкими шагами осторожно поднимался по лесенке, ведущей на веранду.

Я сел на постели. Сердце тяжело билось. В голове ещё теснились видения сна. Сплю я или нет? Я напряг слух. Легкий скрип повторился и замер: неизвестный крался, останавливаясь через каждые 2–3 шага и прислушиваясь...

В другое время я встал бы и вышел взглянуть, в чём дело. Но сейчас, в полусне, вдруг испугался:

«Пробираются ко мне... Дикари... Убить...»

Я торопливо выхватил из-под подушки браунинг, удобнее сел на постели, разложенной прямо на полу посреди комнаты, и ощупью нашёл большой электрический фонарь. Быстро поставил его слева от себя на расстоянии вытянутой руки.

«Готово! Как только дверь откроется – включу свет, ослеплю входящих и открою огонь. Если они и успеют бросить копьё на свет, то в меня не попадут...»

И в то же мгновение я услышал скрип половиц уже на веранде. Вот... Ближе... Кто-то, подойдя к моей двери, остановился...

Я поднял пистолет. Дверь скрипнула и начала открываться. Засинело небо, замерцали звёзды.

Дальнейшее произошло в течение одной секунды. Включаю свет. Он слепит, я закрываю глаза... Открываю... И...

В дверях стоит девочка лет двенадцати и рукой прикрывает глаза от света. Её тонкая коричневая фигурка кажется золотой в лучах фонаря.

Минуту мы смотрим друг на друга молча. Сон прошёл, оружие в руке вызывает теперь досаду – чуть не подстрелил девчонку... Прячу браунинг под подушку, направляю снайперский луч в потолок. Закуриваю...

С курчавой головки девочки падают на плечи три белых пера. На груди, подвешенная на невидимом волоске, сидит огромная чудесно-синяя бабочка и медленно раскрывает и закрывает крылья.

– Что тебе нужно?

Певуче произносятся непонятные слова, она робко отвечает, плавно жестикулируя ручкой.

И вдруг сразу всё становится ясным: она – моя!

Ассаи, вождь, расквитался за подаренный мною нож.

Когда я опять укладываюсь и пускаю кольца дыма в потолок, по которому бегают ящерицы, вся эта история вспоминается снова.

Сначала капитан проводит по лицу рукой, стряхивает пот на горячий глиняный пол. Потом морщится и с выражением страдания берёт со стола маленького сушёного крокодила и острой зубастой головкой тычет в середину висящей на стене карты, туда, где темнеет жирное, засаленное пятно.

– Вот здесь. В самом центре. Какого чёрта вам ещё надо? Хотите видеть Африку? Будь она проклята... Смотрите, вот она.

Измождённой, мокрой от пота рукой, он показывает на окно. Я поворачиваю голову и смотрю.

Большой прямоугольный двор, обнесённый глиняной стеной. Справа и слева навесы, подпираемые кривыми жердями. Справа спят солдаты вповалку на раскалённой земле. Тучи мух колыхнутся над ними. В тяжёлом сне спящие мычат и стонут, потому что даже отдых здесь превращён в страдание. Слева спят арестованные. Они связаны верёвками и лежат, сбившись в кучу, как скот, ожидающий убоя. Спины в крови и покрыты слоем зелёных мух. Над ними с винтовкой в одной руке и палкой в другой стоит часовой. Ошалелый от зноя, он дремлет, покачивается, в момент падения открывает воспалённые глаза, испуганно оглядывается на наше окно и ударяет палкой кого-либо из арестованных. Показав

этим, что он выполняет долг, часовой мгновенно засыпает и начинает снова покачиваться.

За оградой видна бурая степь, группа колючих деревьев почти без листвы. Лиловая линия гор в дали.

Пылающее небо. Беспощадный зной. Полное безветрие. Двор похож на внутренность жарко натопленной печи. Мёртвая природа, обречённые люди. Всё оцепенело. В немом страдании и гнетущей тишине слышно только животное мычание спящих людей и гулкие удары палки по человеческому телу.

– Ну, как вам это нравится? – кривится капитан.

Я молчу. Лицо, спину и грудь щекочут капли пота. Вот я поднимаю сигарету ко рту, а на локте сейчас же повисает капля, наклоняю голову – и вижу, как на носу растёт другая, отрывается и падает на горячий пол...

– Нет, капитан. Есть Африка и Африка. Я вижу этот двор. Но неужели он – символ Африки в целом? Не верю. Вы спрашиваете, что мне нужно. Отвечу: Африку без вас.

Он слушает, тяжело дыша. Видимо, ему хотелось бы мне сказать что-то длинное и злое, но слишком жарко, чтобы много говорить. И капитан только машет рукой:

– Вы её получите.

Вечером покидаю форт. Пять носильщиков, чёрный капрал и я отправляемся в горы – туда, где в зелёном лесу ещё сохранились весёлые люди и где можно увидеть Африку такой, какой она когда-то была и здесь.

Пять часов быстрого марша, и звёздная ночь делается прохладной. Начинается редкий лес, по сторонам дороги темнеют холмы. Мы поднимаемся в гору по узкой, но хорошей дороге. В три часа ночи капрал командует остановиться на привал. Где-то в темноте приятно журчит ручей, люди купаются, едят, и вот впервые за последние недели я слышу оживлённый разговор и смех. Но капрал уже бросает в темноту хриплое «Pa!», и наш маленький отряд выстраивается снова. Молодой носильщик затягивает ритмичный бодрый мотив, а остальные в такт шагам отчеканивают хором «Pa! Pa! Pa!», и мы быстро продвигаемся вперёд. Перед рассветом сворачиваем на тропинку и зигзагами поднимаемся вверх. Влажное дыхание леса и гор бодрит, и мы, не сбавляя темпа, взбираемся выше и выше.

Наконец подъём окончен. Перед нами широкое плоскогорье, покрытое тёмными пятнами леса, и, когда восходит

солнце, открывается живописная картина – зелёные поля, группы высоких деревьев, река и горные вершины в утренней мгле. Косые лучи золотят острые крыши круглых хижин, разбросанных на опушке, – это деревня, где мы останавливаемся по указанию капитана.

Я просыпаюсь поздно. Сложив на груди сильные руки, капрал стоит над моим ложем, как сторожевой пес.

Я остановился в case commune. Это большая и опрятная хижина, которую в центре каждой деревни жители строят по указанию администрации для белых путешественников. Она поднята на сваи и окружена верандой.

Я лежу на надувном матрасе на полу посреди большой пустой комнаты. В одном углу сложены ружья, в другом – мольберт, ящики с красками, фотоаппарат. Рядом с постелью стоит на полу открытый несессер с предметами туалета.

Всё уже готово, и капрал вопросительно ловит мой взгляд. Кивок головы – и процедура одевания начинается. В Европе это необходимое, но скучное занятие: обычно ему стараются уделить как можно меньше времени. Здесь – величавая церемония, полная глубокого внутреннего смысла, как облачение патриарха: наружность здесь выделяет европейца, она должна удивить, поразить сознание тысяч сильных и ловких африканцев, вынужденных подчиняться одному беспомощному «белому». Церемония эта совершается медленно, по строго установленному ритуалу. Завтрак. И вот я готов – голову украшает высокий шлем, военного покроя костюм разглажен, сапоги сияют, на груди – бинокль и фотоаппарат.

Я прохожу вперёд, за мной – капрал, слуги важно следуют сзади.

Задняя декорация – изумрудная стена леса, откуда доносятся весёлые крики обезьян и пение птиц. По сторонам висят плетёные из прутьев круглые хижины. Авансценой служит площадь, чисто выметенная и празднично освещённая солнцем. На ней толпа жителей ожидает появления гостя и теснится вокруг охотников, которые выстроились в ряд и разложили перед собой дичь, фрукты, овощи и рыбу – роскошную добычу самых ярких и пышных красок, самых диковинных и неожиданных форм.

Мы появляемся – и всё стихает. Навстречу выходит вождь. Это – Ассаи, капитан очень рекомендовал его как надёжного во всех отношениях человека. «Наши вожди – отъявлен-

ные мерзавцы, если они – бывшие солдаты или несчастные люди, если они принудительно назначены из местного населения. Ассаи – и то, и другое: сентиментальный мерзавец нашей школы», – зло говорит капитан. Теперь я с восторгом рассматриваю вождя уже как модель. Какая походка! Какая фигура для зарисовок и фотографий! Высокого роста, сухой и тонкий, с властной осанкой и сдержанными жестами. На нём белый халат, поверх которого синий плащ, драпированный, как римская тога. Ноги босые. В руках красивый посох. Но голова, голова! Взгляд больших чёрных глаз хитро и смело устремлён вперёд, узкое горбоносое лицо порочно и тонко. Белые виски и стальная проседь курчавых волос вместе с сильным запахом алкоголя придают облику вождя характер, который я сразу определил одним словом – жертва. Если бы не европейские хозяева, этот человек, как и тысячи других африканцев, мог бы быть другим...

Гортанным низким голосом Ассаи произносит короткую приветственную речь. Капрал, стоя сзади меня, отрывисто лает перевод. Потом начинаются осмотр дичи и отбор лучшего мяса. Охотники работают ножами, капрал командует, а я наблюдаю. Но это только вынужденная поза. Мне ничего не нужно, я заказал всю эту сцену капралу только для того, чтобы исподтишка понаблюдать за жителями и поскорее найти мотивы и персонажи для композиции на африканские темы. И вот теперь мысленно отмечаю себе детали костюмов, характерные движения, игру света на обнажённых телах. Но как быть дальше? Ведь понадобятся натурщики, а местные жители боятся позировать. Чем бы привлечь их?

«Начну с вождя. Если сговорюсь с ним, то потом постепенно привыкнут и другие», – размышляю я, глядя, как охотники самодельными ножами режут мясо. Внезапно приходит в голову удачная мысль. Я отстёгиваю от пояса свой нож и через капрала передаю вождю.

– Дарю ему с условием, чтобы мясо для меня резалось этим ножом, пока я здесь!

Ассаи берёт в руки подарок – блестящий кинжал нержавеющей стали с пёстрой рукояткой в красивых ярких ножнах. Он долго смотрит на него молча, в оцепенении восторга. Потом прижимает руку к сердцу и кланяется. Кругом шёпот оживления, зависти, восхищения.

Вечер. Наступает час второго священнодействия: белый господин изволит отдыхать и курить.

На небольшой площадке у самого обрыва над рекой я сижу с биноклем, альбомом и карандашом. Сзади, в почти-тельном отдалении, сидит на корточках толпа любопытных.

Солнце заходит позади нас, и перед собой в бинокль я вижу розовую равнину, по которой бродят золотые звери. Вот зебры... Стадо антилоп... Семья жирафов...

Вдруг сзади движение; говор. Оборачиваюсь.

Подходит Ассаи, одетый наряднее, чем днём, и более торжественный. Я замечаю, что он ведёт за руку хорошенькую девочку лет двенадцати, похожую на терракотовую статуэтку. Поклонившись, он важно и не спеша произносит несколько фраз и указывает на ребёнка. Но капрала нет, я ничего не понимаю.

– Большая? – читаю я слово из карманного словарика.

Но вождь отрицательно качает головой и настойчиво повторяет слово Люонга. Некоторое время мы оба говорили на своих языках и не понимаем друг друга.

– Вот придёт капрал, тогда разберёмся, в чём дело, – и жестом даю понять, что разговор окончен.

«Делая эскизы, нужно подчеркнуть холодные рефлексы голубого цвета сверху, от неба, и тёплые снизу, от земли, на всех этих шоколадных и чёрных телах. По существу, туземцы не чёрные и не коричневые, а голубые и золотые, и это будет выглядеть очень эффектно!» – думаю я, снова разглядываю степь в бинокль. И сейчас же забываю о посещении Ассаи.

Люонга...

Вместе с бельём и оружием, сигарами и красками она отныне входит в число моих вещей.

Моя живая игрушка.

Аленка

Ранней весной сорок второго года на первом лагпункте Мариинского отделения Сиблага я вечером отнёс нарядчику список освобождённых от работы на следующий день и кое-как, скользя и балансируя руками, пробирался к себе в больничный барак, где жил в небольшой кабинке.

Уже несколько недель с небольшими перерывами лил холодный дождь, и оттаявшая почва совершенно размокла и превратилась в липкую грязь. А тут ещё недавно лагпункт посетила очередная комиссия не то из нашей лагерной столицы Новосибирска, не то из другой, более далёкой столи-

цы – Москвы. Посетила и, как водится, проявила важную инициативу: внутренний забор, до этого разделявший лагерь на рабочую и больничную зоны поперечной линией, было приказано перенести так, чтобы он пересёк её по длине, вдоль, а морг чуть передвинуть вправо и баню – влево. Словом, весь лагерь был изрыт, а горы выкопанной земли расплзлись под дождём и заполнили густой жижой ямы, расположенные рядами то тут, то там. В непроглядной тьме я шёл, пошатываясь от голода, растопырив руки и щупая носком ботинка почву впереди для каждого нового шага: нырнуть в яму с холодной грязью не хотелось, потому что не хватало ни мыла, ни горячей воды. Я пробирался вперёд, определяя направление по освещённым окнам бараков, и злился, потому что идти оставалось ещё далеко. Вдруг дверь одного из женских бараков распахнулась. Вышла дневальная – отжать грязную воду со швабры. Узнав меня в снопе тусклого света, она крикнула:

– Доктор, зайдите сюда! Здесь кто-то умер и валяется на полу!

Я вошёл в помещение. В луже грязи лицом вниз неподвижно лежал маленький, щупленький мужичонка в рваной телогрейке и штанах, без шапки. Стриженная голова и руки были так густо намазаны грязью, что лежавший казался негром.

– Как он попал к вам?

– Нарядчик с самоохранником принесли. Открыли дверь, швырнули на пол и убрались, гады. Сказали, что, мол, это – штрафник из Искитима.

Лежащий был так худ, что выглядел скелетом, одетым в тряпье и тщательно выкупанным в грязи. Я нагнулся. Пульс не прощупывался. В карманах ничего не оказалось. Повернул мёртвую голову на свет. Сквозь слой грязи нельзя было разобрать ни возраста, ни даже черт лица – просто чёрная бесформенная лепёшка и всё.

– Ладно, давайте его в морг.

– Чего это «давайте», доктор? Мы таскать мёртвых мужиков не обязаны! Это не наше дело! – отрезала староста. – Дневальная, иди принеси ведро воды на ночь, не топчись здесь. Это не наше дело, говорю!

«Она права, – размышлял я. – Но если я пойду за санитарами в барак, а потом с ними вместе сюда и в морг, выйдет двойная работа».

Нагнулся, просунул руку под тело и взвалил его себе через плечо. Оно перекинулось вперёд и назад, как неплотное набитый соломой мокрый матрасик, и показалось очень лёгким.

Из приличия староста всплеснула руками:

– Да что же это вы, доктор... На себе...

Но я молча толкнул дверь ногой и снова вышел в дождь и темень. Идти одному было трудно, а нести на плече мертвеца – ещё труднее. Проклиная комиссию, дождь и искитимский этап, я медленно шёл в ровной завесе дождя. Огоньки в окнах бараков постепенно исчезли, мы остались одни в неприглядном мраке – мертвец и я. Морг я кое-как открыл, потопал ногами, чтобы разбежались крысы, ногой нащупал груду тел и бросил на неё с плеч свою ношу. Она мягко шлепнулась, а я разогнул спину и взялся рукой за стену – голова кружилась, колени дрожали. Но когда я повернулся, чтобы уйти, в темноте послышался тихий стон. Обругав ожившего на двадцати известных мне языках, я опять взвалил его себе на спину и поплёлся в другой конец зоны, к себе в барак.

Это новое путешествие оказалось настоящим бедствием. Мы несколько раз падали в ямы, я карабкался вон, с величайшим трудом взваливал себе на плечо тело и, скользя и балансируя, шёл дальше, определяя направление по огонькам света. Опять падал, иногда в особо трудных местах за руки тащил тело волоком и, наконец, дотащил до мужского отделения барака.

– Получай штрафника из Искитима. Васька пойдёшь в баню, попроси ведро тёплой воды, ополосни и вытри. Уложи у печки. Накрой тряпьем. Потом стукни – я посмотрю его.

Васька появился снова ровно через минуту.

– Доктор, это девка!

Я взял шприц, эфир, вату и ампулки с кофеином и камфорой и пошёл взглянуть. На грязном полу действительно лежало тело девушки-подростка, чёрное и блестящее, как у негритянки.

– Похожа на вашу Люонгу, доктор? Помните, вы рассказывали про африканскую девочку? – спросил староста, бывший комдив. – Не хватает только синей бабочки на груди!

«Неужели всё это было? – думал я. – Люонга...»

Сделал укол и поплёлся в женскую секцию за санитарками.

– Завтра узнайте у нарядчика её данные и на какую бригаду выписано питание. Потом зачислите к себе.

– Как условно записать её на случай ночной проверки? «Неизвестная?»

– Зачем? Напишите: «Люонга», – с горькой усмешкой ответил я и пошёл спать.

Звали её Алёнкой. Ей шёл пятнадцатый год. Она оказалась сиротой. Отца, старого сибирского партизана, коммуниста и председателя далёкого северного колхоза, забрали в тридцать седьмом. Мать годом назад умерла. В колхозе приютили девочку и дали работу на маслобойне, помогать уборщице. Годика через два полевая бригада шла на работу, и одна из женщин крикнула: «Алёнка, дай масла на хлеб!» Девочка дала кусочек. Кто-то донес, и ей, как дочери врага народа, всунули десять лет за расхищение социалистической собственности. В лагере она попала в компанию настоящих воровок, укравших бельё с лагерного склада и кожаное пальто начальника лагпункта. В Искитиме на известковых карьерах проработала год. Заболела и как инвалид была доставлена в Суслово. Обыкновенная история и обыкновенная малолетка – стриженная, грязная, полуголая, вечно голодная. Физически недоразвитая. Матерщинница с синими татуировками, похожими на клейма, которые ставит санитарный врач на некачественном мясе – на тощих куриных тушках, например. Сначала, пока она казалась мне тяжелобольной, я осматривал этого синего и шершавого цыпленка третьей категории при каждом обходе, а потом опасность миновала, и по указанию начальника МСЧ она была оставлена в бараке для отдыха и откорма. Я сделал соответствующую отметку на её карточке и забыл о ней: таких у меня было много.

Я спал в медицинском кабинете, то есть комнате, где днём вместе с фельдшером и санитаром вёл приём больных, раздавал лекарства, делал перевязки и выполнял лечебные процедуры. Но для больных моя кабинка имела ещё одно значение, может быть, более важное. Она была единственным в лагере надёжным складом съестных продуктов, полученных из дома. Все бревенчатые стены были истыканы гвоздями, на которых висели посылки. Я сам у всех на глазах питался с общего котла. Семья моя погибла, и посылок я не получал, но, тем не менее, к доверенной мне пище не прикасался, то есть не воровал её у больных и не вымогал у них доли «за хранение» или в обмен на лишний месяц пребывания в бараке. Я едва держался на ногах от голода, все это

видели, и этим я добыл себе общее и безусловное доверие и уважение. Но пряные запахи десятков мешков и мешочков с едой раздражали не только меня – они привлекали в кабинку множество обезумевших от голода крыс: день и ночь крысы внутри грызли бревенчатые стены, прыгали с пола до нижнего ряда мешков, дикой стаей носились между нашими ногами, ничего и никого не боясь. Тушить свет ночью было опасно: крысы кусали меня за пальцы ног и рук, и я боялся, что однажды я проснусь без носа и стану похож на труп в морге. Свою койку я выдвигал на середину комнаты так, чтобы голодные твари не могли использовать её как трамплин для прыжков на висящие на стенах посылки. Близость последних и острый запах копчёностей доводили их до безумства, и целые ночи они бегали по мне взад и вперёд, прыгали на стены и гулко падали вниз. Остервенелый скрежет зубов и яростный писк не смолкали до утра. А я лежал с закрытыми глазами каждый вечер, слушал все эти звуки и думал о другом. Иногда приходили больные – выпить рюмочку лекарства или попросить таблетку, и я не сердился на них – двух людей крысы хоть немного боялись, а на одного меня просто не обращали внимания.

Полгода спустя, поздним летним вечером, я лежал и смотрел на тусклую электрическую лампочку: это было место, куда я любил смотреть перед сном, – там не могло быть маленьких крысиных глазок. Вдруг за дверями послышалось шарканье тяжёлых рабочих ботинок. Кто-то подошёл к двери и остановился. Я поднял голову, нерешительная заминка. И в комнату вошла девушка. Пригвождённый к подушке её видом, я минуту лежал неподвижно, потом стал медленно подниматься ей навстречу – как-будто очарованный божественным видением.

Шелковистые светлые локоны свободно обрамляли очень бледное лицо и казались сиянием, как у ангела на иконе, голубые глаза не отрываясь смотрели на меня, и я видел дрожащие в них слёзы. Вот виденье подняло руку, узкую, бледную, с синеватыми жилками, как-будто восковую, нет, нет – живую, но полупрозрачную, – и я замер, ожидая благословения. Девушка медленно шла ко мне, потом остановилась. Я видел мягкий неземной свет вокруг её головы.

– Доктор, я пришла к вам ночью... Чтобы отблагодарить... Вы спасли мне жизнь, я это знаю. Но у меня ничего нет: посылок не получаю... И вообще... Ничего... Нет.

Она не отрываясь смотрела на меня, стараясь найти нужные слова. Крысы стихли. Воцарилось глубокое молчание как при совершении таинства. Только издалека, из черноты тёплой ночи, донеслось: «Стой, кто идёт?» – и всё опять стихло.

– Я сегодня первый раз поднялась. Сходила в баню. Лизавета Альбертовна дала мне для этого случая цветочное мыло... Так я, доктор... Чистая... Совсем чистая.

Так мы стояли друг перед другом, в волнении не находя слов. Потом девушка подошла ближе, положили руки мне на плечи, опустила кудрявую голову на мою грудь и прошептала:

– Так вы возьмите, доктор... что имею... Больше ведь ничего нету... – она начала медленно развязывать верёвочку на рваных ватных штанах.

Я стоял, вытянув руки по швам, не будучи в силах разжать стиснутые зубы. Светлые пряди её волос касались моего лица. Я видел её висок и щеку – прозрачные и неземные. Потом она качнулась, и я поддержал её за плечи.

– Вот дура, – сказал я ей. – Спас, ну и что? Иди. Тоже ещё выдумала. Катись, Алёнка, к чертям.

Потом она тихо плакала у меня на груди, и мы стояли обнявшись, а обнаглевшие крысы бегали вокруг нас и прыгали на стены, и мы оба сжимали друг друга в объятиях, потому что оба были бездомными, потерянными и несказанно одинокими. Мы были, как отец и дочь. И обоих нас ожидал только морг.

– Ты куда? – услышал я голос санитар за дверь. Это было зимой следующего года. – Сейчас приёма нет. Доктор делает вливания. Давай отсюда! А то как дам разок, так покатишься! Пошла!

Был час вливаний биохинола больным сифилисом. Я отпустил последнего больного и оформлял его карточку.

– Кто там? – крикнул я. – Гони её вон!

– А я тебе, санитар, как залеплю по морде, так ты сам покатишься вместе с этими пузырьками. Пеллагрик несчастный! Уж молчал бы, падали кусок!

Дверь распахнулась, и через порог бодро шагнула толстая красномордая девка в белом платке и новеньком ватнике. Взяла дверь на щеколду. Повернулась. И с сияющими глазами раскрыла мне объятия.

Лагерь – это серое царство. Здесь всё серое и чёрное. И вдруг такая красная сытая харя, раздутая, как спелый поми-

дор. В щёлочках заплывших глаз искрились слёзы радости и восторга.

И я вдруг всё вспомнил и понял.

Полгода тому назад Алёнка явилась ночью ко мне в кабинет «благодарить» меня, чем бог послал. Этим одновременно растрогала и привлекла к себе внимание. А когда позднее заведующий бойней зашёл ко мне и распорядился прислать ему чистую девушку для ежедневной варки свиного мяса, я послал Алёнку, считая, что ещё раз и напоследок оказываю ей большую помощь. На бойне голодные заключённые отрезали у свиных тушек кусочки и тем портили их – нарушали стандарт. Поэтому начальник решил варить ежедневно одну тушку и давать мясо и горячий бульон рабочим, чтобы с утра насытить их и отучить от порчи тушек, готовых к сдаче Военному ведомству. Я послал Алёнку и забыл об этом. И вот теперь ко мне явился воочию видимый результат.

– Доктор, милый доктор, первый месяц я не могла спать: просыпалась, почитай, каждый час и с закрытыми глазами ползла к котлу! Сплю и жру! Сплю и жру! Потом отъелась и стала есть поменьше – днём, и куски, которые получше. Наконец, и это прошло. Я стала на ноги, доктор! Теперь меня не свалить! И я решила рискнуть, поняли, доктор?

Лоснящийся красный помидор, от радости захлебываясь словами, между тем бросил телогрейку и начал спускать ватные штаны.

– Ты что делаешь, бывший голубой ангел, теперь чёрт малиновый? – закричал я.

– Пришла отблагодарить своего доктора, – пыхтела Алёнка, распаковываясь дальше. – Вы мне спасли жизнь – принесли на плечах в барак, вы послали на бойню! Так и я не свинья, доктор, всё помню. Настал мой черёд – хоть риску, но отблагодарю. Я сегодня была в бане, я такая чистенькая, доктор, я...

– Ты что, дура, опять за своё?

– Опять! – блаженно улыбаясь кивнула Алёнка. Расстегнула бюстгальтер, и оттуда посыпались куски варёной свинины; сняла трусы, а в них пласты свежего розового сала. – Вот, получайте!

– Ты же за это получишь новую десятку, Алёнка, – сказал я, пряча все эти сокровища в медицинский шкаф. – А если бы на вахте заметили? Больше чтоб этого не было! Слышишь?

– Нет, не слышу. Пока не выгонят, буду носить и дальше! – бурчала Алёнка, обтирая заснеженным платком засаленные груди. – Вашим полотенцем нельзя – санитар, сука, сало унюхает и донесёт. Так-то!

Потом я её крепко обнял и поцеловал. Она носила мясо снова, и я её целовал опять. Пока мы не перенесли место свиданий в знакомую ей кабинку. Алёнка попросила занести её в список сифилитичек и официально снять с работы на бойне как заразнобольную – одолели мужики вечными приставами. Так мы и сделали. Алёнка научилась сипеть и на все заигрывания всегда указывала себе на горло и хрипела: «Не видишь? Сифон уже как есть горло проел!» – а вечером приходила ко мне и к крысам. Работала она в поле. В любви была неистовая и шумная, и крысы её боялись. Каждое свидание она ломала ножки у топчана, и, в конце концов, мы внезапно с треском валились на пол. Алёнка, сидя, вынимала из паза между бревен огрызок химического карандаша и рисовала на бревне палочку: она вела учёт палочкам. В конце концов мой санитар, хмурый немец Вольфганг, при виде Алёнки после вечернего приёма молча снимал халат и шёл в переднюю, где у него хранились гвозди и молоток.

В лагере на девятьсот мужчин приходилось сто женщин, все они, молодые и старые, красивые и безобразные, сожительствовали с кем-нибудь; и ни Алёнка, ни я не были исключением. Мужчин и женщин толкали друг к другу отчаяние, страх и одиночество, реж – расчёт и выгода или физическая потребность, но всегда, во всех без исключения случаях – потребность мира и покоя, внутреннего равновесия, душевной ласки и дружбы, семейного уюта. Но именно их-то в лагерных связях не хватало. Запрещённая начальством любовь несчастных людей оставалась несчастливой и не могла дать того, что от неё ждали: обе стороны, обнимая, думали об оставленных и любимых, и внутренней близости не возникало. Новый срок за расхищение мяса для Военного ведомства означал бы для Алёнки верную и мучительную смерть в Искитиме, её поступок был героическим, и все же мы оставались теми, чем были – одинокими и несчастными.

А потом я внутренне превозмог гибель близких и нашёл себе новую семью, здесь же, в лагере; не очередную судорожную вспышку страсти у порога морга, а человеческую любовь на жизнь и счастье. Пришла женщина и создала внут-

ри загона из ржавой колючей проволоки семейный уют с его обычными радостями и тревогами. Существование превратилось в жизнь.

Как раз перед этим Алёнку, повзрослевшую и вполне здоровую, взяли в этап. Мы сердечно простились, и всё было кончено. Как две перелётные птицы, мы сошлись на время и разошлись навсегда. Утешало то, что её срок подходил ко второй половине, а значит, можно было надеяться на амнистию.

И всё-таки я встретил её ещё раз. И встреча эта запомнилась навсегда.

В декабре сорок седьмого года меня везли из Мариинска в Москву. В Свердловске, часа в три ночи, нас вывели на окраину вокзала и посадили с мешками на снег. Рядом сидел и ожидал погрузки другой этап, двигавшийся в обратном направлении, с запада на восток. Ночь была зверски холодная и удивительно тихая и лунная. Вагоны стояли справа и слева бесконечными тёмными рядами, вверх сияла луна, внизу двумя чёрными квадратами сидели мы.

Как всегда, в первых рядах этапа бегут молодые урки. Вещей у них нет, настроение всегда бодрое. Они неизменно сыты. Словом, они в заключении – дома, и этап для них – развлечение. Дальше плетутся нагруженные вещами пожилые, часто больные и всегда голодные контрики. Два этапа сели рядом. Наши и их урки сейчас же затеяли бойкий разговор, живость которого оттенялась угрюмым молчанием контриков, тишиной уснувшего вокзала и безмолвием морозной сибирской ночи.

– Нет, вот с нами кондёхает одна девка – так вот это да, – говорил кто-то из чужих урок. – Девка что надо, прррравильная то есть. Законный вор.

– А как зовут?

– Алёнка. Да вот она сидит. Там, слева, из себя вроде блондинистая. Наколол? Недавно ей всунул четвертак! Своя, брат, в доску!

– Тише! – крикнул стрелок и звякнул автоматом. – Не наговорились, морды!

– Алёнка, это ты? – громко прошептал я в голубые искры ледяной изморози, сыпавшейся как будто бы из синего лунного света. – Ангел и чёрт, это ты?

И вдруг над раскорячившимся на снегу стадом поднялась высокая и статная девушка в белом офицерском тулупчике. Луна находилась от меня чуть-чуть справа, и де-

вушка, вставшая с левого фланга, была освещена с головы до ног пронзительным голубым светом. Она сдернула с головы ушанку, и я узнал худое голубое лицо и лёгкие голубые локоны, обрамлявшие светлую голову как неземное сияние.

Стрелок звякнул автоматом.

– Садись, дешёвая твоя душа! Садись!

– Алёнка, что случилось? За что ты получила новый срок?

– Говорю – садись, гадина!

– Я, доктор, радость моя единственная... Я... я...

– Садись, стрелять буду!

– Я... я...

Тонкая фигурка стояла, беспомощно раскинув руки, голубая, неземная, точно распятая на этом лютом сибирском небе. Таком безжалостном. Таком безжизненном.

Сидевший рядом со мной старик повернул ко мне лицо, забинтованное дырявым полотенцем.

– Чего тут спрашивать, коли всё видно поначалу? – просипел он сквозь бахрому изморози и сосулек, окружавших нос и рот. – Человек сам себе лагерь ищет только по перваку, а опосля беспокоиться ему не надо – заключение само своего человека найдёт: раз прилепилось – до смерти не отлепится. Эту философию понимать надо, браток!

Из-под вагона выползли железнодорожники с фонарями и маленькими молоточками на длинных рукоятках. Тихий быстрый разговор с конвоем.

– Нерченский этап! Встать! Равняйся!

– Московский этап, налево под вагоны! Пошёл! Живо!

И мы полезли под вагоны на четвереньках, волоча зубами мешки с вещами. Они у старых лагерников нетяжёлые.

Глава 2

Люонга и Морковка

Люонга

Каждое утро один час я занимался фотографированием. Мы только что побывали на рынке.

«Пора домой, – думаю, пряча фотоаппарат. – Не забыть сказать Люонге...»

– Чёрт побери! – воскликнул громко, и внимательный капрал уже взял под козырек:

– Господин?

«Почему все мои мысли, о чём бы я ни подумал, неизменно бегут к Люонге? – рассуждаю я. – Что она мне? Живая игрушка? Эй, «белый господин», осторожность!

После обеда я уснул. Меня будит крик на веранде. Хрипло лает капрал, серебряным колокольчиком звенит голосок Люонги. Выглядываю. Оба держат по моему сапогу, капрал наступает с кулаками, Люонга явно смущена.

– В чём дело?

– Дал ей чистить твои сапоги, господин. Сама просила. Ушёл за водой. Всю мазь съела. Целую банку! Восемь франков, вот написана цена!

Доказательства преступления явные: у Люонги лицо так измазано ваксой, как у наших детей иногда вареньем. Она что-то лепечет, держа обеими руками тяжёлый сапог.

– Что она говорит?

– Хотела понюхать, нечаянно съела.

Я беру маленькую преступницу за ухо и веду в комнату. Капрал, довольно ухмыляясь, берется за щётку. Я закрываю дверь.

Мы садимся на пол. Носовым платком и одеколоном я вытираю ей губы и щёки, а руки мою мылом. Она с любопытством косится на розовый кусочек, и, поймав этот взгляд, я прячу мыло в чемодан – так надёжнее! Потом наливаю себе коньяк, закурываю, сажусь на постель и с притворной серьёзностью начинаю проповедь. Люонга слушает, скромно сложив ручки и сделав соответствующее случаю лицо, но живые чёрные глаза косят на мои вещи, шарят по комнате и, наконец, останавливаются на красной коробочке с сахаром. Она знает её – за послушание ей всегда выдаётся кусочек.

Когда мир восстановлен, мы начинаем беседу – знаками, улыбками, словами на своих языках; вообще вполне понятный разговор. Я достаю очередные подарки – освободившиеся за день коробочки и бутылочки. Она раскладывает их на полу, любит, гримасничает и щёлкает языком, как птичка. Я думаю, что временами она вовсе забывает обо мне, увлечшись игрой, но когда отворачиваюсь к сигаре-

там, она быстро вместо серёжек подвешивает в уши пуговицы и сует ко мне плутоватое личико, ожидая похвалы.

– Ну нет, Люонга, это некрасиво. Ты повесь вместо серёжек бабочки!

Она не понимает. Напрасно я открываю и закрываю ладони, подражая движению крыльев.

– Понимаешь, в ту ночь, когда ты впервые пришла сюда и я едва не застрелил тебя, синяя, как небо, чудесная бабочка блестела вот здесь?

Я указываю место. У меня дрожат руки.

«Нет!» – говорю я себе и откидываюсь на подушки.

Тогда, всё ещё стоя на коленях, она поднимает на меня взор, полный неожиданного. И вдруг смеётся. Беззвучно, слегка закинув голову назад и глядя мне прямо в глаза. И я чувствую, что она меня поняла.

Этого ещё не доставало!

Я встаю, оправляю ремни.

– Капрал, одеваться! Живо! Мы идём смотреть, как танцуют зашитые!

Роскошный вечер. Небо далёкое, прозрачное: скоро вспыхнут первые звёзды. Лес дышит влажной расслабляющей негой, душным ароматом пышных и ядовитых цветов. Маленькая круглая поляна, окружённая высоким лесом, кажется чашей, до краев наполненной голубым полумраком.

Деревня в сборе. Женщины сидят на земле кольцом. Они тщательно вымыты, натёрты душистой травой илангом. Неясно алеют пятна высоких украшений, вплетённых в волосы, поблескивают браслеты и ожерелья. Сзади них стоят мужчины во всей красе торжественного облачения. Колышутся яркие плащи и наброшенные на плечи пёстрые шкуры, веют султаны перьев, грив и хвостов. Статные и сильные тела затейливо раскрашены мелом и цветной глиной. А вокруг – синяя стена леса, причудливая сеть лиан, гирлянды и гроздья невиданных цветов. И будто касаясь неба, короны пальм купаются вверх в золотых лучах заходящего солнца.

Гул приглушённого говора. Все ждут появления на небе вечерней звёзды. Общее возбуждение передаётся и мне, ожидание чего-то желанного и запретного.

Я сижу в кресле. За мной, скрестив на груди сильные руки, стоит капрал, как сторожевой пес. Рядом с ним – Ассаи в белой тунике, опоясанный широким синим поясом; на

плечах – пёстрая шкура, в седеющих волосах – обруч с короной розовых перьев фламинго.

Сейчас будут танцевать зашитые... Когда девушка, отобранная для служения вечерней звезде, достигает зрелости, тогда старухи совершают над ней небольшую операцию, после которой она навсегда остаётся девственницей и оправдывает своё название. Чаша крепкой настойки орехов кола и травы йогимбе, известной как возбуждающее, взвинчивает желание до степени безумного бреда – и тогда зашитую посылают танцевать.

Внезапно шум стихает: на небе вспыхнула первая звезда! Все поворачивают головы – из чёрного леса выходит колдун. Великан с лицом, закрытым слепой и страшной маской, совершенно обнажённый, но с длинным огненно-красным хвостом, он звериной походкой беззвучно вкрадывается в круг; на каждой из высоко поднятых мускулистых рук, изогнувшись, грудью вверх, лежит по девушке. Это – зашитые.

Мёртвая тишина. Зрители замерли.

Колдун несколько мгновений неподвижен. Потом вдруг с криком бросает девушек вперёд. Они падают на ноги и лёгким движением поднимаются.

Где-то сверху вечерний ветерок шевелит короны пальм, алые в последних лучах заходящего солнца. Таинственный полумрак быстро сгущается, серебристая влажная мгла восходит из леса к одному серпу полумесяца. Сейчас станет темно. И уже слышится музыка – мелодия заглушённого чувства, вздрагивая, льётся над толпой, которая теперь сама начинает принимать участие в действии: мужчины, ритмично раскачиваясь, бьют в там-тамы, женщины хором дают темп.

– Лю... лю... лю...

Это почти шёпот. Танцовщицы сближаются и, плотно прижавшись спинами, медленно поворачиваются. Я вижу полузакрытые глаза и лёгкий оскал безумной улыбки – неподвижную маску, которая вместе с едва заметным подёргиванием тела болезненно подчёркивает скрытое значение таинства.

Но жрец поднимает руку. И танцовщицы медленно обращаются лицом друг к другу. Ритм пляски ускоряется. Теперь уже мужчины хором чеканят быстрое:

– Лю-лю-лю-лю...

Там-тамы отбивают бешеный ритм, женщины визжат, над ними в страшном смятении дико жестикулирует плотная стена мужчин. Хриплые голоса рычат:

– Лю! Лю! Лю!

Жрец, опустив правую, поднимает левую руку.

С пеной у рта танцовщицы падают на землю. Грохочет дикая музыка, воют женщины, рычат мужчины. В последних отблесках света видна судорожная свистопляска тел. Волосы у меня шевелятся. Я задыхаюсь и встаю с кресла, не замечая этого и не понимая зачем. На мгновение вижу капра-ла – но дрессированный солдат в нем исчез, остался разъярённый зверь с налитыми кровью глазами.

Колдун поднимает обе руки. Толпа единой грудью издаёт крик, протяжный, хриплый. В смятении, не зная зачем, я хватаюсь за браунинг. Колдун опускает обе руки. Наступает безмолвие, полное и глубокое – звенит в ушах, слышен шёпот листвы. Я стою уничтоженный, испепелённый напряжением, скорее мёртвый, чем живой.

Кто-то легко трогает меня за рукав. Ассаи даёт понять, что всё кончено.

Спотыкаясь и покачиваясь, как пьяный, бреду домой, в свою хижину. Поднимаюсь на веранду, толкаю дверь ногой.

На полу стоит фонарь. В кругу жёлтого света на белой скатерти сервирован ужин.

Я молча опускаюсь на корточки и выпиваю стакан коньяка. Потом дрожащими руками зажигаю сигареты и бездумно делаю глубокие затяжки. Наконец, сажусь и только тогда вдруг замечаю Люонгу. Она сидит на моей постели, подобрав под себя ноги. Вокруг пояса ярко-жёлтая ткань. Две чудесно-синие бабочки, медленно закрывающие и открывающие крылья, подвешены вместо серёжек. Большие и блестящие глаза смотрят ожидающе. Она делает приветственное движение ручкой, и я замечаю, что кончики маленьких шоколадных пальчиков тщательно выкрашены в белый цвет.

«Нет!» – говорю я себе, беру кувшин прохладной воды и на веранде принимаю душ. Мне кажется, что спокойствие восстановлено.

«Нет и нет», – повторяю я себе строго. Но перед тем как войти в комнату, не могу удержаться и оглядываюсь. Какая ночь! Какая сладкая нега, влажная, жаркая, расслабляющая.

Пьянящий аромат ядовитых цветов. «Кровь кипит! – шепчу я, сжимая руками виски. – Африка....»

– Нет и нет! – громко и строго говорю я себе. – Это решено.

Твёрдо вхожу и сажусь на постель. Поужинаем, она – домой, я – спать. Завтра много работы. К чёрту... К чёрту... Вообще ей не место здесь... С утра отправлю её к отцу... Не глядя на Люонгу, наливаю себе ещё стакан. Но Люонга вкрадчиво и мягко говорит что-то и кокетливо покачивает головой. Синие бабочки, как бы играя, порхают меж её лицом и моим. Но я не хочу этого видеть и отворачиваюсь.

Тогда она берёт обеими руками мою пылающую голову и порывисто прижимает к своей груди.

Капрал смастерил и установил над моим ложем большой веер. Всю ночь слуги покачивали его, и первое, что я замечал просыпаясь, была пара чёрных сильных рук, крепко державших верёвки. Теперь рядом с ними я вижу тоненькие шоколадные ручки. Люонга помогает в домашней работе. Раньше она приходила днем и уходила к ужину, но теперь оставалась на все время.

Я стал чаще и дольше задерживаться в хижине и вначале радовался, что работа от этого должна выиграть. Оказалось не так. Прежде я одновременно работал только над одной большой вещью и одним-двумя рисунками и всегда доводил до конца раз начатую работу. Шли дни, и в углу комнаты росла галерея готовых вещей. Я работал жадно, забывая про еду, не замечая жары, по десять-пятнадцать часов в сутки. Бывало, лягу спать, а мне не спится потому, что всё виденное за день вспоминается снова и по каким-то особым законам творческого освоения преобразается в новые замыслы. Они захватывали меня целиком, я горел от нетерпения закончить начатые вещи, чтобы поскорее перевести на холст и бумагу вновь возникшие яркие, живые образы.

Люонга! Теперь я уже ничего не чувствовал, кроме страстного влечения к этому ребёнку, и оскорблённая богиня вдохновения меня покинула. Закрою глаза – и вижу только её, от весёлых лукавых глаз до браслета на маленькой ножке. Я начал было её портрет, но неудачно, потом стал писать сразу два этюда в различных позах, но – увы! – точно чужая рука держала теперь кисти, как будто бы я никогда и не был художником. Сделаю два-три мазка и бросаю моль-

берт, и присаживаюсь к маленькой натурщице, которая тоже рада прекратить скучный сеанс и начинает шалить, играть со мной, чтобы в конце концов неизменно очутиться в моих объятиях.

И в то же время я мою её, чешу, обрезаю ногти, учу чистить зубы и слежу при этом, чтобы она не съела мыло и не выпила одеколон. Я сшил ей куклу, по вечерам сижу в кресле и курю и молча дивлюсь тому плену, в который неожиданно попал, а моя маленькая тюремщица играет и щебечет у моих ног.

«Что же будет дальше? Чем всё это кончится?»

Я чувствую неясное желание встряхнуться и освободиться от власти этих накрашенных в белый цвет маленьких, но цепких пальчиков. Иначе я заведу её и себя в тупик, из которого не будет выхода.

«Живая игрушка?» – вспоминаю я, пожимаю плечами и покачиваю головой.

В одну из таких минут ко мне подошёл капрал. С ревнивой ненавистью глядя на Люонгу, укравшую у него господину, он сказал:

– Много думаешь, господин. Кто в Африке много думает, пропадать будет. Что тебе надо? Надо веселье!

– Мне надоели танцы, капрал!

– Зачем танцы? Ты – господин, тебе другое надо. Вот охота – весело! Звери, люди – ой, ой, как весело!

«Вот она, возможность освобождения!» – хватаюсь я за предложение капрала и говорю:

– Решено, давай охоту!

С небольшого холма я вожу биноклем по горизонту. Пожжённая охотниками степь горит, и дым застилает небо. Жёлтые языки пламени видны справа и слева – там огонь подбирается уже к ручью. Но в центре вспыхивают лишь сухие кусты и пучки травы. Как точно туземцы рассчитали направление и силу ветра, как мастерски организовали пожар и травлю зверей! А ведь я не дал им на подготовку просимого времени. Ассаи хотел проверить дичь, чтобы принять меры предосторожности против больших хищников. Я не позволил – зачем? Неизвестность придаёт охоте характер приключения!

Мы стоим спиной к ручью в центре полукруга, в который беспрерывно вбегают звери. Охота идёт прекрасно – грудой лежат убитые антилопы, зебры, жирафы. Охотникам был

роздан спирт, они разъярены кровью и пожаром: как только из дыма выбегает испуганное животное, раздаётся дикий рев, и навстречу ему бросаются озверевшие люди. В бинокль видно, как на чёрном фоне дыма сверкают копыта и мечи, зверь бросается из стороны в сторону и наконец падает, окружённый людьми, пляшущими в неистовстве истребления. Арена римского цирка в Центральной Африке!

Я также опьянён и оглушён бойней. Рябит в глазах: время от времени даю знак, и охотники гонят на меня особо крупного зверя. Я бью его с большого расстояния, чтобы щегольнуть меткостью стрельбы, или подпускаю на несколько шагов, и тогда покрытое пеной животное валится к моим ногам.

Вдруг Ассаи вскрикивает:

– Лев! Лев!

Капрал хватается винтовку. В бинокль я вижу серо-зелёную степь, тёмные пятна кустов и чёрные фигурки разбегающихся людей. А за ними что-то мелькает в высокой траве... То здесь... То там... Секунду не видно ничего – потом полоснёт мгновенно серо-жёлтая спина зверя. Ближе... Ближе...

– Скорей стреляй! – капрал подаёт мне карабин.

– Нельзя, попаду в людей!

– Ой, скорей! Лев сюда побежит!

– Почему?

Я опять собираюсь поглядеть на льва в бинокль, вожу им вправо и влево.

– Лев!!! – вдруг взвизгивает капрал и дергает меня за рукав. Я роняю бинокль и вижу перед собой на расстоянии ста шагов огромного зверя. Он припал к земле и тяжело дышит.

Стреляю. Лев рванулся в сторону, затем, делая молниеносные прыжки, бросается на нас.

Выстрел капрала. Промач. Вижу пригнутую к земле голову, оскал страшных зубов. Сейчас он прыгнет вон до того куста, а оттуда – мне на плечи...

В это мгновение крик. Ассаи бросается навстречу зверю, срывает с себя плащ и, размахивая им, пробегает мимо зверя. Готовый к прыжку лев в недоумении поворачивает голову к вождю и топчется на месте.

Выстрел. Мой. Как жёлто-серая молния, лев прыгает, на мгновение распластавшись в воздухе. В сторону Ассаи. Падает в двух шагах от него и, с воем взметнув лапами, вторым коротким прыжком покрывает вождя. Я вижу жёлто-се-

рое на белом. Но в то же мгновение, кувыркнувшись в воздухе, хищник тяжело падает за вождём. На бок. Хрипит.

Быстрел капрала. Лев, резко дернувшись, сразу замирает. Ассаи хочет подняться, потом падает в двух шагах от раскрытой пасти.

У него оказался перелом левой руки и ушиб головы – и только. Лев в предсмертном прыжке толкнул вождя под себя, не задев когтями.

– Почему же зверь побежал не на ближайших охотников, а на нас?

– Всегда так. У нас охотники становятся в два ряда, посредине широкий проход. В конце – один человек в красном плаще. Кричит. Танцует. Лев бежит на него. Не замечает других. Два ряда охотников с обеих сторон бросают копыя. Лев до приманки не добежит.

Мы обмыли Ассаи, подвязали руку. Вождь молчал, на его лице я не прочёл упрека. Капрал, как и раньше, смотрел мне в глаза, готовый выполнить любое приказание. Но я отошёл в сторону. Закурил. Возбуждение прошло. Охота показалась мне противной. Гнусная бойня... Зачем я здесь? Разве бегством можно разрешить сомнения? Теперь слабость будет помножена на трусость.

Глядя в сторону, я сквозь зубы приказал собираться в обратный путь. Переноска добычи должна была значительно замедлить наше возвращение, и Ассаи заявил, что пойдёт через степь напрямик, так как у него нестерпимо болят голова и рука. К тому же, добавил он, необходимо подготовить деревню для предстоящего грандиозного пиршества и танцев.

Вечерело, когда наш караван подошёл, наконец, к реке. Капрал спросил у перевозчиков, давно ли Ассаи переправился на ту сторону.

– Вождь? Его не было здесь!

Капрал нахмурился, повернулся ко мне.

– Ассаи хорошо дорогу знает. Почему до нас не дошёл? Что-то случилось!?

Я приказал людям переправляться и идти в деревню, а сам с капралом и тремя охотниками решил вернуться. Мы шли быстро. Я замыкал шествие. Мысли мои были далеко.

– Вон Ассаи! – указал капрал и остановился.

Был вечер. Багровые лучи солнца затопили широкую степь. Казалось, она была залита кровью. В низинах уже залегли лиловые тени. На маленьком пригорке, политом

зловещим светом, лежал мёртвый вождь. Лицом вверх, широко открытые глаза смотрели в темнеющее небо. В правой руке был зажат нож. Мой нож. Шея, грудь и руки – в крови. Рядом, распластав могучие крылья, лежал мёртвый орёл, также покрытый кровью. Трава кругом была примята, на ней видны были перья и брызги крови.

Долго мы стояли молча. Стало темнеть. Капрал присел к телу, осмотрел его. Потом внимательно обследовал траву, перья.

– Ассаи шёл. Устал. Лег отдохнуть. Заснул от слабости. Там, – капрал указал рукой в небо, – всегда орлы. Мы здесь живём, они всё видят. Оттуда. Всегда и всё. Ассаи шёл плохо. Орёл себе сказал: «Он ранен». Ассаи лёг и заснул. Орёл опять сказал: «Вот, он умер». И вниз на грудь вождя упал. Смотри сюда, господин, – капрал показал мне маленькую, но глубокую рану на шее мёртвого, – сюда смерть вошла. Орёл всегда так убивает.

– А что означает нож в руках, перья вокруг, кровь?

– Ассаи одна рука имел – без боя не мог умирать. Такой человек. Было два орла. Этот убит... другой упал с неба.

Я поднял глаза туда, откуда падает смерть. Далёкие звёзды показались враждебными. Стемнело, но я всё стоял и стоял над телом погибшего вождя. Вытянувшись, капрал молча ожидал распоряжений. Вдали сидели на корточках охотники.

«Так в чём же причина? Кто виноват? Африка? Люонга? Или я?»

И совесть – отблеск вечно справедливого внутри нас, с презрением ответила: «Ты».

Морковка

Плохонько живётся лагерному врачу, если он не связан ни с Оперчекистской частью в качестве секретного осведомителя, ни с блатным миром, которому продаёт за ворованные пищевые продукты наркотики и спирт, освобождение от работы и направления в больницу перед этапом. Я был не только таким врачом – хуже того, ещё и штрафником, лишённым права работать в медсанчасти за избиение стрелка при исполнении им служебных обязанностей, и вдобавок к этому «тяжеловесом»: за мной, согласно документам, числились подготовка вооружённого восстания, шпионаж, террор и участие в заговоре. Время было очень тяжё-

лое, военное, и приходилось, как говорится, держать ухо востро.

Бывало, до подъёма сниму пробу на кухне и со всех ног несусь в амбулаторию на срочный приём заболевших ночью или специально назначенных с вечера для проверки температуры. Потом начинается развод, на котором врач стоит со списком больных в группе придурков, то есть заведующих внутрилагерными службами: кухней, баней, каптёркой. Вздумается лагернику крикнуть, что ему утром не дали хлеба или ночью не поставили латку на валенки, и возникает ЧП – начальник грозно поворачивается к каптёру дяде Пете или завкухней дяде Васе и тут же, при всём честном народе, требует объяснения, а если нужно, то и немедленно сажает провинившегося в изолятор. Здесь во всём блеске видны гуманность и демократичность советских лагерей. Кончится развод, сытые и хорошо одетые дяди расходятся по своим тёплым берлогам, полуголодные и полуразутые рабочие на десять часов исчезают за воротами в студёной мгле, а амбулаторный врач, всегда выполнявший ещё и работу санитарного инспектора, отправлялся в обход зоны, всех точек, где может возникнуть очаг инфекции, – и прежде всего уборных, мусорных ям и морга. Работы много, дорога каждая минута. Я бегу с места на место и настороженно поглядываю на ворота: всегда можно ожидать обычной неприятности – этапа.

Вот ворота действительно распахиваются, показываются собаки и стрелки во главе с начальником конвоя, а за ними плетутся этапники. В начале более или менее ровными рядами, потом кое-как, кучей, поддерживая друг друга. Позади скрипит телега или две с обессиленными и умершими. Трупы везут до места назначения и сдают как живых, после чего врачи составляют на них акт и производят вскрытие, чтобы установить причину смерти. Актом о вскрытии и заканчивается дело номер такое-то, после чего оно опечатывается и сдаётся в архив, а тела штабелем складываются в передней морга до времени, когда их накопится достаточно для заполнения очередного рва.

Пробегая по зоне, я с одного взгляда определял характер входившего в ворота пополнения – старые это лагерники или новички, малолетки или взрослые, здоровые или доходяги. Мелькнули пёстрые юбочки – значит пригнали женщин и девочек. Я нехотя поворачиваю к воротам. Так и

есть – пришли малолетки. Они сбились к кучу и испуганно смотрят кругом – шутка сказать, ведь это первые минуты в лагере. Вокруг кольцом стоят вооружённые палками само-охранники из бандитов и хулиганов и толкутся выползшие из берлог дяди. Пока начальник конвоя сдаёт пакеты с делами начальнику Первой части, дядя Петя, каптёр, уже осматривает одежду прибывших; дядя Вася, завкухней, получает документы на питание, дядя Коля, завбаней, готовится мыть людей и прожаривать их одежду, а дядя Миша, нарядчик, командует и дядями, и прибывшими, стараясь поскорее всех одеть, накормить и вымыть до начала комиссовки. Часа через два-три явятся заспанный главный врач и начальница медсанчасти, и этапники получают категорию труда в зависимости от состояния здоровья – ещё одно зримое проявление лагерной гуманности и благоразумия.

– Ты, курносая, выходи! Пойдёшь сейчас к начальнику! – командует Мишка Удалой, молодой нарядчик, перешедший в **суки** из **честных воров**. – Ты тоже! Да не ты, вон та, в платке.

– Мишка, для меня возьми вон ту, в пальто, – указывает глазами дядя Петя на высокую худую девочку в синем обшарпанном пальтишке и шапочке, из-под которой торчат косички, от грязи похожие на серые крысиные хвосты.

– А мне рыжую, маленькую, – шепчет дядя Вася.

– Да на что тебе такая гнида? Выбирай повыше, которая в теле! Ну и этап: все как воблы, и выбрать нечего...

– Хочу эту!

– Ладно. Эй, Морковка, выходи! Вещи оставить на месте. Не бойся! Сейчас все вернётся обратно. А ты, Султанов, мигом обернись с баландой. Пайки возьми у хлебореza, скажи ему – я всё учту. Понял? Живо! Всё, давай в небесную канцелярию! Там мы будем принимать.

Дяди перемигиваются и шмыгают в разные стороны.

Теперь времени остаётся мало, я должен участвовать в комиссовке. Вприпрыжку бегу с одной точки к другой.

В стороне от всех других строений в углу зоны стоит чистенькая избушка. Обычно вокруг ни души, лагерники обходят её на расстоянии: это морг. Но сейчас дверь полуоткрыта, и я издали слышу приглушённый, но оживлённый говор. Не открывая двери, смотрю внутрь. На штабеле промёрзших голых трупов, прикрытых рваным брезентом, сидят отобранные дядями девочки. У каждой в руке по миске

горячей баланды и по куску хлеба. Они торопливо тянут жижу через край, железо обжигает им губы, все морщатся, но на лицах написано блаженство. Глаза не отрываясь смотрят на ведро: в нём курится остывающая баланда. От усердия по лбам текут капли пота. Приторно пахнет трупам и горячей пищей, но девочки ничего не замечают – это минуты острой радости жизни. Дверь в другую комнату тоже полуоткрыта, там приглушённая возня дядей около высокого стола, на котором в другое время делают вскрытия.

– Следующая кто? – строго спрашивает Мишка Удалой, пропуская обратно стриженную девочку с косичками, которая ещё держит в руках синее пальтишко и платок.

– Ты, Валька! Иди!

– Меня уже оформили. Катька одна осталась. Ишь, прилипла к миске. Иди, Катька, дожрёшь опосля!

Катька нехотя отрывается от миски и, дожёвывая на ходу хлеб, исчезает за дверями.

– Ты чего ревёшь? – развязно спрашивает девушка постарше рыжую конопатую девчонку.

– Больно як було... Сейчас нутро болеть... – хнычет та, жадно хлебая баланду из запрокинутой миски: это её выбрал жирный каптёр дядя Петя, проворовавшийся директор одного из московских магазинов. У девочки слёзы текут по конопатым грязным щекам прямо в горячую жижу. Она торопливо утирает нос рукой, в которой зажат хлеб, и глядит на ведро: опоздать нельзя. Здесь те, кто постарше и сильнее, расхватывают всё. Это – жизнь без милосердия.

– Поболит и перестанет! – нагло отвечает опытная. – Здоровей будешь! Привыкай, не у мамы, Морковка.

Девочки хихикают.

– И придумает же: Морковка...

– А это её нарядчик, дядя Миша, так прозвал! – девушка окончила есть, вынула из-за уха папироску, подаренную Удалым, закурила и вдруг усмехнулась: – А вообще, я вас, девочки, поздравляю! Это радостный для вас день: вы теперь **оформленные**. Поняли? Дамы!

Дамы насупились и дружно засопели, но ни одна не ответила на слова. Началась делёжка остатков.

«Тут ничего не поделаешь, – думал я по пути к бане. – Нарядчик – любимец и слуга опера, ему доверие и защита. Он – царский опричник, опора трона. Я – враг народа и штрафник. Нашу присланную из Москвы вольную начальницу на разводе прямо при заключённых кое-кто из началь-

ства кроет похабными словами. Она бессильна, как и я. Здесь ничего не поделаешь, потому что корень зла не в людях, а в системе – двуликой, противоречивой смеси ленинского разумного человеколюбия со сталинской звериной бесчеловечностью. Эта система негодьям развязывает руки, а ещё не испорченных людей превращает в негодяев. Потому что в основе её положено бесправие одних и своеволие других. Рабство. Как в Африке. Морковка – это советская Люонга».

Я как раз тогда заканчивал черновик рассказа об африканской девушке и был всецело занят ею. Но много думать заключённому врачу некогда. Надо в бане доглядеть, чтобы дядя Коля не украл мыло и достаточно подогревал бы воду; сэкономленные дрова он меняет дяде Пете на больничное питание. А самое главное, чтобы выдержал срок прожарки одежды – сорок минут. Я отвечаю за вшивость, и отвечаю головой!

Когда начальником лагпункта стал бывший одесский делец и комбинатор Бульский, укрывшийся в лагерной системе от призыва на фронт, то лагерь, выполняя своё основное назначение – поставку свиных тушек и пшеницы для армии, оброс ещё и множеством дополнительных функций, которые имели одно назначение – дать начальнику материал для хитроумных комбинаций, то есть в конечном счёте явиться дополнительным источником личного обогащения. Либеральный и дельный красный крепостник Бульский мне очень напоминал описанного Гоголем либерального и дельного царского крепостника Костанжогло: оба умели на мелочах делать деньги. В канун сорок четвёртого года из больничной ваты и марли я сделал начальнице Деда Мороза и раскрасил его медицинскими красителями – жёлтым акрихином, красным стрептоцидом, бриллиантовой зеленью и т.д. Тогда же вырезал из фанеры и раскрасил фигурки зверей для детей старшего надзирателя Плотникова, человека очень порядочного и многодетного, жившего в вольном городке при лагере хуже любого заключённого. Он знал о моей связи с Анечкой и уважал и её, и меня. Мы его любили. Начальник увидел мою работу, и в его одесской голове немедленно сложилась новая комбинация: он очистил комнату при столярной мастерской за зоной и устроил там производство игрушек для местного населения. Игрушек тогда в продаже не было, и родители маленьких детей остро чувствовали их

отсутствие. Начальник где-то добыл масляные краски ярких цветов и тонкие доски, из стариков-инвалидов и малолетних девочек составил художественную бригаду, и дело закипело. Самодельные игрушки сбывались на рынке в городе Мариинске и в ближайших сёлах в обмен на пищевые продукты для семей Бульского и других начальников. Я был назначен художественным руководителем и получал дополнительно сто граммов хлеба в день и одну соленую горбушу в месяц. Выводили меня в мастерскую два раза в неделю на полдня.

Меня это забавляло: нельзя же жить только чужими болезнями, мусорными кучами и моргом. Однако сделать чёткий контурный рисунок слона оказалось делом непростым: я забыл, как выглядит слон! Тут же выяснилось, что мне трудно нарисовать автобус или самолет. Общее представление, конечно, осталось, но характерные детали уже стёрлись из памяти. Я стал забывать мир, в котором когда-то жил... Это было весьма поучительно, очень грустно и совершенно неожиданно. Однажды я стоял у верстака, чертил на доске силуэты зверей и раскрашивал образцы для бригады – мы делали украшения для подвешивания на стену и врезывания в тележку на четырёх колёсиках для катания на полу.

– Встать! Внимание! Здрасте граждначальник! – вдруг закричал бригадир, бывший режиссер театра.

Вошёл Бульский. Я доложил о выполнении дневного плана. Начальник слушал, скосив глаза, и вдруг прервал меня:

– Что это шевелится под столом, в углу? Да нет, вон там, в стружках? Собака? Вам не положено иметь собак.

Бригадир нагнулся и вытащил за шиворот рыжую девочку, которая что-то держала в руках.

– Что это у неё там? Иконка? Доктор, здесь нельзя заниматься фабрикацией икон! Дай её сюда!

Девочка вывернулась из рук бригадира, села в стружки и спрятала что-то за спину.

– Отдай сейчас же, Морковка!

Девочка заморгала глазами.

– Не отдам.

Начальник закурил, не спеша затянулся и шагнул к сидящей девочке. Он был большого роста и возвышался над ней, как гора.

– Отдай, слышь ты! А то хуже будет!

Морковка опустила рыжую вихрастую голову, но не шевельнулась. Только угрожающе раскрыла рот.

– Какая стерва, а? Маленькая, а настырная!

Начальник шагнул ещё ближе и выдернул у неё из рук крашеную дощечку. Девочка опустила руки в стружки, закинула голову кверху и вдруг заплакала. Но как! Плачущих детей видел каждый, раскрытые детские рты и ручьи слёз – тоже: в наших журналах любят печатать такие сентиментальные хорошо ретушированные снимочки на радость мещанским мамашам. Но у Морковки рот оказался большим и круглым, как казённая миска, – он начинался от рыжих вихров и кончался у тоненькой шеи. Из этого круглого отверстия, как из медной трубы, нёсся оглушительный рёв. А из складочек покрасневшей веснушчатой кожи брызгали слёзы – не текли и не катились, а брызгали, как из двух спринцовок.

– Ма-а-а-мо! Ма-а-а-мо! – сипло трубила Морковка, совершенно равномерно, как опытный полковой трубач.

Заключённые заулыбались.

– Вот даёт девка! – прошептал один другому.

– Стреляет, як с пушки!

– У ей один рот и есть, дует, как в трубу!

– Тише! – прикрикнул бригадир.

– А вы знаете, доктор, в этой картинке что-то есть. Я не специалист, но картины люблю и в них разбираюсь. Посмотрите!

На дощечке была изображена женщина в синем полосатом платке, розовой кофте в крапинку и зелёной юбке с белым фартуком. Лицо и руки были сделаны белой краской, глаза проставлены голубыми колечками, на щеках пылал малиновый круглый румянец. Это был детский рисунок, сделанный с присущим детям поразительным умением подбирать оттенки красок, которые при яркости общего впечатления всегда поражают взрослых тонкой гармонией сочетания отдельных тонов. Детские рисунки всегда яркие, но никогда не бывают пёстрыми.

– Дети, как дикари. Они тонко подбирают цветовую гамму и сочетают как будто бы несочетаемые тона, – сказал я начальнику. – За границей именно поэтому и ценят примитивы.

Бульский молча смотрел на дощечку, бригада стояла, вытянувшись по команде «внимание!», все ждали, что будет дальше. Лишь маленькая рыжая девочка сидела на полу раскинув тонкие ноги в огромных ботинках, упиралась в стружки руками и равномерно гудела через огромный круглый рот-трубу: «Мамо! Мамо!» И мелкие слезинки брызгали во все стороны.

– Это она изобразила свою мать, гражданин начальник. Это не икона! – почтительно оправдывался бригадир.

Бульский ещё раз отставил руку и посмотрел на рисунок.

– Хорошо. Очень хорошо. Так чего же ты орёшь, а? Как тебя зовут, заключённая?

Морковка приоткрыла один зелёный глаз и в одно мгновение оценила обстановку. Рыдания стали ещё более оглушительными.

– Имени у неё нет. То есть имеется, но какое-то украинское – не то Агафонья, не то Хавронья, не запомнить. По кличке Морковка. Работает хорошо, гражданин начальник. Старается.

– Вот тебе твоя мама, дура, и не реви! Слышь? А вы, доктор, включите такой портрет в номенклатуру. Мы будем выпускать его как настенное украшение для взрослых.

Однако когда я перерисовал портрет, попутно исправив анатомические неправильности и умерив яркость, то он потерял всё обаяние.

– Не то, доктор, не то! – заметил Бульский. – Вы что-то не сумели передать. Самое главное. Наивность, а? Этакую детскую непосредственность, а? Что?

Напрасно я пытался подражать Морковке – детские рисунки должны делать дети. И Бульский распорядился поставить Морковку на роспись дощечек. С тех пор она ежедневно делала по два-три «портрета» и ни разу не повторяла сама себя: каждый раз у неё получалась новая линейная и цветовая композиция, каждый день к вечеру она сдавала бригадиру новые маленькие шедевры. Они выглядели как иконы. Трогательные до слёз.

Существование людей в проволочном загоне для скота создает условия, при которых болезни протекают особенно, по-лагерному. Например, крайнее истощение не благоприятствует развитию рака, и свежая злокачественная опухоль – редкая находка в практике лагерного врача. Но это же истощение вызывает бурное течение туберкулёза и обуславливает молниеносное распространение процесса на все внутренние органы. Особенно это касалось малолеток. У них туберкулёз всегда приобретал рассеянные, тотальные формы – из лёгких переходил на горло и кишечник, мочевой пузырь и мозг и добивал в считанные месяцы. Такие больные были очень опасны для окружающих, и по договоренности с начальством их складывали на чердаке большого двухэтажного бревенчатого дома, где помещалась больни-

ца № 3 нашего лагпункта. Выловив туберкулёзного больного на амбулаторном приёме, я доставлял его в больницу, и на этом моя роль, собственно говоря, и кончалась. Но я жил среди массы лагерников и не мог просто расстаться с заболевшими – списал и вычеркнул из памяти. Фронт и лагерь роднят: люди жмутся друг к другу как обречённые.

Помню, как ранней весной, розовым тихим вечером я проходил мимо больницы № 3. Посмотрел на тоненькие жалкие берёзки, дрожавшие на прохладном ветерке, на их отражения в розовых лужицах талой воды, и вдруг повернул, вошёл в коридор и стал подниматься по лестнице. На первом этаже помещались клиническая лаборатория, процедурные и приёмные кабинеты вольных и заключённых врачей. В этот час здесь было пусто и тихо. Второй этаж был отдан под палаты. Больные разошлись по койкам и ждали ужина, на лестницу доносились их негромкие голоса: обсуждалось последнее сообщение Совинформбюро о положении на фронте. Я прошёл площадку и начал медленно подниматься выше, на чердак. Здесь окон не было. На перилах верхней площадки слабо мерцала горящая коптилка, тускло освещавшая тёмные брёвна стен и маленькую парашу, поставленную перед дверью. Голод давал себя знать. Я задохнулся от слабости, поднявшись выше второго этажа, и остановился около свечи, чтобы отдышаться. Из-за двери слышались хриплые голоса больных девочек.

– Як я вкрала в столовой жакетку и мэнэ пиймалы, так тётя милиционерша казала: «Диточка, каже, ты не бойся, в лагери тебя хоть накормлять!» И тётя судья тож казала за хлиб в лагери, та горячее питание. Я думала, що воны брешуть. А зараз сама бачу – воны казали правду, – сипел знакомый голос Морковки. – Питание здесь подходящее. Лучше, як на воле. У лагери мэнэ вооше дуже полюбилися.

– Мне нравятся булочки, которые дают к чаю после обеда. Хороши, правда, Морковка?

– Та як же. Колы я працювала в мастерской, то мэни давали солену рыбу, длинную, як рука! Дуже хорошую. Я була там за главную художницу, поняла?

– Ты?

– Хе, а то хто же? Меня сам начальник обратно уважал. Доктор Дмитрий Александрович хотел у меня учиться, та куда там! Начальник зараз ему сказал: «Не, каже, у вас, доктор, Туточки немає самого главного».

– А чего, Морковка?
– Дура! Примитиву. Поняла?
Голоса смолкли. Потом кто-то спросил:
– Сколько тебе дали?
– Два. На следующей пятнице освобождаюсь.
– Не доживёшь.
– Доживу. Сначала задерёт копыта Манька, потом ты, а я уж потом. Доживу.

Едва слышный голосок прохрипел:

– За мной загнёшься ты, Морковка. Таська после тебя. Не дотянешь до освобождения.

– Дотяну.

Воцарилось молчание. Потом все трое вдруг заголосили – громко, по-деревенски: Манька тоненько, Таська – хриплым альтом, Морковка – басом. Это был безнадёжный плач в темноте холодного чердака, и плакали они, как брошенные щенята.

Я медленно спустился вниз. «Дети – цветы жизни» – вспомнилась вдруг затасканная красивость, пущенная в оборот русским писателем, на старости лет пресмыкавшимся у подножия трона. Дети в те годы гибли сотнями тысяч, и сам Вождь Народов и Гений Человечества счёл нужным затопить страну своими портретами с девочкой на коленях: она ему была нужна как прикрытие.

За минуты ожидания на лестнице солнце село, и по всему весеннему небу разлилось алое сияние заката. Только прямо над головой по небу плыла лиловая тучка с розовыми пылающими краями, и в неподвижном тёплом воздухе сыпались сверху увесистые лиловые и розовые холодные капли. Я вошёл в берёзовую рощицу и остановился: идти дальше не было сил, не хотелось переживать слышанное на людях. Я прижался лбом к мокрому, холодному стволу берёзки. «Дети – цветы жизни», – повторил я себе. Сердце разрывалось от мучительной боли. Разрыдаться... Стало бы легче... Но слёз не находилось, и я, сжав зубы, молча бился головой о тоненький мокрый ствол, и берёзка рыдала за меня – вздрагивала и поливала меня крупными слезами.

Весенний закат на севере недолог. Розовые краски перешли в лиловые. Потом с бледно-зелёного неба одна за другой глянули звёзды. Стало темно. Я вытер сухие глаза, буркнул себе: «Ну, всё в порядке, можно идти», – и зачавкал по грязи в амбулаторию.

Эх! И раздольный же ты край, Сибирь, русская земля!

В одну сторону от лагеря тянутся поля, ровные, как стол. Путник шагает по большаку, как у нас дома, направляясь не то в Мелитополь, не то в станицу Крымскую. С другой стороны прямо за вышками начинаются торфяные болота. И с каким торфом – чёрным, жирным! Он горит, как нефть! Когда зимой лагерь цепенеет от холода и бараки внутри покрываются белой изморозью, то заключённые могут согреться хотя бы мыслью, что прекрасное топливо лежит рядом, совсем близко. А с третьей и четвёртой сторон высится лес, красуясь на пологих холмах, которым нет числа. Взойдётся на последний, а впереди, в синеватой мгле, их опять больше, чем было. А воздух? Чудо! С таким воздухом можно отсидеть два четвертака: сиди себе и дыши в полную грудь, и всё будет в порядке на зло начальству, которое торопится рыть за зоной бесконечные рвы для новых и новых братских могил...

Медиков на зону выводят редко, только когда с планом аврал или предстоит особо тяжёлая работа. Тут бывает не до пейзажей! В таких угрожающих случаях я подбегал у ворот к начальнику конвоя и жалобно блеял:

– Гражданин начальник, возьмите меня со свободной бригадой! Меня по статье не берут!

– А какова будет статья? – строго спрашивает начальник и смачно сморкается в сторону.

– Вооружённое восстание, шпионаж, террор и заговор! – умильно улыбаюсь я и хлопаю глазами.

Этот приём действовал безотказно.

– Вот гад! – удивлённо поднимает брови начальник, утирая заиндевшие усы. – Эй, кто там! Дайте энтюва контрика дальше от ворот!

И дело в шляпе: меня **давали**. И я возвращался в тёплую амбулаторию. Но весной, когда начинали полахать малиновые зори, разве усидишь в загоне? Я делал эскизы театральных декораций и костюмов, и на постановках из-за кулис суфлировал текст, и начальник КВЧ включил меня в нашу культурную бригаду: она разучила очередную военную агитку, и её отправляют на соседние лагпункты. Пешком! По полям и лесам!! Эх!!!

После развода мы выстраиваемся перед воротами – артистки, режиссеры и рабочие сцены, гримеры, суфлёры и я, художник-оформитель. Под телогрейкой на груди у меня – заветная самодельная тетрадь. Торопливо проходили убо-

гий вольный городок, РМЗ, свинарники, молочную ферму, бойню, автотракторную базу и склады. Наконец-то! Вот он, сибирский простор, привёт тебе!

Но наш стрелок, хромой фронтовик Иван, встречает на вершине второго холма своего кореша, хромого фронтовика Семёна. Оба объявляют своим бригадирам перекур и углубляются в задушевные боевые воспоминания. Наша культурная бригада спускается ниже под откос, чтобы укрыться от ветерка и дождя, и стоит, перемешавшись с полевой бригадой, около бесконвойников, хоронивших очередную партию мёртвых. Старик-казах в драном дождевике сидит на облучке пустой телеги, курит и смотрит на «представление» с другой стороны глубокой длинной лужи, в которую после дождя превратился ров. Женщины и девушки укрылись под тёплые полы бушлатов мужчин и греются, мужчины курят. Все наблюдали. Сквозь посвист ветра вспыхивает смех.

Бесконвойники шестами пытались затолкать плавающие трупы на самое дно лужи, поглубже в грязь, чтобы облегчить засыпание могил. И тут случайно открыли способ забавы, который минут на пять всех развлёк: они начали поворачивать голые трупы мужчин вверх спиной и класть на голые трупы женщин, плававших кверху лицом. Тела держались друг на друге неустойчиво и, нелепо болтнув руками и ногами, верхние быстро валились в воду, моментами очень напоминая живых людей. И тут же, между трупами взрослых, бойко крутилось, прыгало и ныряло, как играющая ласковая собачка, тощее тельце рыжеволосой девочки. Это – Морковка. Да, да – она... При жизни была такой сдержанной, а после смерти, смотри ты, как разыгралась... С чего? Не от радости ли, что умерла в день окончания срока, успела получить документы и навек осталась вольняшкой? Хотя лагерь ей так *полюбывся*.

Я смотрел на лица людей, – но не мёртвых, что в них увидишь? – а живых. Одни отражали игривое веселье, другие – спокойное любопытство. Но отвращения или ужаса не было. Женщины выглядывали из-под бушлатов мужчин, как птенчики из-под материнских крылышек. Бесконвойники, все до одного татуированные уголовники, громко хохотали и сопровождали игру сочными словечками.

Потом стрелки докурили закрутки, закричали: «Стройся! Вперёд!» – и мы тронулись дальше – по холмам и долам, среди кудрявых перелесков, под небом то голубым и весё-

лым, то сереньким и задумчивым. Обедали стоя, потом снова шли по дороге, которая вилась меж кустов, как чёрная бархатная лента с синими блестками свежих луж. Наконец, доттащились до дощатого забора, колючей проволоки и вышек. Начальник лагпункта, бывший агроном, отбывший в Сиблаге срок за халатность, поставил нас на больничное питание и дал дополнительно по 300 граммов хлеба: он любил искусство. После бани, сытые и довольные, с сознанием своего достоинства, все отправились в отведённое нам, служителям искусства, лучшее помещение лагпункта – сухое, чистое и тёплое, с вагонками и матрасами: там жила ударная бригада. А я отправился читать кружку приятелей своё новое произведение – рассказ «Люонга»: сквозь африканскую экзотику лагерники чутко улавливали его смысл – протест против права одного человека распоряжаться судьбою другого, протест против насилия; и не случайно у нас на первом и на третьем лагпунктах, где я тоже его читал, имя Люонга стало нарицательным. Были жаркие споры, все перессорились, а потом помирились, и сообщая товарищи подсказывали сюжеты для сибирского дополнения к рассказу о судьбе африканской девочки.

Глава 3

Люонга и Борька

Люонга

После смерти отца Люонга перешла жить ко мне. Петля затянулась туже. К страстному влечению, не ослабляя его, прибавилась теперь привычка. Тщетно я раздумывал, как устроить её будущее. Опроститься и жить как туземец я не способен – именно сам не способен, и всякие ссылки на то, что я иностранец, что в Европе меня ждёт дело всей моей жизни, что мой отпуск кончается и французы никогда не оставят меня здесь, явились бы только трусливыми отговорками, попыткой прикрыть приличными словом содеянную мною подлость. Взять Люонгу домой? Но я представлял её у нас – трясущуюся от холода в наш жаркий день,

жалкую, в непривычном костюме, больную... Нет, нет – только не это! Я уже явился причиной гибели Ассаи и если останусь или увезу Люонгу с собой, то погублю и её... Что делать?

Вот она, колониальная Африка! Рабство, уничтожить которое я не в силах, но за которое несу полную ответственность, делает своё дело и разлагает и губит всё, к чему я прикасаюсь, потому что в этих условиях я только **белый** господин, развратитель и негодяй.

Африка должна быть свободной и будет свободной!

Если я всегда готов бороться за свою личную свободу, то с удесятерённой страстью обязан сражаться за свободу других людей – ведь свобода едина для всех! А поэтому должен поскорее возвращаться в Европу не для себя, а для общей борьбы!

«Но разве эти рассуждения не похожи на **идейные** отговорочки?! Разве это не самоуспокоение?! – иногда говорил я себе и сжимал голову руками. – Какая путаница! Круг, из которого нет честного выхода!»

И вот неожиданно капрал подаёт мне листок бумаги и говорит важно:

– Телеграмма!

В этом – выход? Да. Моё место не здесь, среди слабых, а между сильными, и мир в душе создаёт не подлая власть над обездоленными людьми, а борьба за их место под солнцем... Борьба, которая снова вернёт мне бодрость и желание жить!

Вещи упакованы. Пять носильщиков сидят на корточках в ожидании. Капрал отдаёт последние распоряжения.

«Ра!» – подражая ему, мысленно командуя я, улыбаюсь и насвистываю марш.

Расставание будет коротким и суровым – так лучше. Я нарочно послал Люонгу к реке стирать бельё и быстро собрался в её отсутствие. Одна неприятная минута – и всему конец.

Вот и Люонга. Она идет медленно, неся на голове тяжёлый узел. Завидя меня издали, улыбается. Подходит, бережно – ведь это моё бельё – кладёт узел на ступени веранды и поднимает ясные, доверчивые глаза.

– Я уезжаю! Видишь – всё упаковано? Так нужно, – я трясу в воздухе телеграммой. – Понимаешь?

Быстро пробежав по упакованным вещам, чистый взгляд поднимается ко мне снова. Она кивает головой.

– Пришло время расстаться. Я уезжаю далеко и навсегда, – указываю рукой на себя, потом куда-то вдаль.

Неожиданно личико Люонги расплывается в улыбку, она бьёт в ладоши, поворачивается и быстро убегает в деревню.

Я ожидал тяжёлой сцены с плачем и воплями, но теперь – странно! – чувствую глухое раздражение. Как легко примирилась она с моим отъездом! Ещё и засмеялась, дрянь... А впрочем, что же – всё-таки дикарка!

Мне становится досадно: я приготовил целую корзину подарков – и вдруг такой оборот... Потом делается стыдно своей мелочности. Она – ребёнок и дикарка, но я – ни то, ни другое. Я открываю чемоданы и щедро добавляю в корзинку – пусть забавляется!.. Может быть, и вспомнит обо мне...

Но пора. Падают лошадь. Я сажусь в седло. Вещи взвалены на головы. Капрал поднимает трость.

Легкие шаги. Оборачиваюсь – Люонга. На ней простая повязка вокруг бедер. На плече она держит палочку, к которой привязан узелок с её имуществом. Сквозь ткань я узнаю подаренные мною бутылочки и коробочки.

Едва переводя дыхание, она подбегает, берётся за стремя ручкой и улыбкой даёт понять, что она готова следовать за мужем в дальний путь.

Пауза. Слезаю с коня.

– Капрал, корзину!

Люонга радостно хватается за корзину, но она тяжела, и девочка смотрит на меня вопросительно. Я указываю на себя и лес вдаль, потом на корзину, на неё и деревню. Тогда Люонга, наконец, понимает. Золотистое свежее личико делается серым и мёртвым. Боже, какое смятение в больших глазах, какой ужас!

Согласно предварительным указаниям, капрал делает шаг вперёд. Он знает свою роль. Хриплым казённым лаем он сообщает Люонге, что белый господин всё устроил, что для неё оставлены большие деньги, на которые...

– Уйди, капрал, я сам.

Я хочу взять Люонгу за плечи и сказать ей в утешение, что-нибудь нежное. Молча она ставит корзину к моим ногам, кланяется, берёт палочку и узелочек и скрывается за хижинкой.

Ну, что же... Может быть, так и лучше...

Я сажусь на коня. Носильщики снова взваливают вещи на головы. Вопросительный взгляд капрала. Нет, я не могу.

– Немедленно найти Люонгу, капрал! Послать всех слуг! Живо!

Вечер надвигается. Я один на площади. Стою у коня с сигаретой в зубах.

– Нет Люонги... Нигде нет! – капрал и слуги разводят руками.

У меня дрожат колени.

– Не возвращайтесь без неё! Марш!

Снова один. Чтобы не ждать у хижины, я иду вперёд, не думая куда. Да и не всё ли равно.

Роскошная нега, влажная, жаркая, расслабляющая. Я вздрагиваю, останавливаюсь. Круглая поляна, высокий лес вокруг, точно чаша, до краев наполненная таинственной синевой. Невидимые цветы струят волнующий и сладостный аромат.

«Танцовщицы... Здесь... Да, всё это было...»

Я стою, придавленный воспоминаниями. И слышу: где-то близко в траве тихий плач. Делаю шаг и чувствую что-то под ногами. Поднимаю. Палочка. Узелок. Знакомые, ненужные мне бутылочки и коробочки.

Молча я возвращаюсь, молча сажусь в седло. Движением руки обрываю робкие объяснения носильщиков.

Караван выстраивается. Капрал командует:

– Ра!

И, уронив голову на грудь, я трогаю коня плетью.

Идут дни... Недели.... Месяцы.

Осень. Ночь. Жёлтые фонари мигают над мокрым асфальтом, чёрная толпа плывет мимо – из тумана в туман. Низко надвинув шляпу, подняв воротник, я иду по скользкому тротуару.

Одна длинная улица. Угол. И снова улица без конца, ряды фонарей, люди. Вся неустроенность, всё одиночество моей жизни теперь встают передо мной в ужасающей наготе. Усилия... Жертвы... Иллюзии...

Жизнь примерного и тихого человека, которому полицейский на углу нужен для самоуспокоения, как калеке костыль для уверенности в своих силах.

Жизнь слабовольного труса, не сумевшего встать на защиту чужой свободы... Сдавшегося трудностям без боя и познавшего горечь презрения к себе за поспешно поднятые кверху малосильные белые руки...

Сгорбившись под холодным дождём, я бреду через ночь, мысли мои далеко. Как мне нужно тепло... Как я ищу его... И неожиданно вспоминаю пустую комнату. Висит карта. По стенам и потолку бегают ящерицы. У капитана – очередной приступ лихорадки. Он лежит в изнеможении, но глаза его горят, они пронизывают меня насквозь.

– «Африка без вас»... Почему это «вы», и кто это «мы»? Вам довелось попасть в уголок земного рая, и вы его загнали. Слышите? Вы, не я. Вы погубили Ассаи... Погибнет и Люонга. Потому что нет вас и нас, пока что существуем мы все вместе, и в себе самом вы принесли в деревню меня и форт, а в форте всегда незримо присутствуете вы, как бы вы ни желали улизнуть от ответственности и как бы ни умывали руки.

Он помолчал. Ящерицы с шорохом бегали по стенам и потолку.

– Жизнь – это зеркало, показывающее каждому его собственное лицо. Вы увидели себя здесь. Теперь собираетесь бежать. Так знайте же – везде вы найдёте только себя!

И мозг, отравленный алкоголем, уже не может остановиться. Нет постылого города, дождя и толпы. Я плыву в потоке солнечных воспоминаний. История Люонги, озарённая мягким светом раскаяния и смирения, теперь снова и снова встаёт передо мной, очищенная от страсти и очеловеченная. Люонга! Маленькая рабыня, ставшая для меня символом и постыдным воспоминанием...

Я иду по мокрому тротуару. Чужие люди толкают меня. Вдруг яркие полосы света пересекают мне путь: универсальный магазин ночью очищает свои недра от скопившегося за день хлама. Служители выносят и грузят на машины большие ящики с мятой бумагой, пустыми бутылками, коробками.

О, где вы, милые часы в хижине, большая радость над маленькими вещами, пуговицы вместо серёжек... Где всё безвозвратно потерянное, где всё это, что я сам оттолкнул, чтобы потом жалеть и страдать и звать так напрасно и безнадёжно? Я вхожу, покупаю большой ящик, доверху набиваю его пёстрым и пахучим хламом из парфюмерного отделения. Такси. Ночная почта. Посылка отправлена.

Позабыв про друзей, потерянных на эту ночь, я иду к реке. Ветер. Дождь. Поднимаю воротник, сажусь на скамейку, и закрываю глаза.

Я вижу, как мой ящик переходит из рук в руки. Бледный парижанин отправляет его в Марсель. Весёлый марселец погрузит его на пароход. Тихий вежливый араб пошлёт в пустыню и дальше. Чёрный носильщик ставит его на голову, «Ра!» – командует капрал, и ящик движется в горы.

Лучезарное утро. Деревня собралась на площади. Капрал важно читает адрес... Взрыв общего удивления. Чудесный ящик – Люонге! Где она? Скорее ведите её сюда! Ящик открыт. Взмахнув от восторга тонкими ручками, шоколадная девочка стоит над сокровищем... И, может быть, вспоминает белого господина, который здесь проезжал когда-то...

Снова проходят дни. Недели. Месяцы.

Неверными шагами вхожу в комнату. Не зажигая света, ищу кровать. Спать... Вдруг звонок телефона.

– Мсье, с вами говорит швейцар. Я забыл сказать, что сегодня на ваше имя получена посылка. Прикажете доставить её в номер?

Голова кружится. Усталость. Спать, спать.

– Это ошибка. Я ничего не жду.

– Позвольте проверить... Это большой ящик, который вы сами же не так давно отправили в Африку!

Никаких воспоминаний. Провалиться бы скорее в чёрное небытие.

– Посылка была адресована в деревню Ниангу мадмуазель Люонге Ассаи. Поперёк написанного вами адреса бумага с пометкой: «Возвращается за смертью адресата». Подпись: «Капитан».

Борька

Зона штабного Мариинского отделения представляет собой отгороженный колючей проволокой небольшой городок. В нем помещаются: здание Штаба, откуда осуществляется политическое и хозяйственное руководство десятью лагпунктами, на которых живёт и трудится около десяти тысяч заключённых; ремонтно-механический завод; кирпичный и керамический заводы; художественная мастерская; авто- и конобаза и отделенческая клиническая больница примерно на пятьсот коек. На случай пожара и с учётом будущего возможного строительства деревянные здания разбросаны по зоне далеко друг от друга – так, что в одних местах лагерь имеет обжитой вид с мощёными дорожками, сквером

и даже настоящей статуей, а в других – похож на одичавшую деревню с низкими бревенчатыми избами, бурые крыши которых едва торчат из зарослей высокого бурьяна. Летом всё выжжено солнцем, а как подует ветер да поднимет тучи пыли, так колючие ограждения и сторожевые вышки совсем исчезают в горячей мгле, и всё кругом кажется обыкновенным степным сибирским поселком. В бурьяне заключённые вырыли уютные логова и летом скрывались в них от клопов. Такие небольшие ямы использовались и для любовных утех под звёздным небом. Здесь были и семейные берлоги с некоторым подобием комфорта, и норы-одиночки для любителей мрачных размышлений.

Когда начались война и голод, кое-кто поселился в норах напостоянно и одичал: я знал одного молодого поволжского немца, который жил в норе летом и зимой, в баню не ходил, оброс и превратился во внутрилагерного Маугли. Он смастерил капкан и питался жареными крысами. Это был единственный толстый человек в зоне.

Годы террора в деревне (1931–1933) и в городе (1936–1938) сопровождались уходом отцов и братьев в заключение и массовым разорением семей. Ясно, что в этих условиях резко повысилась преступность, особенно мелкое бытовое воровство, и в лагеря валом повалили краткосрочники и среди них дети и подростки – как местные, так и завезённые из европейской части страны. В 1941 году на Мариинском штабном лагпункте я работал врачом, и это пополнение, похожее на стаи шумных голодных галчат, доставляло мне много хлопот.

Как-то опер вызвал меня к себе. Это был пожилой, толстый человек, бывший балтийский матрос.

– Доктор, теперь комиссия едет за комиссией. Примите меры, чтобы шпана не бегала по зоне: это просто неприлично. Я заметил голую девчонку в длинном бушлате – ну, дикий зверь, да и только. Найдите её и уберите с открытых мест.

– Как, гражданин начальник?

– Ваше дело.

«Это действительно моё дело, – думал я, – потому что шпана в баню не ходит и вещей в прожарку не сдаёт. Вшивости у неё если пока и нет, так обязательно будет. А где вшивость – там и сыпняк. А где сыпняк – там и мой расстрел “за преднамеренное истребление временно изолированных советских граждан путём организации эпидемии”».

Чекистов я знаю, и шутить с ними нечего. Эта поганая девчонка держит в руках мою жизнь».

И вот я открыл военные действия. Во главе бригады полуживых инвалидов стал шарить по зоне и ловить внутрилагерных беспризорников для того, чтобы насильно их обстричь, вымыть в бане и прожарить тряпье. На их стороне были молодость и быстрота тощих грязных ног. На нашей стороне – организованность и план. Это было, конечно, смешно и нелепо, когда мы, разбившись цепочкой, прочесывали бурьянные джунгли и вытягивали из нор за ноги детей, похожих на шелудивых озлобленных волчат. Дело продвигалось медленно, но всё-таки продвигалось. Тех, кто от кочевого образа жизни переходил к осёдлому, я записывал в особую бригаду и ставил на дополнительное питание. К началу осени в зоне осталось человек пять особо одичавших. Потом три. Два. Но одна негодяйка никак не давалась в руки – девчонка по кличке Борька, а по учётной карточке нарядчика – Борислава Норбертовна Спыхальская, год рождения – двадцать восьмой, место рождения – деревушка под Минском. Она потерялась после ареста родителей, была поймана на краже и получила два года. Это была тощая голенастая девчонка, совершенно голая, стриженная и босая. Вся серая от пыли настолько, что казалась большой крысой. Стриженные волосы были так плотно набиты пылью, что мало отличались от кожи. На сером фоне видны были только два испуганных, больших ярко-голубых глаза. Девчонка волочила на себе большой мужской бушлат с оторванными рукавами, висевший на ней до земли, как ватный халат. Она умело пряталась в берлогах, но ещё более хитро делала себе прикрытия из плетёного бурьяна, и мы проходили буквально рядом, не замечая зарывшегося в пыли испуганного человеческого зверька. Но однажды мне повезло – я оступился ногой в нору, где, свернувшись калачиком, притаилась Борька. Соппротивление оказалось бесполезным. Нора находилась в дальнем углу зоны. Борька ловко выскользнула из бушлата и голяком понеслась прямо в угол, но там была изловлена всей бригадой. Как она ни кусалась, как ни царапалась, мы её всё-таки вымыли, остригли и одели в давно приготовленное платье. К общему удивлению получилась довольно хорошенькая девочка.

Крепко ухватив пленницу за руку, я повёл её в хлебoreзку, к старому азербайджанцу Аликберу Аликберовичу.

– Слушайте, Аликбер, этой девочке давайте по кусочку хлеба три раза в день – к завтраку, обеду и ужину. Распоряжение начальника.

– В счёт пайки?

– Сверх!

– Ва, доктор, это незаконно. Пусть начальник её сам кормит. Зачем я буду шпану кормить? Шпана для хлебореza хуже крыс. Первые воры! Пусть она подохнет, пожалуйста!

И Аликбер благочестиво поднял глаза к небу: он был муллой.

Я тоже благочестиво поднял глаза к небу, заложил ладони за уши и строго по мусульманскому закону провёл их к подбородку и ниже, к воображаемой бороде. Сурово проговорил нараспев:

– Бисмилла хирраман ниррагим. Во имя бога начнём и кончим. Если не дашь девочке хлеб, то пусть твои дети погибнут от голода, пусть станут шпаной, и большевики их привезут в сибирский лагерь, пусть они...

Степенно сидевший на скамейке Аликбер Аликберович вдруг изменился в лице и вскочил. Этого он не ожидал.

– Аллах акбар, – закричал он, схватив меня за руку, – Бог велик! Зачем шумишь? Вай-вай! Эта девочка может приходить ко мне за хлебом, пожалуйста!

В амбулатории в качестве лекпома работала жена польского военного атташе в Москве, красивая женщина с зелёными глазами. Польки предупредили, что она связана с Оперчекистской частью и, как видно, приставлена ко мне для наблюдения. Пани Ванда взяла на себя заботы по уходу за маленькой панной Славой. Как-то в выходной день я сделал с неё миниатюрный акварельный портрет, и он долго хранился в моих бумагах, пока дневальный не украл их и не уничтожил рисунок. Это случилось годом позднее, в Суслово, в страшную пору голода и смерти.

Голод длился в лагерях с начала войны и почти до ее конца. Это было явление временное, переходное. В мирное время, до и после войны, в лагерях инвалидов кормили удовлетворительно, а рабочие могли на заработанные деньги дополнительно покупать в ларьках качественные пищевые продукты. Для меня лично воспоминания о военных годах связано с голодом, а голод – с Сусловским лагпунктом. За весну, лето и осень сорок третьего года из тысячи

заключенных умерло восемьсот двадцать человек – я вел отчетность и запомнил эту цифру. Взамен умерших приходило новое пополнение, поскольку в военные годы суды выполняли завышенный план, так что недостатка в даровой рабочей силе начальство не ощущало.

Голод оказался явлением зримым. Активировать белье и одежду прекратили – все снашивалось начисто. Рабочие с категорией «тяжелый труд» получали все новое и после превращения вещей в грязные обноски сдавали их рабочим с категорией «средний труд». Последних легко можно было узнать по заплатам. Поносив вещи до состояния лохмотьев, второсортные рабочие сдавали их третьесортным, и бригады «легкого труда» также можно было издала узнать по дырам и болтающимся из них кускам ваты. Лохмотья, превратившиеся в тряпки, передавались инвалидам, которые уже не имели человеческого вида. Также обстояло дело и с обувью: ходить босиком запрещалось, инвалиды были одеты в ботинки, выгнутые из прокладок стертых автомобильных шин. По размеру, цвету и форме они напоминали обувь для взрослых слонов. Ходить в них было невозможно, их волочили по сухой земле на манер лыж, а по мокрой просто плыли. Эта обувь называлась кордами, а бригады инвалидов – кордебалетом.

Инвалиды получали в день по триста граммов хлеба, «легкий труд» – четыреста, «средний» – пятьсот, «тяжелый» – семьсот и дополнительное питание, раздававшееся прямо на рабочих местах. Поэтому лица и спины лагерников отличались по категориям труда, и врач даже в бане мог определить по внешнему виду человека, к какой группе населения он принадлежит.

Но издала, я думаю, самым главным признаком голода являлась замедленность движений. Люди с категорией «тяжелый труд» двигались обычно и нормально, как полагается всем людям на земле. Но с каждой более низкой категорией скорость и живость движений убывала. Исчезала жестикация, движения в целях экономии сил подсознательно сводились к минимуму. Такая вялость и характерная для глаза скупость мимики, жестов и движений показывала, что идет бригада второй или третьей категории. Начиная с третьей и до инвалидов включительно количество движений опять возрастало за счет возникновения произвольных и ненужных. Истощенные люди движутся не только медленно, но и неуверенно – они спотыкаются, балансируют руками. Ког-

да, болтая лохмотьями на ветру, тащится бригада людей с опущенными головами, сгорбленных, руками опирающихся о воздух для сохранения равновесия (палки в лагере запрещены, они – оружие), и волочит по земле огромные, несуразные слоновьи ботинки, то знайте, что перед вами – кордебалет, доходяги, те, кто в ближайшее время попадет в морг. А так как в лагере всегда здоровые и сильные живут между ослабленными или совсем ослабшими до агонального состояния людьми, то глаз издали воспринимал лагерную толпу как очень живописную и разношерстную, несмотря на однообразное черное обмундирование.

Вспоминается чудесное весеннее утро сорок четвертого года. Ночью шел дождь, но с восходом солнца погода прояснилась. По голубому небу быстро плыли лёгкие облака, за зоной берёзки ещё совсем прозрачные, но уже зеленоваты от набухших почек. День нерабочий, народу перед бараками полно, и все бегут в одном направлении – к хлеборезке. В чём дело?

У хлеборезки – гогот и весёлая ругань, невообразимая толчея, праздник, ярмарка! Все машут руками, улыбаются. Сквозь давку протискиваются счастливы и улепётывают к баракам с булками в руках, на бегу отдирая куски и суя их в рот. В толпе над грязными головами плывут чистенькие румяные булки. Их рвут на части и пожирают тут же. Первая категория передаёт хлеб с рук на руки, но вторая прыгает вверх, как свора голодных собак и рвет хлеб на лету, третья кидается на оторванные куски у самых губ уже открывших рот счастливых. Внизу, между ног, в грязи ползают, как свиньи, инвалиды, подбирают крошки и с восторгом чавкают это месиво. У всех на лицах удалство, задор, озорное веселье.

Я протискиваюсь ближе. Оказывается, хлеборез ушел в Штаб за документами. В запертую хлеборезку через раздачную форточку, как змейка, вползла какая-то тоненькая девушка-подросток и теперь раздаёт хлеб всем желающим – просовывает в форточку булку за булкой, и они сейчас же подхватываются жадными руками и становятся общей добычей. Каждому что-то доставалось: кому большой ломоть, кому поменьше, а кому и крошки. Это было народное пиршество и гулянье.

Когда подбежали самоохранники и открыли замок, хлеборезка оказалась пустой. Девушку выволокли вон. Я увидел улыбающееся лицо с раздутыми от хлеба щёками. Дю-

жий самоохранник ударил озорницу по затылку, и кусок вылетел у неё изо рта прямо в руки ползающих инвалидов.

Тут только я узнал свою старую знакомую. Это была Слава, то есть бывшая Слава, которая уже опять превратилась в Борьку.

Полек, и пани Ванду в том числе, освободили летом сорок первого года, а в начале зимы под влиянием неудач на фронте пересмотрели личные дела заключённых, обнаружили дело об избиении стрелка на вахте, посадили меня в изолятор и затем отправили в Суслово на общие работы, без права быть использованным в медсанчасти. Слава осталась одна и снова вернулась в среду малолетних воров и хулиганов. За какой-то проступок её направили в Суслово, и здесь она отличилась дерзким ограблением хлебрезки. Ей дали червонец, и на время она стала именитым человеком в зоне: о ней говорили, её показывали новичкам.

В эти страшные годы бандой убийц и воровок в женском бараке руководила Верка-Гроб – красивая, сероглазая женщина лет тридцати, ходившая в щёгольской кубаночке набекрень и в брюках, заправленных в ярко начищенные сапожки. Верка была законницей, то есть честным вором, живущим по блатному закону. Её боялись все женщины, и свой авторитет она поддерживала железной рукой. Незадолго до появления Борьки на лагпункте Верка зарубила топором проигравшуюся в карты молодую цыганку. Получила за это очередное повышение срока до десяти лет и гордо носила звание **паханши**, то есть неограниченного монарха в женском блатном мире зоны. Появление в бараке прославленной героини и хорошенькой девочки Верка не могла не заметить. По её распоряжению воровки достали Борьке из-за зоны розовое платье в белый горошек, белый пояс, носочки и туфельки. Борька превратилась в красоточку, в куколку, и Верка-Гроб сделала её своей наложницей. Шутить с её любовью не приходилось, и девушка подчинялась беспрекословно. К тому же, думаю, Верка была её первым любовником и опыта у неё не хватало: эта связь явилась началом её любовной жизни. Верка устроила свою подопечную на лёгкую работу в швейной мастерской, и постепенно эта история забылась. Лагерь – это фронт, а в те годы такая связь являлась ещё и пиром во время чумы, судорожной попыткой забыться перед лицом ежедневно угрожающей смерти: морг притаился на краю зоны, но он подстерегал всех и каж-

дого. Потом Верка нашла новую подругу, уже не подневольную наложницу, а страстную любовницу – хорошенькую Грязнульку, детоубийцу с невинными глазами грациозной серны. С Грязнулкой я был хорошо знаком, и их совместная жизнь протекала у меня на глазах. А каждодневные тревоги отодвинули Борьку назад, в небытие: она исчезла из вида, и я о ней никогда не вспоминал.

Шли годы. Кончилась война. Стало легче жить.

Но ранней весной сорок седьмого грянула беда: сыпняк. В лагере не было массовой вшивости, но заболело шесть бесконвойников, то есть работавших за зоной заключённых, закончивших сроки и уже освобождённых от конвоя. Все они через неделю умерли. Затем заболели тринадцать соседей бесконвойников по койкам и тоже быстро умерли. Тиф полз по зоне.

– Вымыть весь контингент, – приказал мне начальник. – Прожарить каждую тряпку. Уничтожить всех вшей до единой!

– Иначе будем судить и расстреляем, – добавил опер. – Запомните это, доктор.

Я работал трое суток без отдыха. Как держался на ногах, не знаю. Очевидно, силы придавала мысль о расстреле. Голода давно уже не было, мыло и горячая вода имелись в достаточном количестве, и я, вооружённый чрезвычайными полномочиями, бегал с нарядчиком по зоне со списком в руках и гнал на санобработку бригаду за бригадой, барак за барак. Наконец, все были обработаны, кроме пяти бесконвойников. Нашли одного. Потом второго. Ночью поймали третьего. Утром, когда я дремал, прислонившись к стене предбанника, чтобы не повалиться на пол, палками пригнали пьяного возчика-татарина. Четвёртого. Оставался пятый, последний. Спыхальская Борислава Норбертовна, чтоб её чёрт побрал!

Я понимал, что если прилягу спать, то уже потом не проснусь. Прислонившись спиной к стене врачебного кабинета и глядя перед собой невидящими глазами, я стоял и ждал. Самоохранники, как бешеные псы, рыскали по зоне. Я знал, что пятый будет найден.

Наконец сквозь шум в ушах, словно издали, как из плотного тумана, услышал радостные, победные крики:

– Нашли! В баню, доктор! На носках!

В предбаннике стояла стена возчиков и самоохранников, все в шапках, бушлатах и валенках. Среди этого косматого зверья пугливо жалась нагая девушка.

- Убить её, гадину!
- Забить камнями!
- Душить таких надо!
- Вешать!

Девушка, высокая, тонкая и серая-серая, начиная с лопешки свалывшихся волос до кончиков нестриженных длинных ногтей на пальцах ног. Голубым пламенем сияли только насмерть перепуганные большие глаза, из которых на серые щёки катились слёзы, даже не смывая слой грязи. Толпа расступилась, и крики смолкли. Я пригляделся и отшатнулся: такого зрелища я ещё не видывал.

Волосы на голове кишели вшами в несколько слоёв. Внизу, у самой кожи, лежал плотный слой мёртвых крупных вшей, по которым ползал слой живых, помоложе и поменьше. По серому телу в разных направлениях, переваливаясь, как танки, ползли вши разных размеров – жирные, довольные, похотливо уверенные в себе. Под мышками и между ног они сидели, впившись в кожу и наружу торчали только задние кончики их тел – там вшей было так много, что места не хватало, они не помещались и торчали вверх плотным слоем, как живая кольчуга. Но особенно страшным мне показались плачущие глаза: брови походили на ряды торчащих жирных тел, и я с содроганием смотрел, как вши плавно катаются на ресницах. Это были две полоски вшей и между ними небесно-голубые глаза, из которых бежали слёзы.

- Ладно. Разойдись! Санитар, сейчас же вымой её!
- На кой она сдалась, гадина? Может, она тифозная!
- Мой!
- Не буду!

И вот вместе с нарядчиком, издали и осторожно, мы скребем девушку грязными дворовыми метлами. Потом я ножницами приподнял слой вшей на голове и срезал его вместе с волосами. Обнажился розовый скальп с мелкими капельками крови. Также мы обрабатывали подмышки и лобок. Издали окатили девушку водой, и вши вместе с кровью поползли вниз, на пол и исчезли в дыре. Она стояла молча, без стоны вынесла муки такой обработки. Санитар сжёг в печи метлы, залил в дыру карболку и посыпал туда хлорную известь. Поднялся дикий смрад. Потом принесли из бараков два обычных веника на палках, и мы осторожно стали мыть девушку. Вшей уже нет. Вниз потекла только вода с грязью и кровью – сначала очень серо-розовая, потом не очень.

Нарядчик и я устали – шутка ли, трое суток на ногах! Голова у меня так кружится, что моментами я подпираю себя ручкой веника, чтобы не упасть. Напротив меня пыхтит хмурый нарядчик. Он тоже время от времени подпирает себя или держится рукой за стену. Но когда последний ушат выплеснут и девушка с облегчением выпрямилась перед нами – юная, розовая и голубоглазая, то мы оба вдруг в один голос воскликнули:

– А ведь красивая, стерва!

Из каптёрки принесли комплект новой женской одежды. Борька оделась. На следующий день я тщательно проверил её одежду и нашёл пятьдесят вшей. Процедура повторилась. Опять мойка. Прожарка. На третий день – двадцать вшей. На четвёртый – одну. На пятый и десятый – ни одной.

Я сажусь за стол и пишу рапорт.

История Борьки оказалась нехитрой. Ревнивая Грязнулька потребовала удалить Борьку, и Верка за пачку сигарет спланировала её на свинарник в качестве рабочей в бункере кормового картофеля. Борьке шел шестнадцатый год, и возчики в кожухах, посыпанных снегом, казавшиеся ей зверьём, стали досаждают и угрожать. Помощи ждать было неоткуда. Тогда девушка перестала ходить спать в барак и переселилась в бункер – стала ночевать за грудой гнилого картофеля, одна среди крыс. Это было безопасней. Сначала казалось страшно, но потом ничего, привыкла – сама обратилась в мокрую грязную крысу. Девки приносили ей пайку и баланду, она числилась по бригаде, всё было в порядке. А превращения человека в животное никто не замечал – она была не нужна. Жизнь в лагере – тяжёлая борьба за существование, и у всех свои заботы и хлопот по горло.

– Слушай, Слава, – сказал я ей, – из Мариинска пришел наряд на молодую долгосрочницу, желающую учиться в лагерной школе на медсестру. При центральной больнице. Ты грамотная?

– А как же? Я сидела с контриками. Следствие длилось полгода, и в камере нашлись две учительницы. Они взялись меня учить. Со страху перед допросами, понимаете? Вы же сами сидели под следствием! Так они меня учили от подъёма до отбоя и за полгода прошли со мной учёбу за три года школы. Здорово, доктор, а? Писали мы водой на обеденном столе: всё было как полагается – уроки, диктант. Они меня очень хвалили!

– Ну и отлично. Поезжай! Получишь специальность. Освободишься, останешься там на работе вольняшкой, окончишь среднюю школу, потом медицинский техникум. Наконец, институт. Из тебя получится человек, Слава. Ты смыслёная. Не теряй возможности. Помни – ты не шпана, хоть и не контрик. Родителей не забывай. Иначе обратишься опять в Борьку. Ну, поедешь?

Нужно было видеть, как вострепнулась девушка с розовым скальпом вместо волос!

– Поеду! – ответила она, быстро нагнулась и поцеловала мне руку. – Я хочу стать настоящим человеком. К Борьке мне пути теперь нет, доктор!

В октябре того же сорок седьмого года я был вызван в Москву. Как раз надвинулась волна холодного воздуха, неожиданно грянули морозы, и в Сулово меня задержали по болезни. Высланный из Москвы спецконвой ушел, а новый этап ждать пришлось долго. Будучи в Мариинском распределителе, я прежде всего переслал в Мариинск другу и единомышленнику поэту Рыбакову несколько тетрадей законченных произведений – повесть «Саша-Маша» и другие материалы о лагерной жизни или о том, о чём в лагере можно говорить только иносказательно. Закончив дела, я коротал время тем, что взад и вперёд шагал то по снегу, то по грязи – погода никак не устанавливалась.

Однажды рассылный бегом потащил меня в избушку нарядчика. Я охотно поторопился, думая, что предстоит деловой разговор по поводу этапа.

– Говорите спокойно. К вам никто не войдёт. По распоряжению нарядчика я буду сторожить снаружи, – предупредил посыльный, – но времени у вас мало, минуты три.

На койке чинно сидела Слава, одетая в чистенькое обмундирование и повязанная белым платочком. В руках она держала узелок.

– Доктор, – порывисто поднялась она мне навстречу, – я случайно узнала, что вы здесь и взяла направление сюда, приехала вроде за больными. Осталось несколько минут – этап уже у ворот. Раньше вырваться не могла. Хочу проводить вас в дальнюю дорогу и поклониться на прощание.

Она сосредоточенно помолчала. Взяла со стола свёрток.

– Вот новое бельё. А то, что на вас, отдайте посыльному, он мне передаст. Вот мыло. А здесь, – она открыла узелок, –

хлеб, сало, лук. Собрала, что могла. Не судите. И три трёшки деньгами. Суньте их под стельку валенок – пригодится.

Девушка говорила торжественно, несколько сурово. Глядела не на меня, а прямо перед собой. Только слегка подергивались губы да дрожали пальцы: это видимое спокойствие давалось ей нелегко.

– Доктор, мать меня родила один раз, вы – второй. То было несчастное рождение. Это – счастливое. Я, милый мой доктор и отец, узнала другой мир. Книги, культуру. Настоящих людей. Интерес в жизни, – она взяла мою руку и прижала к своей груди. Еле перевела дыхание. – Я так всем этим захвачена потому, что здесь у меня началось знакомство с вами и моя лагерная жизнь в Мариинске: я бегала голой в бушлате без рукавов, помните? В Суслово нахулиганила в хлебрезке. – Она вдруг густо покраснела, поперхнулась. – И потом... вот эта Верка... Да, я бывала Славой, но всегда возвращалась к Борьке. Теперь этого не будет.

– Почему?

– Не выйдет: Борька умер! А Слава живёт и будет жить. Да. Я начала учиться и кончу тогда, когда выучусь на врача. Верите мне, отец?

– Верю.

Она вдруг опять опустила голову. Вздогнула и зябко повела плечами.

– Я, доктор, сейчас живу с одним врачом, Постневым Иваном Ивановичем. Не слышали про него? Нет? Хороший человек, тихий, меня не обижает. А без этого здесь нельзя, доктор, – я ведь заключённая и что всего хуже – девка. Так вы...

– Я верю тебе, Слава. И ты должна верить себе.

Я поцеловал её в лоб. Она на минутку прижалась щекой. Потом другим голосом глухо закончила:

– Надо идти, пока держусь. Пока не заревела.

В дверях обернулась – высокая, статная, молодая, полная сил. Сияющая. Счастливая своей великой надеждой.

– Спасибо!

Закрыла лицо руками и выбежала вон. Вошёл посыльный.

– За что это вы её, доктор? – непонимающе спросил он, когда я прижался носом к заиндевевшему окну и в протаявших пятнышках смотрел на бегущую по мокрому снежку рыдающую девушку.

– Хороша собой, правильная, вроде, девка. Я её знаю. А слёзы... Москва, как говорится, слезам не верит!

А я подумал: «Как хорошо, что эта Люонга родилась именно в нашей стране! И таким слезам Москва должна верить, и поверит!»

Суслово, 1945 г.
(рукопись вынесена из лагеря
на волю и сохранилась).
Москва, 1966 г.

ИСПЫТАНИЕ ОДИНОЧЕСТВОМ

Книга восьмая

Голубой Отель

Этап из Сусловского отделения Сиблага в Москву оказался тяжёлым и долгим — свыше полутора месяцев. Счёт времени я потерял, но в середине пути, кажется, в Омской пересылке, сидел в холодном карцере и через решетку в верхнем окошечке видел цветные вспышки ракет, слышал пение и музыку: значит, на воле праздновали Новый, сорок восьмой, год. Стекла были нарочно выбиты, я сжимал в руках тело замерзающего напарника и думал, что первые десять лет заключения кончились, и я пока не умер ни от голода, ни от холода, ни от побоев, ни от утомления. Но по дороге настолько ослабел, что в камеру Внутренней тюрьмы на Лубянке меня ввели уже под руки два надзирателя.

Внутренняя тюрьма поразила одичавшего лагерника до блеска начищенным паркетом и будуарно-голубым цветом стен. В камере я нашел спящего на спине дородного человека, одетого в шелковую розовую с белыми полосами пижаму. Я сел на противоположную кровать и долго рассматривал его холёный, барский профиль и целый склад аккуратных пакетов, банок и свертков у стены за изголовьем кровати: столь ответственный товарищ, как видно, питался в заключении преимущественно сёмгой и чёрной икрой.

Утром мы познакомились. Мой новый напарник оказался генерал-майором Романовым, бывшим начальником Трофейного управления. По его словам, через его руки прошли не миллионы, а миллиарды. Сидел он уже свыше двадцати месяцев без вызова к следователю, а арестован по обвинению во вредительстве: после занятия немецких городов советские солдаты спешно выкорчевывали оборудование местных предприятий и сваливали на железнодорожные платформы. Последние быстро разгружались на наших станциях, причём станки и аппаратура сваливались прямо в пыль и грязь и затем долго лежали под открытым небом. Эта работа производилась в срочном порядке по приказу Ставки, и рассуждать было нельзя. Ясно, что большая часть вывезённого таким образом оборудования пришла в негодность, и вот теперь генерал ждал расплаты за чужие грехи, а следователи, видно, не знали, как оформить дело. Романов до революции был студентом Киевского коммерческого института, но вступил в партию и стал начальником снабжения

кавалерийской части, которой командовал бывший царский офицер Жуков, впоследствии ставший маршалом. Шли годы, и вместе со служебным ростом Жукова рос и Романов.

В камере начались обычные тюремные разговоры, рассказы и воспоминания. У меня старой семьи уже не осталось, и я много рассказывал **напарнику** об Анечке и её роли в моей жизни. В свою очередь, генерал сообщил, что у него осталась добрая, безвольная и неумная жена, своей мягкостью испортившая двух дочерей. Ну, старшей уже не поможешь, она взрослая, да и по характеру похожа на мать. Бог с ней. А вот младшая, хорошенькая и своевольная, – это проблема. Генерал опускал голову и озабоченно бормотал: «Без меня... Собыётся с пути... Эх, не вовремя меня оторвали... Не вовремя!» Мы играли в шахматы, и я всегда проигрывал, потому что не люблю эту сидячую игру. Но раз выиграл, и генерал, привыкший к лёгким победам, стал оспаривать мою. Смешно вспомнить, но мы подрались! Да, да, два интеллигентных человека подрались из-за шахмат в камере Внутренней тюрьмы НКВД! Генерал колотил кулаками в дверь и кричал, а я совал ему кулаком под жирные бока. Потом надзиратели нас долго стыдили... При стрижке и бритье генерал просил и моё лицо обтереть одеколоном из его флакона, хранившегося у парикмахера. Словом, это был обыкновенный советский человек, как всякий другой, и писать о нём, казалось бы, нечего... если бы он не был генералом.

Да, Романов являлся сталинским бюрократом с психикой маленького царька, которому в пределах своей околицы всё было позволено в обмен на раболепство вне околицы. Вот об этой-то психике, тщательно вылепленной руками Отца Народов и его подручных и затем использованной в своих интересах, и стоит рассказать подробнее; она – характернейший признак эпохи и, кроме того, косвенно проливает свет на условия, породившие моё собственное «дело» – обвинение и арест.

О довоенном времени генерал вспоминал не без удовольствия – оно перло из него без его желания и ведома и придавало нашим разговорам своеобразный характер.

– Если бы я вышел на волю, то постарался бы купить подержанный офицерский белый полушубок, – говорил я мечтательно. – Что за прелесть! Нарядно, легко, красиво!

Генерал снисходительно улыбнулся.

– Вы отвыкли в лагере от красивых вещей, Дмитрий Александрович! По-настоящему хорошего белого полушубка вы

ещё не видели. Как-то я принимал заказ на десять тысяч белых полушубков и попутно мне изготовили сотню по особым указаниям. Вот это были полушубки! Сверху кожа, как белая бархатная замша для дамских перчаток, а внизу мех похож на гагачий пух. Мизинцем поднимаешь такую вещицу!

– А для чего вам понадобилась сотня?

Генерал высокомерно поднял правую бровь.

– Как на что? Себе, детям, родственникам. А главное – начальникам: ведь и они тоже люди, не правда ли? На Кавказе я как-то заказал крупную партию казачьих бурок, чёрных, обыкновенных. А для себя, семьи и начальства попутно отхватил два десятка белоснежных, отороченных серебром!

– Да где же ваша жена и дочери носили потом такие бурки?

– Нигде, разумеется! В них нельзя было показаться на улице: слишком шикарно. Но пусть лежат – это ценные вещи, понимаете, те же деньги!

В разделе Польши Романов участвовал с казачьими войсками генерала Ерёменко. Польскую границу перешли на конях, бойцы были вооружены пиками и саблями; с другой стороны им навстречу катился на танках и броневиках гитлеровский вермахт.

– Наш штаб остановился в богатом предместье промышленного городка, – рассказывал генерал. – Я осмотрелся и занял виллу какого-то варшавского богача. Дом был пустой. Обошёл, посмотрел: посуда так себе, серебро хозяева успели прихватить. Но на стенах остались картины, а я – любитель и ценитель живописи. Чувствую, что вещи художественные, люблюсь ими, но как их оценить, что выбрать – не знаю. Помог случай. Иду по улице и вижу – с протянутой шляпой просит милостыню высокий красивый старик очень культурного вида. Разговорились. Старик оказался профессором Варшавской академии живописи, он случайно отстал из-за больной дочери и не попал в поезд при бегстве поляков на запад, оба теперь голодают. Я привёл его на виллу, накормил и увязал для дочери недурной пакет, а старик тем временем оценил картины. Среди них оказались работы известных польских мастеров, две малоизвестные Сезанна и один Дюрер – так себе, небольшой рисуночек, но мастерский. Я их упаковал вместе с заверенными у нотариуса справками профессора. Шофер Иван смотался в Москву и потом всю войну крейсеровал между фронтом и домом! У профессора оказалась лёгкая рука!

Отечественную войну генерал начал паническим бегством из Польши в кальсонах, но окончил её удачно.

– Я сидел вместе с генералом Кривошеиным в танке: мы продвигались по горящим улицам берлинского фешенебельного пригорода и искали место, чтобы приземлиться. Вдруг видим – совсем нетронутая дача. Богатая. Заходим. В подвале спрятался генерал-лейтенант, профессор Академии Генерального штаба вместе с молоденькой племянницей. Оба грязные, голодные. Мой адъютант повёл племянницу мыть под душем – ха-ха-ха-ха! – а я вынул кусок хлеба и сала, подал генералу и сказал по-немецки:

– Я и генерал Кривошеин – мы оба евреи. Вы – гитлеровец. Но война кончена: мы вас победили. Примите от нас пищу и запомните этот день. Это вам урок!

Фриц заплакал и стал есть, утирая слезы грязным рукавом. Между прочим, у него в глазу торчал монокль – вот до чего это был самый подлинный феодал! А дом оказался забитым книгами, и я раскопал сотни две музейных экземпляров по истории русской армии – от киевских князей и московских царей до роскошных альбомов, изданных до революции в России и посвящённых Суворову, Кутузову и другим нашим военачальникам. Книги удивительные! Редкостное собрание, ему цены нет! Герр генерал снабдил книги подробнейшими аннотациями, а Иван перемахнул коллекцию ко мне домой.

– Славно вы оформили войну! И куда это у вас всё поместилось?

Генерал, довольный, полужакрыл глаза и откинулся на постели; приятные воспоминания щекотали его, как породистого кота.

– У меня недурная квартира в Доме Правительства, у Каменного моста, но вещи получше я держу не дома. Зачем? Надёжнее, когда всё лежит в другом месте. У меня три сервиза немецких королевских домов, других я не люблю. Есть сервиз на пятьдесят персон, в Москве оценен в пятьдесят тысяч. Я, знаете ли, приехал в Дрезден как раз, когда наши спасали картины знаменитой галереи. Это ведь по моей части – во-первых, трофей, во-вторых, искусство, которому я предан всей душой. Я отобрал три маленькие вещицы и прихватил три каталога, в которых эти картины числятся, – документация не вредит, я порядок люблю и в эстетике!

Потом на короткое время к нам попал сын писателя Андреева, седой инженер-архитектор из Ленинграда. Он вое-

вал на знаменитом пятачке, и во время рукопашной схватки немецкий офицер выстрелил в него пять раз, промахнулся и был убит ударом приклада. Андреев нашёл на своей шинели несколько пулевых дыр и взял на память его пистолет как талисман на будущее. После войны опять работал в архитектурной мастерской, откуда и носил домой для растопки печи бумагу, отобранную особой комиссией и предназначенную для уничтожения: на каждом листе ставилась соответствующая отметка. Однажды он обнаружил, что уборщица украла из его пиджака кошелек с деньгами как раз после получки. Началось дело. На допросе уборщица показала, что Андреев – шпион: он уносил куда-то казённые чертежи. Дома ночью сделали обыск и нашли пистолет, который оказался американским (видно, немецкий офицер добыл его в схватке с американцами и тоже держал при себе как память). Попутно раскопали, что в молодости Андреев из религиозных соображений отказался служить солдатом и отбыл военную службу санитаром. Это и решило дело. Его привезли в Москву для включения в какое-то большое дело «американских шпионов». Это грозило расстрелом, и Андреев целые дни молчал, свесив на грудь белую голову: сражаться в Голубом Отеле оказалось тяжелее, чем на боевом **пятачке**.

Вскоре его взяли из камеры и заменили высоким разбитным человеком, привезённым из Киева. У него мне запомнились красный носик и бойко бегающие глазки. Это был украинский министр, в прошлом – начальник Административного отдела Штаба маршала Жукова. Очень жаль, что его фамилия выпала из моей памяти. Помимо обычных семейных рассказов у второго генерала также оказалось много приятных воспоминаний о войне. Я слушал их с большим интересом: он не говорил, а показывал смысл живой мимикой лица и размашистыми движениями рук:

– Особливо помню дви собачки: я их смахнул с камина в Потсдамском дворце. Мне была поручена организация Потсдамской конференции – размещение, питание и развлечение участников. Навёл я, конечно, порядок во дворце и в саду, но в некоторые комнаты пришлось входить всегда с кем-нибудь, а на большом камине я заметил две фарфоровые собачки – такие, яких не видел нигде: большие и сделаны наподобие природы – вроде сидят по обоим концам полки две живых наших Серка или Жучки. Полюбились

мне так, что вижу – нужно их заиметь! К тому же и конференция – историческое мероприятие, и отметить его надо и в личном плане. Одну собаку я заполучил сразу: пришёл в шинели и унёс, а со второй бился-бился и никак не мог улучить момент. Только когда конференция началась и участники собрались в зале, я улыбаюсь собі, как положено в дипломатии, легонько кланяюсь туда и сюда и задом пчусь на камин. Дошёл и руку назад запустил, а камин высоченный, чуть руку себе не вывернул. Но геройски одолел препятствие – закончил конференцию как положено: для начальства отправил домой золочёный автомобиль, говорят, министра Шахта, а для себя – обеих собачек!

Тут стали вызывать на допросы обоих генералов – трофейного и административного, и я понял, что Романова держали в тюрьме совсем не из-за потерь с доставкой оборудования, а по общему со вторым генералом делу. Романов молчал, а общительный министр быстро разболтался: когда Романова увели на допрос, он намекнул, что даёт показания на маршала Жукова, который якобы завербован американцами и является предателем и шпионом. Много позднее я узнал, что в это время Жуков впал в немилость у ревнивого генералиссимуса, который не терпел в своём окружении популярных в народе и даровитых людей. Жуков был переведён в Одессу, и жизнь его повисла на волоске. Вот тогда-то и сколачивалось дело об американской вербовке: лжесвидетели уже рьяно работали перьями по указке следователей, и судьба русского военного героя казалась предрешённой. Но у Сталина была большая кухня, и готовить острые блюда он не только любил, но и мастерски умел. Какие-то новые соображения помешали осуществлению задуманного убийства, а какие именно – когда-нибудь покажет история этих грозных лет.

Оба генерала не являлись ни бандитами, ни ворами. Это были советские сановные бюрократы, вполне уверенные в том, что им всё позволено в силу занимаемых высоких должностей: гоголевский городничий возмущался, что его околоточный берёт **не по чину**, а то, что он вообще **берёт**, ему казалось само собой разумеющимся. Два генерала брали **по чину** и небрежно сообщали об этом случайному собеседнику, даже не понимая, что говорят что-то предосудительное. Но главное, что меня резануло по сердцу, – это была бездумная послушность. Она являлась проявлением

привитой сверху и прочно сложившейся в сталинскую эпоху психологии, которая разрешала многим людям без физического давления легко и равнодушно давать ложные показания на кого угодно, в том числе и на своих бывших товарищей. А кто такой мой обвинитель Кедров, сын генерала и старого большевика, как не копия этих же вот генералов?

Игорь Кедров работал в ИНО в одно время со мной, хотя и не знал меня лично. Когда запланировали истребление кадровых работников, то Кедров вместе с ещё несколькими людьми, исполнительность которых казалась несомненной, был выбран в следователи. Он вёл следствие как тогда было положено, то есть избиениями принуждал арестованных товарищей признаваться в выдуманных преступлениях. Большинство было расстреляно, кое-кто уцелел. В Норильске я встретил Антоновского, на этапе – Фишера (из Копенгагена), после освобождения – Нотарьева. Игорь Кедров написал в ЦК письмо с разоблачением техники допросов и оформления дел, и для его характеристики как человека интересно, когда именно он подал заявление – в начале работы следователем или в конце, то есть писал он как свежий человек, ужаснувшийся сталинской кухне, или как опытный повар, учувший близость расплаты? Приблизило ли это письмо его арест? Интересный вопрос! Во всяком случае, его стали бить уже в квартире, при аресте. Не в отместку ли за попытку снять с себя ответственность? Я не жалею, что этого подхалима расстреляли – он закономерная жертва системы, которой прислуживал. Поэтому разговоры обоих генералов мне показались интересными, и я постарался их запомнить, видя в них продукт тогдашних общественных отношений. Встреча с такими напарниками оказалась для меня поучительной: она помогла многое понять и во многом разобраться.

Министр, конечно, тоже сразу был поставлен на быстрое питание и стал получать богатые передачи, и скоро у него в углу близ изголовья тоже стала расти гора пакетов.

– У вас здесь как отделение гастронома! – говорил я. Но Романов только кивал на стену соседней камеры, оттуда день и ночь сыпался дробный стук пишущей машинки.

– Там сидит Пу И, император Маньчжоу-Го! Я знаю из верного источника. Примечайте, как ему носят обед!

И в самом деле: в Голубом Отеле надзиратели во время раздачи одевали белоснежные ресторанные кители и пода-

вали нам суп (не лагерную баланду) в ресторанных мисках из светлого металла, а в соседнюю камеру (мы видели через дверную форточку) обед нёс на подносе «попка» в ките-ле и колпаке, повесивши накрахмаленную салфетку на руку. На подносе мы замечали сервизную посуду, бокалы, бутылки вина, фрукты. Однако и мне жилось неплохо: целый день я дремал на кровати, генерал и министр резались в шахматы. Когда я слышал слово «мат», то открывал глаза и протягивал руку, а проигравший небрежно брал из кучи своих свёртков один и совал мне: это стало у них правилом. Я мгновенно съедал подачку и снова погружался в сладкую дрему.

Несколько раз меня вызывали на допрос по делу Норма-на Бородина. Бородин-отец являлся старым большевиком, командированным Коминтерном в Китай для организации там революции. Потом измена Чан Кай-ши заставила его вместе с женой, двумя сыновьями и американкой Стронг бежать через пустыни и горы в Советский Союз. Стронг достаточно много писала о «Генерале Бородине». В тридцатых годах он был не у дел как троцкист, толстая мама работала в какой-то военной химической лаборатории, старший сын служил военным атташе при одном нашем полпредстве, а младший, Норман, работал в нашей разведывательной группе. Это был типичный представитель «золотой молодёжи»: избалованный барчук, развращённый положением и деньгами. Он и его молоденькая жена (тоже дочь какого-то босса) не стеснялись в резких насмешливых выпадах против начальства, и после ареста мой следователь, полковник Соловьёв, попросил подтвердить агентурные сведения о молодых Бородиных, что я и сделал. Прошло десять лет, Н. Бородина вернули из Америки, где он уютно пережил войну, арестовали и снова запротоколировали мои тогдашние показания. Но я понимал, что меня вызвали из Сибири не для этого: подобное подтверждение мог в течение часа получить наш опер в Суслово. Тащить заключённого в Москву ради такого пустяка было нелепо, и я, сидя на кровати с закрытыми глазами и с протянутой рукой, в тысячный раз перебирал в голове все возможные варианты объяснения и ничего не находил разумного, кроме письма Анечки, моей боевой лагерной жены, с указанием, что в двадцатых числах октября меня вызовут на переследствие и освободят: так ей обещал юрист, взявшийся хлопотать по моему делу. Услуги юриста обходились ей дорого – ночами вышедшая из лагеря усталая женщина шила платья, чтобы заработать

деньги на оплату адвокатских хлопот. За платье она получала тридцать рублей, а выплатить нужно было десять тысяч. Меня вызвали двадцать третьего октября, всё как будто бы совпало, но думать о пересмотре дела и освобождении я просто боялся: это казалось слишком фантастичным.

Наконец всё объяснилось. Меня вызвали к начальнику следственного отдела генерал-майору Леонову как раз тогда, когда в кабинете находился министр государственной безопасности Абакумов. Мне предложили амнистию, очевидно, в целях дальнейшего использования. Я наотрез отказался и потребовал переследствия, пересуда и полного восстановления в правах, а придя в камеру, попросил листок бумаги и написал Абакумову то же самое, дерзко добавив, что такая история, какая произошла со мной, не мыслима ни в одной культурной стране.

Романов авторитетно разъяснил, что вызов к министру и разговор об амнистии означают, что сегодня же ночью меня выпустят на свободу. Он сообщил свой адрес и попросил зайти к семье. Действительно, ночью меня вызвали с вещами, мы обнялись, и, сопровождаемый улыбками и наилучшими пожеланиями, я вышел из камеры.

Глава 2

В ожидании конца

Внизу пришлось посидеть в конверте часа два, затем меня усадили в «чёрный воронок» и куда-то повезли. Куда? Я ожидал вызова в баню, выдачи приличного костюма и документов и вывода на площадь Дзержинского. Но получилось что-то не то... Куда меня везли?

Вскоре шум уличного движения затих. Я вспомнил, что у чекистов имеется немало засекреченных дач близ Москвы. Там с комфортом живут те, кого хотят скрыть от чужих глаз. На такой даче когда-то сидел бежавший к нам офицер генерального штаба одной западной державы; он женился на знакомой даме Юлии. Мы вместе встречали Новый год в тридцать седьмом году. Я задумался. Воспоминания нахлынули горячей волной...

Машина въехала во двор и остановилась. Приглушённые голоса.

– Выходи!

Согнувшись, я торопливо выползаю вон.

Передо мной солдаты. Направленные мне в грудь штыки. Позади длинные низкие дома. За ними – церковь.

Что это? Я как будто бы бывал здесь?!

И вдруг молниеносная мысль: это то место, где фабрикуют их. До боли в сердце я вспомнил человека с проткнутыми барабанными перепонками... Елкина... Столик и человека в телогрейке. У него был тогда насморк...

Всё. Теперь я не вывернусь...

Конец...

Но меня не потащили в подвал; вместо того чтобы обогнуть приземистое здание и вбежать в дверь, за которой начиналась лестница в подвал, мы вошли в открытую дверь прямо против «чёрного воронка» и очутились в обычном тюремном **вокзале**: у стойки я заполнил листок, из которого узнал, что попал в номерной спецобъект. Принимающий нашёл номер камеры, и меня потащили по узенькому полутёмному коридору, потом через деревянный, покрытый инеем переход во второе здание, где и втолкнули в моё новое пристанище.

Это было почти тёмное помещение, еле освещённое тусклым светом электрической лампочки над входной дверью и жидким светом из маленького замёрзшего окошка под низким потолком на противоположной стороне. Койка была откинута к стене и заперта. Посреди находился железный столик, и перед ним стоймя торчала из пола рельса, игравшая роль стула днём и опоры для койки ночью. Камера была длиной метра два с половиной, шириной – метра полтора-два. Цементные стены почернели от грязи и пятен мёрзлой сырости. Было очень холодно – изо рта у меня при дыхании шёл пар. Я заметил, что коридорные надзиратели одеты в шинели и валенки. Камера показалась мне карцером или чем-то вроде временного конверта.

«Ничего, – подумал я, поживаясь и дуя себе в ладони. – Ночью всё кончится. Начался последний день моей жизни».

Потом молча просунули в форточку чай, сахар и хлеб и быстро отобрали кружку. Ходить было нельзя – негде, не хватало места. Я потолкался перед дверью, через час устал и присел на рельсу, но сидеть при моей худобе оказалось

невозможно – больно и неудобно: минут через десять от напряжения заныл позвоночник и пришлось встать не отдохнув. Для разнообразия я перешагнул через рельсу и стал топтаться с другой её стороны, под окном. Спустя полчаса устал окончательно и снова присел, но больше пяти минут не выдержал. Ноги уже так утомились, что минут через пятнадцать я повалился на рельсу, однако боль заставила меня через минуту подняться. Часа через два я уже не мог ни топтаться на месте, ни сидеть на рельсе, а предстоял ещё бесконечно длинный день в этом промозглом цементном гробу. В полдень в форточку молча просунули недурной обед и затем торопливо отобрали посуду. Моя задняя часть и спина нестерпимо ныли, я замёрз, и мною овладело отчаяние.

«Ну и пусть... Пусть убивают! Лучше смерть, чем такая жизнь: минута ужаса и затем отдых от ледяной острой рельсы, от стояния на ногах, от всего... Хоть бы скорей!»

Вечером молча просунули миску с супом и кружку чая и снова тут же отобрали посуду. В этом спецобъекте дверные форточки не откидывались небрежно, с грохотом, а опускались почти бесшумно, и надзиратели не орали «Завтрак!», «Обед!» или «Ужин!», как в тюрьме, а молча совали полные миски и кружки, а затем через несколько минут, откинув форточку, указывали на них пальцем, требуя возвращения. За день не было произнесено ни слова, не раздался ни один живой звук. Но, напрягая слух, я всё-таки чувствовал, что в соседних камерах сидят заключённые, что эти холодные каменные могилы заселены живыми покойниками. Вечером дверь бесшумно отворилась, и старший надзиратель вошёл в камеру, молча отпер и откинул койку и указал на неё пальцем. Не раздеваясь я лёг и накрылся жиденьким покрывальцем. Спину ломило, я растёр себе ягодичы, повреждённые рельсой, и стал ждать, когда за мной придут. Подвал, столик и человек в телогрейке вспоминались без страха – мне было всё равно, я повторял себе: «Только бы поскорее... только бы поскорее...» И это не было попыткой успокоить себя. Потом я согрелся и заснул и проснулся только утром, когда услышал мягкий звук открываемой форточки. Испуганно открыл глаза и увидел торчавшую руку и красный палец с грязным ногтём. Начинался новый день. Первым чувством была радость, но тёплую койку откинули и заперли, и после уборной, куда я вынес свою маленькую парашу, и завтрака я опять остался

один на один с бесконечно длинным днём, топтанием на месте и холодной, как лед, острой рельсой.

«Почему меня не расстреливают? – вяло думал я. – Опять недоразумение. Вряд ли? Я видел свою карточку из Внутренней тюрьмы, и моя фамилия в заполненном мною листке не вызвала у принимающего никакого удивления. За мной не пришли просто потому, что теперь другое время, работы у них мало и забой производится по определённым дням. Когда-то Наседкин, помнится, даже объяснил мне что-то в этом роде. То, что не вывели гулять и не дали книг, лучше всего доказывает, что я – не просто заключённый, я – смертник, лишённый самых элементарных тюремных прав. Генерал Леонов рассчитался со мной за отказ от амнистии. Мерзавец. Ну и пусть. Лучше умереть, чем так жить. Эти последние мгновения я выдержу с достоинством. Крикнуть что-нибудь? Что?» Я задумался. Но холод уже пронизывал меня до костей; вставание, сидение, топание ногами на месте и нарастающая боль в спине мешали думать. «Чёрт с ними со всеми... Пусть приходят – я умру молча». О своих навсегда ушедших не думалось, прошлая жизнь теперь казалась просто никогда не существовавшей. Думать же о том, кого я люблю в этой своей теперешней жизни и что привязывало меня к ней, не хотелось. Зачем? Это было бы дополнительной мукой. «А ведь Анечка где-то здесь, почти рядом... Всё равно.... Пусть скорей убивают... Пусть...»

И я топтался на месте у двери, дышал себе на замёрзшие руки, шагал через рельсу, топтался у окна, садился на рельсу, раз, десять раз, сто раз, тысячу раз, пока всё это опять не сливалось в одно протяжное, нарастающее тупое страдание, где желанными вехами на пути к смерти были завтрак, обед, ужин и отбой. Потом одетый в шапку, полушубок и валенки старший надзиратель молча входит, опускает койку и молча тычет в неё застывшим пальцем.

«Теперь скоро... Наверно, этой ночью. Всё равно, лишь бы скорее...»

Но меня не расстреляли ни в эту, ни в следующие ночи.

Началось отбывание тюремного срока без назначения конца, без указания причин замены лагеря режимной тюрьмой.

Я был просто-напросто похоронен заживо...

Глава 3

Голодовки

Однако я решил бороться за свои права. И единственным оружием заключённого в тюрьме является голодовка.

Первую голодовку я начал примерно через месяц, когда всё выяснилось. На утренней проверке заявил дежурному начальнику охраны, что требую ответить на вопрос – за что меня посадили в одиночку и на какой срок. Начальник внимательно выслушал, потом молча пожал плечами и развёл руками, показав тем самым, что ему это неизвестно.

– Если вы этого не знаете, прошу выдать мне листок бумаги и карандаш. Я тот же вопрос задам начальнику Следственного отдела генералу Леонову!

Лейтенант исподлобья посмотрел на меня и энергично затряс головой, давая понять, что он отказывает мне в моей просьбе.

После уборной в форточку, как всегда, просунули хлеб, сахар, чай. Я не подошёл и не взял пищу. За дверью слышались громкий шёпот и беготня: голодовка в камере – это ЧП! Дверь распахнулась, и ко мне вошёл тот же офицер. На этот раз он заговорил прямо с порога.

– Что это вы вздумали дурить, заключённый? Немедленно примите пищу!

Я прислонился спиной к противоположной стене и молчал.

– Приказываю: принять пищу! Слышите? Немедленно! Иначе – сейчас же в карцер.

Молчание. Я стою, не шевелясь. Рычащее:

– Ну!

Я молчу.

Лейтенант ждет минуты три, потом берет из рук надзирателя хлеб, сахар и кружку чая и кладет всё это на столик.

– Кушайте, заключённый! – произносит он задушевым голосом доброго папы. – Кушайте, а то чай остынет! Будьте благоразумны и берегите здоровье!

И, приятно улыбаясь, боком выскальзывает вон. Я слышу опять громкий шёпот и новые шаги: глазок открывается и остается открытым: ко мне приставили особого наблюдателя. А между тем муки стояния и сиденья на рельсе идут своим чередом. Обед я не принимаю, и его ставят на стол ря-

дом с завтраком, меняя при этом остывший чай на горячий. Я не притрагиваюсь к пище. Её не убирают, а вечером добавляют ещё и ужин. Маленький замёрзший столик дымится и благоухает.

– Кушайте, заключённый, кушайте! Помните, что на воле вас ждут, – вы не имеете права так издеваться над собой! Жизнь ещё не кончена! Может, вас амнистируют, и вы снова увидите жену, детей. У вас есть дети?

Я молчу, спиной прижавшись к промёрзлой стене.

– Не хотите отвечать? Напрасно. Я вам зла не желаю. Я выполняю службу. Ешьте, не подводите ни себя, ни меня! Ешьте, пока каша горячая!

Всю ночь глазок не закрывался.

На третьи сутки меня переводят на больничное питание: появляется ароматный наваристый бульон, каша полита сливочным маслом, на ней красуется аппетитный кусочек поджаренного мяса. Вместе с офицером теперь ко мне входит врач.

– Кушайте, заключённый, не ослабляйте себя! – ласково рычат они в два голоса, умильно осклабясь и заглядывая мне в глаза.

– Бросьте издеваться над своим здоровьем! Будьте мужчиной! Что сказали бы вам ваша жена и мамаша? Ой, как нехорошо! Как глупо! Подумайте о своих деточках, будьте к ним добрее: съешьте кусочек!

Чувство голода постепенно притупляется: запах пищи, первые дни мучительно раздражавший нос и вызывавший бешеное слюнотечение, постепенно теряет свою привлекательность. На пятый день я его не чувствую. На шестой день появляется седой полковник, начальник спецобъекта. Уговоры. Угрозы. Просьбы. Я твёрд, как камень. Я вяло танцую вокруг стола, заваленного яствами.

На шестой день вечером входит дежурный надзиратель, опускает койку и тычет в неё пальцем. Не понимая, что он хочет, я осторожно сажусь. Внезапно врываются солдаты, опрокидывают меня навзничь и откуда-то взявшийся фельдшер вставляет мне в нос резиновую трубку и начинает вливать в желудок горячий наваристый мясной бульон. Всё происходит в один момент. Когда я вскакиваю, то чувствую, как мой пустой живот раздут и приятно согрет. Надзиратель бросил мне грубо:

– Голодовка кончена, понятно? Вы накормлены! Теперь голодать бесполезно: лучше садитесь и ешьте. Понятно? А?

Говорю – понятно или нет? Кушайте! Иначе будем кормить через нос три раза в день столько дней, сколько нужно, чтобы показать вам бесполезность такого номера! Вам это не понравится очень скоро.

Они убирают все лишние яства и оставляют скудный ужин. Когда все ушли, я присел к столу и с аппетитом поел. Голодовкой я не добился цели – клочка бумаги и карандаша.

Но если она не принесла прямых результатов, то дала косвенные: я получил очень ценные сведения о приёмах тюремного начальства – сроках допускаемого воздержания от пищи, о технике усиленного надзора, внезапных переходах от уговоров к угрозам. Обдумав все подробности, я установил очень важный факт: после объявления голодовки заключённого не обыскивают. А это меняло дело, то есть облегчало борьбу: ведь не даром же я бывший разведчик! Глаз у меня намётанный, острый – разведчик должен быстро находить щели в крепостных сооружениях противника!

И я поставил себя на диету, откладывая в день по ломтику хлеба и кусочку сахара. Хлеб я нарезал рукояткой ложки и осторожно сушил в старой шапке так, чтобы надзиратель не увидел в глазок. Кусочек сахара оставлял в кармане. Задача сводилась к тому, чтобы накопить восемнадцать сухарей и восемнадцать кусочков сахара. Затем объявить голодовку и потихоньку от наблюдателя три раза в день принимать пищу, по сухарю и кусочку сахара, в течение шести дней, а затем до принудительного переходить на нормальное питание и сразу же начинать копить тайный запас пищи для следующей голодовки.

Ну-с, в грязной шапке аккуратно сложено восемнадцать сухарей, в карманах мусолятся восемнадцать кусков сахара.

Всё готово. В бой!

Утром я становлюсь спиной к стене прямо под замёрзшим оконцем и стою неподвижно, когда из форточки протягиваются руки с хлебом, сахаром и чаем.

Снова всё то же – за дверью торопливые шаги, громкий шёпот. ЧП! Глазок больше не закрывается: я взят под усиленное наблюдение. Вот раскрывается дверь. Они. Сладкие слова с усилием выдавливаются из хриплых глоток. На грубых лицах умильное выражение, долженствующее изображать участие и доброту. Ладно, всё это уже известно. А вот когда дверь на секунду приходит в движение во время ухода из камеры уговаривателей, и надзиратель вынужден опу-

стить щиток на глазке, я мгновенно сую в рот сахар и хлеб и с невинным видом начинаю топтаться и дуть на пальцы.

Но выясняется неожиданное: скверный тюремный хлеб, высушенный без духовой плиты превратился не в сухарь, а в каменную плитку, которую я протолкнул в рот вместе с куском сахара, а теперь не в состоянии незаметно жевать. Я чувствую, что обе щеки надулись пузырями и хорошо видны из глазка, к которому я целый день до отбоя обязан всегда стоять лицом. Слюна заполнила рот и начинает протекать из губ. Я бешено работаю языком, стараясь повернуть проклятый камень во рту, чтобы поскорее раскусить его надвое. Не тут-то было! Чёрный глазок сверлит меня, капли горячего пота выступают на лбу, а чугунная плитка не поворачивается и не даёт проглотить слюну, которая стала капать на грудь. В отчаянии топочу изо всех сил, шагаю через рельсу туда и сюда – всё напрасно. И вдруг в последнее отчаянное мгновение в совершенно безвыходный растерянности щиток вдруг падает, и за дверью слышится чирканье спички: наблюдатель закуривает. Я моментально пальцами поворачиваю хлебный камень во рту, отчаянно раскусываю его пополам и потом ещё раз пополам. Во рту делается свободнее, слюна проглочена, я спасён.

В изнеможении опускаюсь на рельсу. Сейчас она мне кажется пуховой подушкой!

Не знаю, достаточно ли ясно для читателя, что в этой борьбе не должно было быть промаха или неточности: ведь если надзиратель заподозрил бы что-нибудь неладное, то устроил бы обыск с неизбежным обнаружением заготовленных ранее запасов, что квалифицировалось бы как обман начальства. Страшен был не столько карцер, сколько потеря возможности объявить голодовку. Я крепко надеялся на это оружие, оно было мое единственное, и потерять его означало бы потерять надежду, волю к борьбе и желание бороться.

Тогда оставалось бы только самоубийство.

Само собой разумеется, что уговорщики выполняли своё дело только формально. Обычно я стоял у стены, они жались к полузакрытой двери. Потупив голову, я молчал, а они грубо разыгрывали комедию задушевных уговоров. Нас разделял стол с роскошной приманкой, и не меня, а ее сторожили не спуская глаз: поэтому-то и остались незамеченными мои оттопыренные щёки. Отговорили положенное по заранее заученной шпаргалке – и конец: выскользнут боком

за дверь, закроют на ключ, и я свободен до следующего обхода дежурного офицера или врача. А начальник тюрьмы так вообще не соизволял войти в камеру и вещал благие истины издали, через порог, и был поэтому совершенно безопасен.

Но однажды в камеру вкатился толстенький румяный лейтенантик, как видно, только что приступивший к работе и ещё полный желанием все выполнять, как говорится, на все сто. Он сразу сел на рельсу и начал говорить, смотря мне в лицо с расстояния полуметра. Я стоял в своей обычной позе – спиной к стене, с наклоненной головой. Закончив трафаретные фразы, симпатичный парень в порядке пере-выполнения задания пустился в разговор от «себя»:

– Что это вы так опустили голову? Почему молчите? А? Ну скажите хоть слово! Поднимите же голову, заключённый! Говорю, поднимите голову и посмотрите на меня! Поговорим о вашей семье. У вас есть дети?

Я молчал, потому что рот у меня был набит сахаром и хлебом.

– Ах, как вы себя мучаете, как мучаете – пятый день ни крошки в рот не взяли! Бедняга! И зачем вы это делаете? Зачем?

Он заглянул мне в лицо. Щёки у меня торчали буграми от окаменевшего хлеба, который я проглотить не мог.

– Зачем вы так убиваете себя без пищи? Скажите хоть слово! Одно слово! Ну!

Рот уже наполнился слюной, и я знал, что скоро она потечёт на грудь, если я не получу возможности жевать. Горячий пот опять выступил на лбу – от напряжения, от страха и от смеха.

– Бедный голодающий! Возьмите же хоть кусочек в рот!

Наконец, в самый последний момент перед разоблачением, обиженный лейтенант встал и ушёл. Я проглотил хлеб и сахар и принялся хохотать. Теперь, когда я пишу воспоминания, мне эта история не кажется такой смешной, как тогда, но после ухода лейтенанта я хохотал искренне, неудержимо, весело. Молодой краснорожий попка откинул форточку и уставился на меня.

– Чего рыгочешь?

– Просто весело до невозможности! Ха-ха-ха!

– Не положено, чтоб весело. Не разрешается, понял?

Я опять вспомнил свои оттопыренные щёки и слова офицера и прыснул снова: сидел на рельсе и смеялся от души.

– Вот дьявол! – сказал попка и тоже стал улыбаться, глядя на меня. – Весёлое у вас расположение, папаша!

Две голодовки я провёл, требуя бумаги для заявления начальнику следственного отдела и министру государственной безопасности. Две голодовки имели другую цель – я требовал книг и прогулок, этого неотъемлемого права заключённых в тюрьме.

И все оказалось напрасным.

Только одна голодовка была вполне успешной.

Через полгода, осенью сорок восьмого, меня, согласно общим для всех тюрем правилам, тщательно обыскали и перевели в другую камеру. Она находилась в коридоре первого здания, недалеко от «вокзала». Камера оказалась сухой и сравнительно светлой, и я в первый момент очень обрадовался. Но выяснилось, что в этой части коридора собраны сумасшедшие. В гробовой тишине каменных могил время от времени раздавались вопли, всхлипывания, смех и громкие разговоры с воображаемыми родственниками.

– Мама, скажи Валюше, что я ещё жив! – выкрикивал молодой голос беспрерывно день и ночь с промежутками примерно в полчаса. Он действовал мне на нервы. Только успокоюсь, отвлекусь, займусь своими мыслями – и вдруг в звенящей тишине живого кладбища опять тот же рыдающий голос.

– Мама, скажи Валюше, что я ещё жив!

И меня снова начинало трясти. С каждым выкриком всё сильнее и болезненнее. Я чувствовал, что тоже схожу с ума, что ещё немного, и опущусь на четвереньки и завою сам. В отчаянии я объявил голодовку и потребовал перевода в другое место. Меня действительно сейчас же перевели в отдалённый конец второго здания в камеру, выходящую во двор. Было тепло, камера показалась мне салоном. Переселяясь, я услышал из-за соседних дверей нарочито приглушённые голоса, смех, слово «мат!» и звук передвигаемой по доске шахматной фигуры. Кругом жили люди! Спецобъект, как все советские тюрьмы, – это хитроумная кухня, где готовятся самые разнообразные блюда. Мне пока предписано самое острое. Но спецобъект совсем не мёртвый дом: Достоевский многого не знал и многого не додумал с тюремной точкой зрения. Он показал себя мягкотелым **фрайером**.

Вывод?

Надо жить! Надо бороться!

Любопытно, что крушение иллюзии о возможности добиться изменения режима путём голодовок совпало у меня с подъёмом сил, вызванным, надо думать, отсутствием холода и звуками человеческой речи из соседних камер: пусть я в одиночке, пусть меня мучают молчанием, но ведь рядом сидят люди вдвоём, они играют в шахматы и, без сомнения, читают книги!

А почему и мне не могут внезапно изменить режим?

Это возможно, условия для этого имеются, а значит, надо ждать!

И я решил написать стихотворение и потом музыку к нему – пусть оно станет для меня гимном. Я не представлял себе, как пишут стихи и музыку, но смело принялся за дело. Сначала получилось что-то довольно длинное, но мне казался важным не объем, а чеканность и лаконичность формулировки. Гимны бывают разные, и мой гимн может быть только боевым! После тщательных поисков выразительной формы и безжалостных сокращений я, наконец, довёл моё творение до возможного для меня совершенства.

Это был торжественный день!

Пообедав, я встал, развёл руки, как дирижёр большого оркестра, и грянул в пространство мой гимн, звучавший как вызов:

Буду биться до конца,
Ламца дрица гоп-ца-ца!

Глава 4

Новая цель

Одиночная камера режимного спецобъекта. Кончается первый год испытания одиночеством.

В качестве туриста я бывал в одиночных камерах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей, таких сухих и обширных, что многие и многие советские семьи охотно вселились бы туда по первому зову. Во дворе я видел рядки, которые каждый день заключённый получал в своё распоряжение для физической работы на свежем воздухе. Глядя на деревянный стол под окном, табурет, перо и чернильницу, я вспомнил литературные и научные труды, написан-

ные в одиночных камерах политическими заключёнными царского времени – Писаревым, Морозовым и другими. Но то было время отсталое, поистине детское, оно ушло безвозвратно. Теперь всё было иное, передовое, научное. Продуманное до мелочей. Когда я сам попал в одиночную камеру, то она оказалась далеко не детской, и сравнивать меня с героями борьбы против царизма оказалось невозможным.

Те сидели за действительные нарушения законов, никогда ими не отрицавшиеся, и гордились этим; у меня вина отсутствовала, и внутреннего стержня для сохранения морального равновесия не было.

Их семьи оставались в полной безопасности; моя была истреблена.

Те сидели по суду и знали точно срок своей изоляции; я живым был брошен в могилу без суда, по самоличному распоряжению чиновника и не знал срока своего пребывания в одиночной камере.

Те сидели в обширных помещениях, могущих по советским понятиям вместить десяток, а то и два заключённых; я сидел в каменной могиле с рельсой посередине, и место для прогулок у меня равнялось одному шагу с одной стороны рельсы и одному шагу с другой стороны.

Там было тепло, здесь – холодно.

Там было сухо, здесь – сыро.

Но не это главное! Не это!!

Там водили на прогулку и давали возможность трудиться над грядкой, а здесь дни, недели и месяцы я пребывал в топтании на месте или сидении на проклятой рельсе, как на колу. При воспоминании о ней у меня и сейчас, двадцать пять лет спустя, начинает ломить позвоночник. Да, здесь всё было заранее обдуманно!

И теперь самое страшное.

Там разрешали книги, предоставлявшие возможность забыться – можно было читать их, перечитывать и заучивать наизусть, больше того – там заключённому давалась радость творчества – всё, чем он мог занять сознание. Здесь я узнал, что значат безжалостные руки абсолютного безделья, сжимающие бунтующий, изголодавшийся по работе мозг, руки, запускающие в него железный палец и поворачивающие так, чтобы нежная, высочайше организованная ткань, величайшее чудо природы на земле, превратилась бы потом в кашу, в месиво, в отброс.

Да, я сидел на рационализованном, продуманном и вполне современном режиме: железный палец был мастерски воткнут в мой мозг и прочно засел там.

На как долго?

Ещё до появления на свет Госплана и других планирующих госучреждений люди приучились заранее рассчитывать обстоятельства своей жизни. Во всех случаях и при любых условиях. Арестант, услышав на суде цифру присуждённого ему срока, прежде всего в уме начинал поудобнее устраиваться в своём новом положении. Эх, да что говорить – ведь даже приговорённый к повешению не будет равнодушно сидеть на гвозде, торчащем в сидении телеги, которая везёт его к месту казни. Человек всегда остаётся человеком, и каждый в жизни отодвигается от своего гвоздя по-своему, в зависимости от эпохи, возможности и склонностей. К примеру, арестант отсталого времени Писарев, сидя в Петропавловке, написал и даже напечатал (!!) ряд острых литературно-публицистических статей (срок у него был детский – петушок!), допотопный арестант Морозов (получивший всю тогдашнюю катушку) в Шлиссельбургской крепости обложился справочниками и углубился в дебри науки: он в камере предугадал и обосновал некоторые новые положения астрономии. А в наше просвещённое время мой друг инженер-электрик Котя Юревич, прикрывшись дырявеньким пальтишком, на нарах в Бутырках вычислял в уме диаметр сечения и число витков катушки воображаемого генератора; инженер-строитель Голубцов все дни напролёт шевелил бескровными губами, подсчитывая число кирпичей для строительства стоэтажного дома со стандартными квартирами на одного, три и пять человек. В Бутырках, лежа рядом со мной, без усталости шевелили губами и что-то высчитывали учёный, гинеколог и знаменитый авиаконструктор. Даже тихонький палачик Наседкин, пришпоренный вынужденным бездельем, развлекался по своей специальности – вычислял кубатуру братских могил для безвинно расстрелянных советских людей. Все изобретали себе работу! Чтобы не сойти с ума, каждый делал что мог и пытался подальше отодвинуться от гвоздя в меру своих душевных способностей и в пределах возможностей своей эпохи.

У меня тоже были свои способности и возможности, и по мере сил я старался пользоваться ими.

Это – непреодолимая жажда творчества, моя радость и моё проклятие. Всю жизнь я ходил как мешок, набитый

творческими замыслами, или был похож на беременную женщину. Но жизнь не позволяла мешку опорожниться, а женщине разродиться.

Моё детство протекало и трудно, и легко. Трудно потому, что по желанию отца я был перевезён из Крыма в Петербург и отдан на воспитание в чужую семью для освоения иностранных языков и приобретения **хороших манер**, а легко потому, что мой отец обязался до совершеннолетия отчислять на моё воспитание значительную сумму денег, позволивших матери и мне жить в хороших условиях. Но обесценивание рубля во время Первой мировой войны сломало эту золочёную клетку и обеспечило мне беспокойную трудовую юность: с шестнадцати лет я начал добывать средства на жизнь тяжёлым физическим трудом на море. И всё же к восемнадцати годам хорошо окончил гимназию, мореходную школу и частные художественные курсы. Творческие планы, помноженные на веру в себя, распирали мне грудь. Но вокруг бушевала Гражданская война, и, чтобы не служить у белых, я вместе с революционно настроенными моряками бежал в Константинополь. Начался труднейший период моей жизни: одинокая молодость за границей – опасности, голод и изнуряющий труд на палубах и в кочегарках. Я стал бродягой, бывал безработным, тонул в штормах и все же никогда не упускал случая делать зарисовки и писать заметки – так, себе, для того чтобы потом скомкать их и бросить за борт. Потому что трудная и жестокая жизнь казалась мне захватывающей радостью, и я хотел хоть на полчаса остановить для себя её быстротечность. Эти маленькие записки и зарисовки являлись острой внутренней необходимостью.

Потом я стал работать в торгпредстве в Праге. И когда отдохнул и отъелся, и мой жизненный опыт расширился в результате сложнейшей явной и конспиративной работы, то мне показалось, что в моих руках накапливаются сведения, которые имеют общественное значение. В двадцатых годах у нас было мало авторов, хорошо знавших Европу и наблюдавших западную жизнь не поверхностно, из окна вагона, а изнутри, из самых тайников. «Судьба дала мне в руки большие возможности и надо воспользоваться ими! Я буду писать! Не потому, что страдаю писательским зудом или воображаю себя гением, и не из-за денег, но во имя гражданского долга. Ведь я боец! Я на фронте. Напишу весёлую и

ядовитую книжечку о буржуазной Европе и о западном мещанстве – пусть она явится выстрелом по врагам», – сказал я себе и принялся за дело. Тем более, что кое-какой опыт у меня имелся: мои первые статьи о белой эмиграции попали в печать в двадцать четвёртом году, в следующем году я поместил ряд литературных очерков, связанных с политическими вопросами текущего дня, а с двадцать седьмого стал сотрудничать в экономических журналах и одновременно копить материалы для своей книги – вырезки, фотографии, наспех сделанные заметки, даты и цифры. Дело подвигалось удачно. Государственную работу на юридическом факультете на тему «Основные проблемы права в освещении исторического и диалектического материализма» в двадцать восьмом году я писал вдохновенно, как в угаре, и она мне удалась. В ней я как бы подытоживал уроки своей бродячей молодости: всё то, что тогда просто прошло перед глазами и было только выстрадано физически, теперь получило внутренний смысл, слепая жгучая злоба одинокого двадцатилетнего парня получила политическое обоснование. Я прозрел. Стал коммунистом не потому, что прочёл книги Маркса и Ленина, и не потому, что эти идеи мне подсказал партийный агитатор; нет, они были вколочены в мою голову годами лишений и горя, я стал коммунистом задолго до того, как сам осознал это. Слово «коммунизм» в моём сознании было написано раскалённым кочегарным ломом и закреплено рёвом ледяных валов, перекатывающихся через палубу.

– Текст вам прислали из Москвы? – спросил профессор, пугливо приоткрыв ротик. Этот вопрос показался мне вознаграждением: ещё бы, я писал кровью сердца и поэтому чувствовал, что написал хорошо! Получилось не сухое исследование, а боевой политический призыв!

К началу тридцатого года рукопись книжечки была готова, и я стал рваться домой, в Москву, учиться в Академии внешней торговли и дать ход своему произведению. Направление в Академию было в кармане. Но тёмной январской ночью тридцатого года на конспиративной встрече в парке я получил неожиданно фантастическое предложение – инсценировать отъезд из Праги в Москву и опуститься в глубокое подполье – стать советским разведчиком. Тогда все страны мира откроются передо мною! Нужно полетать по свету лет пять, а потом отправлюсь в Москву, в Академию, но уже другим человеком, более опытным и нужным. Сутки не при-

касаясь к еде, я метался по комнате из угла в угол, как зверь в клетке. Ночью сжёг рукопись и все литературные материалы. На конспиративной встрече заявил: «Предложения принимаю. К выезду готов».

Семь лет я колесил по свету. Сначала только смотрел большими глазами. Потом стал опять подкапывать материалы. Наконец приступил к писанию первого **зашифрованного** варианта на разных языках в зависимости от паспорта, по которому жил. Это уже был не юношеский задорный политический памфлет, а книга, тоже политическая и тоже ядовито-задорная, но написанная в ином, более высоком плане и на основании неизмеримо более обширного жизненного опыта. Она должна была выйти с моими иллюстрациями. Их я заготовил там же, за границей, по свежим впечатлениям, так сказать, сделал зарисовки с натуры. Более того, даже заказал клише и явился в Москву уже во всеоружии. Друзья и рецензенты в общем одобрили текст и рисунки, я сел за окончательную отработку рукописи по их указаниям и подготовку ее для сдачи в редакцию. Наконец всё было готово. Я торжествовал. Но в тридцать восьмом году был арестован. Рукопись вместе с клише изъяли и уничтожили.

В лагере на втором году заключения решил осторожно подбирать новый материал. Сначала только в голове. Потом осмелел: с сорок третьего года стал писать и делать зарисовки. Безголовость начальства очень помогала: я не скрывал, что пишу и рисую. Напротив – показывал свои работы всем желающим, и мои рисунки не только не отбирались, но даже заказывались начальниками для себя – в них они видели **весёлое** лагерное подражание шуткам «Крокодила». Например, особенно им нравился такой акварельный рисунок: зелёный человек-скелет в лагерных лохмотьях, с огромной лошадиной костью в руках стоит на одной ноге на мусорной куче около кухни на фоне вышки и огромной розовой луны, запутавшейся в колючей проволоке. Добрые дяди сердечно хохотали и заказывали всё новые и новые экземпляры, в особенности после того, как я дополнил рисунок одной верной и живописной деталью – скелет-оборванец с костью стал ещё и мочиться себе под ноги, а налитые кровью и слезами безумные глаза я увеличил до размеров уличных фонарей.

– Ну вылитый лагерник-пеллагрозник из инвалидного барака! – одобрительно кивал начальник режима и ставил в

углу подпись и печать. – Чистый «Крокодил»! Лопнуть можно со смеху.

Год за годом накапливались написанные и нарисованные материалы со штампами и без них, и я окончательно обнаглел: на один со штампом хранил два без штампов. Человеческие документы накапливались, отрабатывались, приводились в порядок. Персонажи моих записок сами участвовали в их критическом обсуждении, и это очень помогало. Я приступил к составлению хорошо замаскированных и тщательно перетасованных воспоминаний. Часть черновиков поручил вынести за зону сочувствовавшему вольному врачу З.Н. Носовой, часть – своей лагерной жене. Как раз в это время Анна Михайловна окончила срок и под платьем пронесла через вахту увесистый пакет. Для контрика это было героизмом, игрой со смертью: новый срок она бы не вынесла. Вольный врач потом исчезла с поля зрения, жена все сберегла до моего возвращения из заключения. Но это были только отдельные куски. Всё в целом – текст и рисунки – я хранил при себе в лагере и сам сжёг их после внезапного вызова в Москву в конце сорок седьмого года.

Теперь в одиночной камере режимного спецобъекта, тысячу раз обысканный и миллион раз тяжело униженный за одиннадцать лет заключения, я был поставлен перед выбором жестоким и беспощадным. Что делать? Как жить? Чем и для чего?

Когда погасла надежда добыть книги и прогулки голодовками, то меня охватило острое отчаяние: на какой срок я погребён заживо? На год? Десять? Все четырнадцать? Только бы знать! Знать заветную цифру! Как всё бы изменилось... Я даже извещение о необходимости сидеть здесь весь оставшийся срок принял бы с радостью, не с облегчением, а именно с радостью: как гора упала бы с плеч, если кончилась бы эта проклятая неизвестность. Года три я выдержал бы с трудом, но выдержал бы, сидеть ещё одиннадцать лет оказалось бы бессмысленным, и я, скрежеща от ярости зубами, покончил бы с собой. Жить можно только с надеждой, умирать должно, когда надежды не станет. Но эта дьявольская неизвестность! Тончайшая из пыток, придуманная рационализаторами! Что мне делать – жить или умереть?! Жить без дела невозможно, а кончать с собой, то есть складывать оружие, жалко и преждевременно: это похоже на трусость!

И я решился. Надо спастись через труд!

Буду писать длинейшую книгу воспоминаний – яркую, красочную, развлекательную. Без бумаги и ручки. В голове.

Да, да, в изувеченной молотком следователя, но всё ещё живой голове.

Не в голодовках выход, а в невидимом уходе в мир свободы и солнца!

А это значит – в борьбе...

Глава 5

Путешествие в Африку

Прежде всего следует сделать небольшую оговорку. Эту главу можно назвать «Тюремный психоз», потому что в ней мне предстоит описать последствия для здоровья длительного пребывания в одиночной камере спецобъекта. Эта тема – чисто медицинская. Без специальных терминов тут не обойтись, и многим описание симптомов заболевания и выздоровления покажется скучным. Что поделаешь! Я не пишу роман, где подобные описания неуместны. Моей задачей является объективная констатация фактов, и, подробно описав мучительную обстановку, было бы нелепо умолчать или скомкать описание реакций на неё человеческого организма. Сама тема вынуждает меня быть **скучным**.

Итак, я уже писал, что в ночь на первый день седьмого месяца пребывания в данной камере заключённого с вещами выводят на «вокзал», раздевают донага, тщательно обыскивают и вводят в другую камеру. Два первых полугодия я просидел внизу, в тёмных, сырых и, главное, холодных каменных могилах, и был вполне уверен, что все камеры спецобъекта именно такие. Однако при третьей смене меня провели через двор, подняли на второй этаж здания гостиничного типа и втолкнули в крохотную угловую камеру: очень сухую, тёплую, высокую и светлую, похожую на уютную скворечницу. Если внизу, в морозном полумраке каменных могил, я ещё колебался между отчаянием и надеждой и ожидал расстрела или объявлял голодовки, то, войдя в весёленькую скворечницу, довольно потёр руки.

Эта камера не была запроектирована при постройке здания – её выкроили при переделке монастырской гостиницы под режимную тюрьму: окно было широкое, и когда заложили кирпичами низ, то вверху осталось достаточно места, чтобы солнце могло обозревать мой стриженный затылок (шапку и бушлат я с наслаждением снял после года непрерывной носки). Больше того, откидную кровать укрепили на перегородке с соседней камерой, а косой угол пришёлся против стола и образовал некоторое подобие треугольной прогулочной площадки размером в полный человеческий шаг; если сократить шаг до половины, то получалось два шажка, и если до четверти – четыре шажка. А это уже немало, тем более что оставались в запасе два обычных места для топтания – у двери под глазком и у окна под светлым солнечным окном. Топтаться под дверью полагалось, повернувшись носом к глазку, а под окном – лицом ко всей комнате. Это давало впечатление смены пейзажей и вносило безусловное разнообразие. Вообще, я всегда гордился своим большим ростом и крепким сложением, а вот теперь в первый раз пожалел: всё-таки удобнее в скворечнице сидеть именно скворцу. Но здесь было светло и тепло, и я чувствовал прилив бодрости. «Чего я приуныл? – повторял я себе. – Разве я не решил ещё в первый же вечер после приезда в Норильск, что именно трудности и делают пребывание в заключении пиром бессмертных? Надо скорее начать писать. Но что именно? Гм... Вопрос серьёзный».

На втором году заключения, во время этапа из Норильска, умиравший у меня на руках заключённый внушил мне мысль о том, что мы, невинно осуждённые советские люди, должны найти утешение и опору не в смаковании мыслей о мести нашим мучителям, а во внимательной регистрации всего виденного, тщательном отборе и запоминании главного и в непрерывном усилии поглубже и получше понять причины и смысл случившегося. Иначе говоря, надо превозмочь своё личное и подняться до общественного. Ни на минуту не забывать, что мы – драгоценные для суда истории свидетели. Это нужно для того, чтобы дожить до освобождения и донести до миллионов советских людей правду о злодеяниях сталинского времени, сделать их повторение в будущем невозможным. Это – наш долг. И я не терял времени. Книгу воспоминаний о следствии и суде обдумал ещё в Мариинском отделении Сиблага летом сорок первого года,

но писать её можно только после освобождения; книги о Норильске и этапе оттуда обдуманы и частично уже написаны в Суслово: материал о Мариинске и Суслово необходимо освоить внутренне, это дело будущего. А сейчас я сижу в спецобъекте и коплю материалы для книги об испытании одиночеством. Все мое хозяйство находится в полном порядке. А так как описывать изоляцию от внешнего мира трудно, потому что событий в тюрьме нет, то я сам придумаю себе события – отправлюсь в далёкое и долгое путешествие по Африке и совмещу прелесть ярких воспоминаний с ужасом сиденья в могиле. Решено: начну писать в голове наиболее ответственные куски книги об Африке. Если выйду на волю, то дописать мостики между ними будет недолго и нетрудно. Получится то, что надо. Именно в книгу о спецобъекте можно будет разумно ввести в текст о сером и холодном настоящем куски яркого и жаркого прошлого и занимательно переплести эти два совершенно разнородных материала!

Так у меня опять появилась цель жизни, а вместе с ней и желание жить. Торопливо поев, я уже спешил прижаться спиной к стене и начать обдумывать план. Мой герой – Андрей Манин, русский, случайно попавший в конце Гражданской войны в Турцию (конкретный материал заимствую из биографии Коти Юревича, моего приятеля по константинопольскому колледжу). Волею случая он получает документы на имя голландца Ганри Манинга, оканчивает колледж и колесит по миру как аполитичный наемник – репортёр, рисовальщик и фотограф американского агентства «Новости мира» (конкретный материал – по опыту моей жизни и по рассказам Ганри Пика, голландского художника, работавшего в нашей разведывательной группе). Пик рассказывал, как до поездки в Африку он жил спокойным обывателем, но ужасы колониальной действительности пробудили в нём протест совести и желание бороться за правду на земле и в конце концов сделали его революционером. В жизни Ган Пик пошёл в нашу организацию, в романе Ган Манинг уйдёт на фронт под Мадрид (я в Мадриде бывал и Испанию достаточно знаю). Попутно для контраста следует дать историю конголезского молодого человека (по моим собственным наблюдениям). Первый план книги – развитие характера двух героев, второй – показ людей и природы Конго.

Таков скелет романа. Почему Андрей-Ган едет в Африку? Это просто: американское информационное агентство

командировало его в дебри Конго для сбора сенсационных материалов. Он отправляется туда как современный гладиатор: вооружённый самопишущей ручкой и фотоаппаратом. Ну, всё. Ещё раз обдумаю и начну!

Не знаю, представляет ли себе читатель технические трудности этого дела? Ведь я не собирался писать летопись, в которой древний Пимен, особо не утруждая себя размышлением, просто заносил на бумагу все новости дня наподобие живого телетайпа. С самого начала я решил пройти мимо хроникального рассказа о виденном, потому что для серьёзного отчёта о поездке в Африку нужны точные данные, а их в камере спецобъекта у меня не было. Волей-неволей пришлось поставить перед собой гораздо более сложную задачу – **показа** действительности через тщательно отобранные примеры: за неимением точного материала такой показ при наличии правильного отбора произведет достаточное впечатление. Однако тем труднее окажется моя задача!

Писать в тюрьме роман без бумаги и пера – чисто советская идея, и её подсказал мне пример писателя Бруно Ясенского, с которым мы случайно встретились в тридцать восьмом году на Лубянке – он ожидал очередного допроса, я – разговора с начальством, от которого зависела моя судьба. Избитый и растерзанный Ясенский, чтобы не сойти с ума, «писал» в голове очередной роман. Он сознался, что это трудно. Но ведь автор романов «Человек меняет кожу» и «Я жгу Париж» был профессиональным писателем, а настоящий писатель, имея опыт создания двух романов, легче скомпоновал бы в голове третий и тринадцатый.

Но я не был **настоящим** и никогда не считал себя таким, и, тем не менее, хотел, чтобы моя продукция не так уж сильно отличалась от среднего литературного стандарта и чтобы воображаемый читатель не заснул бы при чтении моего произведения. Нужно было обдумать все детали, от титульного листа до примечаний и оглавления, распределить материал по главам, а главы – по разделам, и затем начать писать в голове текст, ничего не забывая, исправляя недочёты, замечая недомолвки, выбрасывая всё лишнее, добиваясь доступного мне совершенства. И всё это время сохраняя в голове общий план и предназначенный им объём глав и разделов, сохраняя стиль речи отдельных персона-

жей и авторского текста, заостряя диалог, подыскивая эффектные начала и концовки. Уйма работы! На десятой воображаемой странице голова уже распухает от всевозможных «не забыть бы это», «надо после вот того вставить такое дополнение» и т.д.

Летом в моём скворечнике себе на горе и мне на радость поселились два паука – Иванов и Цыперович. Беспартийный Иванов, чёрный, маленький и лохматый, плел паутину медленно и делал сеть такой редкой и толстой, что мошки замечали её издали и с презрением пролетали мимо. Рыжий длинноногий Цыперович был членом партии и выполнял все планы: он кончал работу в два счёта, но мошки рвали его некачественную паутину и бодро летели дальше. Оба товарища – партийный и беспартийный – вечно сидели голодными, и я сам ловил им мошек и подсаживал готовую пищу в паутину. Я их хорошо изучил, разговаривал с ними с утра до вечера, они, дураки, даже снились мне, и я во сне хорошо различал, кто Иванов и кто Цыперович. Так вот, надумав сочинить в голове книгу, надо было сначала решить вопрос – по какому методу? Иванова или Цыперовича? Я хотел бы изобразить что-то среднее и не спеша сплести качественный материал, но в условиях спецобъекта и миленькой скворечницы это оказалось совсем не просто.

Когда я мысленно во всех подробностях построил каркас будущей книги, то настал торжественный момент перехода от напряжённой технической работы к художественному творчеству, то есть заполнению мёртвой железной конструкции живой тканью жизни, её трепещущей плотью. В то знаменитое утро я торопливо помылся, кое-как проглотил завтрак и стал спиной к оконцу: в первую половину утра туда падали сквозь решётку лучи солнца.

– Да здравствует пир бессмертных! – сказал я себе гордо и выпрямился как на параде. – Пусть-ка министр Абакумов и генерал-майор Леонов сейчас посмотрят на меня! Подохнут от злобы, а? Однако время не ждёт. Как полагается по традиции, новый день и поднятие флага нужно отметить гимном. «Буду биться до конца, ламца дрица гоп-ца-ца!» Ну всё. Поехали!

Передо мной были грязная стена и пристёгнутая к ней тюремная койка, выкрашенная в серо-зелёный цвет дохлой жабы. Перед койкой торчала рельса. Перед рельсой – же-

лезный столик. Вплотную к столику стоял я, прижавшись спиной к стене. Теперь нужно оторваться от действительности и перенестись в далёкое прошлое. Я напрягся, перевёл дух. Начал:

– Глава первая. Господа развлекаются.

Сделал паузу, потом ровным голосом тихонько продолжил:

– Подвесив на спинку шезлонга кожаные чехлы с фотоаппаратом, биноклем и блокнотом для зарисовок и записей, Андрей...

Нет, трудно видеть перед своим носом дохлую жабу и говорить о далёкой Африке. Я плотно зажмурил веки и долго стоял так, вживаясь в настроение. Прошло пять минут. Десять. Двадцать. Тридцать. Наконец я медленно оторвался от этой жизни и шагнул в другую. Дальше пошло и пошло. Сначала мучительно и с трудом, потом полилось приливо и свободно.

Прошло месяца два.

Теперь я поднимаюсь с истинным удовольствием: сознание возможности поскорей приступить к любимой игре зовёт и гонит. Каждая потраченная на умывание и еду минута – обидная и невозвратимая потеря. О заключении я не думаю, его просто не существует. Всё во мне играет от приятного возбуждения. Ведь впереди день творческого труда! За дело! Едва закрыв глаза, я уже вижу солнце и пальмы, чёрных носильщиков и покачивающиеся у них на плечах самодельные носилки из прутьев, а в них бородатых бельгийцев в грязных шлемах. Мне ничего не стоит описывать то, что я удивительно ясно вижу прямо под своим носом, стоя у стены с закрытыми глазами, и слова льются непринуждённо и легко.

Я шепчу:

– Отрывок четвёртый. Деревня в Кассаи.

Делаю паузу. Продолжаю.

– «Прекрасно, – говорит себе Андрей, – сейчас увижу, как в тропической Африке добывают алмазы». Он снимает с груди фотографический аппарат. У него вид охотничьей собаки, готовой броситься на дичь. Внизу перед ним раскинулась зелёная долина, пересекаемая синими искрящимися полосками ручьёв. Андрей...

Снова прошёл месяц-два.

Закрывание глаз незаметно отпало, как в положенное время отпадает струп, обнажая розовое здоровое тело. Я

становлюсь спиной в угол, пристально смотрю вперёд, в тюремную стену и пристёгнутую к ней койку цвета дохлой жабы. Мои глаза совершенно здоровы и видят именно это. Зрительный нерв передаёт раздражение, и мозг в зрительный центр сигнализирует картину: впереди – дохлая жаба. Но в другом центре, слева, в височно-теменной области, в месте, по которому привольно гулял когда-то обёрнутый в вату и бинт молоток следователя Соловьёва, теперь всё ярче и ярче разгорается очаг неугасаемого раздражения, сила которого больше, активнее и агрессивнее силы сигнала из зрительного центра, и это постоянное раздражение подавляет случайный сигнал. Широко открытыми глазами я смотрю в стену и койку и совершенно ясно, во всех мельчайших бытовых подробностях вижу небольшое озеро в экваториальном лесу – нависшие над горячей бурой водой деревья и купающихся коричневых пузатых человечков: это – пигмеи, самые маленькие люди на земле.

Картина так ясна, что пишется легко. Как всё это просто! Надо только отмечать подробности и вести развитие сюжетной линии. В конце концов это не **писательский**, а **описывательский** труд – смотри перед собой и заноси на воображаемый листок то, что считаешь главным. Просто и легко! Я говорю себе под нос:

– Отрывок шестой. В гостях у каменного века.

Делаю паузу и продолжаю:

– Пигмей пробежал по огромной ветви, вытянувшейся над водой, и повис на одной руке, держа в зубах лук и стрелы. Потом спрыгнул в папоротниковые заросли и исчез. Это был часовой. Андрей...

Снова проходит месяц-два.

Я просыпаюсь от тупой боли в левой височно-теменной области: теперь голова у меня болит непрерывно, боль несколько утихает ночью, когда я не работаю, но быстро нарастает утром, едва я просыпаюсь и открываю глаза, задолго до времени, когда становлюсь спиной к стене в своём углу. С момента пробуждения и до момента наступления сна я с удовольствием работаю – ведь тюрьма и дохлая жаба исчезли: нет ничего, кроме повторного переживания наяву того, что уже было прожито много лет тому назад. Разница только в том, что тогда я был занят мыслями о деле и часто не замечал окружающего – жил в будущем. Теперь я не замечаю окружающего потому, что мною всецело овладело про-

шное. Иногда я ловлю себя на том, что пытаюсь надеть на голову брюки или не знаю, какой стороной одеваются ботинки – подошвой или разрезом для ступни: ведь я всего этого не вижу, ни брюк, ни ботинок теперь для меня нет. Больше того, здесь нет меня самого. Остались только механические навыки, автоматические движения подсознательного выполнения дневного распорядка, но в нём уже участвую не я, то есть не моё сознание, а моё тело и движущий его подсознательный нервный механизм. Когда что-то не получается, то приходится с досадой выключать непрерывно движущуюся в сознании ленту воспоминаний и включать органы чувств и сознательно реагировать на их сигналы – печально возвращаться оттуда сюда, из свободного человека становиться заключённым.

– Отрывок восьмой. Полёт над джунглями.

Делаю паузу и продолжаю:

– Из самолёта африканские экваториальные леса кажутся...

– Приготовиться к выходу в уборную. Живо! – Громко шипит из открытой форточки надзиратель. Что это? Несколько секунд я гляжу на него и не могу понять: кто этот человек, что он от меня хочет? Потом соображаю – утро, надо побыстрей одеваться! Путаюсь в тряпье, кое-как одеваюсь, хватаю парашу и несую её в уборную, но едва дверь захлопывается, как нить связи с окружающим прерывается, и с парашей в руках я остаюсь среди уборной, потому что вижу уже только тёмно-зелёную равнину внизу – верхушки исполинских деревьев, которые отсюда кажутся чуть шевелящимися пятнышками.

– Чего стали? Оправляйтесь! Умывайтесь! Быстро!

Я слышу приказ и повинуюсь. Но очаг раздражения в моём мозгу теперь почти всевластен; он опять погашает сигналы внешней жизни, и чей-то голос, ставший уже повелителем моего «я», властно диктует текст записи в невидимую книгу.

– Готовьтесь к выходу в камеру! Думаете сидеть в отхожем месте до отбоя? Марш!

– Чего оставили парашу? Забирайте её! А крышку?

– Получите хлеб и завтрак! Чего стоите? Берите ложку!

– Обед! Быстро! Не спите! Держите миску обеими руками!

– Ужин! Слышите? Ужин! Куда вы? Получите чай!

– Отбой! Чего вы стоите? Койка уже отпёрта! Ложитесь!

«Отпёрта? – мысленно удивляюсь я. – Значит, они уже входили в камеру. Странно! А я их совершенно не видел. И день прошёл? Как это могло случиться?»

Ещё проходит один-два месяца.

Теперь жизнь моя превратилась в ад. Ад. Ад. Ад. Сна нет, то есть я засыпаю, но во сне безжалостный голос не выключается, он не даёт мне отдыхать, он всё говорит и говорит, как мучитель и палач. Разницы между бодрствованием и сном нет, я целиком переселился **туда**, на ту сторону сознания, и только изредка чрезмерными усилиями воли представляю себя вернуться сюда, в **милый** спецобъект: это попытка бегства из проклятого ада в желанную тюрьму.

Я борюсь за возвращение в действительную жизнь, хватаюсь за неё – и напрасно: голос сильнее меня, он сталкивает меня обратно за черту. Раньше механическое переключение работы мозга гасило принудительное мышление: например, счёт, пение или декламирование стихов затыкало глотку голосу, и он смолкал на время, а с момента прекращения счёта, декламации и пения начинал говорить снова. Теперь он говорит не переставая, даже когда я думаю о чём-то другом.

Один я – это голос, он описывает то, что я вижу, он есть прошлое; другой я – этот тот, кто усилием воли пытается увидеть настоящее.

Сидя у столика и схватив ложку каши, я лихорадочно себе повторяю:

– Ложка. Ложка, ложка, каша, каша, каша. Вот я держу ложку, держу ложку, держу ложку.

А другой голос говорит:

– Отрывок десятый. В шахтах Катанги.

И против моей воли начинает диктовать текст.

Параллельно с возникновением, нарастанием и окончательным утверждением навязчивого мышления у меня начался второй болезненный мучительный процесс – замена мышления речевыми сигналами-словами, мышлением конкретным, то есть путём мысленного представления вещи или состояния. За многие тысячи лет человечество избавилось от необходимости думать конкретными образами и выработало упрощённую систему, при которой образ низводится до понятия, а последнее сигнализируется условным набором звуков. Например, построение в уме представления о четырёх ножах, перекрытых плоским верхом, заменена

четырьмя звуками – **с, т, о, л**. Теперь в моём мозгу произошла потеря накопленного тысячелетиями опыта, и я возвратился к утомительному мышлению образами.

Вышедший из повиновения мозг продолжал неуклюже и медленно работать – переживать то, что я видел когда-то. Против мой воли, ведь её уже не осталось. Он жевал самостоятельно, вместо неё и вне её.

Прошло ещё полгода. Очередная смена камер. Но мне это было безразлично. Меня в тюрьме уже не было: я путешествовал по Африке...

Глава 6

Возвращение

Возвращение **оттуда** началось весной пятьдесят первого года, на третьем году сидения в одиночке. Оно происходило медленно и постепенно. Изнемогавший от переутомления мозг выключился и стал исподволь набирать силы. На определённой стадии выздоровления сознание включилось снова. Старый очаг раздражения вспыхнул опять, но был так слаб, что внешние раздражения мало-помалу подавили его.

Они оказались сильнее потому, что ни одно самое страшное воспоминание не может быть страшнее действительности.

Помню, я сижу на табурете в небольшой белой комнате с полками для лекарств, и два человека в белых халатах возятся с моими глазами. Я вижу плохо сквозь коричневую муть, которая, очевидно, плавает внутри глаза и колыхается вместе с поворотом головы или движением глазного яблока. При взгляде в окно я вижу, что прутья решётки и переплёт рамы по краю неба окрашены с одной стороны в фиолетово-синий, а с другой – в красный цвета. Глаза у меня сильно болят, боль чувствуется от лёгкого давления на глазное яблоко.

– Дайте дионин, Иван Петрович.

– Слушаю, доктор.

Они капают в мои глаза жидкость, и я чувствую, что по ним как будто проводят ножом. Мычу от боли.

– Он хорошо реагирует, доктор.

– Да, последнее время.

– Идёт на поправку?

– Трудно сказать. Глаукома у него прогрессирует. Как бы не пришлось делать энуклеацию.

– Обоих глаз, доктор?

– Конечно.

Я тупо слушаю. Что-то доходит до меня. Как из-за стены. Глаукома... Энуклеация.

«Что такое энуклеация? – тупо думаю я. – Знакомое слово. Энуклеация... Энуклеация... Нет, всё забыл...»

Солдаты ведут меня под руки до камеры. Сквозь коричневые хлопья, медленно колеблющиеся внутри глаза, я различаю двор, траву, загородки для прогулок, деревья с молодой листвой. Меня тащат куда-то вверх и сажают в камере на удобный табурет.

– Ешьте. Принесли обед. Вас перевели на больничное питание.

Я едва узнаю кусок жареной свинины на просяной каше. Глаза невыносимо болят, но я чувствую голод. Отыскиваю ложку и начинаю есть.

«Что такое энуклеация?»

Помню тёплый солнечный день в спецобъекте. Я чувствую себя лучше. Солдаты под руки ведут меня, вводят в прогулочный дворик и усаживают на стул. Я сижу неподвижно – отвык двигаться. В маленькой прогулочной загородке чувствую себя потерянным, как-то неудобно – не то тоскливо, не то страшно. Иногда поднимаю голову и смотрю на небо. Бурые хлопья в глазах медленно плывут книзу, небо кажется пятнистым. Это неприятно. В полумраке серой камеры хлопья совсем не видны. И вообще в камере теснее, уютнее. Я неожиданно замечаю, что поле зрения с одной стороны окрашено в слабо-зеленоватый, с другой – в красноватый.

– Что у меня с глазами, – бормочу я себе. – Болят. Плохо видят. Что со мной случилось?

Голова пока что работает плохо. Но уже работает. Я вспоминаю слова врача. Что-то соображаю.

– У меня глаукома. И ещё что-то...

Из серой паутины, опутавшей мозг, неожиданно всплывает странное, непонятное слово.

И вдруг я вспоминаю, что оно означает: энуклеация – это хирургическое удаление глазных яблок. Их вырезают скальпелем из глазниц.

Само собой разумеется, что в течение второго года заключения в спецобъекте я не лежал в бессознательном состоянии, я ходил, ел и, конечно, о чём-то думал. Но мышление к тому времени стало лишённым эмоций и плоским, и поэтому эти месяцы теперь, много лет спустя, ощущаются как провал в сознании. Однако выздоровление уже подготавливалось исподволь, и не случайно, что первым воспоминанием **с этой** стороны оказался приём в амбулатории и разговор о глаукоме. Сообразив, что мне грозит слепота и врач собирается удалить оба глаза, я вдруг как бы проснулся: возникли острейшие эмоции! Получился как бы размашистый и свирепый удар плетью: полудохлая кляча рванулась вперёд и вынесла колымагу из ухаба.

Теперь разом вернулась присущая мне воля к жизни.

– Нет, нет, – бормотал я себе. – Глаза мне нужны самому... Как в заключении жить без глаз? Затопчут... Заключают... В заключении без глаз беда: здесь беспомощность хуже смерти!

Меня охватил мощный порыв протеста, жажда жить, желание бороться за своё здоровье, решимость во что бы то ни стало всё преодолеть и опять победить. В мозгу вспыхнул новый сильнейший очаг раздражения, который окончательно подавил затухающий первый: болезненная игра в воспоминания кончилась, мозг получил новую пищу для работы, и я мало-помалу окончательно высвободился из-под власти принудительного мышления.

Моя камера, вероятно, когда-то являлась гостиничным номером для богатых богомольцев. В большое окно при советской власти вставили решётку, но сквозь неё в камеру упорно лезла свежая, пахучая листва. Воздуха было много, места – ещё больше. Я стал два раза в день обтираться холодной водой и раз десять устраивал себе сеансы гимнастических упражнений. Однажды совершенно неожиданно сквозь дверную форточку мне просунули пачку книг. Я чуть не расцеловал их! Конечно, читать было нельзя, но сам вид кипы книг уже успокаивал и радовал. Я ходил по паркетному полу, лаская книгу в руке, и наслаждался! И тем временем начал наблюдать за своим здоровьем, то есть приступил к подсчёту потерь, – так же как сделал в камере Лефортовской тюрьмы после окончания следствия.

По пульсу определил у себя очень значительное повышение артериального давления – далеко за двести. Отсюда боль в голове и неустойчивость походки. Отчасти отсюда же глаукома. Она наблюдается не у всех гипертоников, и в моём случае она – продукт трёх слагаемых: ударов по голове на допросах, нервного расстройства от десяти лет в лагере и двух в спецобъекте и перенапряжения от писания в голове книги. Но это не всё: появилась агнозия, и я принялся подсчитывать, через сколько дней случается заметный мне самому эпизод неузнавания надзирателя или миски с супом и непонимания, чего от меня хотят. Выяснилось, что такие явления случаются через день-два. Я засе́к среднюю цифру и стал наблюдать – не появится ли тенденция к улучшению. Раза два-три заметил, что эпизод повторился на третий или четвёртый день – и воспрянул духом! Тут выявил ещё один симптом: потеря правильной ориентации в пространстве. Вечером, когда зажигался свет, через окно в камеру влетали комары, и они-то и послужили мне подопытными животными. Дело в том, что комары летят по прямой линии и медленно, а не зигзагообразно и быстро, как мухи, например. Вечером комарик влетит и начинает золотой точкой прямолинейно двигаться по продолговатой комнате. Я стану так, чтобы источник света был за моей головой, и хорошо вижу медленнодвигающуюся точку. А поймать её не могу, не понимаю, далеко она или близко и куда нужно махать рукой, чтобы сбить комара. Где-то за стенами спецобъекта помещался пионерский лагерь, и через окно, бывало, то и дело доносились весёлые крики детей и распоряжения воспитательниц: «Вова, одень куртку, уже прохладно!», «Слава, доешь бутерброд, потом играй!» А я до пота охотился за комарами, засекал частоту промахов и с замиранием сердца следил за тенденцией, всё ждал, когда стану целиться лучше. В прогулочном дворике сначала научился ползать, потом ходить и наконец маршировать. Украдкой несколько раз заглянул в книги. Много читать было нельзя, но сознание того, что я уже читаю, меня сильно успокаивало. Иногда, в виде опыта, я осторожно угощал себя мозговым книгописанием, но так, чтобы не переутомить голову: мне хотелось понаблюдать над постепенным угасанием вневольного мышления. Когда прошла неделя-другая без мысли о книге, тогда я радостно и счастливо дал себе короткий сеанс писания в голове – по своей воле и лишь столько, сколько хочу.

Мышление опять стало подчиняться мне, и опасное заигрывание с бывшим мучителем и господином теперь доставляло мне истинное удовольствие – побаловаться и затем выставить его вон за дверь!

Этим летом в спецобъекте, неожиданно ставшем для меня санаторием, я занялся своим костюмом. Было пора: старенькая гимнастёрка и брюки истлели на мне и требовали самого срочного ремонта.

В рабовладельческой системе тюрем и лагерей чистота и порядок бывают только там, где работают заключённые: все вольняшки, от самого маленького «стрелочника» до самого высокого начальника, заражены пренебрежением к физическому труду, который господам не положен и выполняется только белыми неграми. Так было и в уборной спецобъекта. Убирать её полагалось стрелкам, а значит лужи мочи не высыхали на полу и в них плавали жёлтые окурки и спички. Но я заметил в углу мокрую швабру, которой проталкивают в дыру испражнения и мусор, – она должна была стать источником обновления моего костюма. В промежутках между наблюдением из глазка я стал поспешно отрывать от неё куски материала – швабра была сделана из солдатских гимнастёрок. Не тут-то было! Или руки у меня ослабели, или материя ещё недостаточно сгнила, но оторвать удобные на латки куски не удавалось. Пришлось пустить в ход зубы, они у меня были хороши – сильные, белые и крепкие, как у зверя. Избегая швов, я в течение нескольких дней нарывал лоскутков нужных размеров и формы. Одновременно собрал спички, высушил и заострил кончики. Лоскутки высушил, оторвал с краев куски фабричной нити, протёр кусочком мыла и получил штопальные нитки, торчавшие как короткие проволоочки. Употребляя спички как шила, сделал дырочки в гимнастёрке и брюках, а также в соответствующих латках, и скользкими и упругими нитками-проволочками пришил латки на намеченные места. Конечно, латки оказались непрочными, и скоро пришлось еще раз повторить ремонт, насаивая латки на латки. Одежда превратилась в панцирь: снятая гимнастёрка теперь стояла на полу стоямя, как водолазный скафандр, расставив рукава точно для страстного объятия. Она проиграла в смысле запаха, но выиграла в отношении тепла, а это очень скоро понадобилось: меня сочли выздоровевшим, отобрали книги, перевели с боль-

ничного на общее питание и, когда кончился шестимесячный срок, сунули опять в холодную, тёмную и сырую камеру того корпуса, который был ближе к бане и дальше от «вокзала» и соединялся с «вокзальным» корпусом фанерной галереей. Наступило шестое полугодие сидения в шестой камере спецобъекта (думаю, что она помещалась недалеко от первой). Теперь, наученный опытом, я на неё не жаловался; она оказалась достаточно просторной, чтобы, став у двери спиной к одному концу замкнутой койки, можно было идти вперёд вдоль рельса и столика, сворачивая налево, проходить стол и сворачивать ещё раз налево и идти к другому концу койки. При моём росте всю дорогу можно было пройти в три небольших шага. Но если делить каждый шаг на три, то получалось уже девять шажочков, а с ними в качестве прогулочного пространства советский человек мог вполне спокойно прожить положенное ему на земле время, то есть в моём случае ещё двенадцать лет заключения, потому что я был вполне уверен, что и ссылку мне заменят одиночкой.

Глава 7

Снова среди людей

Началась зима. Моя шестая камера не была ни особенно холодной, ни тесной: с осени я напялил на себя всё, что имел, и приготовился просуществовать в этом тряпичном панцире до весны. А что касается пространства, то, как я уже отметил, оно имелось, и мелкими шажочками я каждый день шестнадцать часов делал ломаный полукруг вокруг стола – от изголовья кровати до её другого конца. Оконце обледенело, и в камере круглые сутки горела над дверью красноватым светом подслеповатая лампочка. В этой розовой полутьме я должен был всё время держать лицо перед глазком для контроля, это осложняло движение и заставляло крутить головой так, что к вечеру болела шея. Но всё же я обжил спецобъект и приспособился к этой форме бытия. Смутно ощущалась только некоторая пустота в умственной деятельности. Я «выздоровел», выдачу книг давно прекра-

тили, а писать в голове, по правде говоря, просто боялся: легко было снова переутомить мозг и соскользнуть обратно за черту – туда, откуда я с таким трудом выбрался. Образовался провал. Но едва я его почувствовал, как жизнь услужливо заткнула дыру.

Цементный пол по положению я натирал красной мастикой и до блеска полировал обрывком шинели раз в десять дней, перед душем и сменой белья. Разгуливая по своему бульвару и вертя головой, чтобы надзиратель видел лицо, я неожиданно заметил, что позади меня шевелятся кусочки пола, они бегут за мной, как бурые крысы. Свет туда едва достигал, но сомнений быть не могло: мне ясно виделись крысы. До этого, в своей засыпанной снегом могиле, я совершенно отчётливо слышал чириканье и пение птиц – значит, к слуховым галлюцинациям добавились еще и зрительные. Что бы это было? Сифилисом я не страдал и чёртиков, которых видят при сухотке спинного мозга и белой горячке, видеть не мог.

Я стал наблюдать днём, когда оконная решётка более или менее чётко вырисовывалась на светлом фоне прозрачного льда. Оказалось, что это – скотомы, местные нарушения зрения на почве спазмов мелких сосудов глазного дна. На фоне окна эти участки расплывчатого зрения казались как бы пузырями, которые надувались и лопались, на фоне полутёмного пола – кратковременными искажением поля зрения («шевелящиеся крысы»), а при закрытых глазах я видел их как мелкие появляющиеся и исчезающие светящиеся точки – тускло-белые и блестяще-голубые.

Я достал кусок берлинского мыла, подаренного мне ещё в Красноярском распределителе доктором Минцером и хранившегося в моём мешке двенадцать лет, подобрал в уборной спичку и стал делать на поверхности мыла точки – один ряд для белых скотом, другой – для голубых. Конечно, надзиратель это заметил, вызвал офицера, и на вопрос, что это за сигналы и кому именно, я объяснил и при них пальцем стёр точки. Мыло мне вернули, и я продолжал наблюдения, тем более что месяца через три заметил, что вспышек стало меньше. Я снова воспрянул духом и удвоил занятия гимнастикой, хотя мешала тяжёлая от гипертонии голова и сильная боль в глазах. Так прошла зима. Третий год заключения кончался. Я стал ждать перевода в новую, седьмую по счёту камеру. Когда стрелки пришли и вызвали с вещами, то от

волнения случился ставший уже довольно редким эпизод агнозии — я не узнал, кто они и чего от меня хотят. Затормозился, споткнулся о рельсу, упал и не смог подняться, потому что затруднялся определить своё положение в пространстве. Молодые парни со смехом вытащили меня за ноги и помогли подняться. Мы побежали через фанерный коридор на «вокзал» — там есть комната обыска. Я всё знал наперёд — эта процедура повторялась седьмой раз. И вдруг меня поставили перед стойкой «швейцара», заставили расписаться и сунули в «чёрный воронок»!

Я находился в состоянии оглушения, никакой радости не было. Всё происходящее мне показалось бредом, без помощи я даже не смог взобраться в машину. Сел в железный конверт на машине и пугливо сжался в комочек. Всё было странным... Смешно, но вдруг стало жалко своей камеры...

Лефортовскую тюрьму я узнал сразу. Она показалась мне милой и родной, но не такой милой и родной, как спецобъект, к которому я привык и с которым расстался с тяжёлым чувством человека, грубо отрываемого от насиженного гнёздышка.

Рассвело. Начался подъём. Я растерянно сидел на койке и дрожал, хотя в камере было сухо и тепло. Внезапно дверь распахнулась, и ко мне втолкнули высокого военного с узелком в руках.

— Здравия желаю! — приветливо сказал он мне и протянул руку.

Я встал, покачнулся и потерял сознание.

Это был сильнейший спазм сосудов мозга и внутренних органов, в том числе желчного пузыря: у меня началась ярко выраженная желтуха. Меня отнесли в больницу по той самой винтовой лестнице с выбитыми белыми каменными плитами, по которой когда-то волокли на допросы. Но желтуха быстро прошла, и вскоре меня вернули к тому же приветливому военному. Началось осуществление моей мечты: мы стали проводить дни в приятных беседах.

Только теперь, дней через десять после отъезда из спецобъекта, я почувствовал острую, бурную радость. Это было физическое чувство наслаждения, и простуженный голос собеседника казался мне дивной музыкой.

— Я, разрешите доложить, дорогой Дмитрий Александрович, по своей, так сказать, извините, специальности —

полковник, работник Политуправления Закавказского военного округа. В начале лета меня за хорошую работу выдвинули на поездку в Ленинград для прохождения годичных курсов повышения квалификации. Приехали. Работаю. Занимаюсь. Расту. Но нельзя же, милый Дмитрий Александрович, чтобы человек только и делал, что, извините, идеологически рос! А где же, разрешите спросить, частная жизнь и прочее – отдых и развлечение? И вот я решил себе устроить удовольствие – написать задушевное письмо закадычному другу: вместе когда-то из деревни нас мобилизовали в, так сказать, Красную Армию, и мы с ним вместе не торопясь шли вверх, пока не получили воинские звания полковников. Он служил в войсковом штабе, а я – в Политуправлении.

В Тбилиси мы жили в одном доме, в одном подъезде и на одном этаже: его квартира номер сорок, а моя, извините, – сорок один! И вот я выпиваю две бутылки пивца (а до этого пришлось с одним курсантом распить пол-литровочку – он, разрешите доложить, в тот день справлял день рождения жены). Выпил я пивца, взял перо, положил перед собой лист бумаги и начал, это, писать, уважаемый Дмитрий Александрович, на поэтический манер – насчёт природы, которая мне в Ленинграде никак после Тбилиси не нравилась. «Докладываю, – писал я, – что над городом Ленина собираются тучи, и я предвижу молнию и грозу. Это будет холодный дождь на головы многих» и тэ-дэ и тэ-пэ. Писал-писал, пока не протрезвел. Увидел, что строчу чепуху, отложил написанное и начал снова: «Докладываю, дорогой Ванюша, что погода здесь не как в нашей солнечной Грузии, и я очень по Тбилиси скучаю», – словом, сбавил на тон ниже. Написал, запечатал и послал. Ну, думаю, рад, что поговорил с корешем! А через пару недель меня забрали.

Посидел я в Крестах без допроса месяца три. Наконец доставили в Москву к самому министру Абакумову. Министр сидел за столом, а вокруг стояло человек десять следователей, и были среди них, разрешите доложить, подполковники и даже, извините, полковники. Министр говорит: «Твое письмо?» – и показывает мне конверт с адресом. Я пригляделся и говорю: «Моё». Министр встал, покраснел из себя до самых волос и заорал: «Это какие же тучи собираются, сукин ты сын, над городом Ленина? И на головы каких людей падёт холодный дождь? Говори, заговорщик! В какой

организации состоишь?» Я вижу, что по пьянке перепутал в тот день бумагу – дурацкий черновик сунул в конверт и послал, а второй вариант, более трезвый, выбросил в корзину. А кореш в Тбилиси струхнул да и сдал письмо в Особый отдел! Я начал было рассказывать, а министр стукнул кулаком об стол и выразительно спросил: «Слушай, полковник, тебе когда-нибудь били морду, так это, знаешь ли, от души и со знанием вопроса?» Говорю: «Нет, не случилось». «Так сейчас случится!» И эти военные принялись бить меня сначала кулаками, потом, когда я упал, сапогами. Я обеспамятствовал, и меня отнесли в госпиталь, подлечили и привели сюда. Вот, разрешите доложить, Дмитрий Александрович, и вся моя, извините, история.

Потом меня перевезли в большую тюремную больницу при Бутырской тюрьме. Палата была светлая, чистая, с хорошим воздухом. Помещалось в ней десять больных. Один немолодой кадровый рабочий с Шарикоподшипникового завода, один знаменитый географ, академик Берг, и семь странных людей, в которых я чувствовал врагов: они смотрели на нас троих как дикие звери, недавно посаженные в клетку, и из отдельных словечек я понял, что все семь воевали против СССР. Я не мог догадаться, кто эти люди и как и где русские могли воевать против нас: на белоэмигрантов они не были похожи, держались обособленно, говорили мало и шёпотом, и большей частью сидели к нам троим спиной.

После консилиума специалистов меня принялись усиленно лечить, и через месяц моё здоровье значительно улучшилось: глаза почти перестали болеть, красные и синие края на оконных решётках исчезли, о скотомах я просто забыл: они, конечно, появлялись, но реже, чем раньше, и меня не беспокоили. Впечатлений было так много, что **о раздвоении** не могло быть и речи: я прочно засел **в этом мире**. Какие это были впечатления? Обычные, тюремные, ничего из ряда вон выходящего, но вокруг меня были живые люди, беспокойное людское стадо, я, человек и общественное животное, опять соприкоснулся с ним, и чувство близости других людей восстанавливало моё здоровье быстрее всех лекарств и лучше всех врачей.

Помню академика Берга. Он сидел за то, что американцы пригласили его на конгресс в Америку, а когда наши не

пустили, то американцы предложили прислать ему деньги на проезд. К тому же маститый учёный был евреем. Старика на допросах били, и лечение в госпитале мало помогало – сердце сдало. Он лежал в сознании, дал свой адрес и продиктовал слова приветов семье. Помню, как однажды умер другой больной: закрыл глаза и потянулся, как бы от радости, что уходит из этого страшного мира. Мы подтащили тело к дверям как раз в тот момент, когда началась раздача обеда. Враждебно настроенные странные люди, как звери, ринулись получать миски. Они их спешно ставили на ещё тёплое тело. Это оказалось удобным: умерший был длинный, тощий и служил при раздаче жратвы в качестве полки или скамьи.

Вызов с вещами. Торопливое рукопожатие. «Чёрный ворон». И – о радость! Бутырочка! Значит, близко этап и Суслово. Я опять сяду на ту койку, на которой сидел с Анечкой, когда между нами дымилась миска с двумя порциями баланды и двумя порциями каши – наш милый семейный обед!

Я возвращаюсь **домой**, хотя моей хозяйшки там не встречу. Ничего! Лишь бы очутиться там, где мы были вместе...

Меня вводят в обширный зал, посреди которого стоит широкий прилавок, похожий на сдвинутые бильярдные столы. На него опирается рукой рыжий пожилой надзиратель. Вдоль стен скамьи, на которых сидят этапники. Я сразу вижу, что это новички: на них грязные рваные пальто и костюмы, в руках домашние наволочки, набитые едой, узлы вольных вещей. При моём появлении все поворачивают головы и испуганно смотрят на меня. Я соображаю, что всему виной моя рубаха, заплатанная кусками швабры... Ну и запах, конечно... И цвет лица. Эти люди хоть и бледны, да не так, вероятно, как я – ведь трёхлетнее сиденье в казематах спецобъекта еще чувствуется...

Надзиратель сначала не глядя спрашивает меня:

– А твои вещи где?

Но, не получив ответа, оборачивается, внимательно осматривает глазами и говорит:

– Ладно, ты не садись на скамью. Иди сюда. Будешь помогать.

Вынимает изо рта папироску и протягивает мне:

– Закуривай. Давно сидишь?

- Разменял четырнадцатый, начальник.
По скамьям проходит шёпот удивления.
- Тише вы, зелёные уши! – грубо кричит новичкам надзиратель и, меняя тон, спрашивает меня:
- В Норильске не бывал?
- А как же! В первом отделении.
- Это на Шмитихе? Знаю. В каких годах?
- В начале сороковых.
- Я был в сорок первом и втором. Значит, земляки. Ты сиди на табурете всю дорогу, покедова я буду шмонать.
- Спасибо, начальник.

Надзиратель вдруг замечает, что кое-кто из сидящих у скамьи тоже положил в рот папироску.

– Эй, ты, а ну давай из рта куруево! Враз! Не у тещи сидишь, понял? Тоже мне выдумал!

– Да ему же вы разрешаете, гражданин начальник! Я думал...

– А ты не думай. Это – **старый лагерник**, чувствуешь? Четырнадцатый годок сидит. А из тебя, может, скоро получится парная котлета. Понял разницу?

Так я впервые почувствовал гордость от того, что выстоял все муки. Много раз потом меня с уважением называли старым лагерником, и эти слова всегда заставляли подтянуться, расправить плечи и поднять выше подбородок: лагерник – как вино, время повышает его качество и ценность.

А когда шмон (обыск) кончился и нас отвели в этапную камеру, я стал объектом почтительного восхищения и источником бесконечных справок. Все торопились поскорей и побольше узнать о лагерной жизни: что едят, где спят, как работают лагерники и т.д. Вопросов было множество, и каждый ответ вызывал новый взрыв удивлённых, испуганных и печальных вопросов. Это был разговор обыкновенных людей с существом из иного мира, представить который жителю советской земли не так-то легко. Только отвечая на их смешные и наивные вопросы, я начал понимать, насколько необыкновенна, даже экзотична лагерная жизнь, насколько она устроена нелогично и противоречиво. Ночью я встал к параше и увидел ряд широко раскрытых глаз.

- Чего не спите?
- Из-за ваших рассказов.
- И что же вас больше всего поразило?

Со всех сторон горячо зашептали:

– Что никогда не бьют... Непонятно...

– Что вы нашли в лагере любимую жену Анечку... Как удивительно!

– Что в войну и голод давали детям сливочное масло... Просто в голову не лезет...

Проходя обратно на своё место, я сказал:

– Ладно, спите и ничего не бойтесь. Советские лагеря – это нелепая смесь разумной гуманности и бессмысленного зверства. От вас самих зависит ваше будущее. В этом – ваша надежда. Поверьте старому лагернику...

Оказалось, что после войны в теплушках заключённых уже не возят: нам подали специальные тюремные пассажирские вагоны. По-советски они называются **столыпинскими**, хотя от царских времен в них остались только конструкция; в двухъярусное купе, рассчитанное на восемь человек, забивают по восемнадцать, и условия пребывания в них превращаются совсем в нестолыпинские. В Третьяковской галерее висит старинная картина, на которой изображены арестанты: мужчины, женщины и ребёнок, который на станции сквозь решётку кормит воробьев хлебными крошками. Это и были столыпинские времена. Теперь люди, скрючившись, лежат впритык, и те, кто от духоты и жары терял сознание, неподвижно лежали меж теми, кто спешил украсть их недоеденный хлеб и обшарить их мешки и карманы. Окон в купе не было, и нам не хотелось кормить воробьев. Но разбоя тоже не было, как в ежовское время, и урки с бритвами не лазали по лежащим телам, а стража не собирала у них всё награбленное, чтобы по дешёвке сбыть на первой же остановке и сунуть грабителям жалкую часть полученных денег или просто пачку махорки или ломоть хлеба. Это показалось мне удивительной новостью, огромным шагом вперёд.

На первой же пересылке произошло развенчание меня как общепризнанного объекта внимания и любопытства. Едва наш этап смешался с обитателями огромной камеры, как мы увидели людей в чёрном обмундировании с номерами на груди, спине, шапке и обоих ногах. Эти люди оказались советскими каторжниками: наша страна рекордов и здесь побила рекорд, и вместо одного номера, как это принято в других государствах, наделила каторжан пятью. Я был забыт и вместе с новичками бросился расспрашивать катор-

жан об условиях их быта. Но нового ничего не узнал: каторжане в Суслово жили также, только тогда они ещё не носили номеров. Изоляция от женщин, номера на одежде и усиленный конвой – вот и всё, что отличало их жизнь от жизни зека-зека. Год спустя после войны осуждение на каторгу прекратили и заменили осуждением в спецлагерях, где режим оставался каторжным, но само одиозное название было стыдливо устранено.

Новички пугливо смотрели на аляповато намазанные номера и приходили в ужас, а я успокоился: у меня был приговор в Исправительно-трудовые лагеря, каторги и спецлагерей летом тридцать восьмого года ещё не было, а обратной силы закон не имеет.

Я ехал в Суслово. Домой!

В этапной камере в Москве, в этапных тюрьмах по дороге в Сибирь и в вагонах сохранялась всё та же пропорция между своими, понятными мне советскими людьми, и чужими, непонятными, врагами. Впрочем, я вскоре узнал, кто они: власовцы, бандеровцы и солдаты гитлеровского Мусульманского легиона – словом, все те, кто воевал против родины на стороне её врагов, – закалённые в боях, проверенные и ожесточённые ненавистники советской власти и коммунизма. С ними я не мог разговаривать и сидел среди них как молчаливая тень, не веря, что дожил до такого времени: раньше против нас, контриков ежовского времени, стояли уголовники, теперь к ним прибавилось и гитлеровское отродье.

От самой Москвы ко мне притёрлись два человека, и я на нарах укладывал их справа и слева от себя, чтобы не прикасаться к врагам. Один был простым московским милиционером. Он на резиновой подошве сапог вырезал призыв «Смерть Сталину!» и печатал его в сырую погоду на тротуарах. Второй оказался маленьким ленинградским студентом-евреем, который солдатом отбывал военную службу в Кронштадте и участвовал в печатании антисталинских листовок; офицеров, руководителей дела, расстреляли, а студент получил, как и московский мильтоша, четвертак, и теперь оба бодро, с гордым сознанием честно выполненного долга, ехали в Сибирь на медленную и мучительную смерть.

За окнами вагонов проползли Уральские горы, потом Свердловская пересылка, Омская пересылка, Новосибирс-

кая пересылка, берёзки на станции Суслово. Меня не высадили и повезли, несмотря на протест, всё дальше и дальше на Восток. Неизвестно куда.

Вечер. Здоровые и молодые гитлеровские служаки захватили лучшие места, а нас столкнули себе под ноги. Я был слишком болен и слаб, чтобы сопротивляться. Рядом с гитлеровскими прислужниками ехали немцы, бывшие офицеры, помещики, буржуа. Я слушал их изысканную речь и думал, что в третий раз в жизни вижу никчемность тех, кто когда-то самовластно управлял своей страной: жалкое человеческое барахло! Поляки в Мариинском отделении Сиблага как две капли воды напоминали русских белогвардейцев в Константинополе, а теперь эти немцы точь-в-точь были похожи на сиблаговских поляков: никчемность и обусловила их политическое и военное поражение как класса, она же и давала им что-то общее в поведении.

Особенно меня донимал высокий, сухой, горбоносый мужчина, к которому немцы почтительно обращались со словами «герр барон». Он не привык ограничивать себя и теперь от голода жадно пожирал ржавую селёдку – свою порцию и объедки соседей, а потом опивался водой. Ему наливали её в зелёную егерскую шляпу с облезлым перышком, всегда первому в очереди, сразу после супа; он выпивал воду залпом, не отрываясь, и потом успевал получить вторую порцию – опять полную шляпу. В уборную выводили редко, а я лежал как раз под герром бароном и через час содержимое обеих шляп получал на себя. Власовцы относились к своим бывшим господам с насмешливым почтением, но говорили только по-русски и только между собой. Со своего места я слышал их тихую речь, в основном воспоминания о недавнем прошлом.

– Когда американцы шарахнули начисто Дрезден, мы стояли за городом в лагерях. Формировались. Город горел, всё рушилось, искрило и дымилось. Немцы обезумели от ужаса и отчаяния, понял? Кидаются в стороны, как слепые, бегут между огнём и развалинами, натываются друг на друга, орут. И тут наш генерал нас построил, политруки быстро написали немецкие лозунги на палаточном полотне, мы подняли их на штыки и двинулись. Вот была картина, слышь, говорю, вот картина! Справа и слева всё горит, немцы жмутся вдоль полыхающего огня и не отрываясь пялятся на нас. Бабы на коленях, протягивают нам своих детей и кричат: «Русские!

Спасите!» А мы печатаем шаг, слышь, по-русски, как на Красной площади, – один в один, молодцы, как на подбор, не армия, а железный поток! А впереди два парня несут написанный по-немецки плакат: «Российская Освободительная Армия. Смерть большевизму! Да здравствует союзная Германия! Да здравствует свободная Россия! Зиг-хайль!» Фрицев аж в слезы ударило – ревели, как коровы!

– Да, здорово мы дали красным под Бреслау! Все немцы побежали, стояли насмерть только эсэсовцы и мы. Красные предлагали сдаться, кричали «ура!», да нас на «ура» не возьмёшь!

– К концу войны, говорят, нас было миллиона три.

– А в начале до семи. Так заявлял по радио сын Сталина. Я сам слышал. Гитлер нас испугался и большинство разогнал по заводам. Поджал хвост, собака. Я в Польше получил золотую дубовую ветвь. Рыцарскую. Подписывался: гауптманн фон Петренко. Понял?

– Если ты украинец, так чего не подался к бандеровцам? Их кормили лучше.

– Пробовал. Спросили, откуда? Говорю, мол, из Миргорода. Отвечают – нельзя, не принимаем: там одни предатели, продались москалям. Настоящие украинцы живут только на западе, который был под Польшей.

– А где тебя взяли?

– На Эльбе. Спрятался у вдовы железнодорожного обходчика. Ей мужик был нужен – припёрло, понял, под самое горло. Мундир его мне пришёлся впору, и на личность мы вроде похожи. Она стала говорить знакомым, что муж вернулся с фронта немой и придурковатый, и всё сошло.

– А потом?

– Сам знаешь. Чекисты принялись ковырять всерьёз, понял? Дубовую ветвь я еле успел бросить в уборную – всё держал на память. Не помогло. Сам полетел за ней в дыру. И памяти не оставил: у бабы завёлся свой Фриц, когда их мужики пришли с фронта. Я узнал на допросе. Всё оказалось, как одна большая уборная. Даже смех теперь берёт, понял? Хе-хе-хе: фон Петренко! Убиться можно, вот что!

Из-под койки я слышу яростный скрип зубов, как у зверей в клетке. Пусть скрипят, клетка прочная, а если она держит меня, то и они теперь не вырвутся.

Я лежал под койкой, обильно орошаемой тёплым дождём баронской мочи, и думал. Подводил итоги. Кончился ещё один период лагерного существования, и нужно было его осмыслить.

«С первой задачей я справился, – думал я. – Отсидел три года в условиях одиночного режима. Вышел с потерями, сильно потрёпанный, однако всё же вышел. Но я не просил прощения, и мой ответ начальству остался в силе: долой амнистию и да здравствует пересмотр приговора! Испытание одиночеством я выдержал, устоял на ногах и теперь еду, чтобы продолжить борьбу. Ещё бы! Ведь я жив, а значит – борюсь!»

В темноте я улыбаюсь от чувства теплоты, которая разливается по телу: я имею все шансы выдержать и дальше, потому что я не один. Где-нибудь меня ждёт письмо – ведь нас двое в этом мире: я и жена. И этим всё сказано.

Спецобъект – это свирепое доказательство постоянства Анечкиной любви. Она по ночам шила платья и сделала их столько, что выплатила адвокату всю сумму – десять тысяч. Адвокат добился обещанного: моё дело выписали из архива и двинули на пересмотр. Начальство обратило на него внимание. Передало выше. Наконец, моей особой заинтересовался начальник Следственного отдела. Доложил министру. Я показался нужным. Последовал вызов в Москву. Намёк на вербовку и освобождение, оформленное как амнистия раскаявшемуся преступнику. Обильные обеды, вино, новенькие костюмы, женщины и шальные деньги – всё вдруг придвинулось ко мне на расстояние вытянутой руки.

Но я её не протянул!

Для меня спецобъект явился расплатой за внутреннюю стойкость, за отказ от свободы: пусть я потерял её, но ещё раз утвердил в себе честное отношение к людям. Я спас тех, кого мог бы погубить, отстрадал за них. Три года одиночки – это три года пира бессмертных, и я имел полное право уверенно и гордо подойти к праздничному столу.

А Анечка, которая, сама того не зная, причинила мне столько бед и мучений?

Ах, Анечка... Будем считать, что для неё спецобъект – это убедительное доказательство самоотверженной любви, неустанных забот и бессонных ночей. Через спецобъект я нашёл в ней преданного друга. Другая, выйдя за ворота лагеря, быстро забыла бы случайного товарища по несчастью и, как говорится, **начала бы новую жизнь**: ведь у меня впе-

реди столько бесконечных лет срока! Но настоящая любовь устояла перед всеми соблазнами: мы оба с честью прошли испытание!

Лежа под нарами, я улыбался от счастья: нет, советскому человеку жить на белом свете далеко не скучно, товарищи!

Москва,
сентябрь 1965 – январь 1966 г.

ЗАПИСКИ ИЗ ЖИВОГО ДОМА

Книга девятая

Предисловие

Передо мной на столе лежат две небольшие книги: «Записки из Мёртвого дома» Ф.М. Достоевского и «Повесть о пережитом» Б. Дьякова. Обе представляют для меня особый интерес: я собираюсь описать виденное и пережитое в сибирских спецлагерях, а это случилось ровно через сто лет после прибытия Достоевский в каторжный острог и одновременно с пребыванием в Озерлаге Дьякова, причём мы волею случая были даже на одних и тех же лагпунктах.

Материалы для сравнения богатейшие!

Вот поэтому я и прочёл с таким вниманием эти две небольшие книжечки и, прежде чем начать свой рассказ, хочу сделать несколько замечаний по поводу прочитанного.

Человек видит мир не таким, каким он есть, а таким, каким он смог его разглядеть. Рассказ о виденном – зеркало, в котором в равной мере отражаются внешний мир и лицо автора. Поэтому я смело возьмусь за дело, ибо знаю, что мы, три свидетеля, – очень разные люди и совершенно по-разному поняли то, что видели.

Итак, что же заметил уважаемый Федор Михайлович?

Тесную зону и душный барак с голыми нарами. В Озерлаге я наблюдал то же: за 100 лет, как видно, положение не очень изменилось. До смерти Сталина только для придурков допускались четырёхместные вагонки с матрасами, одеялами и подушками.

Пища в остроге достаточная, хлеб вкусный. Пища у нас до смерти Сталина была скудная и невкусная.

В остроге много тараканов. Я работал санитарным инспектором на лагпунктах, где находился, и честно заявляю: у нас тараканов, клопов и вшей не было. Раз появились тараканы, но опер дал мне суровый нагоняй, я тараканов вывел и больше их никогда не видел.

«Потребовался год, чтобы освоиться с заключением, но привыкнуть к нему невозможно: заключённого терзают беспокойство, несбыточные надежды, суеверное ожидание чудесного изменения, преувеличенная оценка значения свободы. Цель жизни у всех одна – освобождение». Всё удивительно верно, Федор Михайлович! За 100 лет психология заключённого не изменилась.

В остроге побеги тогда были редки и неудачны. В спецлаге – тоже.

Работа каторжан обычная, такая как у вольных. Правильно, Федор Михайлович! Представление о каторжной работе у людей, никогда не бывших в заключении, превратное: работу там ненавидят не за тяжесть, а за то, что она принудительная, чужая, постылая.

Сильнейшая пытка в остроге – необходимость постоянно быть на людях. Хорошо подмечено!

За провинность в остроге бьют кнутом. У нас было прощ: списывали в дальний этап, то есть на смерть: писчее перо убивает чище и надёжнее, чем кнут.

Драк не было. Расстрелов тоже. Счастливцев же вы, Федор Михайлович, и какой! У нас в лагере никто не знал, доживёт ли до вечера: каждого подстерегал нож урки, нежелавшего попасть в этап, или пуля стрелка, захотевшего получить двести рублей премии и две недели отпуска «на пропитие денег». Царское правительство до этого не додумалось, а?

Были кандалы. У нас нет – их заменяли сторожевые псы.

У нас, Федор Михайлович, была массовая смертность от гипертонии, а у вас о ней даже не знали.

У вас уголовники и вообще простые люди не любили «политических» и культурных людей. У нас тоже.

Теперь о внутреннем состоянии заключённых.

«Я полюбил, наконец, своё уединение, – пишет Федор Михайлович. – Иной раз благословлял судьбу за это уединение, без которого не состоялись бы ни суд над собой, ни этот строгий пересмотр своей жизни».

Да, но вы сидели за дело, а мы – ни за что! Мы требовали суда, но не над собой, а над нашими судьями...

«Я ждал, я звал свободу, хотел испробовать себя вновь, в новой борьбе. Порой меня охватывало судорожное нетерпение».

Гм... О себе этого сказать не могу: я знал, какого сорта «свобода» ждёт бывшего заключённого за воротами сталинского спецлага. Нет, Федор Михайлович, вы жили в простое и лёгкое царское время: выражаясь по-лагерному, влезли в антиправительственный кружок, отхватили десятку, отбухали её до звоночка, и всё. А я за своё правительство сотни раз совал голову в петлю и получил за это двадцать лет заключения и пятёрку «намордника» (ссылки), не считая истребления семьи, поломанных ребер, повреждённой головы, разбитого живота. Социализм – не царизм, генсек КПСС – не

царь-батюшка, и настоящих ужасов в жизни вы, Федор Михайлович, не видели! Меня вывезли из лагеря как инвалида, и «Записки из Живого дома» не напечатают: невидимая лагерная ограда мешает, она и сейчас поперёк моего пути! И ваше, и наше время сходятся в том, что правда тогда и теперь считается противоправительственным опасным злом. Но считается по-разному: вы дождались «воскресения из мёртвых», а вот я не дождался, у меня не было ни смерти, ни воскресения, только та же известная канитель. Так-то!

Поэтому и заключительные патетические ваши строки мне не нравятся, Федор Михайлович! Вы пишете:

«Сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь уж надо всё сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ! Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего.

Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?»

Насчёт особой даровитости убийц и мошенников у меня другое мнение: они – отбросы и зверьё, а не лучшая часть нашего народа! Ни хвалить их, ни удивляться им нечего: в государстве тюрьма всегда нужна, как клозет в жилом доме, – где человек, там и отбросы, – и свою судьбу каждый выбирает сам, по уму и характеру: чтобы жить, одни взваливают на спину тяжёлую ношу, другие берут в руку нож – это легче. Посмотрели бы вы, Федор Михайлович, на людей, толпящихся у наших продавцов билетов государственной лотереи: ни одного умного и сильного лица, это любители снимать пенки, любители положиться «на счастье», словом – жалкие людишки. Вот такие малодушные и малоумные при известных условиях и превращаются в уголовников. Так почему же их жалеть? Зачем им сочувствовать, когда тысячи тысяч людей вокруг нас работают, стараются, думают, жертвуют собой – и по-пустому? Вот их надо жалеть, только их! Эх, Федор Михайлович, плохо вы знали жизнь... И зачем этот вопрос в конце? Вы же знали, кто виноват, и если не захотели ответить, так зачем и спрашивать?

В заключение человек садит себя только сам – вы виноваты перед собой так же, как и я: нам обоим нужно было думать лучше и раньше. «За что боролись, на то и напоролись», – говорят лагерники. В заключении я всегда повторял: «Так мне и надо».

И, наконец, о форме книги. У вас получился отчёт, скучнейшая вещь, неорганизованное перечисление того да сего. А вы его назвали «роман в двух частях». Вы жили и писали в благодатное и наивное время, и даже от вашей книги тогда у людей пробежал мороз по коже! Да, вы счастливец! А вот в наше время люди привыкли ко всему, и вызвать у читателя сильное чувство теперь значительно труднее, уважаемый Федор Михайлович!

Теперь о «Повести» Дьякова.

Очень благонамеренный сталинист и ретивый служака, редактор журнала «Октябрь» товарищ Кочетов написал казённый роман «Секретарь обкома». Редактор журнала «Новый мир», товарищ Твардовский, известный в Москве фрондист и либерал, неосторожно охаял роман своего коллеги. Они и раньше не ладили, а тут красный консерватор затаил жажду мести против красного либерала. Скоро представился случай: «Новый мир» опубликовал повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Повесть не продумана по содержанию: в ней доказывается, что в заключении людям живётся плохо и что оно угнетает психику заключённого. Но ведь известно, что в местах заключения всех эпох и всех народов всегда было и будет плохо – на то и заключение! Если там станет хорошо, то при нашей бытовой неустроенности за загородку на отдых с радостью попрут миллионы! Важно не то, что там плохо, а то, **кому** плохо и **за что** плохо, то есть о каких заключённых идёт речь: если об убийцах и жуликах, о предателях и изменниках, то так им и надо! О чём горевать? Пусть сидят и каются в грехах! Многих из них надо было бы просто перестрелять! Но лагеря в сталинское время были переполнены людьми, сидевшими **без вины**. Я лично был изувечен на допросах, три года подвергался пытке молчанием в каменном гробу, отсидел один год в БУРе, а всего отмучился семнадцать с лишним лет, моя жена зарезалась, а мать отравилась, – а в конце концов я был освобождён и реабилитирован, потому что у меня, видите ли, **не было состава преступления**. Кроме одного преступления, чёрт меня побери, – идиотской доверчивости: на воле, до ареста, я верил подлецам, которые притворялись коммунистами. И таких, как я, были десятки миллионов. Значит, не в суровости лагерного быта загвоздка, а в неоправданности наказания без преступления, в ужасе массового тер-

рора, проводимого Сталиным ради того, чтобы удержаться у власти.

«Один день...» – это нудный рассказ нудного автора о нудных сторонах яркой жизни, которую он просмотрел. Но лагерная тема у нас вообще не пропускалась в печати, и публика жадно впиалась в повесть и незаслуженно превознесла до небес автора, редактора и журнал. Тут-то красный консерватор и смекнул, что подвернулся случай подставить ножку красному либералу, дорогому товарищу по родной партии. Был найден послушный литератор, побывавший в лагерях, ему вручили заказ написать образцовую повесть и там показать, как именно следует трактовать эту скользкую тему, как можно кричать «против!», но так, чтобы получалось «за!».

Литератор именовался Борисом Дьяковым, его творение – «Повесть о пережитом».

Поварская книга на кухне социалистического реализма не держится в секрете, и рецепт всех заказных блюд хорошо известен. Он подсказан всем нашим бытом.

Мне довелось быть участником строительства комбината и города Норильска. Строителями были на девяносто девять процентов заключённые, вольняшки только стерегли нас и администрировали работу (фактически руководители – тоже заключённые). Город и завод стоят на костях заключённых. А разве теперь можно прочесть в бесчисленных статьях о Норильске хоть одно слово о заключённых? Какие заключённые?! Где?! Норильск выстроен коммунистами и комсомольцами! Это дело рук великой партии Ленина!

Я был на строительстве Байкало-Амурской магистрали от Тайшета до Новочунки. Строили одни заключённые. Но разве о них написано хоть полслова? Нет! БАМ строили коммунисты и комсомольцы! Ур-р-р-а!

У меня на глазах строился огромный нефтеперегонный завод в Омске. Опять всё то же – на деле работали заключённые, на бумаге – коммунисты и комсомольцы!

Любое достижение народа партия приписывала себе.

Так и протекает наша жизнь до смерти. А когда люди умирают, то можно прочесть объявление в чёрной рамке на последней странице московской «Вечёрки» и узнать, что умер коммунист с такого-то года или старый большевик с такого-то года... Как будто бы смерть выбирает только чле-

нов КПСС! Как будто бы смерть беспартийного не заслуживает упоминания...

А после смерти? Генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв, разоблачая «нарушения советской законности в эпоху культа личности И.В. Сталина», в пылу патетического красноречия даже воскликнул, что, мол, придёт время, когда «коммунистам, жертвам культа личности, будут ставить памятники». Коммунистам?! Почему именно одним коммунистам?! А беспартийным?! Ведь их погибло неизмеримо больше, чем коммунистов, гибли они рядом, так зачем же после смерти разделять давно почивших людей на две группы и добрым словом и делом почитать только одних и пренебрежительно забыть о других, почтить не целое, а его незначительную часть? Ведь когда в годы сталинского террора и борьбы за власть без вины погибали миллионы советских людей, то коммунисты всё-таки имели к этой борьбе хотя бы косвенное и пассивное отношение (поднятием рук при голосовании), а беспартийные не имели к внутривнутрипартийной борьбе абсолютно никакого отношения вообще и погибали, как говорится, так себе, сбоку припёка?

Но стиль нашего быта именно таков, и товарищ Дьяков, получив задание, его, разумеется, учёл. Он описал всё, что сумел разглядеть, но напустил в рассказ столько казённой приправы, что всё блюдо изменило цвет, запах и вкус. Описание лагеря и его быта превратилось в описание жизни коммунистов в лагерях, и героем повествования стал не контрик вообще, невинный советский человек, и даже не рядовой коммунист, а генерал, слышите, – **генерал**, да не просто там какой-нибудь генералишко, а сам комкор! Во-как!

А дальше, как и полагается по кухонной книге, у Б. Дьякова последовала обязательная приправа – соцсоревнование, восторженная подписка на заем, цитаты из Ленина, при которых по щекам катятся слезы, и прочее. Бесстыдство автора не имеет предела! О реакции на смерть Сталина он пишет так: «Во мне нарастала острая боль: “Он не должен был умереть, пока мы здесь! Пока не узнал всю правду! Пока не исправил!” Я лёг под одеяло. “Кому же теперь писать? Что будет с нами, заключёнными? Не всколыхнутся ли враги, не затеют ли войну?”»

Отвратительно! Тошнотворно! Лакей в своём усердии явно хватил через край...

А ночью этому сталинскому прихвостню, конечно, снится Вождь. И говорит ему вещие слова: **«Я ещё не умер!»**

Да, правильно: к сожалению, Сталин действительно не умер! Он живёт припеваючи в душах кочетовых и дяковых и будет жить так долго, пока он своих холопов кормит. И кормит неплохо!

Да, да, жирная кормушка – великая купель долгой и сытой жизни сталинизма. И Сталин знал, что делал, когда выбивал табурет из-под ног повешенной им ленинской идеологии.

Как я узнал, что Мертвых домов в нашей стране нет

По дороге из Москвы в Сибирь я стал готовиться к высадке в Суслово, потому что заключённые говорили, что вызванных в центр на следствие возвращают в свой старый лагерь, так сказать, по принадлежности. Поэтому в Новосибирске я любовно перебрал свои вещи – три тряпочки, служившие для заворачивания сахара, хлеба и рыбы, и обломок ложки, вытряс пыль и мусор из куска гимнастёрки, который мне служил то в качестве скатерти, то чемодана, и затем погрузился в нервную дрему, сквозь которую настойчиво прислушивался к звукам жизни, долетающим в наглухо запёртый арестантский вагон: хотелось не пропустить Мариинск. Так и случилось. Наш пассажирский поезд остановился, и я ясно услышал крики проводников: «Мариинск!»

Конвой зашевелился – солдаты выбегали за кипятком, и мне послышалась фраза:

– Здесь, в Мариинске, хороших папирос не достанешь! Я торопливо оделся и сел на пол у двери. Радостное чувство охватило меня – сладкое сознание возвращения **домой**, в родные места, где я скоро увижу койку, на которой сидела Анечка, встречу людей, которые её знают и помнят.

– Суслово!

Я встал, сказал дремлющим товарищам: «Мне выходить! Счастливо оставаться!» – и вытянулся перед дверями. Сердце колотилось от приятного возбуждения. Но дежурный пробежал к выходу и обратно, поезд медленно тронулся дальше на восток, и **родные** места стали медленно уплывать назад... Я постучал в дверь.

– Знаем, кого куда посадить! Сиди, гад, пока по роже не получил!

И всё.

Меня увозили куда-то дальше. Куда? В Красноярск? В Норильск? Очень похоже – ведь я там тоже бывал. Или на Лену? Во Владивосток и на Колыму?

Я растянулся на своём месте и закрыл глаза. Теперь мне было всё равно. Тепло медленно уходило из встревоженного сердца, оно до краев наполнялось только холодом, равнодушием и беззаботностью.

Жизни мне не жаль загубленной.

Сердце полно несказанной беспечности...

Вдруг вспомнился обрывок какого-то стихотворения.

А может так и лучше? Когда все позади, тогда ничего не страшно и никого не жаль – только вперед и вперед!

Однажды ночью вагон отцепили. Кукушка затолкала его на запасную линию. Остаток ночи провели без стука колес. Чей-то голос взволнованно спросил:

– Где мы? Какая станция?

– А чёрт её знает... Тебе-то не всё равно, что ли? Спи, гад! – недовольно забурчали остальные.

Я равнодушно подумал: «Вот ночь перед новой страницей жизни!» – и спокойно заснул.

На рассвете выгрузили всех, весь вагон. Конвойный больно ударил меня валенком в зад при выходе из купе и прикладом в спину на лестнице – после одиночки я был ещё нервно-психическим больным – плохо определял высоту и боялся её. Кто-то из опытных урок, жмурясь от дневного света, огляделся и узнал станцию:

– Тайшет! Пригнали дорогу строить, братцы!

Я даже не взглянул вокруг: какое мне дело?

Очень холодно. Неглубокий снег. Ветер. Ходячих построили в колонну, больных посадили и побросали на три телеги, и мы тронулись по бедным приземистым улочкам жалкого городка.

Плелись медленно. Я шёл в первом ряду после последней телеги. За её край держался красными руками герр барон. Мокрая от супа, чая и мочи шляпа сейчас же обледенела, словно её посыпали сахарной пудрой, пальто у барона не было, на ногах без носок шлепали по снегу оторванными подошвами щёгольские жёлтые туфли. Убийственно насмешливо выглядывали из-под рваных штанин шёлковые кальсоны красного цвета.

«У него будет пневмония, если идти недалеко, – подумал я. – Если далеко, то к вечеру он упадёт, и его заколют стрелки...»

Тайшетские граждане привыкли, как видно, к этапам заключённых – ни один из редких встречных не обернулся и не посмотрел нам вслед. Шли молча. Руки у барона побелели, а грязные пятки из-под красных кальсон стали казаться зеленовато-жёлтыми. Он качнулся раз... другой...

– Колонна, стой!

Мы были перед воротами лагерного распреда.

С первого взгляда лагерь казался обычным, похожим на итээловский: от ворот вглубь – широкий проход для этапников, справа и слева – жилые бараки и служебные здания, посередине – площадь для массовых проверок всего контингента.

После городских улиц сразу бросились в глаза аккуратность и чистота зданий: они были подбелены, отремонтированы, оконные стёкла и рамы – целые. Из кухонной трубы валил дым, на дорожках дневальные лопатами разгребали снег.

Да, хорошо быть заключённым.

Через десять минут глаз отметил отличия этого лагеря от исправительно-трудового: нет женщин и лагерники украшены номерами.

Телеги с больными подъехали к аккуратному домику. Это, конечно, стационар и амбулатория – вон стоят люди в белых халатах поверх телогреек. Пока выносят больных, герр барон валится в снег. Его уносят. Нас, остальных, гонят в большой холодный этапный барак, размещают на голых нарах. Приносят хлеб, горячий суп, сахар. Кипяток каждый пусть возьмет себе сам – вон в углу навалены на полу ржавые котелки и заскорузлые ложки.

– Быстрее! Сейчас будет комиссовка! На нижних нарах всё пожрали? Становись! Скорей! Марш в баню! Быстро! Средним нарам приготовиться! Верхние, отдыхайте! Вас заберут после обеда!

И вот мы в бане, голые, жмёмся в клубах холодного пара. Наше тряпье сдано в прожарку, так что скамьи пока пустые. Уже начали зверствовать три урки-парикмахера, уже амбулаторный санитар, плечистый латыш по имени Карл, раздаёт мыло и мажет лобки вонючей чёрной жидкостью, уже образовалась очередь к столу начальства, когда наконец оно торжественно появляется в клубах ледяного пара, – невысокий полковник в шинели, пожилой опер в телогрейке, капитан медслужбы – женщина лет тридцати пяти со злым тёмным лицом, как видно татарка, два юрких смазливых лейтенанта с корзинами пакетов и унылого вида врач-заключённый в белом халате поверх телогрейки со стетоскопом в руках.

– Начинаем комиссовку! Подходите, заключённые! – кричит сквозь клубы пара лейтенант, начальник Первой части. Он устроился в углу около небольшого стола, на котором

навалены запечатанные сургучом конверты – личные дела этапников.

– Лацис Ян Янович! – говорит первый голый человек. Начальник роется в стопках.

– Год рождения? Место рождения? Статья? Срок? Конец срока? Иди к начальнику!

Через самоохранника лейтенант передаёт конверт на стол начальства. Не вскрывая пакет, опер проверяет данные, написанные сверху, и начинает приятное знакомство:

– За что дали? А? Шпион, значит! Ну, здесь как загоним тебя на трассу, в тайгу на лесоруб, так будет не до шпионства. В эсэсовцах был? А? Не слышу! Не был? Только в СД? Ха-ха, мне нравится это «только»! Сколько наших людей перевешал? А? Не вешал? Ладно, потом проверю!

Лацис обходит стол: у другого конца, справа от полковника, сидит начальник медсанчасти.

– На что жалуетесь? Сердце? Болит? А здесь не санаторий! Доктор, послушайте его!

Заклѳчѳнный-врач, очень высокий сероглазый блондин, похожий на эстонца, молча слушает сердце и лёгкие.

– Сѳрдце очень усталъ... Функциональни явления.

– Один?

– Два, гразданин нацальник. Надо отдыхайт.

– Здесь не санаторий, доктор. Рабочая категория первая.

– Послушай, Юлдашева, твой врач прав, – лениво говорит полковник. – Человек устал с этапа, отдохнѳт, а через три месяца, на следующей комиссовке уже на лагпункте, он получит первую и пойдѳт в тайгу. Это выгоднее, понимаешь?

Лицо Юлдашевой темнеет ещѳ больше. Она молча поджимает губы и на личной карточке Яна Яновича ставит дату комиссовки, пометку: «Кат.тр.2 (вторая)» и расписывается. А от стола начальника Первого отделения уже передают следующий конверт. Нас всего 73 человека, так что дело идѳт вперѳд небыстро.

Подойдя к столу, я привычно рапортую свои данные.

– Ого-с, – цедит опер. – И шпион, и опять же террорист, и обратно заговорщик... Хорошую птичку мы зацепили... А ну подойди ближе... Ах, да это ещѳ до войны... В тридцать восьмом... Гм... Виновным себя признаѳте?

– Нет.

– Откуда пожаловали?

– Из спецобъекта. Отсидел в одиночке три года за отказ от амнистии.

Молчание. Юлдашева смотрит в потолок, но полковник и опер обмениваются понимающими взглядами.

– Специальность?

– Врач.

Опять немой вопрос и ответ.

– Где работали на воле?

– В ИНО ГУГБ НКВД СССР.

– Тэкс-тэкс... Что ж вы от амнистии отказались? Нравится у нас в лагерях? А?

– Нет, гражданин начальник. Но выходить как амнистированный шпион и террорист нравится ещё меньше: я не представляю себе свою дальнейшую жизнь в таком случае.

– Гм... Да. Ну идите.

– Выраженная миокардиодистрофия, гражданин начальник: И/Р.

– Послушай сама, капитан.

– Да, сердце слабовато.

– Пометь: инвалид работающий. Я потом дам распоряжение, только напomini, слышишь?

Тем временем пакеты уложены в корзины и унесены в Штаб лейтенантом с нарядчиком. Но начальник Первой части не уходит. На столике появляется миска с чёрной краской, кисть, мотки ниток, иголки и нарезанные короткие и широкие полосочки белой бязи. Этапники, уже получившие из прожарки барахло, обжигая пальцы о дымящуюся ткань, большими тупыми ножницами вырезают на своей ватной одежде пять дыр – на шапке, на груди и спине телогрейки, на обоих бедрах штанов. Начальник вносит в список заключённых лагеря личные данные каждого прибывшего, ставит номер и повторяет его голому человеку, который получает от самоохранника пять лоскутков и здесь же кое-как мажет на них свой номер и затем нашивает белые лоскутки с номерами на свою чёрную одежду. Некоторые проделывают всё это равнодушно, кое-кто шутит, у двух человек на глазах слезы. Помню, что ещё во Внутренней тюрьме на Лубянке я совершенно равнодушно прижимал пальцы к подушечке с краской и ставил отпечатки на первом служебном документе, выставленном на моё имя в тюрьме: я не видел в этом ничего зазорного, так же как и в первом обыске с заглядыванием в задний проход – форма есть форма, она обязательна для всех виновных, и единственно ужасным мне казалось только то, что я, невиновный советский человек, приравнен к виновным. Так случилось и в этот раз: я не

почувствовал ни стыда, ни унижения, когда получил иглу с ниткой, подшил мокрые грязные лоскутки и, одевшись, увидел на себе много номеров. При чём здесь я? Пусть стыдно будет партийным людям с красными звёздочками на шапках! Мой номер был АД 245, и я присоединился к группе смеющихся:

– Ну, хлопцы, попали в ад! Уж теперь будут нас черти жарить на сковородке!

– А мы сами черти!

– Разговорчики отставить! – прикрикнул лейтенант. – Развеселились!

У меня сильно кружилась голова от духоты и жары. Я был ещё очень болен и слаб после трехлетнего сидения в каменной могиле спецобъекта. Многие из того, что происходило вокруг меня в последующие месяцы, не задержалось в памяти, потому что больной мозг только исподволь приучался к работе. Но этот символический спуск в ад запомнился, и, как это ни странно, запомнился как что-то забавное.

Позднее я видел немало людей, которые старались при замене старой одежды на новую не вырезать в ней дыр и не подшивать лоскутки с номерами, тем более что делалось это в каптёрке, без начальственного глаза. Иногда номера мазали нарочито безобразно. Кое-кто шёл даже в карцер из-за номеров (за вшивание вверх ногами). Но я быстро заметил, что урки, связанные с начальством, щеголяют отсутствием номеров, и потому всегда заботился, чтобы они у меня были намазаны и пришиты по форме.

С номерами у меня получилось в спецлагерях, как со стрижкой в исправительно-трудовых: так как уголовники всеми правдами и неправдами старались не стричься, и чуб был первой приметой суки и урки, то я особенно старательно и часто стригся, чтобы подчеркнуть пропасть между нами: моя стриженная голова должна была издали кричать: «Я – контрик!»

После бани – обед в бараке, в котором уже растопили две печи. Да и вообще мне тепло – ведь после прожарки одежда дымится и едва не горит, она обжигает кожу.

– Я слышал, что вас кто-то назвал доктором? – приветливо сказал мне высокий человек в обтрёпанной военной форме. – Позвольте представиться – военврач, – и он назвал фамилию, которую я забыл. – Коллега, переходите в наш уголок – там от прошлых этапов накопилось шесть вра-

чей, да в стационаре лежат два, итого восемь, вы будете девятым безработным врачом в распреде!

Я переносу свой узелок к новым друзьям, и скоро мы тонем в клубах махорочного дыма и первой беглой беседы.

– Как вы перенесли клеймение номерами?

– Прекрасно. К тому же клеймили не меня, а моё обгорелое барахло – его не жалко.

– А я, знаете ли, всплакнул!

– Да что вы! А когда за вами пришли с ордером на арест?

– Гм... Не помню... Нет, конечно.

– Так вы, коллега, большой оригинал!

– А вы разве плакали?

– Нет. Но я верил в справедливость.

– А теперь?

– Теперь не верю, а знаю, что в конце концов всё кончит-ся хорошо. Нам поставят памятники.

– Коллега, вы тоже оригинал!

– Что нового в газетах?

– Ничего. Вот здесь, на этом клочке бумаги, в течение последней недели я записал слова, которые преподносятся каждый день тому, кто сам себя назвал Хозяином: великий кормчий, вдохновенный зодчий, дорогой друг, любимый отец, гениальный вождь, мудрый учитель, вдохновитель и организатор всех наших побед, творец народного счастья, любимый, родной, светлый, радость и счастье человечества, корифей науки, слава нашей Родины и всего прогрессивного человечества, светоч мира, соратник и продолжатель дела великого Ленина, освободитель народов, могучий утёс! Ну, как?

– Отвратительно! До какой низости может пасть прости-туированная печать...

– До какого падения может дойти народ! И не умные прохвосты, а миллионы простаков, повторяющих эти мерзостные слова с удовольствием и гордостью! Хочется читать, а возьмёшь газету, и она валится из рук – тошнит! Вот до чего дошли.

Военный врач в сердцах плюнул.

– Ладно уж! Как называется этот лагерь? – спросил я. – Давайте перейдём к более практическим темам!

– От Тайшета до Ангары строят ветку. Около Братска будет когда-нибудь большая электростанция. Строят заключённые – итээловцы, и мы, каторжники и спецлаговцы. Вы знаете, что у нас есть каторжники?

– Я их уже видел, наши зоны в Сиблагге были рядом.

– Это было во время войны. Теперь на каторгу не осуждают, такие лагеря называются после войны спецлагерями. Они именуются не по городам, как трудовые лагеря, а по вымышленным географическим понятиям: скажем, по трассе здесь рассыпали лагпункты Тайшетского исправительно-трудового лагеря и лагпункты нашего спецлага, который зовётся Озёрным, хотя никаких озёр здесь нет и в помине. Номера наших лагпунктов отличаются от итээловских добавлением цифры ноль – скажем, 09 и 9 будут номера двух соседних лагерных пунктов, но первый будет спецлаг с усиленным конвоем, множеством собак и без женщин, а второй – обычным итээловским лагпунктом, только после войны женщины живут там в особо огороженных зонах и встречаются с мужчинами только на работе.

– А спецлагерники?

– Совсем не встречаются с женщинами. Единственными представительницами прекрасного пола тут являются начальники МСЧ. Нашу с бородавкой на носу видели?

– Видел. Стерва, наверное?

– И какая!

– А кто здесь врач?

– Эстонец, бывший эсэсовец. Он не врач, а биолог. Славный малый.

– Гм... Эсэсовец-биолог работает врачом, а вы, русские врачи, валяетесь на нарах?!

– Он – инвалид, а нас у всех рабочие категории, ждём отправки на трассу. Потом на лагпунктах устроимся.

– Какова жизнь на трассе?

– Говорят, ужасная. Мы там не были, конечно. Трасса – это здешнее пугало.

– А жизнь в расприде?

– Тихая. Скучная. Этапники приходят и уходят в оба конца – на трассу и с трассы, а обслуга – исключительная сволочь – стукачи и суки низшего пошиба.

– Почему?

– Потому что здесь конкуренция очень сильная. Чтобы удержаться на тёплом месте и не загнать на трассу тут надо подличать, подставлять друг другу ножку. Кто здесь удерживается год – тот, значит, отъявленный подлец. Кто почестнее, тот летит в этап раньше, видно, чего-то недосмотрел, где-то споткнулся. Не потрафил оперу. Не сблизился с надзирателями. Воровать надо уметь вообще, а

уж здесь и подавно: сверху требуют, снизу сторожат сотнями глаз. Вот и попробуй проверни в таких условиях комбинацию, которая бы накормила вольного начальника, да так, чтобы и самому что-нибудь перепало. Особенная гадина здесь работает в МСЧ – зубной врач по фамилии Дудник, бывший оперативный работник одесского гестапо, правая рука здешнего опера. Вымогатель и зверь. Сумасшедший и провокатор. Он у вас ничего не отнял?

– Хо-хо!

– Да, верно, у вас ничего нет! И всё же – не попадайтесь ему на глаза! Опаснейшая тварь! Старайтесь не...

В дверях нарядчик:

– Доктор Быстролётов! Ну что же вы здесь полёживаете? Ведь вечерний приём начался! Идите принимайте стационар и амбулаторию! Вещи забирайте с собой, будете жить в кабине вместе с доктором Дудником!

Маленькая приёмная набита людьми. Посреди толпы больных ошалело мечется унылый блондин в белом халате.

– Коллега!

Блондин сует мне градусник.

– Коллега! Я...

– Что болит? Карл, дайте ему один таблетка...

– Коллега, выслушайте же меня! Я – врач, который прислан принять от вас стационар и амбулаторию!

Эстонец молча начинает стягивать с себя халат.

– Коллега, я уверяю вас, что не просился на ваше место и ни словом, ни делом не проявил желания занять его. Моя совесть чиста!

Мы жмём друг другу руки.

– Ницего, ницего, – бормочет он и уныло кивает головой. – Просцайте!

Больше я его никогда не встречал. Но много позже, когда 038 начал писать большую работу о лептоспирах, вспомнил про биолога с распеда, через вольняшек нашёл его на трассе, и этот специалист дал мне несколько ценных советов, рискуя своим благополучием, ибо переписка между лагерниками строго воспрещается, тем более на тему об инфекции и лептоспирах. Вероятно, это действительно был неплохой малый...

Натянув халат, я стал вынимать градусники, совать в раскрытые рты таблетки, бинтовать раны и растирать поясницы. При этом выяснилось, что кроме плечистого Карла в

приёмной находился ещё один работник МСЧ – статистик Иосиф Исаакович Хайкин, мужчина средних лет с обвисшими щеками и большими карими глазами навывкате, полными мировой скорби. Хайкин всегда молчал и только при особо сочном мате какого-нибудь больного поднимал взор к небу и вздыхал. Хорошо зная технику лагерного амбулаторного приёма, я бодро принялся за работу, но скоро почувствовал, что мне нужно лечь и отдохнуть, а не напряжённо думать и вертеться, как обезьяна в клетке. Через час всё слилось в моей голове в хаос пятен и звуков, я ничего не видел и не понимал, но продолжал **лечить**, то есть ставить градусник и давать таблетки. Но от моего решения зависела судьба этих больных – ведь они были заключёнными. К девяти часам вечера я почувствовал, что сейчас упаду, если эта пытка не прекратится. Прошло ещё полчаса. В самый последний момент Хайкин поднялся и закрыл журнал, Карл закричал: «Приём окончен!» – и я повалился на топчан. В голове бушевал дикий вихрь.

– Что с вами? – нагнулся ко мне Хайкин.

– Доктор с этапа. Сейчас я его подлечу. Раскройте рот! – командовал Карл.

Я механически раскрыл рот в ожидании знаменитой таблетки, но Карл опрокинул мензурку спирта. Я сначала почувствовал, что сейчас же умру от взрыва мозга и черепа, но отлежался и пришёл в себя. Хайкин уже сбегал к нарядчику со списком освобождённых от работы, потом взял меня под руку, мы вышли на мороз, подышали свежим воздухом и вошли в стационар.

В передней, тускло освещённой лампочкой, обёрнутой в голубую ткань, виднелся накрытый стол – я сразу же разглядел тарелку с селедкой и луком и почувствовал запах уксуса. Боже... Рот наполнился слюной! Рядом на тарелке лежали аккуратные ломтики хлеба. На печке грелся ужин. Поставив ногу на скамью и элегантно упёршись на неё гитарой, маленький человек с очень бледным лицом и пронзительно-чёрными глазами перебирал струны и напевал старинный романс:

И мы с тобой, как искорки пожара,

Сейчас столкнулись здесь, чтоб разлететься навсегда...

Закончил и пристально глядя мне в глаза, процедил сквозь зубы:

– Поняли намёк, доктор?

Я молчал.

– Доктор болен, – сказал Хайкин.

– Вижу. Познакомимся – Дудник. Карл!

– Слушаю.

Карл быстро поставил две кружки и плеснул в них водки.

– Выпьем, доктор Быстролётов, за то, чтобы вы никогда не встретились мне на пути. Карл!

– Слушаю.

Карл снова плеснул водку.

– И второй тост: пью за то, чтобы вы, доктор Быстролётов, почаще вспоминали про трёх обезьянок, которых детям дарят в Японии. Посмотрите – вот они, эту вещьцу мне подарил один японец. Видите: одна обезьяна затыкает себе уши, другая – прикрывает рот, третья – глаза. Они как бы показывают: «Я ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не говорю!» Последнее правило особенно хорошо помните, доктор Быстролётов, если желаете себе добра! Знайте: в этом лагере у вас нет друзей. Ясно? Карл!

– Слушаю!

– Накормить доктора!

Когда я, держась за стену, добрался до жарко натопленной кабинки, Дудник уже спал. На нём было надето шёлковое обтягивающее трико кроваво-алого цвета. В голове у меня неслись обрывки случайных мыслей.

«Это бес... как у Андрея Белого».

Стало вдруг страшно. В этом лагере не бывает друзей...

И уже собираясь натянуть на себя жиденькое больничное покрывальце, я вдруг разглядел: кроваво-алое бельё было номера на два-три больше, чем надо, – на запястьях и лодыжках оно аккуратно завернуто. Нет, передо мной лежит не красивый и сказочный бес, а лагерный грабитель и вор, бывший одесский гестаповец, эсэсовец, ныне пригревшийся под крылышком советского опера. Шёлковое трико он успел отнять у больного иностранца, вероятно у прибывшего с нами барона, который лежит в стационаре, и барский чемодан которого уже попал в лапы Карла, нарядчика, Дудника, лейтенанта и опера. Они уже расхватали всё и составили акт, что в чемодане ничего не было. Безопасное дельце, барон тяжело болен и истощён, он умрёт. А трико – это доля Дудника при делёжке добычи.

– Нет, подлюка, – шептал я под одеялом, погружаясь в омут больных, пьяных и сонных образов, – нет, гад, повсюду найдутся для меня друзья: даже этот спецлагерь – все же наша советская земля!

Если бы проезжий наблюдатель захотел одним словом определить впечатление, производимое распредом Озерлага, то он произнёс бы солидное слово – благообразие или благонамеренность, благопристойность, благочиние или какое-нибудь другое слово, слегка припахивающее стариной и устоявшимся, хорошо и крепко налаженным бытом. Всё было солидно, культурно, чисто и даже образцово: здания новые, хорошо окрашенные, окна вымытые, дорожки аккуратно подметённые, этапное человеческое рваньё, до полусмерти измотанное долгим путешествием, отлёживалось на нарах в этапном бараке, а по дорожкам чинно прохаживались придурки в новеньком обмундировании. И придурки-то не простые, а все бывшие райкомовцы и обкомовцы, капитаны и полковники, а иногда и генералы – люди чисто выбритые, с более или менее интеллигентными лицами, с выправкой или манерами людей, привыкших к культурному бытию. Ни мата, ни крика.

Старший нарядчик и два его помощника, здоровенные бытовики, со странными фамилиями – Монарх, Царь и Король, быстренько прогоняли приезжающих по всем трём этапам распредовской обработки людей – приём у ворот, комиссовка с нашивкой номеров в бане и выталкивание за ворота дальше, на трассу. Делали они это мастерски, без суеты. Придурки жили с комфортом, на матрасах с подушками и бельём. В их бараках были тишина и странное молчание, и даже на дорожках люди редко разговаривали собравшись в группы – всё норовили, опустив голову, стороной обойти товарищей. Это было внешнее выражение одного чувства, владевшего всеми, – чувства страха; здесь все боялись быть списанными на трассу, все ожидали провокации и все были сами готовы на любую провокацию, потому что нападение, как известно, – лучший способ обороны. Я стал бывать в бараках по своим медицинским делам – то с осмотром на вшивость или для предупреждения появления тараканов и грызунов, то для лечения срочно заболевшего или для проверки невышедших на работу.

В бараках было чисто, казённых правил никто не нарушал. Нельзя было ожидать окрика: «Эй, ты, помощник смерти!» – или даже товарищеского обращения «доктор!». Здесь было принято поддерживать сухой чиновничий стиль, ко мне обращались обычно со словами «Товарищ доктор!» и на «вы». Грубых провокаций не бывало: это в Суслово среди штабников были проверенные и всем хорошо известные стукачи

и провокаторы, которые могли с койки бросить в пространство: «Эх, когда же падёт, наконец, эта проклятая советская власть!» – в надежде подцепить глупого караса на столь дешёвую приманку. Здесь все были жуками и потому обменивались только стандартными благонамеренными фразами:

– Читали сегодняшнюю «Правду»? Её оставил в финчасти капитан Семёнов...

– Да. Замечательное выступление Вышинского. Молодец! Чтение «Правды» даёт больше сил, чем хлеб.

– А обратили внимание на сообщение из Лондона?

– Конечно. Гнуснейшая клевета!

– Отвратительная. Но наше правительство слишком умно и сильно, чтобы обращать внимание на булавочные укусы. Да, вы правы, мы живы потому, что читаем «Правду»!

– Разумеется. Сталин всю эту мелкоту видит насквозь. Не стыжусь признаться, что его слова и действия поддерживают и нас, заключённых!

И так далее, и тому подобное. За едой ещё выдают из себя пару высокопатриотических фраз, а в другое время лежат и притворяются спящими – так всегда безопаснее.

Трасса, это дьявольское слово, умертвило всё живое в людях.

Благообразие поддерживалось постоянным присутствием в зоне офицеров. Кое-кто из них шёл в Штаб или оттуда, но большинство направлялось к доктору Дуднику, в его чистенький, приветливый и хорошо оборудованный и обставленный зубоврачебный кабинет. Это был как бы маленький клуб для вольных. Работал Дудник быстро, аккуратно, с большим знанием дела: его протезы отличались изяществом и высоким качеством отделки.

Непрерывный приток заключённых-иностранцев, многие из которых имели нужные материалы при себе или могли выписать их в лагерь, помогали Дуднику работать на высоком техническом уровне. У больных с золотыми коронками зубы удалялись или же золотые коронки менялись на стальные: Дудник платил за это больничным питанием и направлением в центральную больницу, и каждый новый этап означал новый золотой ручеёк в карманы начальства и самого Дудника, а где золото, там и красивые вещи, там и водка.

Ко времени моего пребывания Дудник уже набил награбленным свыше десяти чемоданов, а через год досрочно освободился и вывез из зоны телегу с вещами прямо на вокзал, где дал лагерному начальству благодарственный про-

щальный обед со щедрой выпивкой. Однако жизнь его не была спокойной. Во-первых, разделения труда и установления определённой доли при дележе награбленного не было. При появлении этапа **западники** отгонялись в сторону дежурными начальниками и подвергались быстрому опросу – кто они, откуда их везут, какие вещи имеют. Людей с золотыми коронками, прилично одетых и имеющих чемоданы, мне приказывали немедленно принимать в стационар.

Этапники – все до одного больные и переутомлённые, поэтому с моей стороны никакого мошенничества тут не было – лечить было что, и я был рад оказать помощь. Затем за моей спиной Дудник начинал дипломатические переговоры и, если надо было, оказывал и сильнейший нажим: предметами торговли были категория труда и посылка в центральную больницу на «длительный отдых». И то и другое было невозможно представить без начальника МСЧ, капитана медслужбы Юлдашевой и без содействия её агентуры в больнице.

От самого Дудника я немедленно узнал, что Юлдашева раньше занимала место начальника больницы и затем была смещена за половую связь с заключёнными и за неблагоприятные поступки. Дудник рассказал, что Юлдашева теперь состоит в связи с ним и он не может мыться в общей бане потому, что постоянно имеет на ляжках и внизу живота следы её укусов. Юркий лейтенант по кличке Красюк (то есть Красавец), комендант зоны, в курсе всего (а, значит, и опер, решил я) – это одна банда. В центральной больнице Юлдашева сожительствовала с тамошним зубным врачом, молодым армянином, бывшим ростовским цирковым гимнастом. По отзывам Дудника, это был патологический нахал и негодяй, и Юлдашева была у него в руках: она помогла Циркачу раздуть рекламу вокруг его «эпохального открытия» – замены недостающих зубов у людей зубами животных. Профессор Флоренский, Заволошин и другие квалифицированные врачи больницы подняли «открытие» Циркача на смех, но Юлдашева всем им пригрозила трассой и лесопорубом и заставила прикусить языки.

Поводом для перевода Юлдашевой из больницы в распред был ужасный случай: в больницу поступил больной с запущенным раком полости рта, носа и глаз. Флоренский оперировать отказался. Тогда в пику ему Юлдашева разрешила Циркачу произвести эту операцию, и безграмотный гимнаст при содействии безграмотного начальника-врача

действительно удалил ещё живому человеку язык, нос, глаза и кожу лица. Больной умер. Флоренский поднял скандал через начальника САНО Озерлага полковника медслужбы Евстигнеева. Юлдашеву перевели в распред, а Циркач остался в больнице – он пустил там слишком глубокие корни по части грабежа больных – у него начальство было на взятках.

После скандала в центральной больнице распредовское начальство прекрасно знало Юлдашеву, и Дудник немедленно прибрал её к рукам – стал сожительствовать и заручился согласием на установление нужным этапникам инвалидности, ложных диагнозов и направления в центральную больницу номер два, где бывшие сообщники Юлдашевой покрывали злоупотребления, грабили больных до конца и получали свой куш из распреда.

Надзирательский состав в зоне ежедневно меняется, и потому приход этапа и грабёж оставались делом удачи: грабить бросались дежурные сегодня, но завтра помещённые в стационар этапники-иностранцы попадали в лапы грабителей из другой смены, которым тоже хотелось поживиться. Отсюда бесконечные ссоры и переделывание решений – одни кладут, другие выгоняют, одни уже получили с больного ценности в счёт уплаты, а другие на следующий день снова требуют взятку.

Иногда, выжав что можно, грабители всё-таки оставляли больного в распреде, надеясь на его скорую смерть, после которой можно присвоить деньги на счету и ценные вещи, которые числились по описи и оставались на вещевом складе за зоной. Особенно мне запомнились большие золотые настольные часы, прибывшие с какой-то старушкой-немкой, бывшей высокопоставленной дамой гитлеровского окружения. Старушку нарочно не отправили в больницу, а сунули в стационарчик при женском бараке, стоявшем в особой зоне рядом с нашей зоной. Лечить больную взялась Юлдашева (женщина-врач из заключённых при стационаре имела, но ей не доверяли и от дела отстранили). Больная умерла, и золотые часы через надзирателей попали с вещевого склада к Дуднику, и началась фантастическая погоня: новая смена **знала**, что вещь находится у Дудника, и с яростным остервенением целые сутки трясла стационар, а Дудник и Карл под носом у обыскивающих беспрерывно перекладывали часы с необысканного места в обысканное: часы побывали в ночном горшке, оттуда перешли в карман докторского ха-

лата Дудника, в бачок с горячим супом и, наконец, за пазуху мечущегося в бреду умирающего. Хайкин и я молча следили за безумной борьбой.

Выиграл Дудник, то есть Дудник плюс Красюк плюс опер плюс Юлдашева плюс ????. Когда **чужие** надзиратели смеялись и к исполнению служебного долга опять приступила **наша** смена, часы были вынесены за зону, а мы все повалились спать. Кто вынес? Уж не Юлдашева ли в сумочке? Или лейтенант в кармане офицерской шинели? Кто его знает...

Остервенелая грызня среди вольняшек дополнялась ещё грызнёй между Циркачом и Дудником: оба они были патологическими характерами, а потому договориться и грабить тихо и незаметно не могли. Несколько раз я присутствовал при ловких боевых заходах Дудника.

– Ну, Иван, – говорил какой-то полковник, грузно опускаясь в кресло, – взгляни-ка на мои новые золотые коронки! Дай оценку, ты же специалист!

– Слушаю, гражданин начальник. Где ставили?

– В Центральной.

Дудник берёт лупу, что-то рассматривает, выстукивает. Потом хмуро говорит:

– Коронку надо снимать.

– Ты с ума сошёл?! Почему?

– В дупло нарочно положена крупца ржавого железа. Можете получить заражение крови и умереть.

Полковник багровеет. У него глаза налиты кровью.

– Нарочно, говоришь?

– Не говорю, а утверждаю. Это две большие разницы! Разрешите показать крупцу?

Пока полковник вращает глазами, Дудник ловко снимает коронку, делает вид, что ковыряется в дупле, и вдруг кладёт на чистое стёклышко чёрную металлическую крупинку.

– Скажите спасибо, гражданин начальник: вовремя удалил!

Конечно, Циркач в больнице не оставался в долгу и позорил Дудника, а попутно оба стригли безмозглых полковников, как послушных овец.

Итак, в первый вечер, став на амбулаторный приём, я едва не упал от мозгового напряжения, непривычного после стольких лет одиночного заключения. Но напрасно я думал, что, отоспавшись ночью, на следующий день начну лучше справляться с работой: ничуть не бывало. В стационаре обычно лежало около пятнадцати больных, большей частью из obsługi лагпункта. Это были нетяжёлые больные, однако

справляться с их лечением было для меня весьма нелегко — мешали вмешательства Юлдашевой, амбулаторные приёмы и, главное, моя болезнь — я сам должен был бы лежать на койке после трёх лет одиночки и тяжёлого этапа, сам был тяжёлым нервно-психическим больным, едва сохранившим способность читать, писать и мыслить. Выпадение памяти и лабильность мышления особенно мешали и раздражали — думаю о деле и вдруг без всякого повода начинаю думать совсем о другом, и больной, лёжа на постели, наблюдает за мной и понимает, что его лечение, а значит и судьба, доверены ненадёжному человеку. Конечно, внешне это выглядело не так уж страшно, но внутренне я понимал, что не могу и не должен лечить, пока не вылечусь сам. Однако делать было нечего, и я лечил.

Каждый день лагерные ворота открывались, и в зону въезжали санки с тяжелобольными, а за ними тащились ряды легкобольных. Карл бежал за дом, где под навесом стояло двадцать запасных топчанов. Их устанавливали повсюду, где можно. Потом начинали укладывать больных по двое на кровати, в конце концов просто рядами на пол. Это были тяжелейшие больные, и Карл с дежурным самоохранником то и дело выносили умерших. О сне не могло быть и речи. Ноги мои выдерживали двухсуточную работу, а вот голова — нет. Когда подавали сани для отправки больных в центральную, то я уже едва соображал, что говорю и делаю.

Теперь, работая над своими автобиографическими записками, я часто раздумываю над вопросом, какой бы человек получился из меня, если бы жизнь обходилась со мной поласковее — вовремя бы подавала пуховую кровать при усталости или хорошо накрытый стол при голоде. Ах, сколько раз за почти семьдесят лет тяжелейшего существования я был переутомлён и болен! Но жизнь всегда лечила и подбадривала меня только одним способом — ударами по голове: много вынесла моя бедная голова, и удары обёрнутого в вату молотка следователя Соловьёва, честно говоря, были не самым страшным испытанием.

В последующие месяцы, уже на 07 и 038, я стал сдавать, но до этого чувствовал, что чем больше меня бьют и куют, тем сильнее я становлюсь. Так было в озерлаговском расприде: я выстоял, напор неожиданных обстоятельств меня не свалил наземь, и потом я смог зашагать вперёд.

Если больной умер, не пролежавши в больнице трёх суток, или если окончательного диагноза поставлено не было,

то по лагерному положению полагается вскрытие. После каждого большого этапа изнуренные и больные люди пачками оседали в Тайшете навсегда, а это значило, что их приходилось вскрывать. Неостывшее тело переносили под навес, где стояли запасные топчаны, и там, вдали от любопытных глаз, я производил вскрытие. Помогал Карл, присутствовала Юлдашева. Чёрт её знает, но врач, которая лежала поднять стетоскоп к груди больного, на вскрытия являлась регулярно, точно получая удовольствие от вида обнажённого, окровавленного тела с вывернутыми наружу внутренностями... Перчаток по вине Юлдаешвой не было — она забывала их получить. Морозы начались нешуточные, и вот одеревеневшими пальцами я копался в кровавой массе, выполняя сверх разумных ещё и нелепые пожелания начальницы:

— Выделите предстательную железу!

— Вы зашили брюшную полость, не осмотрев поджелудочной железы! Вскройте опять и найдите её!

Иногда я терял терпение.

— Этот молодой человек умер от туберкулёза лёгких, обостренного простудой в условиях этапа. При чём здесь поджелудочная железа?

— Делайте, что вам говорят! Не разговаривайте!

Лагерный пункт не может существовать без рабочих бригад обслуживания и, в частности, без бесконвойников. И вот, едва став на работу, пришлось взяться за судебно-медицинские вскрытия убитых при попытке к бегству. Сначала я не обратил внимания на частоту побегов и характер ранений, но потом заметил, что входные отверстия зачастую находятся не на спине, а на груди. Какое же это бегство, если убитому стреляли в грудь? В первый раз в моей лагерьной практике я получил для вскрытия труп молодого китайца с полдюжиной огнестрельных ран в грудь и следами ожогов кожи: убитому всадили очередь из автомата прямо в упор. Начальство вычеркнуло из протокола вскрытия описание ожогов и уточнение факта, что входные отверстия находились на груди. Только тогда я впервые почувствовал, что нахожусь в особом, специальном месте заключения...

Молчание или патриотические замечания придурков... Грабёж умирающих... Убийства «при попытке к бегству»... Я втягивался в работу, в голове становилось всё светлее, но странная тяжесть начала пластами ложиться на сердце. Странная печаль... Я не знал, что в этом очень Живом доме,

именуемом советской каторгой, мне суждено увидеть то, что потом сделает тяжесть на сердце невыносимой и приведёт меня к двум параличам и полной инвалидности: судьбе захотелось, чтобы Живой дом свалил меня не автоматной очередью в грудь, а бременем безысходной тоски...

Каждый этапник имеет право на письмо. За пайку хлеба выменяны бумага и приличный конверт. Но кому и куда писать? Тщательно обдумав дело, я решил написать драгоценное письмо Нюсе в Москву, потому что этот адрес заведомо надёжный, и Нюся, конечно, знает адрес Анечки. Расчёт оказался верным: в полученном ответе Нюся сообщала о личном своём знакомстве с Анечкой после её приезда из Суслово, о большом и хорошем впечатлении от этого знакомства, о переезде Анечки в Тамбов, о том, что Анечка доверила Нюсе вывезенные из Суслово черновики моих записей, о потрясающем впечатлении от моих записок. Потом её переписка с Анечкой внезапно оборвалась, и почта стала возвращать Нюсе её письма. Анечка исчезла как раз перед моим выходом из подмосковного спецобъекта. Я сделал предположение, что её опять забрали, и скоро обстоятельство это подтвердилось: министр Абакумов произвёл всесоюзную операцию по возвращению в лагерь бывших ежовско-бериевских контриков.

Из разговоров с озерлаговцами я узнал, что после моего вызова в Москву контрики из Сиблага были постепенно переброшены в Тайшет на постройку железнодорожной ветки в Братск; сюда же подвезли контриков из Горно-шорского лагеря на Алтае. В Сиблаге и Шорлаге остались только бытовики и уголовники с маленькими сроками, причём женщин и там отделили от мужчин, хотя оставили на совместной работе. Доставленный на тайшетскую трассу контингент контриков с Алтая и из Сиблага был объединён в Озерлаг, отделения которого в целях конспирации пронумеровали произвольно – наше, первое на трассе, названо вторым, и наша отделенческая больница стала центральной № 2, затем следовало не второе по счёту или третье, если считать по нашему номеру, а 4 отделение и т.д. Номера лагпунктов тоже перетасовали.

Среди населения Озерлага бывшие сиблаговцы составляли примерно половину. Походив и потолкавшись среди этапников по баракам, я нашёл довольно много земляков по Маротделению. Потом с новыми этапами стали посту-

пать вторично арестованные бывшие заключённые из Маротделения и его лагпунктов, в том числе старые приятели из Суслово. Было много объятий, грустных улыбок, горькой радости... Я решил, что Анечка выдержит новый срок, она закалена духом и телом, и стал готовиться к нашей встрече. Вероятность была мала, потому что в спецлагге мужчины и женщины не встречаются ни в быту, ни на работе. Осталось только надеяться на случай.

Я очень желал встречи и потому твердо в неё верил. Никакого нетерпения не было, просто каждое утро и каждый вечер стал вспоминать Анечку на несколько минут. Получилось как молитва, она помогала, утешала и развлекала.

Я забыл, что в Суслово не раз вместе с Анечкой наблюдал каторжников через проволоку, и они казались нам в отличие от нас, итээловцев, какими-то пришибленными, понурыми, **серыми**. Теперь я не замечал, что сам незаметно становлюсь таким же серым...

Подробно описывать больных не стоит. Помню венгерского генерала, эстонского военного министра, немецких офицеров и высокопоставленных чиновников, эсэсовцев и штурмовиков, власовцев и бандеровцев, встретил наших советских людей, бывших красноармейцев, которые не могли объяснить, почему они при освобождении захваченной территории оказались не в партизанских отрядах и не в гитлеровской тюрьме.

Разные люди, разные судьбы. Одинаковым у всех был только конец.

Герр барон умер от уремии. Пока был в сознании, рассказывал о себе и жалел, что смалодушничал и ради спасения своего привилегированного положения и имущества вступил в гитлеровскую партию.

– Может быть, не следовало бы? Или нужно было рискнуть? Что вы скажете, герр доктор?

Но я пожимал плечами, потому что понимал сложность эпохи и капризность человеческой судьбы. Что я мог ответить немецкому барону, если я не мог уберечь от гибели себя самого и свою семью?

Тяжелейшее впечатление оставили только двое больных. Это были избитые и измученные до полусмерти штрафники, которых с трассы привезли на суд. Один был молодой бандеровец, страдавший распространенным и запущенным туберкулёзом лёгких. Его родители из последних сил собирали посылочки для томящегося в заключении сына, но их

отнимал нарядчик – здоровый, сытый власовец: при вольном начальнике выдаст посылку на руки, а за углом барака отнимет всё до последнего сухаря. Жалобы оперу и начальнику не помогали, напротив, после каждой такой жалобы нарядчик сам получал ленивый нагоняй, а затем зверски избивал непокорную жертву. Доведённый до отчаяния больной ударом камня убил грабителя и теперь рыдал у меня на руках, и его кровь лилась изо рта прямо на мой номер АД 245. Да, это был ад.

Второй штрафник был молоденьким корейцем, мальчиком, бывшим гимназистом: в первые дни переворота они всем классом организовали подпольную организацию для свержения корейской советской власти и очищения Кореи от советской оккупации. Организацию сейчас же раскрыли, заговорщики получили по четвертаку. На трассе нарядчик-татарин из гитлеровского Мусульманского легиона стал принуждать подростка к противоестественной половой связи. В отчаянии кореец откусил насильнику половой член, был избит самоохранныками до состояния инвалидности и вот теперь, опухший, кашляющий кровью, с выбитым правым глазом, ожидал суда. Да, да, это был ад.

При слове **трасса** меня стало бросать в дрожь.

Символом царской каторги являлся человек, прикованный к тачке. В советское время ловкий человек сам приковывал себя к своему производственному орудию и жил неплохо.

Мужчина с мировой скорбью в глазах, экономист из лесэкспорта, Иосиф Исаакович Хайкин был евреем и несмотря на мировую скорбь деловым человеком. Он понял, что в лагере для него, слабосильного интеллигента, физическая работа означает медленное умирание, а трасса и лесопоруб – быструю смерть, а посему через родных выписал себе из Москвы по почте кресло зубного врача и набор зубо-врачебных инструментов. В Штабе записали это имущество за ним, а со склада по просьбе МСЧ передали для использования в амбулаторию, а владельца до окончания срока сделали медицинским статистиком.

Это была блатная работёнка, на которой не умрёшь, и Хайкин действительно не умер, вернулся из Сибири вместе со своим креслом и бормашиной и живёт в Москве недалеко от меня. Он очень пополнил, достаёт Анечке мацу, мороженных судаков и интересные книги, а со мной летними вечерами гуляет в сквере, и мы предаёмся воспоминаниям.

Тени Дудника, Юлдашевой и озерлаговских благообразных посученных контриков встают перед нами... Всё это было...

Труд, моя железная воля и достаточное питание сделали своё дело – я начал приходить в себя, стал получать радость от работы, и когда на следующий месяц пришёл день писания писем, то написал письмо З.Н. Носовой, которая работала рентгенологом в Мариинске после перевода из Суслово: иносказательно я справился о судьбе моих записок и попросил прислать терапевтический справочник – хотелось лучше организовать работу стационара. Однако Носова на письмо не ответила, и я понял, что она переехала к матери и дочери в Новосибирск.

Лентяйка Юлдашева перепоручила мне обслуживание стрелков и надзирателей, и я вскоре нашёл среди них добродушных людей. За несколько бюллетеней были наведены справки в Новосибирске, но Носову не нашли. Позднее из Москвы я не раз писал ей в Новосибирск через адресный стол и всегда безрезультатно – она куда-то исчезла и с нею вместе мои записки и, главное, рисунки. Записки частью я восстановил по памяти, частью получил от Анечки, но лёгкие, живые и верные наброски с натуры по памяти возобновить нельзя, и потеря их невосполнима.

Тут-то со мной стряслась беда: я сделал карандашные портреты Хайкина и Дудника для посылки домой, Юлдашева увидела, очень одобрила, принесла из города краски, карандаши и толстые клеёнчатые тетради с грубым приказом – сократить **ВОЗНЮ** с больными и делать в тетради рисунки – на каждой странице по порядку, десятков за десятком, сотню за сотней. Подлая баба стала регулярно являться в зону и следила, чтобы я работал не переставая, не отрываясь к больным. Тема: целующиеся или танцующие пары. Особенно ей нравились напوماженные молодые люди типа берлинских жиголо тридцатых годов – в смокингах, с усиками и проборами. Первый десяток фигур я сделал не без удовольствия, вспомнив «Фемину», «Какаду», ночную жизнь Берлина, Грету и всё что было. На втором десятке надоело, на третьем стало тошнить, на четвёртом я с лихорадочным нетерпением ждал стога из палаты, прихода этапов, вскрытия, чего угодно, только чтобы избавиться от слащавых жиголо, хмурой физиономии Юлдашевой и этой танговой каторги. На второй сотне рисунков я стал думать, что надо

сделать какое-нибудь нарушение режима и добиться высылки на трассу и лесопоруб: они вдруг стали казаться мне необычайно привлекательными! Но до этого не дошло: без моего желания я **загрел в этап** скорее, чем предполагал.

Женский барак находился рядом, в зоне, отделённой от нашего забором и огневой дорожкой. Раз в десять дней женщин водили в баню, и они проходили через мужскую зону, бросая жадные взоры по сторонам. Но напрасно: надзиратели загоняли мужчин за бараки. Ходили слухи, что среди женщин много молодых и удивительно хороших – из бандеровок, немок и китайок. Но ни одна из них не догадалась упасть в обморок в бане, и меня к ним не вызывали. К тому же Юлдашева сама присутствовала при санитарной обработке.

Поэтому можно себе представить, как забилося моё грешное сердце, когда однажды старший надзиратель Королёв вдруг сказал мне:

– Доктор, завтра я вас отведу к женщинам. Их врач не справляется, нужна ваша консультация!

Наутро я побрился, за таблетки кодеина урка-парикмахер надушил меня с головы до ног, и вот настал чудесный момент: огромный замок отпёрт и снят с ворот, я вошёл с надзирателем на огневую дорожку, вот снят чудовищный второй замок с ворот женской зоны, минута – и я в женском бараке!

– Вот, осмотрите её! – указал Королёв. – У старухи недержание мочи и кала!

Это был удар! Я завял, всё возбуждение мигом пропало: в отдельной камере на полу на груди смрадного мокрого тряпья валялась полубезумная и полумёртвая голая женщина лет примерно восьмидесяти. Но потом надзиратель повёл меня в общее помещение мыть руки, и, как водится, при появлении врача со всех сторон сразу посыпались жалобы, крики и просьбы: все женщины, а их было около двухсот, объявили себя больными и потребовали осмотра. Пока надзиратель колебался, красавицы уже разделись и выстроились в очередь. Надзиратель махнул рукой и сел курить за кружкой пенистого кваса.

Так началось моё знакомство с женской зоной. Все женщины были портнихами и шляпницами. Их оставили в Тайшете для обслуживания тайшетских высокопоставленных дам из числа жён лагерного начальства; их работой наше

начальство, кроме того, торговало на сторону, и эти женщины обслуживали также других местных дам. Все до одной были чисто одеты, хорошо причёсаны, кое-кто даже со следами косметики на лицах.

Я разглядел несколько хорошеньких смуглых украинок, одну красивую немку и одну кореянку, да такую, что едва смог отвести от неё взор. После часового массового осмотра не больных, а естественных богатств, староста барака и врач (она оказалась медсестрой) пригласили меня к столу и угостили украинским борщом, холодцом с хреном и другими яствами. Женщины всюду остаются женщинами, даже в заключении! Домой я вернулся совершенно ошеломлённым!

И тут – на моё счастье или горе, не знаю! – одной из женщин пришло время родить. Это была первородящая, лет восемнадцати, рижская латышка. Роды прошли без осложнений, но с выжиманием последа пришлось повозиться. Спектакль к этому времени зрительницам надоел, и они принялись петь, стирать и готовить пищу. Я уложил роженницу у плиты, на которой грелась вода, но скоро вокруг меня появились корыта, ведра, бельё и принесённые с воли продукты – капуста, картофель, мясо. Женщины мешали мне, я – им. Новорождённого я вначале хотел уложить на тёплую плиту в гнездышке из ваты, но пока он появился на свет, плиту уже так разогрели, что брызги сала полетели на мать и ребёнка, которого я впопыхах сунул в подвернувшуюся кастрюлю. Было много смеха и шуток. Создавалась обстановка приятной дружбы.

В следующую мойку четыре молодые женщины почувствовали себя плохо, и я был вызван в баню. Затем началась эпидемия желудочных болезней: по возвращении с работы все заболевшие требовали отвести их ко мне на лечение. Но Юлдашева, как коршун, вилась рядом, и ничего предпринять было нельзя.

Хорошо запомнилась только одна сценка. Во время са-нообработки молодая девушка, немка из Дрездена, бывшая кинозвезда, которой при бомбардировке оторвало обе кисти, стояла обнажённая на скамейке, а старый урка-татарин с бритвой в правой руке приготовился брить ей лобок, и левой беспалой рукой, грязной и татуированной, ухватил за белокурый пушок и, осклабясь, говорит:

– Эх, фашистское добро пропадает, чтоб мне обратно зарезали!

А девушка беспомощно вскинула кверху руки-обрубки, закрыла глаза и плачет.

Эту сценку я удачно нарисовал под названием «Поругание» на 07; начальница МСЧ, милая и несчастная медсестра Елсакова, поймала меня на месте преступления, отобрала рисунок, но начальству не донесла – оставила себе на память.

– Я дома столярничаю, доктор, понимаете, – сказал мне однажды Королёв, – сейчас должен сделать платяной шкаф – материал подвернулся что надо, упускать нельзя: это мой приработок, понятно? Так вы постарайтесь, доктор, устройте бюллетень на недельку. А я в долгу не останусь.

Мы закурили.

– Хотите денег?

– Нет.

– Но с этого стрелка, как его, Ситкина, что ли, вы взяли?

– Это другое. Я вылечил его жену и ребёнка. Он не верит Юлдашевой, а я вольных лечить не обязан. Лечение – риск.

Королёв помолчал.

– Ладно. Я отплачу другим. Пару раз приведу вам женщин из их зоны. Вроде на осмотр. Штуки по три.

– Да зачем мне столько.

– Одну вести ненатурально, там все хотят. Весь барак вести нельзя, одну – будет много зависти. Приведу по три раза трёх. Идёт? Запрётесь в кабинете Юлдашевой. Кабинету не привыкать, там сама Юлдашева с Дудником любовь крутят! Выберу время вечером, когда начальница будет на партучёбе и приведу девок, ладно?

Но получилось иначе.

В этот день Юлдашева с перекошенным лицом прибежала в зону чуть свет и запёрлась с Дудником в кабинете. Потом забрала тетради с моими рисунками, кисти, свой терапевтический справочник и исчезла. Дудник сообщил, что начальство подстроило ей провокацию: завтра её должны задержать на вахте, обыскать, найти что-то в её сумке (он не сказал, что именно), сделать обыск в кабинете, найти непорядки в аптеке, снять с работы и судить. Я несказанно обрадовался: рисовальной каторге пришёл конец! Сколько сот рисунков вымучила из меня эта стерва? Не знаю, но её не будет, и отныне я – свободнейший и счастливейший человек в зоне! Я мысленно плюнул в сторону полочки, где до этого дня хранились тетради и краски. А между тем Дудник

запёрся в кабинете начальницы с аптечной ведомостью и начал жечь в жарко натопленной печи какие-то иностранные медикаменты, незаконно присвоенные Юлдашевой для торговли в городе **налево**.

Вечером за ужином Дудник был весел и много шутил насчёт того, что, мол, остался соломенным вдовцом. Сквозь сон я слышал приглушённый голос Королёва и, приоткрыв глаза, видел Дудника в ярко-красном шёлковом белье. Счастливо заснул, а под утро был разбужен зверским ударом кулака в бок. Открыл глаза и увидел перед собой маленького толстого генерала, несколько незнакомых полковников, бледные лица начальника лагпункта и опера.

– Вставай на расправу, гад! Сейчас мы из тебя кишки выпустим!

Мне дали время только для того, чтобы кое-как одеться и поволокли в оперу.

– Становись у стенки!

Я встал.

– Читай молитву! Сейчас тебе будет конец!

И опер прицелился мне в лоб.

– Говори, собака, кто из надзирателей провёл Дудника в женский барак?!

В лагерной системе расхлябанность, допускаемая местными начальниками, несколько исправляется налётами комиссий из Москвы и общим страхом перед этими налётами. Такие комиссии не видят феноменального воровства и не замечают бесчисленных других злоупотреблений начальства; они помешаны на внешнем строжайшем соблюдении мелочей режима, и немытая кружка на бачке с питьевой водой может привести комиссию в ярость, а уж что касается женщин и условий их содержания в заключении, то в этой области высокая советская мораль заставляет их копаться в самых смехотворных мелочах.

В эту ночь неожиданно (для меня) нагрянула комиссия из Центра – генерал с полковниками, и отправилась – куда? – ну, конечно, в женскую зону, ведь именно там возможны самые ужаснейшие нарушения! Мороз стоял крепкий, обжигая одеревенелые пальцы о железо, стрелок открыл и снял первый большой замок и второй чудовищной величины. Всё было в порядке. На обоих вышках вытянулись фигуры зорких и бдительных часовых, угрожающе блестели безжалостные дула автоматов. Да, всё было в порядке! Но генерал

захотел войти в барак. Вошли. Дали свет. И увидели: среди двухсот спящих красавиц в кроваво-красном шёлковом белье нежится в глубокой истоме зубной врач, бывший одесский гестаповец Иван Дудник! Генерала чуть нехватила кондрашка! Дудника сунули в карцер, а меня вытащили на допрос: в кабинке наши койки стояли рядом, я не мог не знать, кто вывел этого нахала в женскую зону.

Но я видел только бледные лица начальника и опера. И думал: «Эти московские уберутся завтра к вечеру. А с нашими мне оставаться и жить. Помнишь китайца и его обожжённую огнём автомата грудь с пятью ранами?»

– Кто?!

– Не знаю!

– Как не знаешь, пёс! Ну, взвожу курок! Видишь? Пуля в стволе! Кто?

– Не знаю!

– Ух, гадское племя! Иуда!

Опер вытирает носовым платком вспотевший лоб и вдруг левой рукой схватил меня за горло.

– Кто?

– Н-е-е... зна-а-а-ю...

И так до утра. Наутро промёрзлый карцер. Допрос. Снова тот же маленький генерал.

– Да ты же и не врач, гад, а юрист! – орет он в бешенстве, выпучив на меня маленькие глазки.

– Я и юрист, и врач, гражданин генерал. Я окончил два факультета.

– Два факультета! Да разве это бывает?! – визжит он тоненьким голоском. – Говори, кто провёл твоего соседа по кабинке в женбарак?!

– Не видел. Я спал.

Генерал тяжело дышит. Потом, чеканя слова, говорит:

– Чтоб этот гад не спал, немедленно послать его на штрафной лагпункт и там сразу на трассу и лесопоруб. Прокатить по всей трассе до конца! Дать сопроводилку, чтоб в тайге ему не давали отдыха, пока не околеет с топором в руках! Слышите? Это мой приказ!!! На мороз его! Пусть замёрзнет, подлец, ещё в этом месяце! Приказ понят? Выполняйте!

Юлдашеву сняли. Дудника выпустили из карцера через полчаса после отъезда генерала. Окружённый стрелками в

тулупах я печально стою перед увешанной сосульками маленькой теплушкой. Почему она вся покрыта льдом? Как я один доеду в ней до Братска по всей трассе? Этого нельзя выдержать! Это конец! Замёрзну!

Из-за спины тёплое дыхание в ухо. Кто-то кладёт подбородок на моё плечо. Голос лейтенанта Красюка шепчет: «Не тушуйся, доктор! Тебя высадят через пару часов! В дело вложено распоряжение использовать по специальности! Ехай спокойно, с Тайшетом ты в полном, то есть, расчёте, и Тайшет обратно с тобой! Ехай!»

Глава 2

На трассе

Быстро наступила ночь. Я трясся в маленькой теплушке в полной темноте, только на станциях через щели проползёт по стенам тусклый свет, покажет наплывы льда на стенах и сосульки на потолке, и снова утлый вагончик застучит, закачается, заскрипит и потащит меня дальше в глубь тайги, в сторону от давно обжитых мест, ближе к зловещему лесопорубу.

«Ну вот, – думал я, сидя на грязном полу и щёлкая зубами от холода, – произошло практическое знакомство с советской каторгой. Узнал ли я что-нибудь новое? Гм... Режим здесь строже, чем в обычном лагере, и поэтому все нарушения ярче бросаются в глаза. Человеческое, увы, только человеческое непослушно лезет в щели суровых режимных предписаний, и Мёртвого дома я пока не нашёл. Разве умирающие в моём стационаре и вскрытия тел убитых доказывают, что Дом этот населён мертвецами? Я думаю обратное – слишком жизнелюбивыми людьми, внутренне вольными настолько, что ради призрачных утех они могут нарушать режим и идти на смертельный риск.

Все умирающие и убитые, которых я видел, погибли не во исполнение, а в нарушение правил, которые нацелены на то, чтобы сделать этот Дом мёртвым. Они погибли как живые. В этом Смерть потерпела неудачу. Жизнь торжествует, и даже её кривлянье должно радовать, потому что Смерть – это неподвижность и покой, а его я не нашёл здесь.

Что ж, остаётся посмотреть лесопоруб, перед которым на распреде посученные контрики так дрожат от страха.

Самое мёртвое, что я видел в распреде, – это постное благочестие на рожах придурков. Но и это не печать подлинной смерти, если только предположить, что у большинства – это защитная маска. Защищая жизнь в себе, трусы, как насекомые, притворяются мёртвыми. Но по-настоящему здесь мертвы лишь те немногие, душа которых умерла ещё на воле и у которых эта казённая восторженность отражает её всегдашнее состояние: когда люди смачно и взасос лобызают кнут, который гуляет по их спинам, то они душевно мертвы, они больше мертвецы, чем молодой китаец с пятью пулевыми ранами на обожжённой груди. Нет, куда бы я ни попал в этом лагере, мертвецы всегда будут в меньшинстве, а среди живых людей я не пропаду. Я сам – живой!»

Высадка произошла утром. На санях, груженных мёрзлыми бараньими тушами, меня доставили в зону. Это был инвалидный и штрафной лагпункт номер 041 или 043 – не помню. Память – своевольная и капризная способность: я помню, что нарядчик был из бытовиков, американский еврей по фамилии Перец, помню, что он был невысокого роста, рыжий, шустрый, со всеми ладил и в зоне только и слышалось: «Где Перец? Позовите Перца! Сюда, товарищ Перец!» А Перец для моего рассказа совсем не нужен. А вот номер лагпункта и фамилию начальника я забыл! Чёрт знает что! Очень жаль: фамилию этого человека нужно было бы записать для потомства. Это был высокий худой человек, несмотря на зверский мороз ходивший в долгополой шинели. К этому времени выпало много снега, и все инвалидные бригады работали по очистке зоны и там, где нужно, и там, где это совершенно никому не требовалось. Начальник был вездесущ: он осматривал ряды бригад, идущих в столовую, и каждый, кто обернулся, шел не в ногу или заговорил с соседом, получал трое суток холодного изолятора, а вся бригада лишалась еды. Во время работы начальник следил, чтобы никто не отдыхал, не разговаривал и не курил. Обстановка на лагпункте создавалась тяжёлая.

Как распред запомнился мне сценой «Поругания» с грязной татуированной рукой урки, лежавшей на лобке безрукой плачущей девушки, так и этот инвалидный лагпункт вспоминается мне другой сценой: сияющее морозное утро, по

розовому искрящемуся снегу молча движутся тёмные фигуры калек, подобранных начальником с большим знанием дела: те, у кого не было правой руки, вдвоём левой несли носилки со снегом с одной стороны, а люди без левой руки – с другой, безногие лопатами ковыряли снег, безрукие водили в уборную цепочки слепых... Всё двигалось, это была молчаливая машина, какой-то зловещий балет, поставленный в розовых декорациях постановщиком, не имеющим сердца. Кстати, снег – очень тяжёлый груз, и десять часов таскать его одной рукой – это совсем не лёгкая, хотя и никому не нужная работа...

Перец меня не трогал, и в бараке на нарах я открыл приём, потому что врача на этом инвалидном лагпункте не было. Последний врач не так давно освобождился и выехал к поезду на телеге, груженной чемоданами с вещами, которые он наградил у больных. Врача звали Николаем Николаевичем Тихоновым.

Это был мой старый знакомый по Суслово – румынский поп, предатель, педераст и хороший артист, изображавший в клубе КВЧ женщин. Теперь к его разнообразным талантам прибавился ещё один: в Озерлаге паринте Никулаэ стал врачом! Дивны дела твои, господи! А вот насчёт чемоданов вопрос остаётся нерешённым: кто вознаградил мошенника – бог или оперчекистская часть? Больные рассказывали, что тайшетское САНО не раз присылало на лагпункт врачей, но связанный с опером поп ловко и быстро их выживал и держал зону в своих руках. Выходит, что обогатил своего сексота опер, но ведь всё в руке Божией, включая и опера, так что, если подумать хорошенько, то тут за всё отвечает Всемогущий!

Через неделю я получил назначение старшим врачом на 07. Знающие дело старики покачали головами:

– Трудный лагпункт, ох трудный! Контингент там тяжёлый, да и начальница лагпункта – зверь. Её так и зовут – Зверь! Одно там утешение – начальник режима Иван!

– Позвольте, – горячился я, – разве начальник режима может быть хорошим человеком? Начальника режима в Тайшетском управлении Озерлага капитана Фуркулицу я знал в Сиблаге ещё лейтенантом, гадом был, гадом и остался. Насилюя заключённую девушку в Тайшете, он сломал ей руку.

– Иван – свой парень.

– Может быть. Но это фамилия?

– Нет. Имя. Его фамилии никто не знает. Он – младший лейтенант. Его так и зовут в глаза гражданином младшим лейтенантом, а за глаза, любовно, от сердца, – Иваном. А его жена там ларьком заведует: не женщина, а ангел!

– Так начальник лагпункта женщина? Вот никогда не видел такое!

– Увидите. Женщина и зверь.

Через день я очутился на 07.

Это был маленький лагпункт, затерянный в густой тайге в восемнадцати километрах от Новочунки. На подходе к зоне – несколько убогих избушек, вольный городок для начальства. На пригорке небольшая зона, огороженная забором. Справа от ворот – внутренняя зона, и в ней – новый барак для штрафников и крохотный домик с ДОПром и ШИЗО. Дальше амбулатория и стационар в одном большом и чистом строении. Ещё дальше, всё ещё по правой руке, хитрый домик опера, морг, кухня, баня и кипяtilка. Слева, вдоль дороги, значительно отступая от ворот, ряды инвалидных и рабочих бараков. Они стояли торцами к дороге и забору и боками поднимались к склону холма.

Из окон и с крылечек видна тайга, насколько глаз видит – одни верхушки сосен: белые зимой, чёрно-зелёные летом. Воздух сибирский – сухой и чистый. Почти всегда ветер. Редкие крики птиц. Глубокая тишина. Задворки человеческого мира.

На лагпункте 800 человек. 400 рабочих первой категории, 400 инвалидов, частью из обессилевших рабочих, а в большинстве – привозные. Все инвалиды – тяжелобольные. Обе группы хорошо различимы с первого взгляда – одни в хорошем обмундировании и держатся бодро, другие – оборванцы, идут и покачиваются, как пьяные, но не от голода, а от высокого артериального давления. Пища скудная, но неплохая: главный повар и завкухней – одно лицо, бывший власовский капитан, а до этого красноармейский комбат и партиец, попавший в плен и променявший поклонение Сталина на «хайль» Гитлеру.

Нарядчик – смазливый, женоподобный бандеровец, работающий вежливо, без мата. Он – бывший народный учитель. Кухня и прачечная в руках бывших офицеров маньчжурской армии. Это – самостоятельное государство: китайцы молча улыбаются, но говорят мало, и в их среду постороннему проникнуть невозможно. Парикмахер – бывший

лучший тенор из хора Львовской оперы, он же запевала украинского эсэсовского батальона карателей-головорезов. За художественное пение получил от гитлеровцев официальное название «Соловей» («Нахтигаль»). Парикмахера в зоне многие зовут Соловьём и ещё одним словом, потому что у него вечером иногда бывают слегка подкрашены щёки и губы.

Был в зоне ещё один тенор и тоже Соловей – длинноносый рыжий горбун, варшавский еврей. На деньги какого-то богача он получил певческое образование в Италии и пел как беспечная свободная птица.

Контингент пёстрый – человек пять бывших сиблаговских контриков ежовской выделки, человек десять советских людей, отштампованных контриками после войны, а остальная масса – по-животному ненавидящая всё советское и русское: изменники, бандеровцы, мусульмане-легионеры, немцы, эстонцы, латыши и японцы.

Сначала меня очень испугал опер – худой, как щепка, человек с серо-зелёным лицом: после фронтовой раны в живот ему удалили желудок и часть кишок, и вот теперь он медленно умирал от голода и постоянных болей. Вид у него был зловещий, никогда не улыбающееся сумрачное лицо казалось злодейским, но потом я узнал, что опер в прошлом педагог, чекистскими делами не занимается, никого не трогает и живёт только своими муками, красивой молодой женой и маленьким сыночком Алёшей.

Я боялся, что по приезде этот серо-зелёный зверь станет вербовать меня, но этого не случилось, да и среди контингента нашлись люди, знавшие меня ещё по Сиблагу: по моей просьбе они сразу пустили слух, что я бывший разведчик и чекист, и этим отрезали оперу путь к вербовке.

Первым старым знакомым оказался Сидоренко, мой бывший начальник лагпункта из Суслово, которому опер Долинский сделал срок, подло инсценировав кражу мешка с овсом.

Вторым старым знакомым был врач, с которым я случайно познакомился в Мариинском распреде по пути из Суслово в Москву. Владимир Алексеевич знал мою биографию по моим рассказам и поддержал Сидоренко в создании условий, препятствующих привлечению меня на работу в опер-чекчасть.

Третьим знакомым был Эстемир Селим Гирей, ингуш, бывший нарядчик из Маротделения – необузданный и не-

угомонный дикарь, ярчайший тип нашего кавказского разбойника. Эстемир был неисправимым драчуном и неутомимым танцором, грозой урок и объектом обожания всех дам. Но никто не знает своей судьбы. Позднее у него начался облитерирующий эндартериит – болезнь, при которой нарушается кровообращение в конечностях: они сначала поражаются гангреной, а затем отрезаются.

Войдя в инвалидный барак, я был поражён невиданной и непонятной чистотой: не только пол и нары, но даже стены на высоту поднятой руки были чисто-начисто выскоблены битым стеклом и тепло мерцали полупрозрачной поверхностью свежей древесины. Всюду виднелись согбенные фигуры еле живых людей, казалось, лижущих стены языками, и между ними шумно и грозно металось странное существо полуметрового роста, похожее на большого орла со связанными крыльями. Это был Эстемир, но уже без ног – они отняты по пояс, его туловище было привязано к тележке на железных колёсиках.

– Скорей! Скорей! Скорей! – гортанным голосом кричал он и крутил в воздухе деревянными утюжками, на которые опирался руками. Тележка с грохотом каталась по барaku из конца в конец, но когда свет упал на худое лицо, хищный нос крючком и серые бешеные глаза, я узнал в этом обрезке человека – некогда неукротимого Эстемира. Да, он оставался орлом, хотя и с обрезанными крыльями. Мы обнялись, и на лагпункте я обрёл могучего друга и защитника.

Владимира Алексеевича в распреде я видел после его прибытия с кавказским этапом – он был худ, как скелет, и очень моложав. Теперь это был обрюзгший лысый толстяк с бледным лицом, светлой бородкой и золотыми очками, прикрывавшими очень близорукие глаза. Мы тоже обнялись и стали дружно работать, помогая друг другу в бесчисленных затруднениях лагерной жизни и медицинской работе. Ее было много, с этапами приходили другие врачи, но как-то не приживались: то оказывались лентяями или патологическими типами, то рвались с лагпункта в Новочунку, в клинику больницу, в более благоприятные моральные и бытовые условия. А мы никуда не рвались, делали что положено и жили душа в душу.

Я прибыл в марте 1952 года, а отбыл в декабре того же года, и вспоминаю эти девять месяцев с тихой грустью. Много пришлось видеть там тяжёлого, немало хорошего, бывало там и смешное, даже очень смешное, и теперь,

подбирая слова для названия главы, я сначала остановился на странном сочетании – «Весёленькая могила». Да, это была могила. Но из неё иногда доносился безудержный смех. Потому что в могилу были посажены ещё живые люди, а где живые люди, там неизбежен и смех.

Следующий день выдался очень морозным. После завтрака ударили на развод. Рабочие, ёжась от стужи, прыгали к воротам. В чёрных рядах слышались кашель и хлопанье рукавицами об рукавицы. Из-за леса поднималось оранжевое солнце, огромное, еле видимое сквозь ледяную мглу.

– Гражданин начальник, – сказал я толстой рябой женщине в овчинном тулупе. – Я новый врач. Разрешите узнать температуру.

– Сорок один, – ответила она, растирая рукавицей багровые рябые щёки.

– Тогда развод начат ошибочно: по положению с сорока градусов холода люди на работу за зоной и в открытые места не выводятся.

Начальница повернулась ко мне. Смерила глазами. Фыркнула.

– А я здесь сама положение. Понял? Сказала – вот и получилось положение! Закройся и исчезни, пока цел! А то съём живьём. Понял?

Я растерялся: таких ответов от начальников мне слышать не приходилось. Начальника МСЧ ещё не было.

– Давай, давай отселева! Катись!

И начальница повернулась ко мне широкой спиной. Я отошёл, но стал рядом с заведующим каптёркой и кухней. Развод рабочих закончился. Выползли инвалиды.

– Нарядчик, в каптёрке, я видела, крыша прохудилась! Пошли починить!

После развода приземистая фигура прошла в свой кабинет, вышла с объёмистой кошёлкой и направилась в баню.

Придурки ухмыльнулись.

– Сейчас нашего Зверя обрабатывать будут!

– Как так?

– Она на комиссовках всегда внимательно осматривает всех рабочих первой категории. Любит широкоплечих, невысоких и чтоб при инструменте были: говорят, у них он способней, чем у высоких и тонких. Выбирает не спеша. Любит своих татар. Как выберет, так заставляет начальника МСЧ проставлять в карточке «Временно лёгкий труд» и по-

сылает банщиками в баню. Это уж её личная гвардия. Она приходит с кошёлкой, а в кошёлке – два пол-литра и закуска. Пока Зверь раздевается, банщики выпивают первую бутылку и закусывают. Потом её по-очереди оформляют в напаренной парилке и растирают жёсткими мочалками. Как станет похожей на свеклу, так делает знак рукой. Щёлкает пальцами. Это значит – второй заход требует. Банщики выпивают другую бутылку, закусывают и по-очереди её оформляют опять. Сейчас не уходите, она пройдёт из бани в кабинет! Будем поздравлять с лёгким паром!

Мы покурили, поболтали для первого знакомства, и скоро дверь бани распахнулась, и оттуда хлынуло облако пара, а в нём Зверь – тулуп на одном плече, на груди орденские ленточки, лицо малиновое, благосклонно улыбается. В руке – пустая кошёлка.

– С лёгким паром, гражданин начальник! – хором закричали улыбающиеся заключённые: придурки, инвалиды, барачные дневальные, кухонные повара.

– Спасибо, заключённые! – томным голосом прорычала Зверь и ввалилась в дверь кабинета, который помещался за баней, в одном домике с КВЧ.

– Представление кончилось? – спросил я.

– Наоборот. Только начинается!

И действительно: я увидел на крыше скрюченную фигурку старика, который на таком лютom морозе пытался чинить обледеневшую крышу. Я снял его с крыши, и через час рядчик зашёл за мной в амбулаторию – до вечернего приёма Зверь приказала посадить меня в холодильник. Бушлат сняли и в одной телогрейке втолкнули в карцер, где стекла были выбиты и часть койки засыпана снегом. Конечно, на воле я получил бы воспаление лёгких, но спецлагерь – не воля; там, как и на фронте, люди не простужаются.

Вечером дверь отперли, и в комнату вошла высокая стройная молодая женщина с яркими васильковыми глазами.

– Я – ваша новая начальница, медсестра Елсакова! – проговорила она, оглянулась и торопливо протянула руку. – Идите греться, доктор! Владимир Алексеевич приготовил для вас кружку горячего чая со спиртом! Не надо было связываться с начальницей лагпункта!

– А крыша?

– Осталась недоделанной!

– Значит, надо было. Я моложе инвалида, да и в помещении не так холодно, как наверху!

Так я познакомился с Елсаковой и стал её доверенным другом.

А через неделю в стационар лёгким шагом вошёл щеголеватый капитан в снежно-белом полушубке, в косматой белой папахе, лихо сдвинутой на затылок. У него было удивительно тонкое, породистое лицо, это был хороший образец грузинского князя: нос горбинкой и узкие чёрные усики дополняли сходство. Красивый молодой капитан был пьян.

– Я – новый начальник лагпункта. Вы – врач? Хорошо. Почему этот больной не привстал с постели?

Я пожал плечами:

– Он мёртв.

– Почему розовый?

– Он скончался минуту назад, у него была пневмония с высокой температурой.

– «Доверяй, но проверяй!» – учил нас товарищ Ленин, – сказал капитан, поправил папаху, небрежно провёл пальцем по усикам.

– Трубочку! Живо!

Взяв стетоскоп, он приложил узкий раструб к уху, а широкий – к пупку умершего. Мы стояли, вытянувшись. Только один из больных пробормотал несколько раз:

– Прости, господи, на всё твоя воля...

Капитан резко выпрямился. Провёл пальцем по усикам.

– Возьмите трубку. Он точно мёртв. Я проверил. Можете не беспокоиться, доктор. Уж если я говорю «мёртв», так значит мёртв на все сто! – резко повернулся и вышел.

Так я познакомился с моим новым начальником. Этого сумасброда я за девять месяцев ни разу не видел трезвым.

– А ты чего не вышел за зону валить лес? – спросил капитан горбатого Соловья, войдя в комнату КВЧ и садясь на стул задом наперёд; положил руки на спинку, уперся в них подбородком и уставился в Соловья нос в нос.

– Пхе, зачем мне лес? Я и без леса проживу, пан начальник!

– А вот я завтра специально выведу тебя за зону, чтоб ты понюхал, что такое лесопоруб!

Соловей нервно вертит в руках линейку и болезненно улыбается: пьяный начальник играет с его жизнью и смертью.

– Нюхать мне нечего, а за зону я не пойду.

– Пойдёшь!

– Нет, не пойду!

– Самолично вытащу тебя за ворота!
– Руки коротки!
– Как ты смеешь так разговаривать с начальником, жид? Я тебя заморю в изоляторе!

– Это другое дело, – дрожа от нервного напряжения, говорит горбун. – Убить пан меня может хоть сейчас с пистолета, а вывести на лесопоруб – нет. Я пану-таки повторяю – руки коротки!

– Вот жидовская морда! А?! Вы только послушайте! Нарядчик, заberi жида в изолятор! А-а, трясёшься, тварь? Боишься меня?!

– Вас? Пхе... Тоже скажете такое несуразное, что в ворота не лезет! Так я пану скажу, что после ареста я никого не боюсь, пан начальник! Российские чекисты меня освободили от страха. Я, конечно, польский гражданин и у вас в заключении, но бояться мне не к лицу! Я пана не боюсь!

Соловей играет линейкой, и видно, как его тонкие и длинные пальцы дрожат. Но нос победно торчит кверху, горбун похож на боевого рыжего петуха, который отчаянно лезет в драку.

– Ладно, жид, не сердись, – говорит вдруг капитан совершенно другим тоном. – Слушай, спой мою любимую!

Он щурит пьяные глаза, подпирает голову рукой и сидит в мечтательной позе. Проходит минута.

– Ну? Ты что, не хочешь?

Горбун с презрением пожимает костлявыми плечами.

– Если пан начальник хоче...

И кристально чистым голосом, бодро, с задором поёт песню «За полями да за чистыми». То вызывающе, то нежно.

– Эх ты, удаль молодецкая, эх ты, девичья краса... – задумчиво повторяет капитан, думая о чём-то далёком. Вдруг встаёт.

– Спасибо. Мастерски спето. Молодец. Тебе бы на сцене петь, а не по лагерям болтаться!

– Буду петь и на сцене. В Варшаве!

Горбун и начальник обмениваются острыми взглядами.

– Вы понимаете, доктор, начальник лагпункта – пьяница и хам, но в нём есть что-то бесшабашное, напускное, он никогда не бывает мелко и злобно жестоким. А вот мой муж – и пьяница, и хам, и ещё мелкий злобный подлец, – говорит Елсакова, печально глядя в окно. – Я отдыхаю от жизни только в зоне – приду в проволочный загон и раду-

юсь: они все остались там, на другой стороне! Печи в избах здесь маленькие, сделаны плохо, дрова сырые, прокипятить бельё – значит провозиться с ним целый день. На следующий день глажу. А потом муж придёт из Штаба – он там счетоводом работает, и прямо в грязных сапогах ложится на свежую постель! Нарочно, понимаете? Лежит и смотрит мне в глаза. Издевается. Надо отвезти мёртвых в Новочунку, так они все, пьяные подлецы, дадут лошадь и сани, а бесконвойника не дают, мол, нет, все в разъезде. Я трупы сложу, сяду на них верхом, а ребёнок у меня за спиной в рюкзаке, и еду, а они смеются: «Наша поморка – ржанные волосы кататься поехала!» А что плохого, что я с Мурманска и волосы у меня, как рожь? Не всем же быть брюнетками!

– Да вы разведитесь с ним, гражданка начальница!

– Не могу! Комната записана на него! Куда я денусь? Денег нет на переезд, и куда ехать? К тому же ребёнок годовалый... Заманил он меня сюда, в леса, а как мне отсюда выбраться – не знаю... В Мурманске-то у меня дом от папы покойного остался, так он уговорил дом продать, деньги пропил и вот теперь выживает с квартиры. Глаза мои на них на всех, на пьяниц, не глядели бы... Какой вы счастливый, доктор!

– Что не пью?

– И что в заключении. Вот освободитесь – хлебнёте горюшка! Увидите, доктор: воля – не заключение, она хоть кого сломит!

Однажды опер зашёл в амбулаторию.

– Одевайтесь, доктор! – буркнул, глядя в угол. – Пойдёте со мной. Мой ребёнок болеет.

Комната оказалась бедной, но чистой. Рядом с портретом Сталина и Ворошилова висели аляповатые выпуклые изображения немецких замков, как видно, вывезенные во время войны из Германии. На кровати сидела с книгой очень миловидная женщина.

– Вот, Маша, познакомься: наш новый врач. Кончал в Швейцарии. Может, поможет, а?

Я наклонился к ребёнку. Осмотрел.

– Ну, как? – с тревогой в два голоса спросили оба. – Что находите?

– Ничего определённого, кроме общей слабости.

– Ребёнок недоношенный. Но если нет ничего серьёзного, то это уже хорошо.

– Недоношенность и общая слабость – это очень серьёзно! – покачал головой я. – Общая слабость – это условие тяжёлого течения любой болезни. Наступает весна. Будьте осторожны. Воспаление лёгких было бы для ребёнка тяжёлым испытанием! Опасайтесь инфекции!

Супруги переглянулись.

– Мы ни у кого не бываем, и у нас никто не бывает. Тут такие люди... Гм... Пьющие... И вообще.

Опер сунул в карман пистолет.

– Спасибо, доктор. Нас не забывайте. Ну, выходите первым. Руки заложите назад.

Я не знаю, кем и когда был издан приказ, что стрелок, убивший заключённого при попытке к бегству, получает 200 рублей награды и две недели отпуска «на пропитие». Говорят, что это дело рук Берии. Может быть, да это и не важно. Берия действовал точно в границах, очерченных ему Сталиным, и поэтому именно на голову последнего падает кровь зверски умерщвлённых заключённых. Первую жертву я видел ещё в Норильске – это был Владимир Александрович. Он действительно дважды бежал, был подвергнут систематическим избиениям, доведен до помешательства и застрелен при третьей попытке к бегству. Стрелявший в него часовой формально был прав, но моральную ответственность за убийство несёт Великий Кормчий, ибо он создал в стране политическую систему, при которой невинный и хороший человек, преданный коммунист, может быть затравлен и убит ни за что.

В Сиблаге я видел немало побегов. Пойманных били, давали статью пятьдесят шесть, пункт «Саботаж» и водворяли в БУР. БУР у меня описан там же, вскользь упомянуто и о судьбе бывшего офицера, контрика, пойманного после побега и застреленного у ворот лагеря перед водворением в зону для суда, получения нового срока и отсидки в БУРе. Несколько трупов беглецов мне довелось вскрывать. Одно го урку застрелили после того, как он удачно сбежал, в тайге наскочил на отдыхающих стрелков и успел камнем убить одного из них. Это было обезьяноподобное существо, несколько похожее и на человека. На одной ноге у него было наколото «Хоть я и устала», а на другой – «Но меня неймаешь».

Одних убитых я жалел больше, других меньше, убийцу с наколками не жалел совсем – это был враг человеческого общества и жить ему было не надо. Но все эти люди действительно бежали, то есть сознательно шли на риск. Вла-

димир Александрович даже гордился этим. Они бросили вызов тупой громаде, называемой государством, и были раздавлены. Ну что ж, бой есть бой, в нём побеждённые погибают. Такие случаи были немногочисленны, в моём сознании они не доминировали над трагической пестротой лагерного быта.

Но тайшетский молодой китаец, которому из автомата в упор всадили в грудь пять пуль так, что обожгли кожу между сосками, заставили меня насторожиться. Это было преднамеренное убийство. Факт преступления доказывался тем, что Юлдашева вычеркнула из протокола вскрытия описание ожога кожи и направление пулевых каналов. Согласно «исправленному» протоколу выходило, что заключённый был издавлек убит в спину при попытке к бегству. Моя подпись покрывала убийцу.

И этого я не смог забыть.

Отсюда всё и началось.

После прибытия на 07 я попросил Елсакову устроить мне выход в тайгу с рабочими бригадами для ознакомления с условиями труда. Идея была разумная. Начальница МСЧ её одобрила, а Зверь разрешила – она как раз вернулась после четырёхкратной обработки в бане и была в благодушном настроении. Идти оказалось недалеко, но дорога была плохая, люди несли тяжёлые инструменты и шли медленно, скользили и падали. Тут пришлось отметить первые особенности: стрелки, все как один молодые парни до двадцати лет, ухарски-блатного вида, всё время подгоняли упавших прикладами. В Сиблаге этого не было, да и возраст и вид стрелков были не те.

После прихода на рабочий участок, начальник караула обошёл его границы и натывал в снег колышки с красными флажками. Получилась зона в глубине тайги. Люди первой категории труда начали рубить и валить лес. Электропил или мотопил не было, труд был тяжёлый. Но всё же он ничем не отличался от обычного крестьянского – так в Сибири валили лес испокон веков. Вольные рабочие или крестьяне могли быть одеты теплее и выходили в лес более сытыми и лучше отоспавшимися – и только. Дополнительные 2 часа против 8 часов вольной работы тоже не были чересчур тяжёлым довеском. Мужик, рубящий лес для постройки собственной избы, часов не считает. Значит, существенным фактором, снижающим работоспособность, было моральное состояние – лесопоруб здесь являлся чужой, ненавистной,

рабской работой, на которую гнали прикладами, а там это был добровольный, иногда желанный и всегда выгодный труд для самого себя, для своей семьи.

С каждой бригадой выходило несколько человек с категорией «лёгкий труд». Эти вспомогательные рабочие рубили ветви и разжигали костёр около каждого стрелка, чтобы он не мёрз и сохранял живость движений и способность быстро реагировать. Когда каждый стрелок был обеспечен маленьким костром, один большой костёр разжигался в середине рабочего участка для того, чтобы согрешшиеся от работы, но уставшие рабочие не теряли тепло во время короткого отдыха.

На обратном пути утомлённые люди шли медленнее, падений было больше, и глухие удары прикладами звучали чаще. Ругань стрелков – злее и отвратительнее. Смеркалось рано, в темноте освещение зоны, то есть цепочки огней на вышках, показалось огоньками маяков, зовущих в тихую пристань.

Колонна прибавляла шаг, продрогшие собаки рвались с цепочек и радостно лаяли, вот ворота... Последние мгновения... **Родная** зона... Переключка, сдача орудий труда и, наконец, тёплый барак, ужин и вожделенный сон на матрасе, набитом душистым сибирским сеном, под тоненьким покрывальцем и уже согрешшимся бушлатом.

После нескольких таких выходов – зимой в мороз и летом до гнуса и при гнусе – я как врач уже хорошо представлял себе условия труда и мог с полуслова понимать рассказы работяг.

Поэтому первый привезённый на санях убитый поверг меня в глубокое раздумье. Второй – в смятение. Пятый – в ужас. Десятый – в состояние угнетения и тоски, которое потом уже никогда не покидало и явилось фоном всего последующего, что будет описано в этой книге. Это было совершенно безотчётное, бессознательное состояние. Я мог с увлечением работать, вёл жаркие политические споры, хохотал до слез на концертах KBЧ, которые искренне любил из-за обязательного участия в них бесшабашного и красивого начальника лагпункта, а гнетущая тоска оставалась всегда, ничто не могло ни убрать, ни ослабить, ни хотя бы временно заглушить её.

Зимой, бывало, выйду на крыльцо. Серый сумрак хмурого морозного сибирского дня. Тихо. Прямо за колючей проволокой, ползущей по ребру забора, виднеются вершины

покрытых снегом сосен. Вблизи они белые, дальше – сероватые, серые, чёрно-серые и ещё дальше сливаются с низким застывшим и мёртвым небом. Если долго вглядываться вдаль, то начинает кружиться голова, и эти ряды сосен кажутся тогда рядами седых океанских валов, идущих в грозном безмолвии мимо твоей хрупкой лодочки, потерявшейся в безбрежном просторе... Широко... Неуютно... Враждебно...

Я стою, поёживаясь от холода, и ни о чём не думаю. Угол одного барака отгорожен от спального помещения дощатой перегородкой. Это морг. Длина отрезка – два метра, то есть рост человека, ширина – тоже два метра, можно в ряд уложить шесть трупов, они ведь в белье, и укладываю их я вместе с санитаром Сидоренко на бок, чтобы больше вошло. Ну а в высоту? Высота штабеля зависела от количества трупов, то есть от того, когда начальник даст лошадь и сани или телегу. Тогда ночью, до подъёма, мы укладываем трупы, обвязываем их верёвками, чтобы не рассыпались на ухабах, закутанная в доху начальница МСЧ садится на них верхом, на спине у неё пристроен рюкзак со спящим ребёнком... В последний раз я вижу её большие синие глаза с замёрзшими слезами на ресницах. «Поехали!» – говорит она себе, для бодрости улыбается и трогается в путь. Я смотрю ей вслед и думаю: «Только бы не забыть... Только бы выжить... Только бы рассказать потом об этом. Написать когда-нибудь для очередной выставки картин эту под названием "Поругание" – седые валы заснеженной тайги, лошадёнка тащит воз трупов, и синеглазая плачущая мать сидит на них верхом со спящим ребёнком за спиной».

– Уехала наша падло? – весело спрашивает начальник лагпункта и молодцевато сдвигает на затылок белую папаху. Он не злой человек и даже не хам: это весёлый чекист, он всегда выпивши и не ведает, что творит. – Так поплелись, а, доктор? На, закури! Нарядчик, поднимай людей! Сейчас сделаю развод, сдам дежурство, поем, понимаешь, выпью – и спать! Ух, хорошо как... – и он проводит пальцем по чёрным усикам.

А летним ветреным утром тайга с крылечка казалась мне тёплым зелёно-синим океаном, над которым поднимается оранжевое солнце. Косые лучи чуть касаются розовых гребней валов, которые мерно катятся из никуда в никуда мимо моей хрупкой лодочки, покинутой судьбой в безбрежном просторе. И опять всё то же чувство – необъятности... тос-

ки... безысходности... Я ни о чём не думаю и ни чем не тревожусь, просто смотрю вдаль, но то, что уже стало вторым «я», не уходит, и знаю – не уйдёт...

Однажды летним утром я взобрался наверх и побрёл к кухне – надо было снять пробу до подъёма и раздачи завтрака. Я шёл по влажной тропинке, выбитой тысячами ног среди травы, на которой искрились розовые капельки росы. И увидел на пути голову, обыкновенную человеческую голову, аккуратно отрезанную от тела. Я оглянулся – тела поблизости не было. Неизвестные, вероятно, убили жертву ножевыми ударами в спину или в бок – так всегда убивают в лагере, и труп валяется где-нибудь в укромном месте, – там, куда убитого вызвали для разговора и прикончили. А голову положили на дороге для устрашения.

Я поднял её за ухо, оно было без крови. Вгляделся: парикмахер... На губах ещё видны следы красной губной помады. Ах, так... Бандеровцы? Я всегда думал, что эта красота в брюках работает на опера... Что ж, может быть... Значит, и бандеровцы догадались... А труп искать не стоит – куда он убежит без головы через две огневые дорожки? Потом я забыл про убитого, потому что к лету стал очень рассеянным – всё забывал, ни о чём не думая... Разве что и думать-то стало не о чём...

Я смотрел на пурпурное солнце, встающее над грядями качавшихся от ветра сине-зелёных валов... Потом вспомнил, что держу за ухо голову с накрашенными губами. Спустился, отпер морг и швырнул голову на трупы... Сидоренко встанет, мы притащим тело... Вытер руку о траву и пошёл на кухню снять пробу и позавтракать...

В то время я уже ни о чём не заботился...

Да, да, начальник веселил нас немало и на свой манер. С улыбкой вспоминаю встречу Первого мая.

КВЧ подготовила праздничную программу – маленькую юмористическую постановку «Дачный муж» по Чехову и хороший концерт, где главная нагрузка ложилась на горбатую спину Соловья.

Едва на сцену вышел обвешанный свёртками мужчина с наклеенными усами и бородой и в пенсне – ни дать ни взять сам Антон Павлович – и начал говорить смешные слова, как настороженно молчавший зал вдруг заржал от предвкушения циркового представления: дремавший в первом ряду начальник встал, слегка покачиваясь, неуверенно взобрал-

ся на сцену, остановился у рампы и поднял руку, как римский патриций.

– Начинается! – довольно загудел зал.

Начальник попрочнее расставил ноги, набрал побольше воздуха и вдруг пронзительно заорал:

– Ах вы, гады, так вашу мать и перетак и ещё вам этак и переэтак! Ваши жены, советский трудящийся элемент, о вас заботятся, посылки вам шлют, на последние деньги вам лучшее посылают, а вы что? Так вашу мать и перетак, вы их же позорите! Смеётесь над ними, гады, а? Над кем смеётесь?

Начальник качнулся, медленно обвёл глазами сидевших и закончил:

– Над собой смеётесь!

Потом перевёл дух. Приободрился.

– Нарядчик, сюда! Кто написал?

– Чехов, гражданин начальник!

– Это из 6-й рабочей? В клоповник!

Игоря Чехова, бывшего лётчика, под общий хохот потащили в клоповник.

Постановка была сорвана. Когда конференсье объявил, что сейчас будет исполнена песенка из фильма «Цирк» и Соловей совершенно женским шёлковым голосом начал петь, начальник, как будто задремавший на стуле, вдруг вздрогнул, взобрался на сцену и выбросил руку высоко в воздух.

Все замерли в ожидании. На всех лицах играла весёлая улыбка – в эту минуту лагерь был забыт, слушатели искренне забавлялись.

– Да что ж это такое, я вас спрашиваю? – плачущим голосом завизжал начальник. – Мать вашу так, перетак и ещё раз так! Ну, где же порядок? Объявляют, что будет цирк, а вместо этого поют!

Вид у начальника был убитый.

– Нарядчик, сюда! Этого певца за насмешку над заключёнными – в клоповник!

Под общий смех Соловья потащили в клоповник. Но на лагпункте был второй певец, счетовод, бывший лётчик.

– Сейчас романс репрессированного Глинки на слова репрессированного Пушкина исполнит репрессированный Павлов! – объявил конференсье.

Полминуты начальник сидел молча и слушал, но затем спохватился, взобрался на сцену, вяло поднял руку и сонным голосом объявил:

– Репрессированного Павлова вместе с репрессированным конференсье – в клоповник!

Пока их вытаскивали, начальник стоял и покачивался – его, видно, здорово разобрало: мгновениями он, казалось, засыпал стоя. Но потом вдруг встрепенулся. Обвел мутным взглядом ряды собравшихся. Поднял руку и бессильно уронил её.

– Нарядчик... сю... сю... да... – перевел дух. Потер лоб. – Ты чего смотришь, а? Люди с работы устали, хотят спать, а ты их здесь держишь! Пошёл в клоповник! Марш! Бегом!

Раздались весёлые аплодисменты. Десяток услужливых рук схватил нарядчика. Это было настоящее лагерное увеселение – встреча Международного праздника солидарности трудящихся в советском лагере усиленного режима.

– А вы чего здесь околачиваетесь? И ещё шумите в моём присутствии? Так вашу мать и перетак! Здесь я один могу шуметь сколько хочу! Понятно? Распустились! Вон отсюда! По баракам! Вон!! Вон!!!

Все бросились к дверям с притворным испугом, в толчее не забыв с улыбкой поздравить друг друга:

– С праздником!

Игорь Чехов был на редкость светлым блондином. Чуть пропустит очередную стрижку, и волосы у него начинали завиваться в колечки. Поэтому и кличка у него была верная, но смешная – «Пуделёк». Его любили за ум, весёлый и кроткий нрав и за физическую силу. Поэтому «Пудельком» не дразнили, а просто называли с любовью: «А где наш Пуделёк?», «Эй, Пуделёк, дай закурить!»

Александр Михайлович, журналист по профессии, член партии, был мужчина богатырского роста и сложения, с торчащей вперёд широкой грудью, смуглым и грубым лицом, где всё было большое: нос, губы, уши. Это был лучший лесоруб лагпункта. Он и Игорь ежемесячно получали богатые посылки, оба работали в одной ударной бригаде, спали рядом и составляли ядро интеллигентского кружка, который я сначала объединил рассказами о загранице, потом политическими спорами. Многие изголодались по отвлечённым, нелагерным разговорам, и поэтому вокруг нас троих быстро вырос кружок постоянных слушателей и собеседников.

– Вчера я пережил унижительные для русского патриота минуты, – как-то после ужина начинает Игорь. – Начальник прицепился к Фудзимори, японскому полковнику. Увидел в столовой, что у того недостаёт передних зубов, и затеял

разговор в таком примерно духе: «Кем ты был на воле, самурай?» Тот встает, вытягивается и рапортует: «Таудо Фудзимори, полковник генерального штаба, начальник информационного отдела штаба Квантунской армии». – «Чего там, садись, самурай. Теперь, брат, мы тебя с землей сравняли, понял? Ты вот против нас шпионил, а мы тебя кормим, у нас с голоду не помрешь». – «Японский офицер не боится смерти», – любезно улыбаясь, отвечает Фудзимори, став в положение «вольно». «Да ну? То-то ты не в земле, а в плену! Ты зубы-то вылечил бы, храбрец! Хоть ты и наш враг, а мы тебе зубы вставим. Понял? Где тебе их выбили?» – «В читинской пересылке. Камнем», – приятно улыбаясь, отвечает японец. «Кто? Подрался, небось, с другим самураем?» – «Нет, ваши русские урки собирали золото для продажи начальству за водку, а у меня были золотые коронки», – улыбаясь поясняет Фудзимори. Улыбается, а глаза горят презрением. «Ну, что ж, с паршивой овцы хоть шерсти клок! Знаешь такую поговорку? Запомни, пригодится. Тебя ведь хорошо обучили русскому языку!» – «Спасибо, гражданин начальник! Я запомню, а вставлять зубы не надо: это мне память о русских!» – и японец с приятной улыбкой смотрит начальнику прямо в глаза.

– Ну и при чём же тут, Игорь, твой русский патриотизм? – пожимат богатырскими плечами Александр Михайлович.

– Мне было стыдно, что Фудзимори увезёт в Японию такое доказательство нашего варварства.

Александр Михайлович хмурится.

– Эх, ты, Пуделёк-дурачок! Японцы начали войну с нами в девятьсот четвёртом году неожиданным нападением, без объявления войны. Это не варварство? Ты не жалеешь наших убитых? На американцев они тоже предательски напали в Пёрл-Харборе – ты не сочувствуешь жертвам этого варварства? А бесчисленные японские преступления в Китае?

Когда их Квантунская армия сдалась, то многие офицеры послушались приказа императора, надевали советские шинели и фуражки и втирались в наши отдыхающие части, чтобы ножами убивать ничего не подозревающих офицеров и солдат. Наши их прозвали кукушками. Сколько народу они погубили?! Ты не сочувствуешь семьям этих убитых в спину? Эх, ты, Пуделёк-дурачок, русский патриот, культурный интеллигентик!

– Одно варварство не оправдывает другое, Александр Михайлович! Стыдно так рассуждать! Если Гитлер был па-

лач, то, значит, по-вашему Сталин заслуживает прощения? Дешёвая логика!

– Как еврей я Гитлера ненавижу превыше всех на свете! Это преступник номер один всех времён и народов!

– Нет, ваш еврейский национализм вас ослепляет: величайший действительный преступник на земле – Сталин, и его я как советский, русский человек должен бы ненавидеть превыше всего, но потенциально он – молокосос по сравнению с Гитлером: человеконенавистнические планы Гитлера не идут в сравнение с борьбой Сталина за трон.

Гитлер боролся не за себя, а за власть Германии над другими народами, он истреблял людей за такие признаки, которые были вне воли его жертв – за принадлежность к расе. Вы, Александр Михайлович, как еврей, подлежали сожжению в печке, а я, как русский, – обращению в раба. Но оба мы живы, оба не рабы, хотя и несправедливо сидим в заключении. Оба мы выйдем на волю, потому что мы моложе и физически крепче Сталина.

Я как русский тоже больше Сталина ненавижу именно Гитлера и помню, что только груды советских солдат, убитых на фронте, помешали Гитлеру привести свои планы в исполнение, и я не попал в рабство, а вы – в печку! стыдно, Александр Михайлович, этого не понимать! Когда я среди советских людей – я против Сталина и его подручных, но когда я представляю себе Гитлера или вижу его слуг, я выбираю меньшее зло. Я боролся против немецких фашистов на фронте и буду бороться с ними здесь, в лагере! Я рад, что стрелок ведёт под автоматом не только меня, но и гитлеровцев: угнетая меня, стрелок в то же время и защищает меня! От автомата советского стрелка я когда-нибудь избавлюсь, а вот борьба с мировым фашизмом, думаю, только начинается!

В спор вступает десяток горячих голосов – тема спорная, она волнует всех. Спор длится до отбоя, и люди нехотя расходятся по нарам, точно эта страстная борьба идей вдруг сняла физическую усталость.

Таково свойство духовного общения, и за такие часы отдыха люди всегда были благодарны.

19 июня в тайге можно утром выйти из помещения и пробыть на воздухе до ночи; в это время здесь стоит очень жаркая погода, ветра нет, воздух сырой, люди и животные истекают потом. Даже комары куда-то исчезли, дав всему жи-

вому неделю отдыха. Но 26-го пусть выходят только те, кому это очень необходимо: в этот день вылетает **гнус!**

Гнус – это крохотная чёрная мушка, жёсткая на ощупь, с большой головкой и выпученными глазами. Летает она быстро и без шума. Инстинкт поиска пищи толкает её на беспрерывный полёт, пока она не натолкнётся на что-нибудь живое. Тут она с налёта вонзает толстое жало, протыкает кожу и начинает сосать кровь. Наевшись, отваливается и в неподвижном состоянии отдыхает до утра. Без пищи жизнь её недолговечна: летом все подоконники от стены до стены завалены длинным чёрным валом мёртвого гнуса.

Залетев в комнату, гнус летит на свет, начинает биться о стекло и умирает. В помещении он никого не кусает и не садится на пищу: в кухне подоконники черны от мёртвого гнуса, но в супе никто никогда не находил ни одного. Нападает гнус плотной тучей, отмахиваться от него смешно, он не боится дыма и с 26 июня до наступления крепких морозов мучит людей и животных, летая в дыму костров и ночуя в снегу. Животные перестают работать и повиноваться человеку. Они с утра раздражённо мечутся, воют и ржут, а с полудня стоят недвижимо, закрыв глаза, поджав хвост и опустив голову. В эти месяцы волки бегут из тундры, олени прячутся в леса, а застигнутые чёрными тучами гнуса бросаются со скал и разбиваются насмерть или прыгают в воду и тонут. Старожилы рассказывают о смерти лошадей и детей; уличная жизнь свёртывается. Но именно эти жаркие и тихие месяцы – наиболее удобное время для валки леса. И рабочие бригады, сжав зубы, выходили в лес.

Каждый день я наблюдал одно и то же: иностранцы – немцы, финны, японцы, венгры – шли в лес как на эшафот, где уже приготовлены все инструменты пыток – тихо, заранее в отчаянии опустив руки. Но наши, родные мои советские люди, шли бодро. Сегодня у всех на шапках венки из веток с листвой: рубят, выполняют норму и всё время трясут головами. Вечером я встречаю всех в амбулатории.

– Ну как? Помогло?

– Да что вы, доктор, так и так его мать – разве от гнуса спасёшься?

Стоит ряд бесформенно опухших лиц с подтёками и пятнами крови. Раздутыми руками держатся за поводырей из барачных дневальных. Я узнаю знакомые голоса и записываю в журнал знакомые фамилии, но узнать людей не могу – это бесформенные кровавые мешки. Интересно влияние

инстинкта поиска: напав на человека, гнус не просто грызёт открытые места (например, кисти рук), а лезет туда, где встречается препятствие: на опухших кистях видны только кровавые точки от проколов с кружочком воспалённой и инфицированной кожи, но вокруг рукава, перетянутого верёвочкой, кожа вздулась бугром, она багрового цвета и вся кровоточит. Инстинкт поиска загоняет гнуса в передний разрез брюк, дальше в бельё, и рабочие страшно раздутыми руками показывают свои половые органы, имеющие вид кровавых колбас невероятной толщины. Фельдшер смазывает покусанную кожу марганцовкой; очень искусанным я даю день отдыха.

На следующий день на разводе над бригадами повисло облако смрада: это русские рабочие смазали руки и лица калом с мочёй – после завтрака в уборных была толчея. Вечером я спрашиваю:

– Ну как?

– Так и так его мать, гнус заел до полусмерти!

И снова мы мажем пострадавших марганцовкой, наши люди идут есть и спать, а иностранцы, убитые горем, в полном отчаянии стоят, как пни, не смея даже открыть затёкшие глаза; их я освобождаю от работы и думаю: «Эх, господа шарфюреры и штурмфюреры! Жидки вы на расправу! Жидки!»

А наутро на разводе другой смрад: Александр Михайлович получил из дома 8 килограммов чеснока и раздал его рабочим, и те натёрлись чесноком. Смех и горе! Все плачут, но крепко надеются!

Вечером спрашиваю:

– Ну как?

– Так его и растак, не помогает: гнус всех сильнее.

В таких условиях выполнялась норма, в таких условиях просека за просекой валились огромные деревья, обрубались ветки, производилась штабелёвка на месте или перевалка бревен накатом к тракторному пути! Да, человек – не лошадь: лошадь побрыкается и стихнет, понурясь постоит, постоит, потом ляжет на бок и сдохнет. А человек – ничего! Смоет кровь, раскрасится марганцовкой, поест, а потом в состоянии ещё спорить – доказала ли советская действительность невозможность построения коммунизма или нет, и кто первоисточник всех зол – Сталин или Ленин.

Летом в связи с падением производительности рабочим раздали широкополые шляпы с накомарниками. Они не при-

несли облегчения: мелкая сетка не пропускает воздух, дышать нечем, но зато под накомарник обязательно заберётся гнус, одна маленькая чёрная лупоглазая мошка – и конечно: терпеть пытку нельзя, в исступлении человек срывает накомарник – и всё конечно, теперь он пропал!

И всё же именно тогда кто-то сделал замечательное открытие: если накомарник не вправлять в ворот гимнастерки, а оставить его свободно болтаться вокруг шеи, и если предварительно вырезать в полях шляпы над лицом большое овальное отверстие, то миллион гнуса влетает сверху в дыру и вылетает внизу, не укусив человека ни в лицо, ни в шею! Здесь невероятный инстинкт поиска пошёл работягам на помощь!

Начальство десятками флаконов выписывало себе гвоздичное масло: этот приятный запах почему-то отталкивал гнус, но невероятный зной вызывал пот, а капельки влаги, выделившись из каждой поры, прорывали масляную плёнку, и гнус немедленно садился на запах пота и жалил человека в каплю пота! Очень страдали и стрелки: им не приходилось двигаться и размахивать руками, как работягам, а потому гнус с особой охотой нападал на них. Любопытно, что среди восьмисот заключённых нашлось человек восемь, которых гнус вообще не трогал: разлетится и, не коснувшись, поворачивает и летит прочь.

Я обнюхивал и осматривал такую кожу – она не имела для обоняния человека никакого специфического запаха и выглядела обычно. Но тонкое обоняние гнуса различало какой-то запах, который в данном случае являлся репеллентом. Я даже делал опыт: потру тыльную поверхность своих кистей о голую спину таких счастливцев и выставлю гнусам на съедение. Не тут-то было! Ни одна сволочь не сядет, хотя для моего носа ни такая спина, ни моя кисть ничем не пахли!

С похолоданием гнус исчез постепенно. Снег его не пугал, но с наступлением морозов эта мерзость полностью исчезла.

Однако человек хуже гнуса. Сказать, что сталинский стрелок для спецлагерника был похож на гнуса, значит незаслуженно обидеть маленькую бедную мушку: мат она вполне заслужила, а вот такое сравнение – нет!

В середине лета этапники сообщили, что на одном озерлаговском пункте в тайге стрелки за день убили тридцать работяг «при попытке к бегству» – там в вольном городке

появились девки и водка, и всем захотелось погулять. Заключённые якобы на разводе сели на землю и отказались выходить за ворота. Ни просьбы, ни уговоры, ни угрозы не действовали. В столовую тоже не пошли.

Приезжало чужое начальство и обещало прекратить массовый забой людей. У нас тоже работяги волновались, но убийства происходили не каждый день и не каждую неделю, поэтому, поволновавшись, люди остывали и работать не отказывались.

Я внимательно вглядывался в лица стрелков, этих восемнадцатилетних деревенских парней с комсомольскими значками на груди, стараясь разгадать тайну человеческого равнодушия.

Ничего особенного – обыкновенные малокультурные веснушчатые курносые лица – встретишь такого на улице и не обернёшься, смотреть не на что! Так почему же так легко один человек убивает другого? Скажут – всему виной оглушающая, одурманивающая, оболванивающая пропаганда. Стрелкам говорят, что мы – враги народа, и они верят начальству и убивают нас за 200 рублей и две недели отпуска...

Неверно!

Награда – это внешний повод к убийству. Но ведь если бы этот веснушчатый человек знал заповедь «Не убий!», считал её справедливой и добровольно подчинялся бы ей, то этих убийств не было бы!

Лёгкость убийства обуславливается, очевидно, не наградой, а слабостью морального стержня, на который посажена современная жизнь, убеждением, что жизнь сама по себе не имеет цены, она её приобретает только по указанию начальства. «Не убий!» в форме морального запрета – чепуха! А «Не убий!» в форме циркулярного распоряжения с подписями и приложением казённой печати – это уже вещь, это приказ, а с приказами надо считаться, иначе последует наказание. Это веснушчатое, простоватое лицо не что иное, как маска робота, она ничего не прикрывает, кроме хорошо отрегулированного механизма: наверху нажмут зелёную кнопку – я пропущу, нажмут красную – выстрелю!

Особенно мне запомнилось убийство Димы Веневитинова – молодого, тщедушного и очень близорукого человечка, белоэмигранта, служившего, кажется, у немцев переводчиком. Он был инвалидом и летом посылался за зону для разведения дымных костров – все надеялись, что дым хоть немного отпугнёт гнуса.

– Поднеси зелёного хвороста и подожги около меня! – закричал ему стрелок.

Дима набрал охапку обрубленных хвойных веток и пошёл, но все заключённые были напуганы убийствами, и Диме показалось что-то подозрительное в голосе и позе парня с автоматом. Подойдя шагов на десять, он в нерешительности остановился.

– Ближе!

Дима замялся.

– Что ж ты, собака? А? Не слушаться?

Вероятно, стрелку показалось, что большая охапка веток защитит грудь от пуль.

– Ладно! Давай обратно!

Дима, не бросая веток, повернулся, и в то же мгновение стрелок дал очередь в поясницу и в спину. Десяток пуль вырвал у раненого кишки, но позвоночник остался цел. Дима уронил ветки, упал на четвереньки и, ощупав рукой, что очков на носу нет, пополз вперёд, ища очки. Наверное, всё это было уже подсознательным рефлексом. Но несколько коротких мгновений человек полз, волоча за собой ворох своих внутренностей. Потом упал лицом в лужу крови и таким его и привезли вечером – с лицом в запёкшей лепёшке крови, с пустой брюшной полостью и связкой порванных кишок, болтающихся снаружи.

Стрелок вытащил колышек с красным флажком и на глазах у десятков заключённых перенёс его за труп и воткнул так, что труп оказался за границей рабочей зоны.

Конечно, я не рыдал и не рвал на себе волосы. Просто руками собрал кишки с прилипшими к ним хвоей и кусочками древесной коры и затолкал их в пустое брюхо. Кажется, даже был рад, что не нужно вскрывать. Дело было в начале лета, до гнуса. Я помылся и вёл приём. После посидел на крылечке под звёздами и, как всегда, улёгся спать. Всё было, как обычно.

Но именно этот случай как-то особенно потряс меня. Нет, скорее добил, именно не потряс, а добил. Я и раньше стал задумываться, забывать, останавливаться и смотреть вперёд без всякой мысли, а тут через пару дней почувствовал, что у меня чешется сердце. В недоумении почесал грудь. Нет, опять чешется. Я заглянул за пазуху – может, какая-то летняя козявка заползла? Нет, ничего. Но чешется. Тогда я установил, что не сердце чешется, а происходит подёргивание фасций грудной мышцы. Я сделал массаж – прошло.

Потом стали подёргиваться веки, щёки, скулы. Не то чтобы сильно и заметно для других. Просто я сам чувствовал, что отдельные мышечные волокна или их пучки стали у меня подёргиваться то тут, то там, раза два-три в день. Судя по пульсу, давление у меня было не особенно высоким – около 190, не больше, – значит, болезнь приняла теперь не обычные формы, как в спецобъекте под Москвой, а другие, нервные.

А жизнь шла своим чередом. Стали неметь пальцы или давать ощущение ползающих мурашек. «Эти парестезии – признак перенапряжения нервной системы, её раздражения, или, лучше сказать, раздражительной слабости», – думал я. Но предпринять ничего не мог и продолжал работать. Скоро прибавился дальнейший симптом – внезапное побеление пальцев, то есть спазм артерий. Этот признак называется признаком мёртвого пальца: палец делается грязно-белым, но не болит и двигается.

Однажды утром я проснулся парализованным – правая рука и нога почти не двигались, глаз косил. Начальница всполошилась, хотела положить в стационар, но я выбрал активный метод лечения и попросил списать меня в бригаду обслуги, и стал дворником. Погода стояла чудесная, я просыпался, когда чуть светало, выпивал кружку чая и начинал работать: сначала так, чтобы не видели стрелки на вышках, а после подъёма – открыто. Мёл дорожки, таскал воду, помогал дневальным, мыл параши (в спецлагере бараки на ночь запираются, и в них с вечера ставятся параши), чистил и наливал умывальники. Сначала работа шла плохо и медленно, а потом наладилась: появилась сноровка, да и постоянное упражнение заставило поражённые мышцы начать снова выполнять положенные функции.

Конечно, это была слабая форма паралича – парез.

Из плохого дворника я сначала стал хорошим дворником, а потом опять превратился в старшего врача, и всё пошло, как будто, по-старому. Но я один знал, что прежнее здоровье не вернулось и что меня ждёт худшая беда, чем случилась.

– Ну вот, – воскликнет читатель. – Чего же вы вначале спорили? Достоевский оказался прав – это и есть Мёртвый дом, хуже того – просто могила!

– Согласен! – отвечаю я. – Могила. Правильно. Но особого рода – весёленькая могила, потому что не было дня,

чтобы из неё не слышался смех: ведь сидели в ней наши советские люди!

А когда мертвецы не лежат спокойно и даже смеются – значит, не всё потеряно, в могиле ещё теплится жизнь, и Дом этот – Дом людей Живых, уголочек общего Советского дома.

Всему заводилой был Александр Михайлович.

Ещё в начале года Александру Михайловичу прислали мужской костюм. Надзиратели предлагали за него мало денег, и он отдал костюм в запёртом чемодане на хранение на склад, находившийся за зоной, получив взамен расписку с описанием вещи. Каково же было его удивление, когда летом он захотел проветрить костюм, получил чемодан, открыл и вместо неношенного синего шерстяного костюма нашёл там гимнастёрку и галифе с малиновым кантом. Пьяный начальник, не разобравшись, в чём дело, наложил резолюцию: «Взыскать с виновного деньгами или отдать под суд!» Он думал, что дело идёт о каптёрке в зоне, где каптёром работает заключённый.

Александр Михайлович дождался приезда прокурора из Тайшета и подал ему заявление с приложением квитанции и резолюции нашего капитана. Вот началась потеха! Стращать лесопорубом нельзя, зачинщик скандала уже на лесопорубе, списать в этап – не выгодно: он – лучший рабочий. Уговаривали, угощали, поили – всё нипочём: Александр Михайлович улыбался, угощение принимал, ел и пил, а заявление прокурору обратно не брал. Так и пришлось вольному вору вернуть украденные вещи! Сколько было в зоне смеха и злорадства!

Крупные чёрные глаза Александра Михайловича всегда были печальны, но пошутить он любил, особенно когда вокруг были полумёртвые инвалиды: он знал цену их улыбки.

– Где вы пропадали, Александр Михайлович? – скрипит скрюченный старичок, опирающийся на две палочки. – Я вас не видел с неделю?

Толпа инвалидов начинается прислушиваться.

– Правильно! – солидно басит Александр Михайлович. – Я ездил в Москву на переследствие.

Мутные глаза старика видели потусторонний мир. Но он ещё не оторвался от этого.

– И так быстро... нашли... конвой?..

– Какой конвой? Зачем? Со мной просто послали лучшую овчарку.

Старик думает. Потом кивает головой. Все другие внимательно слушают.

– Хорошо ещё, что не порвала вас.

– Зачем ей меня рвать? Я её слушался и всё. Ехали спокойно. Только, – тут Александр Михайлович заодно подмигивает и, оглянувшись, доверительно шепчет, – только её аттестат и продукты выдали мне, понятно? Животное само же не управится! Так я самое ценное – жиры – сожрал сам, а ей объяснил, что у нас на лагпункте каптёры её обдурили! Ха-ха-ха!

Все смеются: каптёров здесь не любят.

– Здорово! – кивают головами инвалиды. – Так ей, тварюге, и надо! И сколько же выдали?

– Три кило ноль пять грамм.

– Комбижира?

– В столицу едем, и комбижир?! Что вы не знаете нашей системы? Одна показуха, одно очковитительство! Выдали сливочное масло, понятно? **Сливочное!**

Инвалиды облизываются.

– Здорово вам повезло! И я бы не прочь на таких условиях прокатиться!

Закрыв глаза, старички греются на солнце. Минут пять спустя один вдруг открывает глаза.

– Постойте, Александр Михайлович, а как же вы ездили один с собакой?

– Без стрелка? – спохватывается второй.

И вдруг начинается общий добродушный смех. Посмеются, покашляют и снова хохочут: здорово разыграл их Александр Михайлович! И все рады; теперь шутка будет передаваться из уст в уста десятки раз, обрастая новыми подробностями, и каждый раз будет вызывать такой же смех и радость, когда человек смеётся, ему легче...

А потом Александр Михайлович устроил новое дело!

Подготовив доходяг в бараке, расставив всех по местам и вооружив кого метлой, кого шваброй, кого палкой, Александр Михайлович с озабоченным видом идет на кухню. Толстый повар Микитенко, помощник завкухней, в последнее время стал, вроде, обижать инвалидов.

Александр Михайлович заискивающе говорит ему:

– Слушай, Микитенко, у меня к тебе просьба: свари мне обед.

– Я частных заказов не принимаю! – отмахнулся повар. – Некогда, бачишь сам, як я процюю!

– Да видишь ли, мне из Москвы по почте прислали большую живую жирную курицу. Но Дмитрий Александрович запретил есть куриное мясо, особенно жирное, у меня в правом боку хронический ихтиозавр, понимаешь? Так я прошу: свари курицу, мне отдай бульон, а себе возьми мясо! Вроде платы за труд – курицу-то придётся резать, щипать, смолить и потрошить, так ведь?

Микитенко был не дурак и сразу сменил гнев на милость.

– Оно, конечно, работы хватает, так ведь и больному услужить я должен. Це ясно! Де кура?

– Я пошёл просить инвалидов, чтобы кто-нибудь из них помог, но они отказались по слабосильности, а курицу упустили, она забилась под нары и сидит там!

– Нычего! Вытащим! – бодро крякнул Микитенко и зашагал в инвалидный барак, где в тёмном углу около нар уже стояла толпа.

– Ну, доходяги, тикайте видселя! Не мешайте! Дэ вона? Тут? Зараз усе буде готово!

Микитенко кряхтя опустил на четвереньки и сунул голову под нары.

– Нычего не бачу!

– Лезь дальше, она в углу!

Микитенко, стоя на коленях, сунул под нары голову, обе руки и плечи. Толстое заднее место скульптурно обрисовалось так, будто само просило палки. Тогда инвалиды с криком приступили к делу: кто бил шваброй, кто веником, кто коромыслом. Вместо того чтобы лезть назад, Микитенко от неожиданности и боли инстинктивно рванулся вперёд и совершенно заклинился в низком просвете, даже не смог выпрямить колен, чтобы убрать торчащую мишень. Всыпали ему как следует, приговаривая:

– Не воруй! Не воруй! Не воруй!

Месяц эта история повторялась на все лады и неизменно веселила всех. Любопытно, что никто из впавших в детство, отупевших и измученных людей не смеялся тому, что повар поверил, будто из Москвы можно по почте прислать в Сибирь живую курицу. Это был клинический случай, параллельный истории с путешествием в Москву одного заключённого со сторожевой собакой.

На такое патологическое легкое верие вызывалось не только старостью или измученностью заключённых. На 07 я встретил ещё одного врага, требовавшего от лагерников беспрерывных жертв: артериальную гипертонию.

Этот враг не любил крови, он мирно подкрадывался из-за угла, поражал наверняка и унёс жизней больше, чем пули стрелков и все другие болезни вместе взятые.

С медицинской точки зрения это было интересное явление. В Сиблаге я не встречал гипертоников, за исключением редких случаев почечной гипертонии: недоедание и голод не дают возможности нервной системе влиять на артериальное давление, как бы она ни выходила из повиновения. Но после войны питание заключённых значительно улучшилось, и, главное, резко повысились питательная ценность и количество посылок от родных: во время войны с воли посылки были редки и состояли в основном из чёрных сухарей. На 07 заключённые с Украины и Прибалтики каждый месяц получали по 8 кг свиного сала, что значительно повышало калорийность казённого рациона. Ожиревших, конечно, не было, но не встречались и люди, умирающие от голода, – скелеты с болтающимся на них тряпками. Если сиблаговский **пеллагрозник** с психической формой голода съедал сразу восемь килограммов сухарей и умирал от остановки сердечной деятельности на почве кишечной непроходимости, то озерагловский **гипертоник** умирал в уборной, около умывальников, ночью и на работе от кровоизлияния в мозг на почве ломкости сосудов, вызванной авитаминозом.

При артериальной гипертонии мозговые удары могут быть чисто нервной природы, они выражаются в форме сжатия какой-то артериальной веточки в мозгу, или же сосудистой природы, когда, вследствие повышенной ломкости сосудов, в котором давление крови повышено, лопаются, вытекшая кровь давит на прилежащую ткань мозга, и человек либо падает парализованный, либо (что у нас часто наблюдалось) мёртвый, ибо напор крови так велик, что она разрушает большой участок, прорывается в мозговые желудочки и прерывает жизнь пострадавшего. На вскрытиях я обычно находил в мозгу умерших гематомы величиной с небольшой кулак.

Связь с авитаминозом витамина С была для меня несомненна. Удары были часты и зимой, и носили они характер не спастический, а геморрагический, потому, что ежедневная порция щей держала людей в состоянии резкого гиповитаминоза, без клинических проявлений цинги. Но в февралемарте запасы квашеной капусты иссякли, а наш красивый и пьяный хулиган не хотел дать наряд на сбор хвои и изготовление настоя.

И вот в течение этого короткого времени, до появления черемши, новых овощей и настоя, который мы начали изготавлять после начала повальной смертности от цинги, – последняя вдруг обнаружилась внезапно и массово, но миновала начальные формы – стоматит и прочее, а сразу началась с кровоизлияний – подкожных и желудочно-кишечных: у людей появились обширные чёрно-багровые пятна на туловище и ногах, их несли в стационар спустя сутки после появления кала цвета дёгтя и после кровавой рвоты, и через день-два все заболевшие умирали. Вот именно тогда гипертоники посыпались на землю как будто под дулом неслышного и невидимого автомата.

Особенно обильную жатву давал этот безногий дьявол Эстемир: он с подъёма до отбоя не давал покоя инвалидам. Одуревшие от страха, они ползали и скоблили осколками стекла пол, нары, стены, столы, места под нарами и под столами – чёрт знает где, лишь бы только скоблить. Эстемир иногда давал им затрещины своей упиралкой для рук, но в общем его террор был психического порядка – плечистое тело, великолепная орлиная голова с крючком вместо носа и парой пронзительно блестящих глаз – и на тележке, на уровне согбленных старческих тел, – всё было страшно: я не мог слышать гортанный резкий голос и звонкое дребезжание металлических колёсиков. Но бороться было бесполезно: Эстемир был кумиром начальника, его барак являлся показательным, он славился по линии нулевых лагпунктов. Что мог сделать я? Или затравленная Елсакова, которую начальник крыл матом на разводе? Помочь мог только человек с зелёно-серым нахмуренным лицом и серыми страдальческими глазами – опер.

Но опер...

К весне он стал вызывать к себе чаще: боли в животе не давали ему покоя, фактически он медленно умирал от недоедания. Он ждал совета, хотя понимал, что помощи нет. Я советовал ему оперироваться ещё раз, и он действительно съездил в нашу центральную больницу к хорошему хирургу, гитлеровскому генералу медицинской службы профессору Бокгакеру, и во вторую больницу к профессору Флоренскому, но оба после тщательного рентгеноскопического и рентгенографического обследования вынесли ему смертный приговор: оперировать нельзя, потому что уже нечего оперировать – всё было вырвано осколками ручной гранаты или

вырезано в прифронтовом госпитале. Опер стал ходить с опущенной головой, взгляд его приобрёл диковатое выражение.

Хорошенькая жена тоже извелась вконец ещё и из-за ребёнка: всю зиму у Алёши продолжался бронхит, с весны началась ползучая пневмония – то тут фокус, то там... Ссылаясь на то, что я не детский врач, я настаивал на помещении ребёнка в какую-нибудь больницу под наблюдение опытного врача. Но таких врачей не было, вольные лагерные врачи – это измученные обстоятельствами люди, или обленившиеся, или спившиеся, или позабывшие свою медицину: все они жили хуже заключённых, страдали в заключении без срока и были заняты только одной мыслью – как бы поскорее убраться из цепких лап ГУЛАГа, уйти на гражданскую работу и забыть лагерь. Помотавшись по линии, бедная женщина вернулась на 07.

– Остаётесь вы, доктор. Я чувствую, что вы – порядочный человек, и верю не столько вашим знаниям детских болезней, сколько порядочности. Ей я и поручаю своего ребёнка.

В жизни врача бывают роковые, незабываемые, поистине страшные моменты. Каждый старый врач знает, о чём я говорю.

Ребёнок затемпературил, очень похудел и ослаб. Однажды опер вывел меня ночью.

Я наклонился над кроватью, в которой распласталось тельце, похожее на заячье, только без волос, с розовой, горячей, влажной кожей.

– Доктор! Доктор! Скорее! С Алёшей плохо! Я давала ему всё, что вы назначили.

И мать зарыдала.

Я наклонился ниже. Всё понял с первого взгляда, но пощупал пульс, выслушал сердце и лёгкие. Разогнул спину. Мой взгляд встретил испуганные глаза матери и тяжёлый каменный взгляд отца.

– Ну? Как?

– Алёша мёртв, – прошептал я и отошёл от кровати.

В начале рассказа о 07 я уже упоминал, что справа от ворот находилась маленькая зона в большой зоне – БУР, а в этой «зоне в зоне» находилась ещё одна крохотная зона – ШИЗО и ДОПР. Раз упомянул, значит надо рассказать немного о них: ведь еще Чехов сказал, что раз в первом акте

пьесы на стене висит ружье, то в последующих актах оно должно стрелять.

Сидел у нас инженер-строитель из крестьян, беспартийный. То, что называется солидный человек, немного мещанистый, но спокойный, справедливый и работающий. Он строил избы и Штаб для вольного городка, под его начальством работали две строительные бригады и несколько расконвоированных возчиков. Сидел у нас и маленький веснушчатый мальчишка, незаметный такой, никто не знал ни его имени, ни характера. Да и какой характер может быть у грязного конопатого паренька?

Однажды на разводе паренёк выбрал железную скобу, которой строители скрепляют два бревна, зашёл инженеру за спину и всадил ему один из заострённых концов скобы в спину между нижним ребром и тазовой костью. Я подхватил раненого за талию и довёл до амбулатории. В моче у него показалась кровь, очевидно, повреждена была не почка, а мочеточник. И тут же, за воротами, стояли сани и бесконвойные возчики. Инженера посадили и увезли в Новочунку. Он выжил, я его встречал в больнице. А паренька сунули в Дом Предварительного Расследования, то есть в маленькую конуру-клоповник. На вопрос, за что он ранил инженера, паренёк ответил:

– Ни за что. А это был инженер? А я и не заметил. Мне надо в тюрьму – хоть в Новочунку, хоть в Тайшет.

– Да зачем тебе?

– Надо. Личное дело. Понятно?

И всё.

Вот для таких случаев существует ДОПР.

В карцер меня посадила Зверь за то, что я снял с крыши старика-инвалида, которого она послала работать на ветру и при температуре – 41°. Я бы замёрз в карцере, если бы не начальник режима, милейший маленький лейтенант Иван. Отменить её приказ он побоялся, но зато сам принёс связку старых бушлатов, и я даже не простудился, а к вечеру за мной зашла начальница МСЧ. Такое повторялось почти каждый вечер. Как только капитан уйдёт из зоны, Иван приходил в карцер и отпускал в барак всех посаженных начальником. Так было и в ночь под Первое мая: всех штрафников, приведённых с торжественного вечера, – горбатого Соловья, белокурого лётчика, конференсье, Игоря Чехова и рядчика – он лично развёл по баракам.

Вот для таких дел имеется штрафной изолятор.

И наконец о БУРе.

Там сидели отчаявшиеся, озлобленные, доведённые до иступления люди – убийцы и насильники. Вызывали они меня редко, и ходить туда было очень опасно и страшно: не знаешь, как стать, отвечаешь на вопросы и следишь, кто заходит за спину, кто может из рукава выхватить нож, чтобы пырнуть в живот и таким образом «изменить свою судьбу», то есть обменять БУР на новый срок, этап и другой лагпункт. Не знаю почему, но они меня не тронули: надзиратель боялся войти и жался у дверей, помочь он мне ничем не смог бы. Вместо расправы со мной они выдумали другой способ вырваться оттуда: все восемь человек согнули алюминиевые столовые ложки и проглотили их. Как можно это сделать – не знаю: комок бумаги, величиной с куриное яйцо и то проглотить трудно, а уж согнутую столовую ложку и подавно. Но все проглотили и заявили об этом мне. Я доложил Елсаковой, она – капитану.

– До или после обеда проглотили? – спросил он, подумав и разгладив чёрные усики.

– После.

– Значит, на закуску. Иди, Елсакова.

– Да, но у них будет перфорация кишок и смерть! Их надо срочно оперировать! Прошу наряд на двое саней и стрелков!

– Получай! – сказал капитан и показал молодой женщине кукиш.

Первые часы буровцы орали, посылали начальнику такие проклятия, что у забора собралась толпа. Но начальник, беззаботно посвистывая, ходил взад и вперёд, и день прошёл без оказания им помощи. Прошла ночь. Наутро вся восьмерка присмирела, лежала не поднимаясь, лица у всех осунулись. К вечеру у двоих начали развиваться симптомы перфорации. Утром всех отправили на операцию, но выжил только один – красивый азербайджанец, вор из Баку. С ним я ехал в одной теплушке из Новочунки в Омск, когда в качестве штрафников нас отправили из Озерлага в Камышлаг.

Уж раз зашёл разговор о больных и больнице, расскажу о своём стационаре.

Препаратов, снижающих артериальное давление, в те годы не было. Манометра на лагпункте тоже не нашлось. Если по цвету лица, пульсу и общему виду я думал, что давление приближается к 250 мм ртутного столба, то применял веносечение и кровопускание. Брал одну банку, примерно

500 мл крови. Это снимало прединсультное состояние, но раздражало систему кроветворения. Поэтому общее состояние такое мероприятие не улучшало, а ухудшало: давление быстро повышалось до ещё более высокого уровня, и больной умирал.

Заключённые обычно имеют грязно-жёлтый цвет лица, говорят медленно и тихо, дышат еле-еле. Поэтому багровые лица и характерное громкое хриплое дыхание людей, умиравших у меня на руках от кровоизлияния в мозг, запомнились мне неизгладимо. Смерть как бы подстерегала всех нас, неотступно ходила у всех за плечами. Помню такой случай: из пекарни везут хлеб, двое тянут возок впереди, двое подталкивают сзади.

– Товарищ начальник, привезли хлеб! – крикнул с вышки стрелок.

– Отворите ворота! – распорядился капитан.

Ворота открыли. Возок стоял по ту сторону огневой дорожки.

– Ну что же вы? Заснули? Пошёл вперёд!

Люди-лошади рванули, возок въехал в ворота, и вдруг первая пара повалилась наземь.

– Что – готовы? – полюбопытствовал капитан.

– Готовы.

– Эй, нарядчик с доктором, вкатите возок в зону! Живо!

По положению ворота не могут оставаться открытыми. Объехав трупы, мы вкатили возок.

Авитаминоз я лечил настоем, который делал сам из хвои, приносимой работягами с лесопоруба. Для стационарных больных его хватало.

Однажды молодой эстонец прыгнул с нар, и у него сделался заворот кишок – осложнение, частое у заключённых, у которых нет жировой прокладки в брюшной полости. Точно такой случай недели за две до этого произошёл со мной прямо на разводе – я резко оступился и почувствовал, что в животе слева произошло что-то серьёзное. Терять времени было нельзя: я стал на четвереньки, а работяги подняли мои ноги кверху и стали так дёргать их и трясти, что через несколько минут я почувствовал, что кишки расправились и страшное чувство опасности миновало. Но эстонца доставили ко мне с опозданием в два-три часа, и сколько мы ни трясли его тело, став на скамью и дёргая за поднятые ноги, распрямление не произошло, вероятно, уже наступил отёк. Затем началась болевая фаза – больной метался на посте-

ли, корчился, стонал, а мы стояли, смотрели, слушали и бездействовали: проклятый капитан отказал начальнице в санях, бесконвойнике и стрелке. Напрасно я вдвоём с Владимиром Алексеевичем упрасивал пьяного сумасброда, он отвечал одно и то же:

– Не дам! Кто здесь начальник, а?

К вечеру больной стал тише, лицо покрылось потом и посерело. Только потные пальцы ещё беспокойно бегали по одеялу. О посылке больного просил Иван. Бесполезно. Потом начальник ушёл из зоны, и вопрос о доставке больного на операцию отпал. Утром человек скончался.

С гипертониками нужно было соблюдать осторожность: внезапное повышение давления у них случалось не только от горя, но и от радости.

– Поздравляю! Забирай своё сало, Калью! – говорит Иван, улыбаясь, и подаёт старому эстонцу восемь килограммов копчёного сала.

– Спасибо, нацальник! – улыбается в ответ Калью, протягивает руки к посылке и ныряет головой под стол. Мгновения его ноги его подергиваются. И всё. Он мёртв. Радость его убила: вызвала повышенное давление свыше переносимого, и какой-то мозговой сосуд не выдержал.

А помню ещё и такой случай: в инвалидной бригаде числился средних лет мужчина, проворовавшийся большой начальник из Одессы, связанный с таможей и импортом разных грузов. Это был нудный лентяй, бравший всех измором: от него отстал даже Эстемир.

– Убить не смею, не положено, а мучиться с гадом не хочу – бери его себе, доктор, и мучайся сам!

Одессит пытался притворяться паралитиком или припадочным, но делал это неумело, и я послал его в бригаду по уборке зоны на горе бригадиру. Раз я застал бригадира и одессита во время ругани, грозившей перейти в драку. Я взял притвору-лентяя за шиворот и потащил в амбулаторию, намереваясь его освидетельствовать и сдать начальнику вместе с актом о симуляции для водворения в ШИЗО. Пока симулянт лежал на топчане, я заполнил бланк и начал писать акт. Затем повернулся, а симулянт, вытянувшись на топчане, странно улыбается и вроде нагло мне подмигивает.

– Вы что это, а? Смейтесь? – зарычал я. – Вставайте!

Но он не встал, он был мёртв.

Такой случай разрыва сердца я видел в первый раз. Рвалось, конечно, не сердце, а лёгочные вены в месте их выхода. Сердце продолжало качать кровь, сердечная сорочка переполнялась ею, раздувалась, и сердце останавливалось от повышения давления в ней до уровня артериального давления. Происходила тампонада.

Улучшение питания вызвало ещё одно нежелательное последствие: злокачественные опухоли. За короткое время я наблюдал три первичные и одну метастатическую. Саркома бедра представилась мне случаем трудным для диагноза, потому что молодой больной работал на лесоповале, а у лесорубов я встречал жестокие ушибы от падающих деревьев, и обширные гематомы – кровоизлияния в мягкие ткани – были у них нередким явлением.

Когда для отправки набиралось пять-шесть человек, то есть одни сани или телега – я заготовлял сопроводилку с предварительным диагнозом на каждого, краткую историю болезни и эпикриз. Этому больному в Новочунке сделали операцию, и потом, в больнице, он даже всучил мне маленький голубой носовой платок – на память.

Я договорился с Елсаковой и Иваном и посоветовал больным выписать себе недостающие в нашей аптеке лекарства. Многие, особенно евреи, культурные люди, этим советом воспользовались и выписывали витамины и общеукрепляющие (витамин С, препараты железа, фосфора и т.д.), что мне очень помогало в борьбе с цингой, малокровием и другими заболеваниями. И, наконец, настал благословенный миг: поздно вечером нарядчик вошёл в помещение и стал зачитывать фамилии людей, которые на следующий день после обеда должны получить посылки у начальника режима:

– Быстролётов Дмитрий Александрович.

Как меня тогда не хватил паралич – не знаю!

Эту выдачу посылок я тоже запомнил навсегда.

Посылку послала Анечка. Анечка исчезла у меня из вида после письма в Суслово, в котором сообщала, что работает на большом заводе близ Павлодара. И вот теперь я получил посылку от неё вскоре после письма. Она сообщила, что ушла с военного завода, работала в Тамбове, была арестована, выпущена и снова арестована по абакумовскому все-союзному набору бывших ежовских контриков, видя неизбежность срока, «призналась» в краже бутылки спирта и получила бытовой срок и заключение на строительстве Вол-

го-Донского канала, где за отличную работу и примерное поведение была сначала досрочно освобождена, но оставлена на работе в качестве вольнонаёмного начальника заводской лаборатории, а затем опять за отличную работу получила снятие судимости. Так мы снова нашли себя в этом мире необоснованных арестов и мучительных лет заключения. Выдержали физически и живы! Это первое! Выдержали нравственно! Это второе!

Пусть пока мы не вместе, но мы не одиноки!

Со слезами на глазах я смотрел на продукты, с такой любовью и тщательностью упакованные милыми руками, любовался крупно выведенными буквами адреса – сначала моя фамилия, а потом, внизу под чертой – её фамилия и адрес.

Да, сомнения быть не могло: живы и помним друг друга! Пока не вместе, но будем вместе! Незримое никому светлое и тёплое солнце вдруг заглянуло в оконце казённого лагерного барака, и я почувствовал, что под его лучами я не погибну: появилась цель существования, погибать стало бессмысленно!

Анечка начала часто присылать посылки и каждый раз с тем, в чем я особенно нуждался: чесноком и сушёным укропом для приправы к лагерным тошнотворным супам, бумагой, карандашами и красками, медицинскими справочниками и даже лакомствами. Но о них напишу особо и позднее.

После меня посылку получил Эстемир. Едва ящик был раскрыт и сорвана бумага, как жадным взорам окружающих предстал блестящий металлический шар, узкое отверстие которого было аккуратно заклеено полосками немецкого лейкопластыря.

– Бомба! – пронзительно вскрикнул смазливенький рядчик и бросился наружу. За ним, не отрывая глаз от страшного предмета, попяtilись к выходу и остальные.

– Какая бомба? Дайте её мне! – и безногий Эстемир потянулся к ящику обеими руками.

– Назад! Кавказский бандит! Стрелять буду! – и капитан выхватил из кармана маленький браунинг. – Ишь, тебе только и надо, что бомбу! Выкатывайся!

Минуту все стояли вокруг двери и молча смотрели в пустую комнату, где на столе из ящика зловеще выглядывал блестящий шар с розовой нашлапкой. Затем капитан героически двинулся вперёд, на цыпочках, чтоб не тряхнуть, вынес бомбу, которую несколько недель швыряли, били и трясли

при всех перегрузках по пути от Грозного до 07, осторожно положил на снег и издали, с пятого выстрела, попал и проделал в шаре две дыры. Шар не взорвался: он был наполнен бараньим салом.

– Это же шары с моей собственной кровати! Прислали вместо курдюка! – орал Эстемир.

– Сам ты курдюк! Катись, безногий бандит, давай отсюда со своим шаром! Я сразу всё понял, но в шаре, вместе с салом, могла находиться и граната! Понял? Моё дело проверить! Я здесь начальник!

Ларек, который раньше открывался в зоне лишь изредка, стал работать чаще, да и набор продуктов изменился: ларешницей была старательная жена Ивана, высокая, полная блондинка. Теперь в день продажи перед дверями ларька выстраивалась очередь, и очередь беспокойная, потому что кое-чего не всем и не всегда хватало! Маргарин и хлеб – не конфеты и туалетное мыло! Вот тогда-то и выступал в роли стража порядка маленький Иван.

– Становитесь сюда! – говорил он вежливо. – Не туда, а в свою очередь! Ведите себя по-человечески. Вы не лучше других!

Но заключённые – животные, привыкшие только к ругательствам, угрозам и толчкам в спину. Однако едва выведенный из себя кроткий начальник начинал терять терпение, как из-за перекладки в дверях, изображавшей прилавок, слышалось:

– Иван! Не повышай голоса!

И Иван опускал глаза и сбавлял тон.

Нет, нет, я пишу свои воспоминания не для того, чтобы только ругать. Нужно быть правдивым и справедливым. Начальник режима на 07, маленький, курносый Иван с печальными серыми глазами, заслуживает горячего слова похвалы и благодарности так же, как и его жена, простая сибирячка. Сталинский режим хотел бы, чтобы советские люди, и чекисты в первую очередь, были зверями, но этого не было, и не мне чернить и без того печальный мой рассказ.

Иногда Иван бывал в трудном положении. Однажды пришло распоряжение – заставить заключённых **добровольно** подписаться на заём. Поднялась буря ожесточённых споров. Первым нарядчик вытолкал из рядов Александра Михайловича. Он больше всех зарабатывал, получал дополнительное питание за перевыполнение заданий и вдобавок к этому ежемесячные богатые посылки.

– Я лишён всех гражданских прав, и к тому же несправедливо, начальник. От подписки отказываюсь.

Пьяный начальник лагпункта хоть и нетвёрдо стоял на ногах, но голову, как видно, не потерял.

– Советская власть – она гуманна: всех прав она граждан не лишает. У нас не фашизм. За тобой оставлено право подписаться на заём! Подписывайся и не бузи!

– Не буду!

Начальник тонким пальцем элегантно погладил чёрные усики, подмигнул толпе заключённых.

– Надо помогать строить страну, понял? Ты вот осетринку в банках получил? Получил! А завод консервный нам с неба упал? Подумай! Нет? То-то! Подписывайся, а то лишу тебя права получать посылки, это право ты пока что имеешь, гад! Чехов, записывай его на месячную получку с премиальными! Следующий!

Как врач я получал 60 рублей в месяц. Я был уже заранее внесён в ведомость, и меня никто о желании даже не спросил. Напрасно я ночью волновался и заготовил короткую, но едкую речь. Мне было оставлено только право расписаться, но тем, кто не пожелал расписываться, особенно японцам, немцам и другим иностранцам, заём вклеили без спроса и без подписи. Бандеровцы, власовцы, бывшие полицаи и эсэсовцы подписывались скрипя зубами от ярости, но подписывались, потому что сопротивление было бесполезно.

Когда всё кончилось, заключённые окружили Ивана. «Как не стыдно, гражданин начальник?» «Одной рукой душите, другой в карман лезете?» «На полицейские деньги социализм строите?» Иван краснел, стоял, опустив глаза, и молчал.

Мне не было жаль шестидесяти рублей, но я тоже краснел, краснел за свою страну и за партию, которой я когда-то так верил.

Н. Дьяков в своей книге об Озерлаге равнодушно пишет про хор гитлеровских полицаев, исполнявший песню «О Сталине мудром, родном и любимом». Этому сталинисту не было стыдно за Сталина. Не знаю, право... Не понимаю...

Я – не сталинист, а мне было мучительно стыдно...

Весной, до появления гнуса, письма выдавались на открытом воздухе: нарядчик стоит на табурете с коробкой в руках, выкликает фамилии и вручает счастливым замусоленные конверты. Рядом топчется Иван и поддерживает

порядок. Я не ходил на выдачу – было больно смотреть и понимать, что ждать письма не от кого.

И вдруг начали выкликать и меня. Сначала письма приходили от Нюси, потом от Анечки. Они вселяли бодрость независимо от содержания, потому что служили доказательством живой связи с внешним миром. И, наконец, свершилось невероятное: опер вызвал меня к себе и с видом человека, вручающего бомбу, подал мне большой, несколько раз распоротый и склеенный, иностранного образца конверт, узкий и длинный, из плотной кремовой бумаги, которой у нас нет. Я замер. Дрожащими от волнения руками взял предмет, который ещё не так давно был в другом мире. Это было первое письмо из Праги от Божки Сынковой, сестры моей покойной жены. В письме Божка писала, что узнала мой адрес от Нюси и теперь сообщает, что её брат Иосиф Шелмат, бывший узник гитлеровского лагеря в Терезине, работает в органах безопасности и предлагает свои услуги, чтобы хлопотать о пересмотре моего дела в Москве, так как в Праге в архивах политической полиции нашлись документы, характеризующие меня как честного и преданного советского работника, не поддающегося вербовке. Муж Божки, мой друг по университетским годам, Виктор Сынков руководил подпольной организацией Сопротивления, был предан провокатором и сожжён в лагере «Маутхаузен», а теперь объявлен Народным Героем Чехословакии, его именем названы в Праге площадь и мост.

Серо-зелёное лицо опера было сумрачным, как всегда, но я почувствовал, что этот факт он учтёт. Любопытно, что письмо шло из Праги до Тайшета 11 дней, а от Тайшета до Новочунки – 3,5 месяца, пройдя руки бесчисленных контролёров и любопытных.

На радостях я написал ответ в самых нежных и горячих выражениях и этим наделал бед: бедная Божка, видевшая во мне романтического русского сибирского героя, поняла мои слова как признание в любви к ней и вообразила, что судьба отводит ей место её покойной сестры. После моего освобождения она приехала к нам в Москву, была катастрофически поражена наличием у меня горячо любимой Анечки и по возвращении в Прагу даже была госпитализирована по поводу тяжёлого психоза, а позднее порвала с нами всякую связь.

Мы с Анечкой всегда очень жалели её.

В рабочей бригаде ходил на лесопоруб маленький человечек, бывший студент МГУ, сын крупного чекиста. Он был выдающимся математиком, но увлёкся православием и, будучи евреем, организовал на физико-математическом факультете подпольный кружок православных христиан. Уж если еврей возьмётся за изучение какой-нибудь теории, то усваивает её досконально, а если станет её распространять – то уж обязательно в качестве пророка. На лагпункте было немало верующих, были и бывшие священнослужители разных религий и вероисповеданий. Все они до 07 думали, что знают то, во что верят. Но только Миша до мелочей знал теорию всех вероисповеданий и, главное, историю всех религий. Поэтому в выходные дни, в дни мороза и в летние вечера после появления гнуса в бараке нашего пророка всегда собиралась мирная, спокойная толпа и неизбежно затевала с нашим пророком оживлённую беседу – одни его слушали для собственного поучения, другие пытались переспорить, но всегда неудачно. Поэтому маленький человечек получил кличку Миша-Поп, хотя за священника он себя не выдавал и никаких церковных служб никогда не устраивал. Он овладевал душами силой своего убеждения и глубоким знанием священного писания; это был фанатик, а за фанатиками всегда идёт толпа последователей. Но Миша-Поп был только теоретиком, ему не хватало действия, которое могло бы показать слушателям воплощение его веры в жизнь, а ведь сам же он всегда повторял, что вера без добрых дел мертва.

Маленький пророк искал этого случая, а кто ищет, тот всегда найдёт – не он ли сам повторял: «ищите и обрящите»?

В конце лета в зону был подброшен без этапа, в единичном порядке, молодой упитанный парень с хамской мордой лакея. Бандеровец. Торговец из Львова. Унтер-офицер из дивизии «Соловей». В зоне бандеровцы его сразу узнали, окружили вниманием, накормили. А вечером новоприбывший собрал вокруг себя молодых бандеровцев и стал с ними петь вполголоса, а когда дали отбой, вдруг вспомнил, что при нём имеется текст новой украинской песни. Но разучивать её было некогда. Усталые люди повалились спать, сунув бумажонки под подушки. Ночью барак отперли, чужие чекисты сделали обыск и арестовали всех, у кого были найдены эти бумажки и кто знал о них, потому что на бумажке был не стихотворный текст песни, а сугубая проза – призыв к восстанию, убийству начальства, разоружению охра-

ны и поджогу лагеря. К утру меня вызвали в баню для дачи справки, что арестованные здоровы и могут идти в этап. На руках у всех звякали наручники. Позднее эти люди были расстреляны.

Конечно, не все бандеровцы были арестованы, и провокатору не оставалось ничего другого, как срочно скрыться. Над ним повисла грозная опасность мести. Но в летний день все лошади заранее распределены, стрелки – тоже. Убраться в то же утро оказалось невозможным. Куда спрятаться? Как спастись? Предатель попросил спрятать его в ШИЗО, ДОПР или БУР. Но там всюду сидели бандеровцы. Насмерть напуганная тварь решила на последнее – попросилась на лесоруб, но в бригаду японцев, немцев и финнов, которая работала на особой просеке. Поэтому, когда **иностранцы** выстроились у ворот, неожиданно появился предатель и построился в последний ряд между плечистым немцем и маленьким японцем.

Это и был момент истины!

Миша-Поп стоял первым в следующей бригаде. Всё было спокойно: одна бригада, разобрав орудия труда, уходила, другая разбирала пилы и топоры и в молчании строилась. Начальство всё в сборе, стоит с одной стороны, придурки – с другой, я рядом с Елсаковой, в руках у меня – список освобождённых на этот день, на плече – сумка скорой помощи.

Неожиданно Миша выходит вперёд. Осеняет себя широким крестом. Громко говорит: «Больши сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя».

Шагает к стене, где сложены орудия труда, берет топор и одним ударом сбоку и сзади сносит предателю голову с плеч.

Секунда общего оцепенения...

Миша стоит с кровавым топором в руке. Голова поднята. Он смотрит вперёд, в свой крестный путь. Перед ним, растопырив руки, несколько мгновений покачивается провокатор, инстинктивно поддерживая равновесие. Отрубленная голова его, упав на спину и повиснув на коже и пласте шейных мышц, смотрит изумленно на Мишу, моргая веками, а кровь ритмично брызжет из перерубленных сосудов шеи, пока красные фонтанчики не иссякли и тело не повалилось на землю.

– Я готов, – спокойно говорит Миша оперу и становится перед ним, потом поворачивается и уводит опера за собой в хитрый домик.

Показ истинного человеколюбия дан: вот так надо любить людей и истину!

Все переводят дыхание. Я отрезаю голову от тела, доходяги грузят тело на носилки и уносят в морг. Лужу крови прикрывают травой и опилками.

– Становись!

Стрелки бряцают автоматами, собаки, замолчавшие было от чувства всеобщего оцепенения, снова начинают с лаем рваться вперёд, развод продолжался.

Мне было суждено ещё раз встретиться с Мишей-Попом, но в другом лагере и при других условиях.

Я прибыл в Озерлаг прямо из психоизолятора при Бутырской тюрьме после тяжелейшего психоза, вызванного трехлетней пыткой молчания в каменной могиле спецобъекта. Начался четырнадцатый год несправедливого заключения. Конечно, ничего не было странного, что здоровье моё начало сдавать. Мёртвые и расстрелянные добавили свою долю напряжения, и я получил первый мозговой удар. Поэтому о лагпункте 07 я не могу писать иначе, как отдельными короткими штрихами, бессвязно, но так, чтобы у читателя всё же сложились какие-то общие представления о трассе и лесопорубе. Я пробыл на 07 до осени и, думаю, сказал о нём достаточно, ведь впереди еще описания центральной больницы и перевода в Омск, в Камышлаг. Словом, как говорят, пора закругляться.

Был жаркий день. Работяги ушли в тайгу на съедение гнусу, воздух чернел от него. Я сидел в амбулатории и смотрел на свой палец, вдруг ставший жёлто-белым: это начался спазм сосудов. Можно было окунуть палец в тёплую воду и начать массировать его. Тогда кровообращение восстановится быстрее. Для чего? У меня опять есть Анечка, но до неё так далеко...

И вдруг из открытых дверей грянуло:

– Он! Он!! Узнаю – это жулик с распреда! Тот самый, что окончил двадцать факультетов!

Передо мной стоял тот самый маленький генерал, который застал Дудника в женбараке и выгнал меня в этап за то, что я не выдал надзирателей.

– Так я же приказал ясно: на лесопоруб! На лесопоруб! А он у вас опять в белом халате! Вон! Вон его!! Есть здесь советская власть или нет?!

– У него недавно был инсульт, он – полный инвалид, то-варищ генерал! – проговорила Елсакова.

– В кипятилку его! При мне, сейчас же!

С меня сняли халат, и нарядчик привёл меня в кипятилку. Навстречу поднялись двое кривоногих старых чукчей по имени Коровье и, кажется, Рынгенкаукай.

– Вот вам новый начальник, чучелы чукотские! – сказал нарядчик и добавил: – Количество кипятка узнаете у счето-вода, доктор. Жить будете пока что там же. Потом увидим! Ну, всего, доктор.

Так я стал кипятильщиком.

Чукчи – милые люди. Во многом они напоминали мне пигмеев, у которых я бывал в чащобах экваториального леса Конго: коренастые, кривоногие, большеголовые, с тёмными, часто приветливо улыбающимися лицами. Они совершенно не понимали, где они и зачем их привезли сюда на бесплатную кормежку. Об обязательности работы и существовании таких понятий, как норма и дисциплина труда, они не думали, и доказывать им что-нибудь в этом роде было бесполезно: маленькие человечки слушали и вежливо улыбались до тех пор, пока это им не надоедало, потом вдруг поворачивались и уходили.

Сельдь нам выдавали часто, и в эти дни столы были завалены. Чукчи, а их на лагпункте было человек десять, собирали её и ели килограмма по 2–3 на пузо. Потом спали, пили чай и курили. Все они были из одного селения, как раз на берегу Берингова пролива, и сидели за то, что ездили в гости к своим родичам на Аляску. Им дали по 20 лет за шпионаж, и вот теперь двое, Коровье и Рынгенкаукай (или что-то в этом роде, я так и не смог научиться произносить его имя), предстали передо мной в качестве непосредственно подчинённых.

Чукчей на лагпункте не обижали и не били, и я утром просто стаскивал их с нар за ноги, несмотря на сердитое ворчание, и заставлял таскать воду. При населении в 800 человек кипятилка три раза в день давала по две тысячи литров кипятка, потому что, во-первых, кипятки шёл на кухню, это ускоряло варку еды и мойку посуды, котлов и столов, а во-вторых, он распределялся по баракам, ибо на линии свирепствовал гепатит, и заключённые пили только кипячёную воду. Наконец, в-третьих, потому что, по убеждению старых лагерников, «ведро воды заменяет кило сала» и «не попьёшь

чая – не поработаешь». Мои чукчи между собой почти не говорили и мало понимали русскую речь, и все мои попытки ознакомиться с их языком и характером разбились о вежливые улыбки или недовольное сопенье.

Дня через три я завёл хворостину и подгонял обоих, конечно, больше для вида, и дело в конце концов наладилось. Сначала я заходил в амбулаторию посидеть, а потом постепенно привык к одиночеству, к широкому виду на тайгу с вершины пригорка и, главное, к душевному покою: внизу люди уходили за ворота и приходили оттуда, я представлял себе раздутых и окровавленных работяг. Однажды даже заметил телегу с убитым на лесоповале. Но теперь это меня не касалось, я жил ближе к небу и дальше от людей, и вечерами, когда сидел с двумя чукчами и курил, был счастлив: если сесть в помещении перед порогом, не выходя во двор, то проклятый гнус тучами летит мимо и пригоршнями гибнет на подоконниках, но не кусает. Поэтому мы молча пыхтели трубками и каждый был занят своими мыслями. Иногда чукчи смеялись – подолгу и очень сердечно – если один из нас оступится или уронит черпак, или плеснёт на пол воду. И я смеялся с ними. Это был отдых. Так кончилась осень.

Постепенно исчез гнус. Выпал пушистый снежок, дни стояли прозрачные и тихие, но не грустные. Начало зимы в Сибири – прекрасное время года, да и грустить я уже не мог. Грусть осталась позади. Нагрев положенное число литров, мы выходили и сидели: я – на бревне, чукчи – на снегу, поджав коротенькие кривые ножки. Молчали. Курили. Глядели на жёлтое солнце, иногда ласково проглядывавшее сквозь пепельную мглу, и думали каждый о своём – о жизни, которая уже прошла, и о жизни, которой для нас никогда не будет...

Не знаю, как чукчи, а я не жалел ни о чём: внутри меня росла пустота.

Однажды зимой перед самым обедом в зону вошла молодая стройная женщина в белом офицерском полушубке. Пёстренькое платье из-под полушубка кокетливо дразнило одичавших заключённых, при виде её останавливавшихся с руками по швам. Это была вольная начальница центральной больницы в Новочунке, капитан медслужбы, черноволосая украинка с большими серыми глазами. Они всегда были печальны, и, войдя в амбулаторию, Сероглазка неизменно говорила мне одно и то же:

– Доктор, скорей кофеин! И не скупитесь, поняли?

Она была наркоманкой.

В то утро я исправно топил печь и вдруг заметил, что Сероглазка между грудками снега идёт вверх по тропинке. На её обязанности лежала проверка санитарного состояния лагпункта. И я не обратил на неё внимания. Но потом опять случайно взглянул через открытые двери и увидел, что, осмотрев баню и прачечную, Сероглазка медленно направилась ко мне в кипятилку.

Я поднял за плечи Коровье и Рынгенкаукая, поставил их рядом, схватил огромный черпак и стал во фронт со своими помощниками. Едва в двери показались серые печальные глаза, крикнул:

– Внимание! К обеду кипятится две тысячи литров воды, санитарное состояние кипятилки удовлетворительное. Докладывает врач Быстролётов.

Сероглазка улыбнулась.

– Оставьте шутки, доктор. Елсакова рассказала всё. Мне нравились ваши диагнозы и манера писать сопроводилки с анамнезами и эпикризами. Я дам на вас срочный наряд и по вашему прибытию назначу старшим заключённым врачом центральной больницы. До скорого свидания.

Это была лунная морозная ночь. Я шёл с вещевым мешком за плечами, часто скользил, падал и слушал весёлый смех за плечами: меня вели два веснушчатых парня с автоматами. Они беспрерывно пускали осветительные ракеты, как будто бы бухали меня прикладами по голове. Захотят ли они получить 200 рублей и двухнедельный отпуск?

– Не оглядываться! Прибавить шаг! Вперёд!

Поезд должен был прийти часа через два, и мои конвоиры, усадив меня в дальнем углу зала ожидания, затеяли борьбу. Автоматы стояли у двери, а всклоченные парни катались передо мной по грязному полу в диком возбуждении. Думаю, что временами они просто забывали обо мне.

Когда пришёл поезд с обязательной пустой теплушкой и стрелком, меня сунули в неё, и я покатил дальше. Скоро на одной из остановок стрелок отодвинул дверь и крикнул:

– Слазы! Ползи, гадюка!

И поезд укатил дальше.

Я остался один под невероятно яркой луной, в звенящей тишине морозной ночи. Справа и слева тянулись товарные вагоны.

– Стрелок! Стрелок!! Стрелок!!!

Я отчаянно орал, трясясь от холода. Начало светать.

– Ну, чего орёшь? – забурчал стрелок, на четвереньках выползая из-под вагона. – Не мог сам дойти до зала ожидания, гад? Всё ищите, падлы, персонального обслуживания!

К утру я добрался до культурной бани, чистенького медицинского барака и лёг на топчан с матрасом и простыней, подушкой в наволочке, и накрылся хорошим синим одеялом с белой полосой.

Лёг – и мгновенно заснул: страшный 07 и трасса остались позади. Началась новая жизнь в культурных условиях.

Глава 3

Я разворачиваюсь в полную силу

На следующий день я подстерёг Сероглазку у проходной и сказал:

– Чувствую, что вы гуманный человек и относитесь ко мне хорошо. Это даёт мне смелость обратиться к вам с убедительной просьбой: обещаю работать изо всех сил, но только на незаметном месте. Не делайте меня главным врачом! Я познакомился с моими коллегами, и назначение это вызовет в их спаянной среде зависть и недоброжелательство. Я уже был дважды снят с работы генералом. Зачем искушать судьбу? Не доводите меня до несчастья! Суньте на невидное место, и я буду вам бесконечно благодарен за внимание и помощь!

Сероглазка поняла и в тот же день назначила заведовать стационаром при больнице. Вскоре проездом в больницу заглянул начальник САНО Озерлага Попов, учинил мне опрос и утвердил в этой должности.

Получилось всё как нельзя лучше, и я бодро принялся за дело.

Но сначала опишу лагпункт, больницу и кое-кого из своих коллег и больных.

Центральная больница 6-го (?) отделения Озерлага помещалась на лагпункте номер 038 на краю рабочего посёлка Новочунка при железнодорожной станции того же названия. Слава богу, никаких сосен из-за забора видно не было,

но зато оттуда доносился грохот проезжающих грузовиков, тракторов и тяжёлой строительной техники, свистки, сигнальные гудки, крики. Нет-нет, да и потянет автомобильным чадом! Я поведу носом, блаженно закрою глаза и с восторгом вдыхаю его полной грудью, повторяя себе с благодарной радостью:

– Неужели кристальному воздуху пришёл конец? Неужели я выбрался из тайги? Неужели я её больше никогда не увижу?

Так оно и вышло: следующим местом приземления были город Омск и строительная площадка грандиозного завода, а последними – Александров и Москва!

Но тайга осталась в моей памяти навсегда...

Лагпункт 038 был большой зоной, расположенной почти квадратом на пологом склоне холма. Внутри было столько построек, что практически мы забора с колючей проволокой и огневыми точками просто не видели. Жизнь шла своим чередом. Работы и забот хватало, и скоро я забыл, что сижу в заключении, то есть я это вспоминал только в разговорах, но до самого выезда в октябре 1953 года ни разу вышек не видел и не слышал хриплого рёва: «Хто идет? Пррроходи!»

Направо и налево от входа стояли административные здания, а в центре находились большая кухня и хирургический корпус в виде буквы Х. Слева от входа выстроились терапевтический, инфекционный и другие больничные корпуса, а дальше, вверх, клуб и большие удобные бараки для obsługi. Справа находились стационар, баня и прачечная, морг и бараки для выписанных больных, ожидающих отправки на строительство железнодорожного пути или на лесопоруб. С правой руки вдоль всей зоны тянулся невысокий забор без вышек и огневых дорожек. Он отделял больничную зону от деловой, где помещались склады пищевых продуктов, обмундирования и белья, а также различные службы – кузница, гончарная, слесарная, гаражи и прочее.

Начальником 038 был долговязый желчного вида пьяница и самодур в звании майора, которому все старались не попадаться на глаза, начальницей больницы – Сероглазка, имевшая воинское звание капитана. Во главе каждого корпуса номинально стоял вольный врач, но все вольняшки не желали работать, приходили в зону на час-два для поверхностного контроля над заключёнными врачами и, повертев-

шись, показав майору, что они на месте, тихонько ускользали, не причинив нам вреда и не оказывая помощи.

Эх, бедные вы бедные, советские женщины-врачи, славные чекистки! Как живо я вспоминаю вас на пятиминутке в кабинете начальницы: она сидит за большим чёрным письменным столом, слева от неё на стульях – зека-зека, справа – вольняшки. Мы, заключённые, подтянутые, чисто выбритые, ботинки у нас блестят (бесконвойники торговали сапожным кремом), сидим мы ровно, лица у нас сухо-официальные. Все вольняшки – женщины. Главная из них, Сероглазка, сегодня явилась на работу с огромным голубым синяком под правым глазом, а под левым у неё ещё сохранилось чёрно-жёлтое пятно от синяка, полученного на прошлой неделе. Муж её был убит на финском фронте. От горя она поступила в ГУЛАГ и вот в отчаянии отбывает здесь бессрочное заключение и остро завидует нам, считающим годы до освобождения. Тоска и горе заставили её выйти замуж за надзирателя, пропойцу-хулигана, который её систематически избивает. Против нас сидят вольняшки как одна печальная, смешная и удивительная выставка синяков – **все**, да, я не оговорился, именно **все** женщины-врачи от тоски пьют, повыходили замуж за всякое хамьё и являются на службу со следами побоев. Это было зрелище, заставляющее задуматься. Среди них только одна рыжая, средних лет женщина, врач-терапевт, не имела мужа, но зато получала вдвое больше синяков, потому что слыла распутницей и якобы по ночам посещала солдатские казармы. Вид у неё был разбитной, иногда нетрезвый. С заключёнными она держалась запросто. Это была копия Анечки Семичастной из Суслова, только с синяками под глазами.

Мы, заключённые врачи, очень жалели наших вольных коллег и начальников.

Может быть, лучше сейчас вернуться назад и потом немного заскочить вперед, чтобы несколько подробнее рассказать о лагерных женщинах-врачах из числа вольной администрации. Я был освобождён на восемнадцатом году заключения и видел их множество. Они все были глубоко несчастны, все томились, проклинали свою работу, не верили партийной пропаганде, легко шли на половую связь с заключёнными, хотя за это полагалось 10 лет срока, и думали только об одном – **об освобождении**, да, да, об освобождении из лап ГУЛАГа. Кое-кто из них пил, кое-кто стал злоупотреблять наркотиками, но за семнадцать с лишним

лет я не встретил среди них счастливой и здоровой женщины, твердокаменной коммунистки, верящей в то, что ей говорят сверху, и в то, что она вынуждена повторять дальше. Все они очень напоминали мне французских женщин в Чёрной Африке колониальных времен – жён местных администраторов: та же тоска, то же недовольство, то же стремление поскорее уехать прочь. Только женщина-врач, хирург в Норильске (она описана во второй книге), производила впечатление человека, довольного своей работой, хотя она явно не верила сталинскому вранью.

Семичастная, фельдшерица Маша, медсестра Румянцева, медсестра Украиночка и другие вольняшки в Сиблаге были несчастными людьми, проклинавшими ГУЛАГ в разговорах с заключёнными. Семичастная, Маша и Украиночка жили с заключёнными, обманывая начальство на каждом шагу. Юлдашева была стервой и уголовницей, её выгнали. О Елсаковой я написал достаточно, она не нарушала режима, но страстно ненавидела ГУЛАГ, чекистов и свою работу. Сероглазка и врачи в Новочунке ходили с синяками на работу и являли собой позорное и печальное зрелище.

Забегая вперёд, скажу, что начальница больницы на 05 Камышлага в Омске была татаркой (я умышленно дал ей другую фамилию) и до моего заболевания не раз приходила ко мне в амбулаторию отвести душу. А отводить было надо: её муж, надзиратель, пьяница и хулиган, стал приводить домой проститутку из бесконвойниц, обоих детей ставил носом к стене и творил любовь на кровати на расстоянии протянутой руки от детских спин. Дети рассказывали всё маме, а она, рыдая, мне. Позднее её приятельница, очень хорошенькая татарочка по специальности офтальмолог, сказала, что однажды, вернувшись домой с работы, нашла комнату пустой: её муж, лагерный надзиратель, потихоньку ушел с работы, оформил увольнение, запасся билетом, обокрал жену и смылся в неизвестном направлении!

Последняя начальница в Омске, назначенная вместо безумного капитана, являлась дородной женой важного полковника из управления Камышлага, была, видимо, довольна своей судьбой и производила хорошее впечатление. Первая и последняя в длинном ряду неустроенных и несчастных, виденных за столько лет!

Не мало ли, чекисты из ГУЛАГа?

И последний штришок.

Сталинист Б. Дьяков, описывая Озерлаг, дал портрет вольной женщины-врача, которая хорошо относилась к заключённым, видимо, не веря казённым басням, – она была честнее и умнее автора. И что же? Её затравили начальники, и, по свидетельству Б. Дьякова, она покончила с собой, перерезав сосуды осколками стекла.

Что же, тут сталинисту надо верить!

Теперь о заключённых врачах.

В Озерлаге работали три немца-эсэсовца в чине генералов медицинской службы. Один из них, фон Горн, попал на 07, и Владимир Алексеевич рассказывал, что это был в высшей степени образованный, мягкий и симпатичный человек. В начале войны он был призван и записан в партию, но идейным гитлеровцем не был и политических убеждений не имел, считая их признаком культурной отсталости. Незадолго до окончания войны во время панического отступления в польском лесу наскочил на отряд эсэсовских головорезов и стал их начальником, так как был старшим по чину. К утру их окружили наши войска, фон Горн был тяжело ранен в грудь, выздоровел и как эсэсовец был отправлен в спецлагерь. Ранение и плен вызвали бурную вспышку туберкулеза, и на 07 он умер на руках Владимира Алексеевича, а вместо него был прислан я.

В больнице работали два немецких генерала – профессор Бокхакер, хирург, и профессор Лельке, офтальмолог. Бокхакер был рослым, статным красавцем со следами барских манер и военной выправки, любезным собеседником и дипломатом, а Лельке – очень сдержанным рыжим толстяком, всегда листавшим карточки с русскими словами – чтобы не сойти с ума, он изучал русский язык. Оба крайне обрадовались моему появлению в больнице. Бокхакер стал моим соседом по койке, и вечерами мы болтали по-немецки, вспоминая довоенную и догитлеровскую Германию. Особенно нас сблизило одно маленькое событие – шутка.

– Давайте мечтать перед сном, – сказал я. – Что бы вы хотели увидеть завтра, когда проснётесь, герр профессор?

– Ого! Больше хорошего, конечно! – засмеялся Бокхакер. – Но в этой стране любое плохое и хорошее может случиться вопреки разуму. Поэтому я загадаю нелепость, и нелепость абсолютно невозможную: я хочу завтра утром перед миской баланды съесть ананас!

Он посмеялся своей выдумке, лёг и уснул. А через полчаса нарядчик принёс мне посылку от Анечки, и в ней я на-

шёл банку американских консервированных ананасов с яркой этикеткой. Я поставил банку на тумбочку Бокхакера и уснул. Проснулся раньше него и стал наблюдать. Вот Бокхакер открыл глаза, потянулся, в шутку себе скомандовал: «Ауфштеен!» – и сел на топчане. И вдруг побледнел, как мел, лицо его исказилось гримасой страдания, руки сжали грудь: он увидел ананасовые консервы. Закрыв глаза рукой и долго так сидел, не смея взглянуть на тумбочку, потом открыл глаза, покачал головой и медленно-медленно протянул руку. Коснулся банки – и вскрикнул:

– Готт, я не есть сумасшедши!

И заплакал.

Потом он принялся обучать меня обращению с немецким трофейным инструментарием и вскоре из меня получился неплохой цисто-рено и офтальмоскопист. Когда обоих профессоров отправили в Германию, Сероглазка поручила мне работу с немецкой аппаратурой. Это было приятно.

Отделением чистой хирургии заведовал доцент из Львова, бандеровец, добродушный, пухлый гигант с волосами, как лен, и глазами небесного цвета. Его жена сидела в соседней каторжной зоне, оба имели по 25 лет. Отделением гнойной хирургии заведовал небольшого роста брюнет, власовец, бывший московский кандидат наук, человек вспыльчивый и агрессивный. Оба были насмерть влюблены в Сероглазку, которая от нечего делать крутила им головы и по очереди просила выслушать её сердце, показывая при этом изумительные по форме мраморно-белые груди. Влюблённые ненавидели друг друга и с помощью начальства делали один другому всяческие гадости: иногда их проделки приводили к эффектным происшествиям. Когда ставили какую-то украинскую вещь, и чистый хирург, игравший роль чёрта, вышел на сцену в чёрном трико, с хвостиком и рожками, то по доносу грязного хирурга на сцену ворвались надзиратели и увели чёрта в карцер так, как изловили – с хвостом и рогами, благо дело случилось жарким летом.

Так как хирургический корпус был построен в форме буквы Х, посредине, на перекрёстке, с которого были видны все четыре коридора и передвижения Сероглазки и её обожателей, неизменно дежурил Барков – статистик больницы, бывший начальник протокольного отдела НКВД, дворянин, коммунист, сталинец и сексот. Место для наблюдения было чрезвычайно удобное. Служебной ретивости у Баркова было

хоть отбавляй, но его бизнес не процветал: Барков был давно раскрыт заключёнными, и его торчащая на перекрёстке коридоров фигура была всем хорошо знакома. К тому же Барков был большим лентяем, он охотно строчил только доносы, но всю другую работу по учёту меняющегося состава большой больницы переложил на плечи своего писаря, гениального Едейкина. Едейкин был сыном владельца велосипедного завода в Риге, одного из самых богатых людей буржуазной Латвии. После освобождения завод национализировали, папу и маму прикончили, а сына и дочь с мужем отправили на поселение в сибирский колхоз. Весной, в разлив, мощный Васюган подхватил лодку, в которой бригадир послал Едейкина на ту сторону реки, и отнёс вниз по течению километров на 150. Спасли храброго пловца случайно, но возвратился он уже не в колхоз, а, к его великой радости, в тюрьму, где получил десятку за побег и тёпленькое место в Озерлаге.

Этот Едейкин отличался совершенно исключительным по длине маскарадным носом и феноменальной памятью: он помнил всё, что когда-то читал, а читал он, как видно, очень много. Это была ходячая энциклопедия, и другого человека с такой памятью я в жизни не встречал. Себя он готовил к изучению философии, и думаю, что из него получился бы неплохой философ.

Барков все свои доносы ежедневно аккуратно складывал в стопку до ночного обхода надзирателей, а Едейкин их прочитывал и сообщал содержание товарищам, которым угрожало следствие и наказание. Едейкина перебросили в Омск вместе со мной, и о нём я ещё упомяну не раз, а Барков был реабилитирован и в Москве поселился наискосок от нас в доме писателей, очевидно как информатор. Я его встречаю, но на заискивающий поклон не отвечаю, и жаль, что хулигатель советских лагерей Солженицын и апологет Дьяков с ним не знакомы: тогда они поняли бы, что нельзя хвалить или отрицать всё огулом, что не лагерь важен, а люди, которые в нём сидят, и люди эти всегда разные: само по себе незаслуженное заключение и штамп сталинского контрика ещё не делают лагерника героем. Такая пакость, как Барков, – тому доказательство, а таких барковых, старых членов партии и «патриотов», было множество: где опер, там и пара, а то и дюжина барковых. Это опора советской власти, преданные рабы, бегом летевшие записываться на заём, по-

дававшие заявления об отправке на фронт, кричавшие «ура» при сообщениях о фронтовых победах и пр. Мерзкая фраза Дьякова, которой он выразил своё горе от смерти Сталина, выдержана в лучшем барковском стиле!

Новочунковский Барков с гордостью утверждал, что знаменитый порнограф, автор «Луки Мудищева», его прадед. Не знаю. Но если так, то правнук перещеголял своего славного предка – он не легкомысленно грязен, а кроваво грязен, и в советское время барковское племя расплодилось как сорная трава, потому что появилась такая профессия – государственного месителя кровавой грязи.

Главным терапевтом был маленький бандеровец, весьма эрудированный врач, замкнутый, отменно вежливый. Его помощником – похожий на извивающегося червя венский еврей с антисемитской внешностью: после прихода советских войск он занялся спекуляцией и стал наезжать в советскую зону для скупки ценностей у богатых людей, желающих бежать на Запад. Его, разумеется, заметили и прислали в Сибирь на 25 лет как американского шпиона. Инфекционистом работал древний сухонький старичок, бывший офицер-медик Императорской и королевской австро-венгерской армии. Он вставал и садился с трудом, как бы складывался и раскладывался на суставных шарнирах, и мы всегда ждали, что где-то пружина от долгого употребления лопнет, и нога или обе сразу вдруг с треском отскочат от туловища и покатаются по полу.

Рентгенологом работал ялтинский врач, остряк и балагур. Срок он получил за рассказ о том, как на фронте во время боя два его грузовика, груженные нашими тяжело ранеными солдатами, попали в глубокий ухаб, как налетели немецкие танки и затем, отогнав нашу пехоту, остановились. Он подошёл к высунувшемуся из танка офицеру, взял под козырек и по-немецки попросил вытащить грузовики из грязи. Офицер нырнул в танк, подвёл его к грузовикам, немецкие танкисты завели трос, и танк с чёрным крестом вытащил оба советских грузовика с красными звездами.

Через несколько месяцев, когда начались массовая реабилитация и чистка лагерей, этот рентгенолог был с его согласия переведён в строгий лагерь особого типа; обстоятельства переговоров с ним приоткрыли перед нами картину общей реорганизации сталинских лагерей. Мы слушали новости с замиранием сердца, радовались, в груди у всех

вспыхнул огонёк надежды. О некоторых других врачах скажу позднее. Пока упомяну, что прачечной и баней заведовал Пал Палыч Кириленко, пожилой китаец, работник Коминтерна, очень-очень славный человек. Он освободился первым и не забыл меня – прислал открытку из Ташкента.

Мой стационар был рассчитан на 20 больных. «Клетка не по орлу», – сразу же сказал я себе. Списывали ко мне тех, кто по различным причинам не мог отправиться в барак (например, хирургических больных, требовавших перевязок). Хирургические и другие больные лежали рядом, перевязочная была маленькая и грязная, и недели через три на пятиминутке я поднялся и изложил план: один большой барак, где помещались на нарах выписанные больные и рабочие, освободить, переоборудовать под вагонки и отдать выписанным больным, а в стационаре навести чистоту и выделить его только для выписанных хирургических больных.

Сероглазка план одобрила, желчному майору он тоже понравился. Я взялся за переоборудование и перемещение людей. Справился с работой быстро и хорошо, и начальник меня приметил: я стал единственным человеком, которому он молча кивал в ответ на поклон. Обычно он шёл, понурился, и никого не замечал.

Работы прибавилось. И очень. Это была специфическая работа, фронтовая, на любителя: обсасывать больного было некогда, размышлять над диагнозом и проблемами терапии тоже. До меня врач, толстый чернобровый украинец, возился с 20 больными, играл в шахматы и был недоволен. После моего приезда его перевели в помощь складывающемуся на шарнирах старцу в инфекционное отделение, чему он был бесконечно рад. Я получил 100 больных и тоже не горевал. Мне нравилась обстановка напряжённости и движения.

Прошло еще недели три. Каждый день на пятиминутках шли споры и вежливая ругань из-за новоприбывших больных: по прибытии этапа врачи всех отделений вызывались в баню и начинали, оспаривая предварительные диагнозы лагпунктовских врачей, ставить свои диагнозы, но такие, чтобы новые больные могли попасть в любое другое отделение, кроме своего. Особенно это случалось с трудными, то есть тяжёлыми, больными или с теми, заболевание которых пока что оставалось вообще неясным. А иногда бывало, что больного из бани тащат в одно отделение, потом в дру-

гое и третье. Я внёс предложение: выделить авторитетного врача специально для приёма новеньких, его диагноз считать не подлежащим обсуждению, и больного принимать с тем, чтобы только после клинического обследования, с ведома и разрешения начальницы, в случае необходимости иметь право перевести в другое отделение. Предложение вызвало жаркие споры, но Сероглазка меня поддержала и назначила врачом-распределителем.

Майор назначение подтвердил, и я стал каждое утро с ним встречаться при приёме этапов, и, наконец, дело дошло до того, что, глядя куда-то вбок, он вынул портсигар и предложил мне папиросу.

Вначале остальные врачи, давно сдружившиеся в плотную компанию, попробовали осадить меня, оспаривая мои решения и диагнозы и спихивая неудобных для себя больных на чужие плечи. Произошли резкие и шумные столкновения с крикливым венским спекулянтом и вежливые и спокойные, но неприятные споры с другими врачами. И я решил, что надо им дать бой всерьёз. Выждал удобный случай, когда больного потащили в терапевтический корпус и обратно в баню при майоре. Это и решило дело. Кое-кто обиделся, но все были рады, что трудная, хлопотливая и ответственная работа была кем-то добровольно взята на себя.

Прошло ещё недели три. На очередном вскрытии разгорелся неприятный скандал: опытный прозектор доктор Ставров в акте вскрытия опроверг диагноз, утверждённый Сероглазкой, а потом после скандала выяснилось, что его заключение не обосновано. Тут Сероглазка вспомнила, что она лично проверила десятки актов с 07 и никогда не находила в них заметной ошибки или скрытой неясности. Мои акты были кратки и убедительны, патолого-анатомические обоснования точно соответствовали заключению. Трупы были давно захоронены, так ли это было в действительности или нет – определить было нельзя, но юридически документы были составлены тщательно и мастерски: заключение само собой напрашивалось из описания находок.

Тут все вдруг зашумели, что прозектор Ставров, древний старик, бывший земский врач, не вполне умственно здоров, устаёт и нуждается в покое. Он был объектом насмешек в зоне, ходил с торбой через плечо и просил у работяг подавание в виде кусков белого хлеба и прочее. Так я вдобавок к прежним нагрузкам получил еще и эту – стал прозектором,

то есть высшим судьёй над врачами больницы. Теперь они поджали хвосты.

Хочу описать сцену сдачи Ставровым своей работы.

Был холодный весенний день, на земле ещё лежал снег. Я скромно постучал в дверь, из-за которой слышался голос Ставрова. Ответа нет. Я постучал сильнее. Ставров продолжал беседовать, не отвечая на стук. Я приоткрыл дверь и заглянул внутрь.

Ставров сидел перед жарко натопленной плитой и пил чай. Пузатый жестяной чайник пытел перед ним, в руках он держал кружку и сахар. Рядом, вытянувшись в струнку, стоял человек в одном грязном белье и молча слушал, странно склонив голову набок.

– Так вот, братец, я тебе сейчас расскажу этот случай. Он произошёл не то в 900-м, не то в 901 году, понимаешь ли, весной, я помню, как раз тогда прилетели грачи. У вас в Китае их, вероятно, и нет, а у нас они приносят весну, поворот от морозов к теплу. И вот, пристав вместе с мировым судьёй подкатывают ко мне в фазтоне, с шиком, понимаешь ли...

Не выдержав, я шагнул вперёд.

– Разрешите представиться: Быстролетов Дмитрий Александрович. Врач, который назначен прозектором на ваше место. После чая приступите, пожалуйста, к сдаче инвентаря. Простите, что я прервал вашу беседу!

С вежливой улыбкой я обернулся к человеку в грязном белье. Он все также стоял молча, вытянувшись и странно склонив голову. Тут только я разглядел в полутёмной комнате, что это был труп, подвешенный за шею на крючок, вбитый в потолок.

– Это я его прогреваю у печки, – добродушно сказал Ставров. – Задница уже тёплая, а в брюхе ещё лёд! Вскрывать нельзя. Надо поворачивать так и сяк, понимаете ли. Положить на плиту тоже нельзя – поджарится. Ну, садитесь, коллега, погрейтесь, выпейте чайку, вот моя кружка, а сахар – в кисете. Располагайтесь, как удобнее, чай – наше русское удовольствие, он спешки и неудобства не терпит!

Бедный старик вскоре умер, а я приступил к делу. Есть анатомы-теоретики, которые помнят вес всего скелета мужчины среднего роста и каждой отдельной косточки, протяжённость поверхности черепа или желудка и подобные практически ненужные тонкости. Признаюсь, я этого уже не по-

мнил. Но я понимал, что когда и кому требуется, умел так составить акт, чтобы и больничный диагноз был видимо подтверждён, и в то же время было сказано всё доказывающее, что лечащий врач – безграмотный дурак, который лечил больного не так как надо. Сначала мои коллеги не поняли ничего, потом кое о чём догадались и всполошились, затем поняли до конца и успокоились, но не совсем – я не давал им возможности задрать нос и, когда надо, дергал петлю, наброшенную им на шею.

А весной, когда потеплело, майор нашёл в рабочем бараке клопа. Рассвирепел, дал Сероглазке нагоняй и назначил меня санитарным врачом лагпункта 038, включая больницу: такая формулировка была необходима, потому что санврачу подчинён пищеблок, и путешествие из морга на кухню и обратно практически допускается только в случае, если начальство сознательно прикроет глаза; на бумаге же у одного человека эти две должности не должны стоять рядом.

Думаю, что это была психическая реакция, отразившая процесс бурного выздоровления – в меня точно вселился бес и толкал на новую и новую работу, со всеми своими обязанностями я справлялся удачно и гладко, думать о постороннем было некогда, и время летело быстро и незаметно, я бы сказал, даже приятно.

13 января 1953 года газета, имевшая бесстыдство называть себя «Правдой», опубликовала пространное сообщение на две полосы: «Подлые убийцы под маской профессоров врачей». Сейчас я мог бы сходить в библиотеку и выписать для моих записок обширные цитаты, чтобы показать всю низость человекообразных зверей из сталинского окружения, которые такими ложными обвинениями, опубликованными в своём придворном органе, некогда служившим благородному делу освобождения рабочего класса под руководством В.И. Ленина, всегда сигнализировали населению своей страны и всему миру о начале новой волны массового истребления людей и направлении, в котором намечено выхватывать жертвы. На этот раз по образцу Гитлера нож был занесён над советскими людьми еврейской национальности, в частности над её наиболее образованной верхушкой.

– Ну, что скажете, Едейкин? – спросил я. – Вы – еврей, вам и начинать разговор!

Крупные, грубоватые черты лица Едейкина отображали страдание, его длинная фигура несколько согнулась, словно кто-то с размаху ударил его по голове тяжёлой доской.

Морщась, как от зубной боли, Едейкин ответил:

– Причём здесь национальность? А? Эта же позорная газета в тридцатых годах опубликовала статью о вашем всемирно известном учёном кардиологе Плетнёве, отвратительно лживую статью с грязной клеветой, что учёный укусил грудь своей больной. Плетнёв был арестован и загублен. Наука лишилась талантливого учёного, русский народ – своего выдающегося сына, а человекообразные звери получили ведро свежей крови, которое и выпили с удовольствием. Теперь ведро крови даст старик Вовси, потом и все те, кто не попал в гитлеровские душегубки, – Сталин исправит промах своего верного ученика. Русская ли кровь, еврейская ли – не всё ли равно, важно, что она нужна сталинской машине как горючее: не будет крови – машина остановится, миллионы одураченных людей отдохнут, одумаются...

– И привлекут палачей к ответу?

– Вот именно. Но человеческая кровь – не вода, она никогда не проливается без последствий. И эта порция советской крови тоже не будет забыта: зарвавшиеся палачи вынуждены идти по дороге террора и восстанавливать против себя международное общественное мнение. Все честные люди содрогнутся, прочтя это сообщение, они вспомнят дело Бейлиса и еврейские погромы при царе и скажут, что сталинский «коммунизм» хуже царизма, он – надругательство над идеей коммунизма, это – позорное и дикое варварство, за которое никому не стоит бороться. Сталин и его палачи своей политикой льют воду на мельницу международного сионизма: представляете, каким подарком для сионистов будет предстоящее истребление советских евреев? Но так или иначе политическая и социальная база сталинщины этим сужается, её судороги означают нарастающую слабость, и в этом то небольшое хорошее, что я вижу в этом сообщении. Товарищ доктор, человекоподобным зверям придёт конец, он близок! А представляете себе международный резонанс дня, когда обстоятельства заставят сталинскую партию и советское правительство отречься от этого гнусного обвинения и после волны массовых убийств признать во всеулышанье, что основания для обвинений выдумал сам генсек и его заплочных дел мастера?

Долго мы молчали, смотрели на газетный лист, перечитывали снова и снова невероятные строки.

– А мне жалко, – сказал наконец я. – Жалко не только евреев, но и партию, в которой я не состоял, но которой сочувствовал, жалко международное рабочее движение. Сталин нанёс ему ещё один удар в спину, оно не может от этого не слабеть. Я совал голову в петлю за эту партию, и мне теперь очень больно.

Где украинцы – там красивые и задушевные песни, а где песни, там и танцы, и театральные постановки. В нашей зоне сидели голосистые головорезы из карательного эсэсовского батальона, которому даже сами гитлеровцы присвоили название «Соловей». Лучшее, что по части постановок мне довелось видеть в лагерях, это были вечера в клубе на 038.

Хочу сказать несколько слов о деятельности культурно-воспитательной части в лагерях сталинского времени. Пора.

В самом названии лагерей «исправительно-трудовые» заключена ложь, и за 17 лет пребывания в советских местах заключения я видел тысячи людей, заморенных до смерти непосильным для них трудом, видел морги, набитые трупами работяг, видел глубокие карьеры, заполненные трупами, похожими на обтянутые кожей скелеты, но никогда и нигде не видел, чтобы хоть один лагерник был исправлен трудом. И никогда не слышал о таком случае.

Почему?

Потому что лагерники – не пятилетние дети, которых можно приучить к труду и исправить трудом. Заключённые от всего сердца, всем своим разумом, всем существом искренне, пламенно и страстно **ненавидят** лагерный труд, потому что он им чужой, навязан вместе с конвоем и собаками. Как можно **любить** труд под лай сторожевых псов?! Это предположение само по себе чудовищно! И тяжесть труда здесь не при чём.

В тёплый, светлый и радостный день золотой сибирской осени голодного года заключённые копали картошку с ненавистью и злобой, кое-как, оставляя добрую треть в земле. И это в голодный год! Вот что значит принудительный характер труда! И врут те, кто пишет, что у хороших помещиков крепостные работали с радостью! Врут! Хорошим помещиком был в Суслово начальник лагпункта Сидоренко: у него заключённые работали охотно и честно. Но, чёрт по-

бери, не из-за идеи труда, не ради Родины и обожаемого Ильича, а за добавочное питание, за места в бараках без нар, а с вагонками, за лучшее обмундирование – то есть за свою выгоду, для себя. Я побывал на множестве лагпунктов Норильского, Сибирского и Красноярского исправительно-трудовых лагерей, а также Озерлага и Камышлага и видел всегда одно и то же: путь к выполнению заключёнными нормы лежал не через усиление давления, а через ослабление его, не через казённую агитацию, а через личную заинтересованность. Пламенные сталинские «патриоты», вроде описанного мной бывшего комдива Павлова в Норильске и автора книги о лагерях Б. Дьякова, приходили в лагеря с желанием трудиться во славу родной партии и вождя, однако же никто из них не хватал в руки лопату и лом – Павлов устроился бригадиром-подгонялой, а Дьяков нырнул в тёпленькое КВЧ! Вот вам характерные типы запевал гимна труду и его облагораживающему влиянию! Нет, всё это – гнусная ложь, мой личный опыт работы с ломом в Норильской тундре тому доказательство.

Труд лагерники ненавидят из принципа, **вопреки** разуму, ненавидят как стрижку волос на голове и лобке, как нашивание номеров на спине, как всё, что напоминает им их унижение: а ведь стрижка волос необходима, она предохраняет от вшивости, она разумна! И номера – безвредное и даже полезное дело, облегчающее регистрацию такой массы малограмотных и разноязычных людей.

Нет, нет и нет: воспитание трудом с автоматом в руках и с псом, рвущимся с цепочки, – это сознательная подлая ложь! Недаром у Гитлера на лагерных воротах тоже красовалась надпись: «Труд делает свободным!»

Теперь о культурно-воспитательной части.

Чтобы воспитывать культурой, воспитатель должен быть культурнее воспитуемого.

В лагерях первым по значению лицом является опер, вторым – начальник лагеря, третьим – начальник производственной части, четвёртым – начальник хозяйственной части. Это была тесно спаянная головка, объединяли их совместное воровство, злоупотребления и комбинации. Все они отчитывались перед вышестоящими органами и покрывали друг друга. Вне этой кучки стоял начальник МСЧ: медицина мало интересовала начальников, но все они всегда и везде любили зайти в чистенький домик амбулатории и посидеть

там, устроить себе перекур в приятной обстановке и при **умном** разговоре с культурными людьми. Начальниц МСЧ третировали как низших, а иногда и как проституток: так их называли на разводе при заключённых, при тех врачах, с которыми эти обездоленные женщины-врачи наедине вели себя как с равными и которым горько плакались на свою судьбу.

И всё же МСЧ – не последняя ступень в лагерной иерархии: нет-нет, но у начальника лагпункта или опера с перепоя заболит голова, и он зайдёт в МСЧ за таблеткой. А вот КВЧ – это уж действительно низ, дно лагерной администрации! Вот эту часть презирали решительно всё – и начальство, и заключённые! Штат КВЧ обычно состоял из трёх человек: начальника с культурным уровнем постового милиционера, бытовика или урки, оканчивающего срок и могущего приносить из-за зоны почту и посылки, и уборщицы тёти Маши или тёти Саши, которая раз в день елозит грязной шваброй по серому от грязи полу. Такой аппарат и должен был культурно воспитывать заключённых.

Если на данном лагпункте большого зала и сцены не было и отсутствовали материальные возможности для деятельности драмкружка и кружка концертной самодеятельности, то КВЧ просто прозябало в неизвестности. В таком положении к ней примазывался сталинский патриот писатель Дьяков и **придуривался** там в тепле и спокойствии – выдавал книги, если имелась библиотека, собирал и раздавал письма и прочее и бегал на общую кухню за добавком – всё-таки он в обслуге, всё-таки придурок и имеет какое-то **право** на лишний черпак баланды и каши.

Какой культурой такая часть может воспитывать заключённых – урок, власовцев, бандеровцев, эсэсовцев, ежовских «контриков» и контриков послевоенной выпечки, – не понимаю. Я примера такого воспитания не видел, и Дьяков, бывший придурок КВЧ, в своей книге его тоже не дал. Если он принёс брошюру с речами В.И. Ленина и показал её бывшему комкору – сталинскому «контрику», и у комкора, верного патриота сталинской антиленинской партии, полились слезы – может быть, но это не заслуга КВЧ и Дьякова. Старый человек был воспитан в духе слепого поклонения, он не понимал разницы между ленинской идеей и сталинской практикой, он верил в лживые заклинания «Правды», что «Сталин – это Ленин сегодня», и готов был стоять руки по швам и ронять слезы от одного звука знакомых имён и фамилий,

ничего не подозревая и никого не проверяя. На таком лагпункте к КВЧ действительно жались единомышленники Дьякова, но ведь их-то как раз не надо было перевоспитывать!

Иначе дело обстояло там, где имелись зал и сцена, то есть лагерный клуб. Тогда вокруг него собиралась группа концертно-театральной самодеятельности, так называемая бригада КВЧ. Члены её освобождались от ненавистой общей работы, им разрешалось носить на голове волосы, и кавэчисты, как и урки, необычайно дорожили этой привилегией. Помню, в Суслово один танцор отказался даже подставить свой лобок парикмахерше Луизе, с возмущением повторяя: «Но я же в бригаде КВЧ!» – «Когда будес танцевать без станов, тогда и говори!» – резонно ответила Луиза. Это не были придурки высокого ранга, как завкаптёркой или завбаней, но всё же повар мог им небрежно ливануть в котелок полчерпака. А в политическом отношении они являлись людьми с вполне сложившимися убеждениями, и не в КВЧ было их культурно перевоспитывать. В каждой моей книге даны такие типы кавэчистов. В этой, например, горбатый варшавский певец, длинноносый Соловей, который не боялся даже пьяного самодура начальника лагпункта. Его перевоспитывать?! Ого! Это был культурный человек, ярый сионист и польский буржуазный патриот, чувства которого раскалялись на лишнюю сотню градусов при каждом столкновении с капитаном-хулиганом: Соловей ненавидел коммунистов и русских, его можно было убить, но переделать – нельзя. А покладистый и добродушный Игорь Чехов? А вежливый полковник Фудзимори? А широкогрудый великан Александр Михайлович? А я наконец? Пройдя такую жизненную школу и получив вколоченные мне в голову молотком следователя Соловьёва убеждения, разве я мог изменить их потом, что какая-то личность в военной форме, поперхиваясь и путаясь, прочтёт мне кое-что из свежей газеты? Если не на руках, то на обшлагах телогрейки в тот момент еще могла сохраниться кровь убитых в тайге работяг?

Б. Дьяков – сталинист и идейный работник КВЧ – в своей книге о лагерях равнодушно упоминает о хоре гитлеровских полицаев, исполнявших благодарственную молитву Родному, Великому и Мудрому. Пишет без стыда и ужаса за свою партию и её порядки. Я считаю себя ленинцем, такие хоры видел и слышал, они типичны для работы КВЧ, и во мне вначале они вызывали омерзение, а потом стали казаться

преисполненными глубочайшей символики: в самом деле, кому же ещё петь хвалу Великому Кормчему, как не гитлеровским полицаям? Но неужели они, пропевшие молитвы Сталину, уверовали в него? Чёрта с два, скорее как раз наоборот!

Даже само название КВЧ включает в себе сознательную ложь и преднамеренный обман. На такую дешёвую приманку ни контрики, ни урки не ловились. Напротив. Составляя подавляющее большинство в культурно-воспитательных бригадах, они вытравливали политический смысл из своей деятельности и превращали её в отдых и развлечение. Лучшего отдыха, чем постановки на 038, я в лагерях не видел.

На лагпункте 041 или 043 (не помню точно номер) мне пришлось познакомиться с бывшим итальянским атташе в Харбине. На допросе чекисты переломили ему хребет и этим вызвали паралич обеих ног. Этот итальянец, сидя на нарах, пел великолепно – он учился бельканто, и его хороший от природы голос был умело поставлен. Горбун с 07 тоже обладал хорошим голосом и тоже учился в Италии. И всё же в лагерной обстановке этикие бархатные вариации итальянских арий почему-то трогали меньше, чем технически менее совершенное, но искреннее и пламенное исполнение народных песен лагерниками без большого специального образования.

На 038 руководство клубом захватили украинцы и ставили они украинские оперы. Декорации были добротные, световые эффекты на высоте, и, главное, основные женские роли исполняли подростки, которых так одевали и гримировали, что они казались нам женщинами: костюмы шились по индивидуальным меркам в ближайшей женской каторжной зоне украинками, а наши врачи для постановок приносили свои лучшие бюстгальтеры и штанишки. В зоне работала молодая маленькая врач Гусева, по любовному прозвищу – Гусёнок, и её бельё как раз подходило для наших сценических «девушек». Восторженные поклонники за кулисами даже лезли им под юбки, но выдергивали руки в полном разочаровании – зрительный обман оставался только обманом и под юбками находилось не то, что хотелось бы. А вольные врачи умирали со смеху, до того нелепыми и непохожими на женщин им казались эти наряженные и раскрашенные парни. Особенно их сместила походка. Но однажды Сероглазка повезла меня в женскую каторжную зону: нужно было вскрыть тело и выяснить причины смерти. Как

раз в тот вечер там шла какая-то старая, военных лет, агитка с героями – нашими солдатами и извергами-немцами. При виде пищавших басом женщин с объёмистыми бюстами и при солидных округлостях пониже спины и при этом с наклеенными бородами и усами я едва удерживался на стуле от приступов неудержимого, истерического, просто неприличного хохота, а женская аудитория смотрела и слушала спокойно, даже Сероглазке всё казалось вполне похожим. Вот и пойдёшь, разберись, что похоже и что нет!

Во всяком случае, я был благодарен КВЧ за эти развлечения: вместе с письмами от Анечки она, не перевоспитывая, помогала легче переносить лагерную жизнь. Время шло и неудержимо приближалось минуту нашего освобождения.

А Шёлковая нить?

Я прибыл в Тайшет после трёх лет одиночки, где внутреннее творчество вогнало меня в безумие. Уже в спецобъекте я сознательно отказался от него. В Тайшете на мою ответственность легли судьбы тяжелейших больных из непрерывных этапов. А если и перепадала свободная минута, то я должен был сидеть и десятками мазать рисунки красавцев и красавиц для стервы начальницы. Это время пребывания в Озерлаге промелькнуло быстро, без творческих попыток.

На 07 мне тоже было не до внутреннего творчества – я весь был в творчестве внешнем: должен был спасать ещё живых и вскрывать уже умерших. Показателем внутреннего напряжения явился тогда первый паралич, гемипарез.

038 представился мне освобождением от последствий болезни и от тяжёлых внутренних переживаний. Казалось бы, вот и время для того, чтобы поднять Шёлковую нить и снова, как в былое время, начать творить. Но я находился в состоянии реактивного психомоторного возбуждения и выраженной эйфории: радость жизни и физическое ощущение силы были столь велики и властны, что я не смог запереться в себе – раскрыл объятия пошире да и отхватил себе охапку работы, которая была под силу нескольким штатным сотрудникам: должность врача-заведующего стационаром, плюс врача больничного барака, плюс врача-распределителя, плюс врача-прозектора, плюс санитарного врача! Мне хотелось быть с людьми, а творчество – одинокое дело. В сутолоке работы я отдыхал не только от 07, но, главное, от трёх лет испытания одиночеством. Время Шёлковой нити

ещё не наступило, и я не особенно волновался: я нутром чувствовал, что оно придёт, и придёт скоро.

Словом, радость трудовой жизни как будто бы вонзила в мои тощие бока железные шпоры, и я мчался вперёд, опьянённый движением и благословляющий эти шпоры.

Основную группу больных составляли люди, привозимые с лагпунктов отделения с диагнозом: «Вирусный гепатит». Этот диагноз при наличии клинических признаков заболевания печени механически подтверждался. С разрешения Сероглазки я поднял архив и отобрал 20 000 историй болезни с диагнозом этого вирусного заболевания. Внимательно их перечитал. Конечно, судя по небрежным и немногословным записям, клиническая картина чаще всего напоминала вирусное заболевание. Но не всегда. В некоторых случаях, по-моему, здесь были случаи лептоспироза Вейля, что с эпидемиологической точки зрения доказывалось стойкостью очаговой инфекции на отдельных лагпунктах. Я навёл справки у больных: именно там зоны были расположены на склоне холма, причём уборные располагались вверху, а колодцы и пищевые склады – внизу, где обычно проходит дорога. Крыс – множество. Налицо существовали условия для стойкой лептоспирозной инфекции. Я поднял этот вопрос на пятиминутке, но Сероглазка и инфекционисты стеной пошли против: врачам инфекционного корпуса не хотелось думать и менять шаблонный метод лечения, а Сероглазка испугалась, что в случае признания моей версии придётся обращаться к командованию с требованием перестройки зоны, а это вызовет расходы и нарекания. Я притих, но у меня в руках были командные высоты – я принимал новых больных и мог делать себе заметки после опроса и осмотра, и я же вскрывал многочисленных умерших. И потихоньку от начальства я принялся за дело. Среди выздоравливающих обнаружил немца-лаборанта из медицинской лаборатории во Франкфурте (он служил фельдфебелем в ваффен-СС). У нас имелся исправный немецкий микроскоп с тёмной камерой. Я выписал лабораторные краски, замаскировав выписку длинным рядом амбулаторных лекарств. Фельдфебеля перевёл к себе в стационар и наладил опыты с окраской препаратов спинномозговой жидкости по Романовскому-Гимве. После ряда неудач пришёл успех: мы научились находить возбудителей иктерогеморрагического лептоспироза в жидкостях и тканях организма и наблюдать

живого инфекта при микроскопии в тёмном поле. Помогли советы долговязого эстонца-микробиолога с соседнего лагпункта. В КВЧ я раздобыл акварельные краски и сделал ряд неплохих цветных зарисовок. Когда эта часть работы была выполнена, я сел за статистическую обработку двадцати тысяч историй болезни. Работал ночами, примостившись у тусклой лампочки над табуретом дневального. В писчей бумаге недостатка не было. Начала расти неплохая научная работа.

В хозяйственной зоне тогда работала группа бывших гитлеровских вояк во главе с армянином, который дослужился до чина майора и получил за храбрость рыцарский крест. Бывало, едва запрут двери, гитлеровцы сядут в кружок и начнут вполголоса вспоминать старое – бои, города, годы. А я сидел и подсчитывал колонки цифр, выводил показатели с черновиков набело, каллиграфическим почерком переписывал текст, подклеивал рисунки и готовил материал для переплёта, благо на лагпункте объявился немец-переплётчик. Часы бегут, уже гитлеровцы улягутся спать, а я сижу и сижу. Часа в два дверь открывалась, входят надзиратели. Подойдут, наклонятся, прочтут страницы две.

– Куда пишете?

– В САНО Озерлага.

– А кому это надо, доктор? Вот чудило, право слово, чудило: не спит по ночам, старается. А зачем?

– Чтоб устранить лептоспироз. Больных будет меньше.

– А доктора на что? САНО тоже кушать хочет! Вы что, доктор, хотите всех помощников смерти без хлеба оставить? Ложитесь лучше спать! Думайте о себе! Начальство таких работ не обожает.

В последний день, когда работа уже была готова, задумался – вдруг обуял страх: и правда, чего я лезу вперёд? Все молчат, и я должен молчать! Надо думать о себе. Чего рисковать? Не пошлю! Надо соблюдать разумную осторожность!

Но именно в тот день прибыл с этапом больной – москвич, культурный человек, главный редактор большого издательства, старый контрик ежовского набора. У него была мозговая форма лептоспироза. Он лежал, странно закинув голову и закрыв глаза, и на губах его застыла лёгкая улыбка. А у меня в папке хранились рисунки лептоспир из тканей оболочек мозга, вещества мозга, жидкости желудочков мозга и спинномозгового ликвора. До боли ясно я представлял

себе, как миллионы липтоспир сейчас копошатся в голове этого улыбающегося худого, рыжеватого человека, заключённого с номером на груди, лежащего на банной скамье. Через два-три дня он умрёт.

«Нет, не буду молчать!» – сказал я себе и подал бумагу начальнику лагпункта в обход Сероглазки.

Она была глубоко оскорблена: за доброе отношение ко мне я ответил ей чёрной неблагодарностью.

Так я сам подготовил себе штрафной этап. Когда потом в списке Сероглазка увидела мою фамилию, она её не вычеркнула.

На лагпункте работал столяром бывший эсэсовец из Дрездена. До войны у него были большой писчебумажный магазин и переплётная мастерская, причём и сам он досконально изучил переплётное дело. И вот, желая угодить майору, от прихоти которого зависело его благосостояние, а может быть и жизнь, немец связался с женой, и она прислала ему восемь килограммов великолепной бумаги, в частности несколько плотных листов золотого цвета. Мастер превзошёл себя и сотворил изумительный по форме и изяществу альбом и преподнёс его майору, очевидно, полагая, что майорские дети по-немецкой манере будут записывать в нём сентиментальные стишки и случайно встреченные в книгах глубокомысленные изречения. Но майор был человеком иного склада: при мне он не раз заказывал нарядчику лагерные номера для своих ребят, которые, как он говорил, любили играть в каторжников!

Однако и майор пришёл в восторг: такой вещицы он еще от роду не видывал. Мастер был записан на дополнительное питание, навсегда исключён из этапов и переведён с вагонки на индивидуальный топчан с больничным бельём. Но вот беда – старый пьяница не знал, куда же девать альбом? На какое дело употребить вещь, сияющую, как золотой слиток? Майор вызвал меня, своего любимца, и, глядя в сторону, буркнул:

– На. Держи. Это будет Золотая Книга. Понял? Для почётных записей. Понятно? Случится что замечательное – прямо сюда. Катись.

Я с восторгом понёс Золотую Книгу и с нетерпением стал ждать чего-то замечательного, чтобы поскорее сделать первую запись. Прошёл день – ничего. Неделя – ничего. Месяц – ничего. Каждый день утром и вечером я вер-

тел в руках Золотую Книгу, но нет, писать было нечего, хоть и очень хотелось. К тому же почерк у меня был очень подходящий – пишу я ровными линиями, и буквы выходят бисерные, одна к одной.

И тут помогла злая судьба.

Однажды летом привезли большую партию прекрасной баранины. Начальник в этот день был особенно пьян и еле держался на ногах. Накладную, в которой указаны сорт и назначение мяса, он не читая сунул в карман, а мясо приказал свалить на землю прямо на дороге.

– Гражданин начальник... – начал было шофер.

– Заткнись! Я в мясе разбираюсь: это для собак, сейчас заложи в чан. Эй, сторож! Скажи, чтоб свалили в собачий чан!

Мясо свалили. А когда дня через три начальник приполз на работу, счетовод попросил у него накладную. Начальник нашёл её в кармане, прочитал и обмер: мясо было диетическое, для больных. Тогда гниющие куски крючьями стали тащить из собачьего чана и перекладывать в диетический, а также поскорей сдавать на кухню. Мясо было белое от червей, походило скорее на комья грязной ваты. Повара взвыли. Сероглазка в ужасе выпучила красивые глаза. Но делать было нечего: центральная больница Озерлага – это не «Броненосец Потёмкин»! В тарелках плавал белый слой варёных червей, и все больные дружно отказались есть первое и второе блюда и перешли на хлеб и чай.

– Да, это не слащаво-романтический фильмик! Вот сюда бы ткнуть носом прихлебалу Эйзенштейна! – бесился и я, и вдруг вспомнил: – А Золотая Книга?!

Ровными, как по линейке строчками, бисерными, как жемчужные зернышки, буквами я на первой странице изложил эту историю, подписался: санитарный врач з/к Быстролетов Д.А., и сдал книгу счетоводу.

Прошло два дня. Наступило воскресенье. Вольняшки не пришли, для заключённых наступил день отдыха.

И вдруг после утреннего чая в зону ворвалась группа надзирателей и рассыпалась по корпусам и баракам:

– Большой этап! Слушайте список! Вызванные, в баню! Живо! Через два часа грузимся на поезд!

Список был необыкновенно большой. В него внесли всех работоспособных из числа выписанных и выздоравливающих, включая больничную службу и рабочих из вспомога-

тельной зоны. Полностью отсутствовали только врачи. И всё же в самом верху рукой начальника была старательно, крупно и разборчиво приписана моя фамилия. Внизу стояла подпись Сероглазки.

Так я загремел в дальний этап.

Ночью мы прибыли на Тайшетский распред, совершенно переполненный свезёнными со всех лагпунктов этапниками. Я с Едейкиным и Сидоренко решили жаться друг к другу – и действительно мы попали в одну теплушку.

Свистки. Лязгнули буфера. Поезд вздрогнул и пополз куда-то в темноту. Лай псов и крики стрелков уплыли назад. Потянулась тайга. Куда нас везут? Не всё ли равно... Кого куда – не знаю, а меня – ближе к могиле. Я прикрылся бушлатом и равнодушно заснул.

С Озерлагом всё было кончено.

Когда рассвело, то выяснилось, что нас везут на Запад! Восторгу не было предела!

Мелькнул мимо Новосибирск...

Все заволновались: неужели на Урал или ещё дальше – в европейскую часть Союза?

Серым тихим и довольно тёплым днём наш состав пополз по боковой ветке. В окошечки справа и слева видна была стройка. Масса заключённых женщин подняла весёлый визг: одни поднимали юбки, другие становились задом, нагибались и радушно предлагали стрелкам, сидящим на крышах и на площадках, попробовать омский товарец!

Омский! Нас привезли в Омск!

И вот я шагаю, затерянный в трёхтысячной колонне, мимо одинаковых лагерных зон, рассчитанных на тысячи заключённых. Все они заперты и охраняются.

Эти закрома живого товара уже засыпаны.

Но вот один загон пуст, его пасть гостеприимно раскрыта. Колонна, ряд за рядом, втягивается внутрь. Доходит очередь и до меня. Сколько ещё таких крепких ворот с железными засовами мне суждено пройти?

Не знаю. Но мне всё равно.

Я не думал, что эти ворота – последние, что именно в этой зоне лагерь отработает меня до конца, и не пройдёт и полугода, как я потеряю здесь человеческие способности говорить, читать, писать и считать, забуду двадцать иностранных языков и, едва встав с больничной койки, повалюсь

на сани вместе с другим человеческим мусором, нас прикроют старыми одеялами и вывезут как совершенно не способных к труду и самостоятельной жизни калек в широкий и негостеприимный мир, имя которому – Свобода.

Глава 4

На диком берегу Иртыша

– Вшей! Вшей! Ищите вшей! Есть здесь врачи? Фельдшера сюда! Ко мне! Приказываю: немедленно найдите мне вшей!

Высокий чекист в съехавшей набок шапке и незастегнутой грязной шинели с погонами капитана медслужбы метался меж рядов уставших этапников, исступлённо сверкая очень светлыми серыми глазами. Он был трезв и казался не вполне нормальным. Это был наш новый начальник МСЧ.

– Я – врач, а это – опытный санитар, – сказал я, показав себя и подтолкнув вперёд Сидоренко.

– Вшей! Чего стоите? Давайте вшей!

Мы бросились раздевать людей и выворачивать рубашки. Утомлённые люди раздевались неохотно и послали бы нас к чёрту и ещё дальше, но вид у начальника был такой странный, что связываться с ним никто не захотел. Прошло минут десять, двадцать, полчаса.

– Где вши? Сколько нашли?!

– Вшей нет, гражданин начальник. В Озерлаге вшивости не было.

– Как не было?! Заключённых плохо кормят, плохо одевают, плохо моют – а вшей нет?! Ложь!

Но от крика вши не рождаются, и с гордостью я ещё раз подтвердил, что вшей мы не нашли. Начальник исчез взбешённый, потом появился снова:

– У кого понос?! Поносники, ко мне! Я знаю, что в этапе дизентерия – дайте мне больного! Скорей!

В руках у него была пустая банка из-под компота.

Увы, этапы предрасполагают к запору, и ни одного поносника не оказалось. Наконец, заставив какого-то испуганного тощего работягу присесть над банкой, начальник, можно

сказать, силой выдавил из него хорошо сформированный завиток и с торжеством понёсся в соседнюю секцию, где заседала комиссия вольных врачей – озерлаговских, сдающих этап, и камышлаговских, принимающих.

– Типичный стул при дизентерии! – кричал начальник, высоко поднимая баночку с хорошо сформированным образцом. – Я покажу, как издеваться над заключёнными! У меня этот номер не пройдёт!

Местные врачи смотрели в сторону и улыбались, наши, этапные, удивлённо таращили глаза: они ничего не понимали. Казённые врачи всегда готовы скрыть какие-нибудь недостатки, но чтоб выдумывать их – это все они видели в первый раз!

К вечеру я, оглушённый криком, указаниями, угрозами и похвалами, обошёл со своим новым начальником размещённых по баракам людей, человек десять выдернул в стационар и к десяти часам вечера вошёл в барак медобслуживания под мерный звон рельсы: начальник не дал мне ни минуты отдыха и лишил обеда и ужина. Внесли парашу. Дежурный офицер пересчитал людей по списку. Снаружи на двери со звоном щёлкнул замок. Я пожевал сухой хлеб, запил его водой, взглянул в окно на опустевшую зону, залитую электрическим светом, на ровные ряды больших бараков, прямые улицы, ночной патруль с фонарями и собаками... Всё было странно, необычно... В такой зоне я ещё не бывал. Потом усталость взяла своё, и я замертво повалился на койку.

Зона 05 Камышлага в городе Омске, как и десяток других соседних мужских и женских зон, была рассчитана на 3000 штатных заключённых. В каждом из бараков помещалось по 200 человек, барак был разделён на две секции. Все бараки новые, чистые, просторные. Между ними проложены широкие дороги, хорошо расчищенные от снега.

Справа от входа – служебные здания (штаб, каптёрки, кухня, большая столовая, баня и прачечная), прямо и слева – жилые бараки в два ряда. Слева, в конце зоны, вдоль ограды – ДОПР, ШИЗО, БУР, морг и длинное здание МСЧ – с левого конца вход в амбулаторию, с правового – в стационар.

Между МСЧ и рабочими бараками – хитрый домик опера и маленький барак медицинской службы. С трёх сторон, за огневыми дорожками и вышками нашей зоны, виднелись вышки соседних зон и крыши других построек – справа и

слева мужские зоны, а за больницей – женская, оттуда целыми днями доносились звонкий мат и всяческая похабщина, которой урки женского пола по обычаю приветствуют начальство и урок мужского пола: со дня приезда в октябре пятьдесят третьего года и до моего освобождения в сентябре пятьдесят четвертого года этот любовный помойный дуэт не прекращался ни на день, сколько бы раз начальство ни снимало с крыши МСЧ любителей полюбезничать с прекрасным полом и сколько бы таких любителей ни сидело в ШИЗО. Когда я вспоминаю 05, то сразу же начинаю мысленно слышать откуда-то сверху над собой зычную похабщину. Что это было – проявление задавленной сексуальности? Удалство на воровской манер? Патология исковерканной заключением психики? Не знаю.

Я пишу эти строки и как будто слышу этот животный глухой рёв, хотя сижу в профессорском зале Ленинской библиотеки.

Примечательно, что в зоне отсутствовал зал со сценой. Обычно они переделываются из столовой, и люди едят на койках, но на 05 всё было не так. Столовая – огромный светлый зал – была мастерски раскрашена художниками-умельцами в стиле Шереметевского дворца в Москве. С первого же дня я был поражён: на чистых столах для каждого ставились ложки и миски с первым и вторым, а для каждой шести едоков (по трое с каждой стороны) – плетёная из бересты корзина с хорошим хлебом, нарезанным ломтиками, без порций. В зале во время еды было чинно, чисто и культурно, потому что между столами на манер классной дамы прохаживался дежурный надзиратель.

Супы были невиданного мною раньше качества, каши – добротные, жирные. Хороша была просторная баня, бельё стирали неплохо, рваньё не выдавали. Словом, впервые за семнадцать лет я видел нечто совершенно доселе немыслимое, невозможное – лагерную жизнь, похожую на жизнь вольных рабочих где-нибудь на сибирских новостройках! Единственная разница – отсутствие женщин и более упорядоченный, чем на воле, быт (думаю, что было больше порядка). Я понимал, что это влияние времени, его признаки! Всё, всё мне понравилось, здесь можно было спокойно жить и хорошо работать, если бы...

Если бы не люди.

Люди здесь портили всё.

И в Тайшетском распреде, и на 07, и на 038 изредка случались внутрилагерные убийства, но блатных там сидело мало, и убийства носили характер внутриклановой расправы.

Однажды на 07 я нашёл голову красивого парикмахера и сразу понял, что это дело рук бандеровцев, месть своему от своих. Там же у русского бригадира японской бригады исчезла новенькая рубаша. Начальник вызвал старшего по чину офицера-японца. Явился капитан Мацуока. Вежливый, подтянутый, настоящий кадровый офицер с головы до пят. Японцы даже номера рисовали и подшивали так аккуратно, что они казались не клеймом, а украшением. Бывало, на медицинском приёме от украинского мужика не добьёшься номера бригады или указания места работы: «Чого? А? Що?» – мычал он, как животное. А у японцев все данные чёрной ниткой были вышиты прямо на нижней рубаше. Большой улыбается, укажет пальцем себе на грудь, щёлкнув при этом каблуками и вытянувшись в струну, и всё ясно. Так и на этот раз – начальник объяснил, в чём дело, капитан Мацуока щёлкнул каблуками и сказал: «Хорросе, слусаю, нацальник!» – и ушёл. И через час принёс пропавшую вещь.

А на следующий день японцы принесли из тайги вора на плечах – его **убило деревом**. Приятно улыбнулись, аккуратно положили тело перед дверью морга, щёлкнули каблуками и ушли. Такие убийства никого не трогали.

07 был страшен убийствами на работе.

05 в Омске мне вспоминался как место убийства, драк и террора одной национальности против всех других и урок против фраеров. Особенно агрессивно держали себя корейцы. Если их было в бараке два-три на сто, они вели себя тихо. Если десять-двадцать – вели себя безобразно, вызывая ругань и драки, провоцируя столкновения на национальной почве. Если же корейцев была половина или больше, то из такой секции надо было бежать всем, кроме бандеровцев и бывших солдат гитлеровского Мусульманского легиона, потому что тогда одна спаянная агрессивная группа натыкалась на другую.

К сожалению, враждующие между собой группировки не занимали отдельных помещений и не составляли самостоятельных бригад, напротив, старанием начальства все были перетасованы так, что ни в одной секции и ни в одной бригаде не было покоя – всё кипело от раздражения, взаимной ненависти и желания свести какие-то счёты. Такую воз-

буждённую массу, как некий фермент, вызывающий усиление брожения, прослаивали сверху донизу уголовники. В Озерлаге их было так мало, что о них просто не думали. Теперь, как некогда в Сиблаге, урки вошли в мой быт как ежеминутная опасность, как повседневно действующая сила: в каждой бригаде их было два-три человека, на амбулаторном приёме до десяти процентов больных, и эти урки были не сиблаговские, избалованные непротивлением контриков, а обозлённые, сильные, сами ждущие неожиданного удара с любой стороны, от любого человека. Честняг среди них не было, это было разнузданное хулиганье, психопаты, в полном смысле антисоциальный элемент. Потому-то особенно опасный. И в довершение картины – провокаторы и шпики. Они были насажены повсюду, любое движение, любое слово регистрировалось, засекалось и сообщалось куда следует. В первую же неделю работы я заметил, что ко мне лично приставлен санитар-бандеровец – противная, слащавая, улыбающаяся харя, которая меня встречала утром у постели (наши койки стояли рядом), сопровождала весь день до той же койки ночью. Весь день я видел эти наставленные на меня волосатые уши. Это было невыносимо.

И, наконец, сумасшедший начальник, который мог задёргать любую свеженькую, доставленную из степного табуна лошадь: а ведь я был тяжело болен, перенёс один паралич и разменял восемнадцатый год заключения... Начальник, помешанный на верной службе, заваливал меня совершенно не выполнимыми заданиями, их отменял и давал новые, а вечером требовал отчёта о выполнении всего – и отменённого и неотменённого. Через месяц я стал похож на взмыленную лошадь, загнанную безумным ездоком.

– Подайте список людей, которых вы лично осмотрели на шивовость. 500 человек. Живо! Я ухожу в Штаб!

Через полчаса:

– Ещё не готовы? Растеряха! Бегите в баню, присутствуйте при мойке!

Через полчаса:

– Чего вы прячетесь в бане? Вы подготовили вскрытие? Зовите стационарных врачей! Быстро, я спешу!

И так до отбоя.

Заключённые видели это нелепое, но искреннее рвение, и, не понимая его патологической основы, боготворили капитана.

– Если бы я встретил герра гауптманна у себя в Мюнхене, то отдал бы ему честь и с благодарностью пожал руку! – говорил мне бывший гитлеровский комендант города Риги. Вот пойдёшь ты!

В зоне находилось немало врачей. Но капитан не мог с ними сработаться: все они казались ему лентяями, саботажниками и неучами. Изнемогая от безумной спешки, я всё время требовал помощников, и они действительно появлялись – то терапевт, то инфекционист, то педиатр. Но начальник прогонит новенького по зоне раз десять и к вечеру скажет ему: «Не годитесь. Сонных не люблю. Спать можете и на строительстве. Надо уважать заключённых, они тоже люди. А уважая, надо им верой и правдой служить. Завтра не приходите в МСЧ!»

Один врач, толстый, одорукий венеролог, сейчас живет в Москве и даже, кажется, на Юго-Западе. Я с Анечкой не раз его встречал с женой на улице и в театрах. Но это был действительно лентяй, он вылетел с работы в МСЧ сразу же, потом, когда я свалился и капитана демобилизовали как нервно больного, был взят обратно, но ненадолго – его освободили первым в зоне, и он улетел в Москву на самолёте. Попал на работу и симпатичный военный хирург, который подошёл ко мне в этапном бараке Тайшетского распреда. Но и он оказался лентяем – капитан послал его отдыхать на строительство.

С нами прибыл заключённый с любопытными наружностью и биографией. Давно известно, что многие люди похожи на зверей, птиц или рыб. Этот тип выглядел хитрой и злой лисицей, одетой в чёрную одежду спецлагерника с номером на груди, спине и на ногах. У него было не лицо, а длинная и узкая хищная мордочка с косо прищуренными светлыми злыми глазками. В лагере его так и прозвали – Лисом. Лис окончил Ленинградское военно-фельдшерское училище, по национальности был украинцем, а часть его до войны стояла в Карелии, на финской границе. Во время войны он попал в плен под Псковом и сразу же вызвался служить гитлеровцам. Получил деньги, обмундирование и сбежал к бандеровцам – там кормили лучше. Получил деньги, обмундирование и сбежал к эстонцам в эсэсовскую дивизию. Получил деньги, обмундирование и сбежал в Таллинн и союзную Финляндию – там одевали и кормили ещё лучше. Получил деньги и обмундирование и на утлой лодчонке

сбежал в нейтральную Швецию, устроился там в деревне фельдшером и женился на дочери богатого крестьянина. Зажил великолепно... Но... Отгремела война и захотелось домой: любовь к Родине заела Лиса насмерть, и в группе военнопленных он вернулся в родной Ленинград. Получил десятку и бесплатный проезд в Сибирь, в Озерлаг. Оттуда его перебросили в Омск, и на 05 он попал ко мне в помощники. «Было у меня за столько лет немало помощников, этот будет не хуже и не лучше», – подумал я, глядя на его такое хищное лицо. Сначала всё было хорошо, но потом в зону откуда-то попал врач-хирург, выгнанный из МСЧ, как потом рассказывал капитан, за торговлю наркотиками. Лис быстро снюхался с ним, и вместе они написали на меня донос оперу, который снял меня с работы, а на моё место назначил доносчика. Бешенству капитана не было границ. Он извинился передо мной и назначил санинспектором в баню.

– Будем ждать удобного случая! – сказал он мне, энергично трясая руку и безумно сверкая светлыми глазами.

Нервотрепка началась ужасная. Наконец подвернулся случай: на стройке работяге оторвало ухо, и хирург, нанюхавшись для храбрости эфира и наглотаившись опия, пришёл обрывок не на место, а к середине щеки. Капитан составил акт и выгнал их обоих. Я в бане отдохнул от Лиса и бандеровской хари в должности моего персонального шпика и потом считал месяц работы в бане просто хорошим отпуском.

Много огорчений доставил мне старый знакомый по Норильску Лёвушка Гумилев, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Это был наследственный, хронический заключённый, который сидел срок за сроком – за отца, за свой длинный язык и так себе, вообще, чтоб не болтался зря на воле. Человек он был феноменально непрактичный, неустроенный, с удивительным даром со всеми конфликтовать и попадать из одного скверного положения в другое. Поэтический ореол отца и матери, конечно, и в лагере бросал на него свет, и все культурные люди всегда старались помочь Лёвушке вопреки тому, что он эти попытки неизменно сводил на нет.

В Норильске зимой 1939/40 года меня вызвали в барак самых отпетых уроков, где якобы кто-то умирал. Такие бараки имеются в каждом лагере и в каждой зоне. Помещаются они обычно на отлёте, стоят покосившись, без стекол в окнах,

грязные и холодные, нарядчик туда заходить боится, повар и хлебобрез, выдавая положенное, никогда не отказывают в щедрой добавке (чтоб не получить вечером нож в бок). Урки там сидят на нарах в белье или голые, режутся в карты, а их шестёрки промышляют в зоне, воруют и грабят, а ночью спят под нарами – обычное место опустившегося, грязного, оборванного человека, которого в лагере называют Чумой.

Я явился с носилками на плече.

– Ладно. Больного забираю в больницу! Давай ещё одного человека нести носилки! – сказал я пахану.

– Эй, Чума! Вылазь, падло, чтоб тебя зарезали! Косой, шугани под нарами доской!

Косой потыкал доской под нарами, и оттуда вылез Чума – босяк с заплавленными глазами. Он шатался от слабости.

Мы стали спускаться вниз, кое-как таща больного на носилках. На полдороге я обернулся и по одной только кисти руки, по тому, как она лежала на груди, понял, что больной умер. Мы поставили носилки на снег.

– Смотри, Чума, больной уже умер. Понял? Подпишешься в акте. Как твоя фамилия, имя и отчество?

– Гумилев Лев Николаевич.

Я подышал на окостеневшие пальцы.

– Холодно как, чёрт. Да. Проклятая жизнь.

Я был тепло одет. Босяк – в лохмотьях, от холода топтался на месте и хлопал себя руками по бедрам.

– Гм... Как сказать...

– Ты вот не знаешь, Чума, а у тебя фамилия, имя и отчество такие, какими может гордиться каждый культурный русский человек. Николай Гумилев, тезка твоего батьки, был известный поэт, расстрелянный большевиками! Прочувствуй, Чума!

– Это мой отец! – беззубым ртом улыбнулся босяк.

Тут, забыв про холод, мы начали по очереди читать гумилевские стихи – раз он, раз я.

Так я познакомился с Лёвушкой. Во время войны, когда солдат стало маловато, Лёвушку освободили и отправили на фронт. Он воевал, получил награды, был ранен. Потом война кончилась. Советскому Швейку сунули новый срок и послали в спецлагерь. Героическая мать, изнемогавшая от бесчеловечного давления сталинского режима, вздохнула, когда Сталина не стало. Маленков якобы распорядился оказать ей помощь изданием сборника стихов и заказами на переводы. Ахматова немедленно принялась всерьёз помо-

гать сыну. Урывками, между своим основным занятием – сидением в лагерях, Лёвушка экстерном окончил среднюю школу и исторический факультет и теперь в Омске писал диссертацию на тему «Гунны».

– Товарищ начальник, здесь у этого заключённого какие-то бумаги! – при каждом очередном шмоне докладывал стрелок.

– Разрешение есть?

– Вот, пожалуйста.

Старший надзиратель прочитывал несколько раз разрешение и потом с пренебрежением поднимал заглавный лист рукописи.

– Гу... нн... ы... Гунны!

Клал лист обратно на кипу и качал головой:

– И выдумает же, гад! Гунны! Потеха!

Лёвушка сделал себе деревянное седло на спину для заветной кипы бумаги и носил её, плетясь в бесконечных рядах этапников, опустив голову, сунув руки в карманы. Вещей у него никогда не было. Это была патетическая фигура – смесь физического унижения и моральной стойкости, социальной обездоленности и душевного богатства. Кто знает, может быть, когда-нибудь и найдётся русский художник, который изобразит сталинскую эпоху именно как безвременно поседевшего измождённого человека, тащащего на спине научную работу по сибирским дорогам меж штыков и собак?

Конечно, мы оба сильно постарели, но всё же узнали друг друга. Я немедленно устроил Гумилева санитаром, благо у него была нерабочая категория. Я представлял себе, что он каждый день будет приносить из инвалидного барака по тоненькой стопке бумаги и, усевшись за моим столом в приёмной под видом учётчика, будет потихоньку от начальника спокойно работать над диссертацией.

Но Лёвушка Гумилев – это Лёвушка Гумилев!

Он приволок свой наспинный этапный ящик, прибил его к стене в виде полки и расположился под ним с таким видом, что начальник, случайно войдя на следующий день, тут же выгнал его обратно в барак со всеми бебёхами – полкой, чернилами, книгами и рукописью. Потом я старался вставить его фамилию в список инвалидов, которые должны получить дополнительное питание, и вычёркивал её из списка людей, назначенных на работу в зоне.

Помогать ему было трудно, так как он попадался начальникам на глаза и бесил их своим подчёркнуто интеллигент-

тским видом. В конце концов мы просто стали гулять вместе по полчаса перед приёмом. Но и здесь вышла стычка из-за того, что Лёвушка безобразно картавил.

Пахан бандеровцев, широкоплечий головорез с тупым лицом сельского начётчика и богатея, отозвал меня в сторону и сказал строго:

– Доктор, мы вас, конечно, уважаем, але як вы можете говорить с таким жидом, як с человеком? Мы, бандеровцы, чекаемо, що вы не будете так нас оскорблять!

Я приятно улыбнулся.

– Я готов на разводе стать на колени и поцеловать любого еврея в место, на котором он сидит, но при одном условии – лишь бы не видеть вас! Поняли? А, кстати, у Гумилева отец – русский, дворянин, а мать – украинка! Идите.

Бандеровец раскрыл рот от изумления.

Один раз меня вызвали в этапную секцию. Там на койке лежал новоприбывший. Я наклонился. Миша-Поп!

Мы обнялись.

– Меня таскают по этапам... Это мучительный вид казни, доктор! Но у меня радостная новость: я умираю... Смерть – это единственная форма истинного освобождения для советского человека. Скоро я навсегда распрощаюсь с марксизмом-ленинизмом, социалистическим реализмом и советской демократией. Сознайтесь, вы мне завидуете?

Миша вздохнул и смолк.

– Нет, – сказал я твёрдо. – Надо жить! Ждать осталось недолго. Слышали последние парашаи? Скоро лагеря закроют, и мы пойдем по домам!

Миша улыбнулся.

– Вы предпочитаете московских оперов? А я думаю, что они всюду одинаковы. Лучше жить без опера.

– Где?

– Там, – и костлявым грязным пальцем он указал вверх.

– На чердаке этапного барака?

– На небе, доктор. Вы производите впечатление упрямого коня, который любит брыкаться. Зачем?

– Ладно, Миша, не будем начинать спор. На вас уже есть наряд в этап? Ладно, сегодня ночью вас не заберут, потому что сейчас санитары увезут вас в больницу, дней десять вы полежите, отоспитесь, а там будет видно!

Миша сделал рукой знак протеста.

– Не гонитесь за смертью, Миша; она от вас не убежит. Санитары, заберите его!

Ночью я проснулся от толчка в бок. Двери барака были отперты, из них валил морозный пар.

– Встать! Одеться! На допрос!

Мне скрутили руки и повели. Только Едейкин поднял голову, кивнул и опять сделал вид, что спит. Конечно, на восемнадцатом году заключения лагерник до тошноты знает все ухватки следователей, он предвидит следующие вопросы и знает цену ругани, угрозам и побоям.

И всё-таки ему не легче. Нервы не выдерживают, что ли? Сколько лет можно терпеть одно и то же? Ведь я разменял мой восемнадцатый...

– Становись к стенке, фашистская тварь!

Опер взял меня за уши и дёргает голову так, чтобы она затылком побольнее ударялась о стену.

– Сейчас мозги вытряхну, гадина! Чего молчишь?

Когда я начинаю чувствовать, что колени уже подламываются и я сейчас рухну на пол, опер отходит, вынимает носовой платок и вытирает потный лоб, шею и руки.

– Измучил, гад. Чего молчишь?! А?

Он вынимает пистолёт. Я с тоской вспоминаю Тайшетский распрел. Всё то же... Когда же кончится...

– Обещаю написать твоей матери твою последнюю волю. Говори!

Он приставляет дуло к моему лбу. Я молчу.

– Это ты спрятал этапника в больницу?

– Я.

– С каким диагнозом?

– Начинающаяся пневмония и истощение.

– «Истощение»... Эта собака скоро подохнет! Знаешь это?

– Знаю.

– И ты подохнешь!

– Пусть.

Опер закуривает и смотрит на часы. Вдруг говорит другим голосом:

– Идите в больницу, доктор, поднимите этапника с постели и доставьте его в этапную секцию. До развода он ещё успеет на поезд. Идите, сейчас ударят подъём!

Я трясусь от злорадного торжества: Сталина нет, теперь опер не смеет поднять больного с больничной койки!

Стою, вытянувшись и прижав затылок к стене.

– Ну, что же вы? Поспешите!

Я молчу.

– Ну?

Чуть шевеля губами, я шепчу:

– Этапник... болен...

Опер отпрыгивает назад. Он в слепой ярости.

– Ах ты, фашистский гад! Собака! Не хочешь, чтоб с тобой по-человечески говорили?!

Он вне себя. Но... времена не те...

– Пристрелю! Пристрелю, сволочь...

В эту минуту входит капитан – шапка задом наперёд, грязная шинель нараспашку.

– Что тут у тебя, Синельников?

– Да вот твой фашист спрятал от этапа одного гада и ...

– Он не при чём... Это я лично отправил этапника в больницу.

Я не верю своим ушам. Опер растерялся.

– Ты?

– Я.

Выпучив глаза, они смотрят друг на друга.

– Да тебя вчера в зоне вообще не было, капитан!

– Был. Вечером заехал.

– Вечером я тебя видел в городе с майором Анохиным.

– Вот потом-то я и заехал в лагерь.

– Врёшь!

– Честное пионерское!

– Я не шучу, товарищ капитан!

– Я тоже, товарищ лейтенант! Отпусти моего врача! Я сам поставил диагноз, и сейчас мы пойдём смотреть больного.

Выходим. Светлеет. Редкие фигуры бредут к кухне. Капитан шагает, размахивая руками. Я плетусь сзади. Далеко за нами, прячась за бараками, крадётся Едейкин. Это он подстерёг начальника на вахте и предупредил... Молодец...

Капитан полуоборачивается и с угла губ сипло рычит:

– Уж если захотели оставить кого-то, доктор, так по крайней мере могли бы предупредить меня!

Потом опасно смотрит по сторонам и широко шагает дальше.

Вот тогда я и сказал себе: «Пора. Или Шёлковая нить выведет меня на свободу, в жизнь, или я умру у самого выхода. На пороге открытых дверей в Свободу. Дальше я могу не выдержать!»

Теперь я думаю, что очень серьёзной причиной надвинувшегося изнеможения было отсутствие единомышленни-

ков и друзей. Не то, чтобы таких людей на 05 не было: напротив, в большой зоне с населением в три тысячи человек их было больше, чем в других лагерях, где я жил, – встречались ежовские контрики довоенного времени, которых я понимал с полуслова, попадались и внутренне близкие люди из военного и послевоенного набора. Но все они терялись в толпе, все были заняты на строительстве, а те, кто оставался в инвалидных бараках, не могли найти меня, потому что я сам носился с места на место, подгоняемый безудержной потребностью капитана шуметь и всё переворачивать вверх дном. А ночью, возвратившись с приёма, я был полумёртвым от усталости, мне не только не хотелось говорить, я просто не мог думать: к ночи я был уже не человеком. Поэтому-то и не смог найти кого-нибудь по душе, не смог ни с кем подружиться.

Много запомнилось лиц и разговоров, любопытных, характерных, но искренних и задушевных ни одного. В свободную минуту я любил поговорить с полковником флота, бывшим японским морским атташе в Москве. Он задавал бесконечное количество очень разумных и трудных вопросов, я обдумывал ответы и отвечал. Это было интересно, но не давало покоя переутомлённому мозгу. Японец хотел понять философский и исторический смысл событий и, в частности, причины поражения Германии и Японии. Его волновало новое мировоззрение, которое, очевидно, ломало в его сознании всё старое и привычное и помимо его воли формировало из него нового человека.

Однажды японец подошёл ко мне бледный, взволнованный, с ужасом в глазах.

– Господин Быстролётов, – отчеканил он громко, торжественно. – Я должен сделать вам чрезвычайное заявление. Следуйте за мной.

Мы зашли за барак.

– Нет, не здесь. Есдзо дальсе.

Зашли за другой барак. Полковник побледнел ещё больше.

– Нет, зайдем за этот угол!

Зашли. Остановились. Минуту старый самурай сверлил меня глазами и не мог произнести ни слова. Наконец каркнул: «Император – дуррак!»

И в ужасе, горе и удивлении, как мог он решиться на такое богохульство и святотатство, застыл, потом закрыл

лицо руками, всхлипнул, вобрал голову в плечи и бегом скрылся за бараками.

Помню другого японца, коммуниста, бежавшего с юга на Сахалин, к русским, чтобы своими глазами увидеть большевиков. И увидел: его обвинили в шпионаже и дали 25. Но сами японцы, монархисты и фашисты, были более внимательными следователями – они быстро установили, что здесь допущена грубейшая ошибка и что этот чудак – настоящий идейный коммунист. И они принялись травить несчастного, превращая его лагерное существование в беспощадную и бесконечную пытку. Вскоре у этой жертвы двойных издевательств помутился разум, и я устроил его в медицинском бараке. По-русски он почти не говорил и вообще вначале отказывался отвечать на вопросы, а потом смягчился, привязался ко мне, связал мне носки, часто и много рассказывал о своей семье – кое-что по-русски, но больше по-японски. Глаза у него делались лучезарными, по щекам текли скупые слезинки, а я сидел, писал амбулаторный журнал, улыбался и кивал головой, потому что по-японски не понимал ни слова.

Помню ещё одного японца – раненого лётчика, очень высокого парня, ростом метра два. Он приехал на Сахалин к невесте помочь ей при эвакуации, но попался чекистам и получил четвертак как шпион.

Он мыл на кухне посуду, распевал русские песни, и в день заучивал по 15 русских слов. Ко мне приходил по поводу русской грамматики, приносил мне краденый лук и своё собственное неизменно хорошее настроение. Звали его Мацинори, или на русский манер – Матюшка, или в его произношении – Ма-ту-си-ки. Славный парень! Он меня немного успокаивал. Его невесту звали Кики. В её честь долговязый Матусики пел мелодичные и печальные песни.

Вспоминаю одного нашего бывшего артиллерийского офицера, комсомольца. Его забрали в Праге за стихотворение. В нём советский воин на границе говорит чешской девушке: «Радуйся, я несу тебе освобождение!» А она ему отвечает: «Сначала освободись сам! Раб не может никого освобождать!» Поэт написал мне это стихотворение, и я не заучил его, понадеявшись на бумажку. А потом Едейкин случайно бумажку выбросил, а автора перевели в другую зону. Жаль! Стихотворение было написано хорошо, хотя попадать из-за него в Сибирь, конечно, не стоило.

Помню еще вечера в медицинском бараке, когда на тесной вагонке укладывались два соседа – длинноносый Едейкин и похожий на рыжего паука тощий уборщик морга, эстонец, бывший ефрейтор эсэсовской карательной роты.

Разговоры у них были всегда печальные, со вздохами:

– Ах, зид, как ты мне раньсе не попался, – говорил эстонец и вздыхал. – Я бы тебя отвёл за нос в дусегубку!

– Ах, тухлая килька, почему ты не встретился мне на Васюгане, я бы там пустил тебя поплавать в сибирской реке!

Потом оба накрываются бушлатами и засыпают.

Помню немца, владельца большой текстильной фабрики в Хемнитце. Чтобы получить армейские заказы, он вступил в партию, и вот теперь сидел в лагере, проклиная Гитлера и войну. Здесь он пристрастился к писанию стихов и писал их неплохо. Да, лагерь открывает в людях скрытые таланты, и мы сидели рядом и сочиняли каждый своё, он – немецкие стихи, я – русскую прозу. Немец бывал в Голландии, и частые воспоминания о ней навели меня на спасительную мысль начать писать вступление к африканскому роману.

В Суслово я начал работу сразу с первой главы, то есть с отъезда действующего лица, голландского художника Гайсберта ван Эгмонта из Парижа в Алжир. А кто такой этот человек? Почему он отправился в такое далёкое и опасное путешествие? Нужно было психологически обосновать его решение и несколькими резкими и верными штрихами нарисовать читателю парижскую и голландскую жизнь. Удастся ли это на 05, на восемнадцатом году заключения?

Задача показалась мне любопытной. Я попытался вспомнить первые наброски в Суслово, но как будто бы неудачно: спецобъект и спецлагерь опустошили память...

И под крик капитана, выжимая из переутомлённого мозга строчку за строчкой, я начал писать в уме начальные главы африканского романа.

– Что вы всё бормочете, доктор? – стали спрашивать у меня больные. – Молитесь, что ли?

– Молюсь! – кивал я, но видел, что они не верят и с опаской отходят в сторону.

Вот как выглядела первая проба.

1. Рождение героя

Две возможности одновременно представились Гайсберту ван Эгмонту, и поэтому прежде всего ему предстояло сделать выбор – Азия или Африка.

– Индия или Конго? – спросил он друзей и знакомых.

Общее мнение выяснилось немедленно.

– Ах, дорогой маэстро, как художнику вам обязательно следует посмотреть Цейлон: я сама упивалась там красотой, как вином!

– Молодая индийская промышленность представляет несомненный интерес для состоятельного молодого человека с прогрессивными идеями: в Индии можно удачно вложить деньги и собрать недурной социологический материал для модной книги. Производственные предприятия там размещены преимущественно в портовых городах, вроде Бомбея или Калькутты. С них и начинайте знакомство со страной.

– Кстати, о Бомбее: у меня там тётушка содержит недурной пансион для белых. Хотите адрес?

Благие советы и пожелания сыпались со всех сторон: каждый что-нибудь да знал об Азии.

И ван Эгмонт решил:

– Африка!

Путаные чувства вызывала в нём она. То радость и веру, то ожидающие необыкновенные встречи и приключения, то свежесть совершенно новых переживаний, то разочарования и сомнения. Иногда ван Эгмону начинало казаться, что той Африки, которую он ждёт, совсем нет и не будет.

Первое удовольствие от африканского путешествия ван Эгмонт получил задолго до выезда.

– Решено, – произнёс он резко и значительно. – Я еду! Впереди десять тысяч километров пути по раскалённым до бела пескам Сахары и чёрным дебрям конголезских лесов. Увидимся ли, нет – кто знает: такое путешествие – дерзкий вызов судьбе!

В углу модного кафе на Елисейских полях их элегантная компания занимала отдельный стол. Все притихли и подняли на ван Эгмонта большие глаза: мужчины – с завистью, девушки – с восхищением. Только та, ради которой он сказал это, печально опустила белокурую голову и уже не поднимала её весь вечер.

Незримо, но вполне ощутимо ван Эгмонт вырос: живой человек стал заменяться легендой.

Это было рождение героя.

Всю жизнь ван Эгмону приходилось наблюдать в себе иногда мирное, но чаще всего полное раздоров сожитель-

ство разношерстной компании непохожих людей. Один из них, попортивший ему немало крови, был сухой и жёсткий педант; художник представлял себе эту форму своего «я» лысым бухгалтером в золотых очках, с лицом бледным и круглым, как голландский сыр. Это его мёртвая хватка обеспечивала ван Эгмонту успех в жизненных боях.

Так случилось и теперь.

Гайсберт накопил множество книг об Африке на всех основных европейских языках, от увлекательных и наивных реляций грубияна Стэнли до охотничьих стилизаций мистера Хемингуэя, а в основном – справочники и отчёты колониальных министерств разных стран. И зарылся в них на два месяца, уединившись от друзей в самом центре весёлого Парижа. Стояли жаркие дни, и ван Эгмонт работал с карандашом и блокнотом, сидя в прохладной ванне, около которой ставил корзинку с фруктами, вино и сигареты. Наконец положенный срок вышел, книги были аккуратно проработаны: теперь ван Эгмонт знал Африку лучше, чем девятьсот девяносто девять из тысячи рождённых африканцев, и нужно сказать прямо: к этому времени она ему смертельно надоела.

Когда наступили дни практической подготовки к отъезду, Гайсберту стало обидно, что ватага весёлых друзей без него отправится в Швейцарию, чтобы кататься на лыжах.

В огромное помещение туристского предприятия «Кук и компания» Гайсберт вошёл слегка нахмутив брови и высоко подняв голову: в его представлении с ним вместе вошли зной Сахары и ужасы зелёного ада Конго.

– Вы обратились не по адресу, мсье, – вежливо, но небрежно процедил напوماженный клерк. – Африканский специалист принимает в окошке № 23.

Африканским специалистом оказалась бойкая девушка, завитая баранчиком. Щеголяя алыми ноготками, она завертела ручку арифмометра и играючи сыпала диковинные словечки, как камешки на звонкое стекло.

– Из Алжира через Аль-Кантару до Туггурта, мсье... Вагон люкс с личным электровеером, мсье... Туггурт... Холодный душ, первые фотографии жуткой пустыни, мсье... Пленка и советы опытного фотографа на месте, мсье. Будет подан вездеход, мсье... Осмотр всемирно известных оазисов, мсье... Талоны для гидов всюду вложены, мсье... Танцы диких девушек при луне, ещё 50 франков, вот талон, мсье...

Сыворотка от укусов скорпионов оплачена, мсье. Посмотрите, этот красный билет – пропуск в горы Хоггара, в неприступную крепость туарегов, потрясающих королей пустыни, мсье...

Ван Эгмонт слушал, совершенно убитый. Какой ужас! Всё уже заранее разложено по полочкам и продаётся оптом и в розницу... Так чего же он ждёт?! Были ещё зелёные билеты в девственное сердце Африки и синие – в клетку, где он ночью будет сидеть один среди диких зверей джунглей, и многое, многое другое. Ярко подкрашенное и потешно завитое существо игриво щебетало и деловито подсчитывало, кому-то звонило по телефону, что-то согласовывало. И всё подшивало и подшивало талоны...

Получилась пухлая книжка разноцветных квитанций. Стоила она немало. Сунув её в портфель, ван Эгмонт тяжело вздохнул и подумал: «Уж не дурак ли я? А?»

День закупки снаряжения оказался днём сильных ощущений.

С важностью начальника экспедиции Гайсберт вошёл в лучший универмаг Парижа.

– Едете в Африку? Как это приятно, мсье! – дежурный распорядитель принял ван Эгмонта с почтительным восторгом, в котором он увидел лишь дань преклонения перед грандиозностью задуманного похода.

Увы!

Это была хищная радость африканского людоеда – и ван Эгмонт немедленно заплатил за неё крупным чеком. Распорядитель исчез и через минуту явился в сопровождении высокой седой дамы, поразившей художника гигантским бюстом и благородным выражением сильно напудренного лица. Во всех постановках пьес Оскара Уайльда английские герцогини выглядят именно так.

– Это – хозяйка нашего хозяйственного отделения, мсье, и я вверю вас её заботам! – ласково прожурчал распорядитель, и красивая церемония культурного ограбления началась. Ван Эгмонт сидел в кресле, а ловкие девушки сновали вокруг и с очаровательными улыбками складывали у его ног вещи, без которых белый человек и носа сунуть не мог в таинственные дебри Чёрного континента: дневные накомарники на лицо и ночные для всего путешественника в целом, палатки, надувные лодки, колючие коврики, непропускающие ни скорпионов, ни змей, кастрюли с гермети-

ческими крышками от вредоносных бактерий, сковородки для использования на кострах, резиновые ведра и щётки и многое, многое другое. Через час Гайсберт стал счастливым обладателем портативного холодильника, ещё через час – переносной бензиновой плиты на четыре горелки. Напрасно он делал попытки к спасению – кухонная дама обрывала их ласково, но твёрдо, и, в конце концов, Гайсберт мог только подпереть рукой распухшую голову и осоловелыми глазами созерцать ворох дорогой дряни у своих ног.

Затем будущего путешественника пропустили через надушенные и цепкие руки ещё нескольких дам, снабдивших его набором шерстяного и ажурного белья, рубашках зверского защитного цвета, носков непромокаемых и простых и коробкой розовых подтяжек, которые носит сам Луи Юбер Гонеалье Лиотэ, маршал Франции и резидент в Марокко. Душевное состояние Гайсберта близилось к трагическому надрыву, но вот тут он и очутился в кабинке с тремя зеркалами, где портной мгновенно снял мерку для пошива тропического смокинга, а затем принёс какие-то вещи фронтового вида вкуче с ремнями и парой высоких блестящих сапог: нужно было сделать примерку, и очумевший Гайсберт действительно напялил на себя всю эту чушь, взглянул на себя в зеркало – и замер в восхищении!

Из тёмной глубины хорошего зеркала на парижского щёголя глядел герой, да, да, высокий и статный офицер, затянутый в элегантный мундир. Сапоги, пояс, кобура пистолета, ремни и чехлы бинокля и фотоаппарата – всё грозно и великолепно сияло! Высокий шлем гордо украшал голову, не хватало только перьев и меча: это живое воплощение мужества могло быть победоносным офицером из армии империалистов, а могло казаться и рыцарем боевых времен прошлого, повелителем и конкистадором, потомком и преемником легендарного Годфруа Бульонского, который первым ворвался на стены Иерусалима, или Франсиско Писарро, окровавленной шпагой проложившего себе путь в Храм Солнца.

И лицо у Гайсберта словно изменилось... Он поворачивался к зеркалу то боком, то задом – нет, африканский костюм сделал чудо: даже посадка головы стала иная, выпрямились плечи и грудь, даже кабинка будто бы исчезла и открылись бескрайние африканские просторы, да рванул чужеземный ветер, что не знает ни удержу, ни преград.

И тогда Гайсберту ван Эгмонту стало грустно. Не снимая шутовского костюма и не видя его, он смотрел и смотрел в тёмное большое зеркало и видел в нём правду своей жизни, свою юность, залитые солнцем палубы и весёлую игру солёного ветерка с пёстрым флажком на мачте...

– Прощайте, и может быть, навсегда – надо подготовиться и к этому. Что делать? Африка!

Рука белокурой девушки задрожала в руке ван Эгмонта. Молча она вошла в машину, ван Эгмонт захлопнул дверцу и дал газ.

Невозможное стало возможным. Художник сидел у руля и глядел вперёд, на пустынные серые улицы. Париж спал, было часа четыре утра. Плечом он чувствовал тепло её тела. «Моя!» Что не смогла сделать радость, то дала печаль...

«Моя первая африканская добыча! – внутренне улыбался ван Эгмонт. – Нет, напрасно я думал, что “Кук и компания” уже проглотили Африку, – она ещё жива, я это чувствую своим плечом в это прохладное парижское утро!»

А потом, в Марселе, была хлопотливая погрузка на борт белого парохода... Шумные проводы... Гирлянды пёстрого серпантина между отъезжающими и остающимися... Тонкими струйками в зелёную воду выливали шампанское... на счастье... за возвращение...

Но когда всё это кончилось и судно вышло в море, и господа сменили пиджаки на фланелевые синие куртки и шляпы на фуражки с якорями, а дамы оделись во всё белое или разделись совсем, чтобы начать игру в теннис или купание в палубном бассейне, когда за кормой потонула в дымке сиреневая полоска Франции, Европы, земли и первая чайка открытого моря устремилась с пароходом вперёд, на юг, в Африку, – в эти весёлые часы высокий, костлявый человек совершенно неподвижно замер у борта, опустив белокурую голову на сильную грудь, и думал, в чём же, собственно говоря, заключается смысл всякой жизни... Его жизни...

Она проплывала перед взором его разума и совести, и под чей-то задорный смех он один творил над собою пристрастный суд, точно руками тщательно прощупывал своё прошлое.

И вдруг его взгляд упал на море. Он увидел игру волн за бортом.

Если наклониться к пароводным перилам, положить голову на руки и глядеть через борт на воду, то откроется полная внутреннего значения картина рождения и гибели волн.

Вот впереди из-под острого корабельного носа поднимается юная волна. В избытке сил она встаёт на дыбы и яростно бьёт в спину другую, стараясь подмять её под себя, спеша занять чужое место. Смотрите – она уже проплывает мимо, гордая и могучая, самая высокая и самая сильная! Но следите дальше, понаблюдайте до конца: сзади её догоняет новая волна, более свежая, молодая и пробойная... Они сшибаются в остервенелом борении... Как яростно летят кверху сверкающие на солнце брызги! Какое великолепие! Какой порыв! Но в этом взлёте растрочены силы, бурного движения уже нет, позади вьётся только хвост пены, сначала игривой и белоснежной, потом вялой и серой. Наконец ничего не остаётся, кроме пузырей, лениво покачивающихся на мелкой ряби.

Ничего, кроме пузырей...

Как в его жизни – пустом существовании человека без своего места...

– Ну как? – спросил я коммерсанта и поэта с номером на груди и на спине.

– М-м-м... пока я скажу, что вы пишете о том, что знаете. Это очень серьёзный комплимент, герр доктор, не все настоящие писатели его заслуживают. Ваши соотечественники ничего этого не заметят и не оценят, но я, европеец, сразу поймал десятка два подробностей, которые мне открыли всё! Это не правдоподобие, это правда. Не останавливайтесь! Вперёд!

– Вперёд! – довольный, кивнул я и мысленно добавил: «Шёлковая нить опять у меня в руке! Зажата так, что не вырвешь!»

О, человек! О, его слепое неведение своего будущего!

Советский писатель Фадеев написал роман на военную тему – «Молодая гвардия». Его сначала изругали, потом автор подлил требуемый черпак социалистического реализма, и вещь пошла в ход, она даже стала прототипом множества подобных произведений, целью которых всегда было доказать, что гитлеровцы – изверги, а советские люди – гуманисты, потому что такими их делает советская система.

И всё же для полноты картины следовало бы досказать эту историю. Я это делаю потому, что в какой-то мере причастен к судьбе одного «героя» романа.

На 05 я обратил внимание на своеобразную внешность нарядчика: большой, грузный, с румяным бабьим лицом без растительности и ребячьими наивными глазами, голубыми, как небо. В добавление ко всему у него имелись два кулака-молота, каждый размером с голову ребёнка. В бане я по достоинству оценил его мускулатуру, слегка прикрытую жирком.

Нарядчика звали Кулешов, и я, оценив глаза и кулаки, так бы и прошёл мимо, потому что на 05 имел к нему мало отношения – работяги были всегда хорошо одеты, обуты и накормлены, за зону выводили только здоровых, и мне, врачу, на разводе и делать было нечего.

Но потом я узнал, что нарядчик у каждого работяги ежемесячно отбирает по 15 рублей из суммы, выдаваемой на строительстве (около 80–90 рублей). Выходило на работу около двух тысяч человек, так что в месяц нарядчик получал 30 000 рублей. Питался он с общей кухни, конечно, с обильным добавком за счёт больничного и дополнительного питания, пьяным я его никогда не видел.

В чём же дело? Кто он? Зачем и для кого он собирает эти деньги?

Я осторожно начал розыск, стал искать возможности сближения с Кулешовым, поговорил с Едейкиным и другими пройдохами из Штаба и, в конце концов, выяснил, что наш нарядчик – это тот самый следователь Краснодонского гестапо, который, как пишет в романе Фадеев, был прислан в помощь местным работникам гитлеровского аппарата. Деньги он собирал молча и спокойно при помощи кулаков, которые пускал в дело только один раз, потому что каждый, кто их раз испробовал, потом начинал платить дань мирно, без лишних разговоров. Всю добытую сумму Кулешов честно сдаёт вольному бухгалтеру, который сам делит добычу между начальниками.

– Да, доктор, история у меня получилась неважная, – говорил Кулешов, усевшись у меня на амбулаторном топчане с кружкой чая. – После плена я чуть не околел от голода – нас без отдыха гнали дальше и дальше от фронта. А в день, когда я думал, что свалюсь и буду добит конвойным фрицем, нас выстроили и объявили, что желающие хорошо покусать, вымыться и одеться должны сделать шаг вперёд и

записаться у переводчика. Я вышел. Оглянулся – никого кроме меня перед фронтом нет. «Эх, думаю, такая пакость получилась! Человек я русский, партийный и собираюсь сделать подлость». А потом пригляделся – так ведь такого, как я, человека, что называется, в теле, кругом нет – всё стоит мелочь, шпана какая-то. Думаю: «Им и есть-то, наверное, не хочется, лица у всех какие-то некультурные, деревянные»... А у меня, доктор, жена-еврейка, член партии, по специальности врач. Я, знаете ли, привык, чтобы ко мне было внимание и досмотр! И вот решил – сообщил свои данные, был зачислен в гестапо и как русский и культурный человек попал в Краснодон на должность следователя.

К молодогвардейцам я зла не таил и не таю. Но, доктор, война есть война. Мобилизованных я жалею, знаете ли, эту серую скотинку, распропагандированное дурачье, что у немцев, что у нас – верят, прут вперёд и складывают головы. За что? Ни за что, так себе... А вот добровольцы – это другая статья: и я, и молодогвардейцы добровольно выбрали себе свою судьбу, и жалеть нас никому не приходится: или одна сторона возьмёт, или другая!

– Ну и что ж, приходилось на допросе применять силу?

– Да как сказать... Я от природы человек мирный. По натуре – шляпа. Но должность заставляет, она выше человека. Вот вы рассказали, как вас допрашивали в Москве – ну, скажите, ваши следователи были людоедами?

– Нет, не думаю. Скорее просто службистами.

Кулешов обрадовано улыбнулся.

– Ага, видишь! Так было и со мной! Никаких орудий пыток я не применял, но бывало, что и ударял разок-другой для вразумления.

Мы оба посмотрели на его кулаки.

Он пошевелил пальцами.

– Да, природой я не обижен. Это верно.

И спрятал кулаки под полу скатерти-простыни.

– И расстреливать приходилось?

– Зачем? Это было не моё дело. Моё орудие труда – карандаш, штучка безобидная. Оно спокойнее, да и чище, знаете ли. В Краснодоне осуждённых сбрасывали в старую шахту, без стрельбы. Я присутствовал, правда, но стоял в стороне – отмечу по списку, и всё. Словом, канцелярским был работником, вроде Стеценко.

– Кто это?

– Мой напарник по Краснодону. Я был следователем, а он – бургомистром.

– Что за человек?

– Хозяйственный. Бухгалтерская душа. До войны работал на шахте. Когда началась война, он пожалел барахло и не эвакуировался. При немцах стал бургомистром – опять же спасал имущество. Когда немцы стали отступать, Стеценко отобрал лучшее, кое-что продал, достал через немцев тройку коней с армейской телегой и двинул на запад. Добрался, верите ли, до самого Берлина. Ещё один день езды – и был бы в безопасности. Но заела мысль: в Краснодоне остался домик, а в нём, думаю, кое-что припрятано в стене или в садике под кустиком – ведь Стеценко бургомистром был, не кем-нибудь, и касательство имел к разным хозяйственным делам, к реквизиции, закупкам. Кое-что, конечно, к пальцам прилипало. Не смог себя пересилить и остался! Устроился бухгалтером в Военторге, что ли. И засыпался, когда открылось дело «Молодой гвардии».

– А вас как поймали?

– Я нашёл жену. Врач, партийная, еврейка – всё как полагается. Думаю – укрылся, как бетон! Как в дзоте! И что же вы думаете, доктор? Если Стеценко погиб за барахло, то меня сгубило вот это, – и Кулешов ткнул себя пальцем в лицо и в грудь. – Не поняли, доктор? Моё здоровье! Из плена все возвращаются худые, чёрные, еле-еле душа в теле. А я – сами видите! Разве я был похож на военнопленного? Все качали головами, я чувал – сомневаются. А как прочли про Краснодон – так цап меня, голубчика, да и в конверт!

Он вздохнул.

– В здоровом теле, доктор, здоровый дух. Но меня это тело как раз и загубило; тогда, после плена, шагнул вперёд из фронта только из-за голода и из-за сытости своей сел за проволоку. Отхватил 15 лет фактически ни за что. За работу ручкой! А вы давно сидите?

– Восемнадцатый.

– Ого! За что?

– Фактически ни за что.

Кулешов засмеялся.

– Ну а всё-таки? Вы, кажется, в шпионской организации состояли? И как вас туда занесло? Опасное дело, это первых, да и гадкое, знаете ли, – вроде нападение сзади; я хоть на фронте от голода жизнь спасал, кругом ходила

смерть! Но чтоб в мирное время пойти в шпионы – это уж, знаете, просто вот! – и Кулешов широко развёл руками.

Я не стал допытываться, кому именно он сдавал деньги, как и когда его привлекли к этому делу. Не всё ли равно? Важен факт привлечения, важен факт, что одна система узнала другую по нюху, важен факт, что негодяй жив и живёт неплохо.

Миллионы советских людей прочли роман, и все они на вопрос, что сделали с пойманными предателями, пожали бы плечами и ответили:

– Что за вопрос? Расстреляли, и правильно сделали!

И никто не поверил бы, что одна система так спокойно привлекает к работе для себя верных слуг другой системы!

И, наконец, самое главное для меня лично: срок у Кулешова был меньше, чем мой, Кулешов даже почувствовал **моральное возмущение**, говоря со мной!

Моральное возмущение!

Предатель выпил чай, поблагодарил и ушёл, а я положил голову на стол, лбом на прохладную простыню, да и сидел так до начала вечернего приёма.

Раньше всё во мне клокотало бы от ярости. Но Озерлаговский 07 сломал меня. Я стал другим. Притих.

Положил голову на стол и ни о чём не думал. Я, сам того не понимая, подходил к роковой черте, за которой меня ожидал покой.

В этот день после приёма я разделся, лёг и покрылся бушлатом. В секции стало тихо. «Я бы тебя повесил, жид!» – сказал эсэсовец. «Я бы тебя утопил!» – ответил сонным голосом Едейкин, и оба рядышком вытянулись и уснули.

А я сделал нечеловеческое усилие над мозгом и вырвался из этого мира.

2. Отец

Отец Гайсберта был настоящим голландцем. Это значит – долговязым и широкоплечим, с длинным красным носом и чёрными лохматыми бровями, похожими на сапожные щётки; иными словами, достойным представителем рода, в котором вот уже сотни лет все парни становятся моряками, а девушки – жёнами и матерями моряков.

Родился Карел ван Эгмонт именно так, как полагается: в открытом океане в свирепую бурю. Бабушка возвращалась из Суринама родить, сроки были вычислены правильно, но

мощный вал так потряхнул судно, что бедная женщина слетела с койки на пол, и ребёнок появился на свет несколько преждевременно и сразу же заорал благим матом. С тех пор всю жизнь отец всегда спешил, покачивался и шумел, и сын помнил его как олицетворение безудержного порыва и необузданной силы. Попросту говоря, Карел ван Эгмонт был буяном и пьяницей.

Их квартирка в Амстердаме была образцом голландского уюта и мира. Мать коротала время за вязанием кружев, сын рисовал или водил по полу кораблики. Но раз в месяц или ещё реже с улицы раздавался гром ударов: кто-то колотил морскими сапогами в дубовую дверь. Мать бледнела, быстро крестилась и, шепча молитвы, просовывала в окно (спальня помещалась на четвёртом этаже) длинный шест с косо насаженным зеркалом; такие шесты с зеркалами уже торчали у соседей. Во всех стёклах отражалось одно и то же – красный кирпичный тротуар, который хозяйки по субботам моют щётками и мылом, и нескладная долговязая фигура моряка, само собой разумеется, сильно выпившего. Мать дергала проволоку, протянутую вдоль лестницы вниз к входной двери, и в передней немедленно появлялся сначала длинный красный нос, затем брови-щётки и, наконец, сам герр шкипер с двумя сундуками – большим с подарками для жены и сына и маленьким с книгами и скудными пожитками.

– Гет зее комт! – орал отец снизу, а мать тихонько добавляла сверху:

– Май зее ван рампен!

Немедленно начинался тарарам. Голландские квартиры построены по вертикали, так что каждая комната расположена на своём этаже: четыре комнаты – три узкие и очень крутые лестницы. И вот морские сапоги грохочут вверх и вниз, к ночи отдыхающий моряк уже съезжал по ступенькам только сидя, но неизменно целый день в квартире гремела старинная пиратская песенка:

Четыре человека на гробе мертвеца,
Йо-го-го, и бутылка рома!
Они пьют и картежат, а чёрт ведёт дело до конца,
Йо-го-го, и бутылка рома!

Эту неделю мать и сын почти не спали, потому что ночью полицейские привозили почтенного геера схиппера мокрого и покрытого зелёной тиной (его вылавливали по очереди

из всех каналов, а их в Амстердаме немало), или же отдыхающий совсем исчезал из дома, и тогда беспрерывной чередой туда врывались незнакомые люди с мастерски поставленными синяками и оторванными рукавами, которые они совали матери в лицо. Эти пришельцы служили компасом, который безошибочно указывал очередной рейс бравого моряка и все порты захода.

Последний вечер Карел ван Эгмонт посвящал семье. Побрившись, чисто одетый, он сидел у стола и громко читал главу из библии, снабжая её пояснениями для вящего вразумления жены и сына. Сын слушал с интересом, мать незаметно крестилась, когда у проповедника нечаянно срывалось весьма крепкое словцо. Затем моряк открывал свои книги и приступал к занятиям: он учился всю жизнь и, начав морскую службу юнгой, окончил капитаном дальнего плавания. Засыпая, мальчик следил за чёрным, корявым пальцем, медленно ползавшим по страницам, пропитанным солёной влагой. После занятия отец аккуратно укладывал библию и книги в свой маленький сундучок и всю ночь сидел в кресле, глядя на спящих жену и сына. Наутро, открывая глаза, маленький Гай прежде всего встречал его задумчивый, пристальный взгляд. Расставание было немногословным и коротким, но едва муж исчезал, как появлялись соседки, и с плачем жена начинала подробно живописать все перипетии этой бурной недели. Все рыдали так горько и долго, что, не выдержав, к ним присоединялся и мальчик, и в тихой уютной комнатке многие дни подряд слышался только плач, молитвы и сморканье.

– Де схаймер, де схаймер! – повторяли все хором.

Так в своей семье Карела ван Эгмонта стали называть Пиратом.

Как настоящий голландец, геер схиппер был немногословен. Но он был голландцем и любил пошутить. Только какими странными казались иногда его шутки... Когда brave моряк отличился при спасении погибающих, королева наградила его медалью и пожелала лично вручить её герою, который простудился и лежал тяжелобольной в морском госпитале.

– Что вы почувствовали, когда так смело бросились в ледяную воду? – снисходительно промямлила королева, и все присутствующие обратили улыбающиеся дородные лица к больному. Чёрная голова, исхлестанная морем и ветром,

бессильно лежала на белой подушке, но морской волк ско-сил прищуренные глаза и процедил сквозь зубы:

– Почувствовал себя мокрым, ваше величество.

Это была старая шутка, но она прозвучала как вызов.

Высокая посетительница недовольно удалилась. Сын стоял рядом и с восторгом глядел на королеву. Ответ поразил и его, мальчик взглянул на отца и вдруг заметил злую насмешку, горевшую в глубоко запавших глазах. Почему? Отчего? Был 1907 год, в этой мирной стране сыра, тюльпанов и селёдок все обожали свою повелительницу. Так всегда казалось. И вдруг...

– Пират! Пират! – горестно повторяла мать, таща сына домой.

Вот именно тогда подрастающий Гай почувствовал, что не всё благополучно в этом мире, где кроме сыра, тюльпанов и селёдок живут, трудятся и страдают люди.

Умер Пират совершенно по-голландски. В 1910 году он командовал грузовым судном – старой калошей под таким милым голландскому сердцу названием «Гет Бонт Ку». Дело было зимой, стоял непроглядный туман. В Ла-Манше огромный английский угольщик пропорол «Пёстрой Корове» бок, она сразу плюхнулась на колени и приготовилась испустить дух. Капитан в ту минуту находился в своей каюте. Он рванулся было наверх, но по большому крену понял, что вторую шлюпку спустить уже невозможно и его личная судьба решена. Тогда старый моряк молниеносно стянул с себя рабочую куртку и надел мундир с медалью.

Первую шлюпку удалось успешно посадить на воду только потому, что капитан один остался на мостике и ещё управлял рулем и машиной: он отчаянно пытался замедлить грозное нарастание крена и одновременно выпускал из котлов пар, чтобы ослабить силу взрыва. Между тем крен увеличился настолько, что бочки и ящики покатались по палубе на людей, которые на четвереньках ползли к шлюпке и становились в ней, плотно прижавшись друг к другу и обхватившись руками; два человека не поместились и бултыхались в ледяной воде за бортом шлюпки – чьи-то заскорузлые татуированные руки держали их за волосы. Тонущее судно накренилось настолько, что капитан скользнул к фальшборту, но уцепился за него и, повиснув над водой, продолжал командовать.

– Отваливайте ко всем чертям! – багровея от натуги, орал он вниз. – Сейчас взорвутся котлы, вас затянет в водоворот.

Перегруженная шлюпка медленно и тяжело отчалила. Кто-то стал грести одним веслом... Чёрно-жёлтый туман приготовился навсегда разделить «Пёструю Корову» и шлюпку. Шипение пара смолкло. Воцарилась мёртвая тишина, судно уходило под воду. Наступила минута прощания... Люди высвободили правые руки и начали креститься, толстый повар (он один знал нужную молитву), барахтаясь в воде, страшным голосом запел «Ныне отпускаеши...». Тогда Пират неожиданно снова крикнул:

– Стойте! Я хочу сказать кое-что...

Это был наплыв слабости, победа человеческого. Люди подняли полные слёз глаза, чтобы принять завещание жене и сыну и последний привет товарищам.

Но Пират уже овладел собой.

– Сегодня туман, дайвельсдрек! – едва слышно прохрипел он, погружаясь в воду, и все те, кто стоя покачивался в лодке, обхватив друг друга руками, и те, кто пускал пузыри в ледяной воде и кого держали за волосы сильные мозолистые руки, – все дружно и твёрдо, как клятву верности, как крик безграничного восторга, гаркнули над опустевшей гладью воды:

– Правильно, геер капитейн!

...А потом всю ночь до утра мне снились поля гиацинтов и тюльпанов – розовые, белые, палевые, а высоко над ними, за плотиной – качающиеся мачты судов с трёхцветными флажками, а по плотине едут на велосипедах девушки. На головах у них накрахмаленные чепчики, и солёный ветер треплет их светлые волосы.

Утром после развода я прежде всего шёл в инвалидные бараки к своим покорным жертвам: при моём появлении все старички безропотно снимали рубахи, и я начинал нудную процедуру осмотра швов сотен рубах. Я знал, что вшивости нет, но был опытным лагерным врачом и не менее хорошо знал, что чёрт никогда не спит, и сумасшедший начальник может случайно заскочить в помещение, снять рубаху с единственного присутствующего в помещении старичка и найти вошь. Ну, тогда никому несдобровать: начальник до полусмерти замучит людей ночными мойками и прожариванием всего имущества, а меня – дезинфекцией помещений. Словом, я боялся случая, мучился сам и мучил других.

К обеду нужно было идти в ДОПР и ШИЗО. Ах, какой жгучий стыд, какую острую боль чувствовал я, входя в сумрачные коридоры внутрилагерной тюрьмы! Ведь по отношению к этим арестованным лагерникам я, лагерник, играю роль пособника администрации: какая унижительная и подлая роль!

Надзиратель отпирает железную дверь.

– Встать! Медицинский осмотр! Входите, доктор!

Я захожу и не знаю, куда деть глаза от стыда. Смотрю то в один сырой угол, то в другой.

– На что жалуетесь?

– Вы же сами знаете, Дмитрий Александрович, што у мене туберкулёз лёгких! У мене с левого лёгкого один кусок остался. Я...

– Примите таблетку! Откройте рот!

– Я...

– Откройте рот!

Арестованный судорожно глотает таблетку и с ненавистью сипит:

– А на ночь?

– Давать лекарство на руки не положено. Я приду завтра в это же время.

– Так што ж ето за лечение? Мне ночью кашель душит, а я сижу здесь за...

Выслушивать суть чужих судебных дел мне запрещено.

– Следующий. На что жалуетесь?

И так далее. Наконец остаётся ещё одна дверь. Отперев её, надзиратель не командует: «Встать!» Он говорит:

– Медицинский осмотр! Входите, доктор.

На единственной койке в маленькой, сырой и полутёмной камере навзничь лежит иссохший молодой человек с лицом землистого цвета. Его глаза закрыты. Движения грудной клетки не видны, он еле дышит. На маленьком столике – остывший завтрак, хлеб и кусок сахара.

– Арестованный, – говорю я, садясь на койку у ног лежащего. – Сегодня исполняется седьмой день, как вы голодаете. Со мной зонд и бидон с тёплым мясным отваром. Я вас прошу – выпейте его сами, не вынуждайте меня кормить вас через нос. Это ваша четвёртая голодовка. У вас плохое сердце и подозрение на туберкулёз. Пейте! Соппротивление бесполезно.

Молчание. Я гляжу в угол. Проходит мучительная минута, положенная по правилам.

– Я приступаю к кормлению. Вы будете сопротивляться? Два надзирателя ждут в коридоре! Лежите смирно.

Молчание. Снова проходит положенная законная минута. Лежащий производит впечатление мёртвого. Я быстро вынимаю зонд и воронку, вставляю наконечник зонда в ноздрю и начинаю осторожно лить в воронку тёплый мясной отвар. Потом вытираю марлей залитое супом лицо. Встаю и укладываю зонд и воронку в сумку, а бидон вешаю ручкой за крючок на медицинской сумке.

– Заключённый, – говорит надзиратель, – вы получили завтрак, голодовка прервана. Теперь ешьте без фокусов! Не будете, в обед получите карцер, он похуже этой камеры! Понятно?

Мы выходим в сияющий день, на морозный ветерок: я весь мокрый от пота, ощущение такое, словно искупался в дерьме. Эх, гадская жизнь!

После обеда я обхожу инвалидный барак. Старички сидят и штопают себе носки или латают ватники. Меня встречают градом вопросов:

– Ну как, доктор, какие новости?

– Скоро на свободу?

– Последние параши слышали? Говорят, что лагеря переходят в Министерство юстиции. Правда? Не знаете? А что лучше – Юстиция или МВД?

– Один чёрт, доктор, правда? Нам всюду плохо.

Но старички любят поговорить о своих болезнях. Говорят длинно, обстоятельно, со знанием дела, пересыпают малограмотную речь сложными специальными терминами. Я слушаю и думаю о другом. О чем? Не знаю. Я научился думать ни о чём. Раньше это было бы трудно, мозг наш устроен так, что одна мысль в нём автоматически сменяет другую, бодрствование проходит в смене мыслей независимо от желания: не думает человек только во сне. После одиночки, психиатрической больницы и спецлага я научился искусству бодрствовать, ходить, что-то делать и не думать ни о чём... Это были какие-то странные наплывы выключения из жизни, временной смерти ещё при жизни. Может быть, поэтому в Камышлагге я стал таким одиноким: среди инвалидов, без сомнения, были люди мне близкие по духу, но я теперь не замечал никого, мои интересы свелись к выполнению служебных обязанностей. На собрании медперсонала начальник хвалил меня и ставил в пример дру-

гим, но я понимал, что это не я, работает кто-то другой вместо меня, а мне лично ни он, ни его работа уже не нужны.

«Сколько времени можно издеваться над человеком? – думал я иногда. – Сколько времени можно видеть повторение одного и того же? Дни, месяцы, годы... Я разменял свой восемнадцатый год... Отсидел шесть тысяч суток. Те же вывороченные рубахи, камеры, страдающие люди. Какая странная жизнь... *La vida es sueña*... Но разве можно, чтобы шесть тысяч суток снился один длинный сон о вшах, тюремных камерах и страдающих людях? Я не хочу этого... Устал...»

Перед очередным приёмом я ложусь на койку. Делаю над собой сверхчеловеческое усилие – беру свой несчастный мозг в обе руки и пальцами изо всех сил сжимаю его, давя до тех пор, пока из него не начинает капать смешанная с кровью жидкость. Она ароматна, это – воспоминания о прошлом, преображённые творчеством: я выжимаю из себя последние капли жизни.

3. Мать

Мать Гайсберта тоже была настоящей голландкой – маленькой, кругленькой и беленькой, как несколько сыров, поставленных друг на друга. И немудрено: не одну сотню лет все поколения её рода занимались сыроварением. С детства сын помнил эти места в северной части страны: по унылой низменности бродят стада пёстрых коров, которые широко раздвигают ноги, едва волоча тяжёлое вымя. Вот деревня – крепкие раскоряченные дома, похожие на молочных коров; на улице пахнет сыром. Дом, в котором родилась бабушка, наполнен предметами, нужными в производстве сыра, и каждое название здесь обязательно начинается с приставки *каас* – *каасмес*, *каассхвал*, *каасперс*. Даже мухи здесь не просто мухи, а *каасфлиг* – сырные мухи, и сам хозяин не просто мужик, а *каасбур* – сырный мужик.

Бабушка с часу на час ждала начала родов, и как раз в это время сырная масса вдруг перестала всходить: это означает, что товар получится второго сорта вместо «экстра»! Посыпались крепкие словечки, все заматались, и в суматохе родилась мать Гая – в большом пустом корыте для молока. Девочку назвали Екатериной, а в Голландии смешных кругленьких женщин считают настоящими голландками и величают голландсе Катъе; конечно, мать Гая тоже стала голландсе Катъе, а потом для полного сходства её перекрестили в Каасье, и так она на всю жизнь осталась Сырочком.

Говорят, что голландским женщинам нельзя по пятницам рассказывать анекдоты: всю субботу они будут переваривать, а в воскресенье утром громко рассмеются в церкви: дошло! Из такого же теста была сделана и жена капитана ван Эгмонта.

Известие о гибели мужа она приняла спокойно, и первая мысль у неё была, конечно: «Ну, отплакалась! Теперь уж никто не будет совать мне в лицо оторванные рукава!»

Судебное следствие длилось несколько недель, кое-кто из команды перенёс воспаление лёгких; остальные занимались составлением счётов страховой компании на вещи, которых у них никогда не бывало. Но когда деловая сторона трагедии была закончена, команда явилась к вдове капитана. Скупыми и грубыми словами была описана последняя сцена. Татуированные мозолистые руки водрузили на кладбище крест над могилой, в которой никто не лежал. Стоя у креста, вдова наблюдала, как эти большие и нескладные люди неловко опустили на колени, мешая друг другу тяжёлыми сапогами, как повар, который единственный знал нужную молитву, опять пропел её, и люди стали креститься чёрными, заскорузлыми пальцами, похожими на те, что бродили когда-то по страницам книги, пропитанной солёной влагой; женщина увидела их глаза – такие детские, наивные и чистые, полные непоколебимой силы.

– Они, эти глаза, нанесли мне удар, от которого я как будто проснулась, – говорила потом она.

Мать решила оторвать сына от моря, а для этого нужно было его учить, что, естественно, требовало денег. Поэтому вдова отправилась за помощью к своему брату Клаасу, который как раз унаследовал их родовую ферму после смерти отца и стал каасбуrom.

Дядя Клаас, которого по смыслу и по созвучию давно уже все величали Каасом, накануне отъёз в город и удачно продал большую партию товара. Теперь он сидел на старинном тяжёлом стуле у старинного тяжёлого стола и пил аневер из свинцовой кружки. Дядя Сыр тоже был голландцем и тоже любил пошутить.

– Я уверен, что твой бездельник попросту был так пьян, что не смог сползти с мостика в лодку, – подмигнув, захохотал сырный мужик, закусывая можжевелевую водку сырой ветчиной.

– От моего взгляда это животное, конечно, должно было бы превратиться в пепел, – рассказывала потом вдова, – но

теперь не библейские времена, и мой взгляд не обладал такой силой. Но зато я сделала другое – шагнула вперёд и отвесила ему оплеуху, но какую! Сам капитан ван Эгмонт не мог бы сделать это лучше, а уж – бог свидетель! – в таком деле он был великим мастером!

Так рухнули надежды на помощь. Мать и сын перебрались на юг. Мать поселилась в зееландской деревеньке и занялась вязанием кружев, которые там скупаются спекулянтами и потом выгодно перепродаются как брюссельские; сын жил в пансионе при одной роттердамской школе. Потом ему всегда помнилась их комната, очень маленькая и чистенькая. У окна в чёрном платье всегда сидела мать. У неё тогда уже началась чахотка. С утра и до вечера она всё вязала, вязала, вязала, добывая деньги для воспитания сына. Но у вдовы было и развлечение. Иногда она опускала работу на колени и поднимала голову: прямо перед ней висел портрет мужа, увитый пеной тончайших кружев с одним только ясно читаемым словом Гелд. Так проходили месяцы, так прошли годы.

Отец и раньше всегда отсутствовал, а потому воспитывала Гайсберта мать – простая голландская женщина, до которой всё доходит не быстро, а дойдя – остаётся навсегда. Она воспитывала мальчика не по книгам, но её практические уроки осели в его памяти прочно и стали вторым «я». Он вспоминал о них с благодарностью и улыбкой.

В мокрый зимний день он идёт с матерью по низкому берегу канала. Впереди бегут школьники и шалят. Один скользит и падает в воду. Гай инстинктивно делает движение помочь, но вода холодна и канал глубок. Сын капитана мнётся в нерешительности и растерянно глядит, как тепло одетый мальчик тяжело барахтается в тёмной воде, над которой повис лёгкий зимний туман.

– Ну что же ты! – кричит мать.

Она вдруг побледнела, как мел.

Сын переступает с ноги на ногу.

– Ты не сын своего отца! Трус! – и мать в исступлении поднимает руку, чтобы дать сыну пощечину.

Сбросив пальто и ботинки, Гай прыгает в воду. Мать протягивает ручку зонтика, которую тот крепко держит одной рукой, а упавшего – другой. Он видит над собой большие глаза, светло-серые, которые вдруг стали чёрными. Когда мальчики выбираются на берег, мать обнимает их и счастливо плачет.

Воскресения подросток проводил всегда с матерью. Чуждое, безвозвратно ушедшее время...

Показав все свои новые рисунки, Гай сидит на полу, положив голову на родные, тёплые колени. Мать гладит волосы сына, и сладкая дремота охватывает его.

– Ты знаешь, Гай, я хочу, чтобы ты вырос... И чтобы этого никогда не было!

– Чего? – сквозь дрему тянет сын, нежась под лаской тонких и нежных пальцев. – Моря?

Пауза.

– Нет, – задумчиво шепчет мать, – не моря. Я хочу, чтобы люди были другими. Я думаю не только о твоём отце, но и о моём брате... О тех матросах перед пустой могилой... О всех людях... Я хочу, чтобы они жили лучше, Гай, справедливее и лучше... Чтобы они поняли что-то...

– Но что именно, мама?

– Я сама не знаю. Этого никто не знает вокруг, и все живут так плохо...

Она берёт голову сына и поворачивает к себе, наклоняется, долго смотрит ему в глаза. Потом говорит страстно:

– Но ты, ты, Гай, должен узнать. Ты должен, мой мальчик. Помни: я ращу тебя для этого!

Незадолго перед войной в этих местах случилось страшное наводнение, ночью в сильную бурю море прорвало плотину и затопило деревни. В непроглядной тьме плавали люди и скот, люльки с детьми и кресты с могил. Гай приехал из Роттердама, когда воду немного откачали. Недолго бродил он среди страшных следов опустошения. В кустах сын нашёл труп матери: она лежала навзничь, глядя невидящими глазами в небо, на губах светилась улыбка, руки судорожно прижимали к груди раму, в которой уже не осталось фотографии. Но лента кружев сохранилась, она обвилась вокруг груди матери, и сын прочёл знакомое слово: «Герой».

Тогда раскачался, наконец, дядя Сыр.

– Вставайте, доктор! Пора на приём! – Едейкин осторожно дергал меня за рукав. – Кстати, пока мы одни, слушайте: из верных источников я узнал, что бандеровцы хотят убить начальника лагпункта и нарядчика Кулешова. Эта система выколачивания денег из работяг отжила свой век! Теперь другие времена, доктор! А начальство этого не понимает... На лагпункте могут быть убийства, бунт, всякое другое. Держитесь от украинского пахана подальше, доктор!

– Без него нельзя вести приём!

– Понимаю. Но на людях, днём, держитесь от него как можно дальше, поняли? Вам не жалко полковника и Кулешова?

– Нет.

– И мне тоже. Но мы сами должны выжить! Я вам ничего не сказал, вы ничего от меня не слышали. Разойдемся!

Показалась толпа перед входом в амбулаторию. Едейкин отошёл, мы протискивались к двери порознь, как будто бы шли врозь и ни о чём не говорили.

Коридор. Первая дверь направо – перевязочная, вторая – мой кабинет. Прямо против двери – стол, за ним уже сидят два инвалида-регистратора с графлёной бумагой, перьями и чернильницами. Между ними садится Едейкин, тут же санитар Сидоренко с аппаратом Рива-Роччи. Справа от них на стульях сидят три пахана. Сероглазый широколицый украинец, смуглый узбек и приземистый пожилой рыжеватый мужчина в очках. Все трое – бывшие полковники: один бандеровских войск, другой – гитлеровского Мусульманского легиона, третий – власовского штаба. Это – признанные вожаки, их авторитет безусловен, их слово – закон. У каждого в кармане по железной гирьке в виде огурца – стукнет в сердце, и человек упадёт замертво без следов удара – вата телогрейки и бушлата всё скроет. Паханы охраняют меня и себя, свой авторитет, свою систему правления. Без их участия приём невозможен: работяги идут не столько за лечением, сколько за освобождением, идут с кулаками, палками, ножами и топорами, идут с твёрдым намерением выбить из врача включения своей фамилии в заветный список.

Список этот – двести фамилий, то есть десять процентов работяг, а ведь на вечерний приём прут все инвалиды и обслуга, а в зоне – три тысячи человек, и своих больных я должен записать во что бы то ни стало. Фактически для желающих отдохнуть или остаться в зоне «по делу» сохраняется 10–20 мест, из-за них-то и разгорается ожесточённая борьба.

Сидоренко для начала измеряет давление мне. 200/160. То-то так пошатывает, точно голова валится с плеч.

Из всех сегодняшних больных я, врач, буду самым больным: себя самого я обязан направить в больницу прежде всех!

Мой персональный шпик еле сдерживает напор у дверей.

Бандеровец поднимается и смотрит на меня исподлобья:

– Доктор, вид нас, украинцев, запышить зараз трёх – Носюка з 30-й, Хволыньского з 38-й, та Дуба з 15-й. Нужные хлопцы. У всех болыть у грудях. Будут лежать тихо, не подведуть.

Мне особенно импонирует узбек – сухой и темнолицый, с ласковой улыбкой утончённого убийцы-садиста. У него аристократические пальцы, и зубы впереди слегка расставлены врозь – так, что, говоря с кем-нибудь, он всегда тонкой струйкой цыкает слюну в сторону.

– Ми вас просим, доктор, – он сладко щурит чёрные глаза, цыкает слюну в угол, щёлкает длинными бронзовыми пальцами и заканчивает: – Улынбаев из 48-й, Гамидов из 49-й и Османбеков из 56-й. Очень кароший люди, спокойный, больной – всё на сердце. Спасибо!

– От нас, – говорит власовец, поправляет очки и читает по бумажке: – Иванов из 14-й, второй Иванов из 32-й и Переверзев из 8-й. Не подведут. Запишите всем понос с маленькой температурой. Спасибо.

Регистраторы скребут перьями.

– Ого, уже девять человек! А что я буду делать на приеме? Навал-то будет какой! Меня разорвут на части!

Паханы ухмыляются. Садятся вразвалку.

– А мы зачем, дорогой доктор?

Узбек вытягивает обе руки с удивительными смуглыми пальцами и делает ими изящное движение, как будто он душит кого-то. Паханы одобрительно кивают головами. Узбек цыкает в угол и командует моему шпику у двери:

– Впускай!

Шпик отсчитывает тридцать человек. Все быстро снимают рубахи. Десять суют термометры под мышки и становятся спиной к стене справа, десять становятся слева. Остальные десять подходят к столику, и Сидоренко быстро измеряет им давление. Приказ капитана – у кого артериальное давление более 185 – освобождать. Эти больные – хроники, знающие порядок: они записываются, благодарят и идут за лекарствами в процедурную. Если давление недостаточное, но высокое, скажем, 180, я слушаю сердце и подгоняю цифру под законную. Список гипертоников ведётся отдельно, капитан завтра сам будет их слушать, и за эту категорию больных я спокоен. Хирургические больные тоже не проблема: они показывают товар лицом и исчезают.

Но вот к столу подходит смуглый широкоплечий человек со скуластым лицом и узкими глазами, известный в зоне хулиган.

– Сюняев Амин Энверович, 36-я бригада. Пиши на завтра, доктор.

– Постой, как это «пиши»? Вы чем больны?

– Сам знаю чем! Пиши на завтра, говорю!

– Я не записываю по желанию. Что болит?

– Рука.

Сюняев протягивает руку. Из рукава у него торчит кончик ножа.

– Видел?

– Видел.

– Записываешь?

– Нет.

Татарин молча протягивает руку и берёт меня за плечо. Вдруг встряхивает так, что моя больная голова едва не слетает с плеч.

– Ну? – цедит он сквозь зубы.

Тогда со стула не спеша встаёт узбек. Цыкает в угол и подходит к татарину. Медово улыбается.

– Зачем ми волнуемся? Почему ми волнуемся? Ва-ва, очень неприлично!

Лицо татарина темнеет. Руку с ножом он прячет за спину.

– Ты понимаешь, Сафар, мне надо... Я...

– Так в чём дело, дорогой? Ты мне скажи твоё дело, я тебе помогу! Идём, идём, дорогой, не надо шуметь!

Пахан берёт коренастого под руку и выводит из приёмной. Шпик впускает новую партию. Узбек возвращается один, приглаживая телогрейку.

– Ну как?

– Ми ему объяснял, он стал спокойный.

И вдруг ЧП! И какое неприятное: потеря драгоценного времени! Какой-то низенький дядька явно украинского вида разворачивает тряпку на правой руке – оказывается, у него раздроблена концевая фаланга первого пальца и суставной конец кости второй фаланги правой руки.

– Так что же ты молчал? Почему не пришёл прямо с вахты?

– Пышов вечерять.

– С таким пальцем?!

Дядька сопит, и добиться от него толку некогда, только потеряешь время. Я веду его в соседнюю комнату. Снимаю проволоку, которой раненый перетянул кисть у запястья, накладываю жгут, обкалываю палец новокаином, отрезаю всю раздавленную фалангу вместе с костью второй фалан-

ги, а из мягкой ткани и кожи формирую подушечку – с ней потом будет удобнее и легче жить. Накладываю шов.

Чёрт!

Капля горячего пота с моего носа капает прямо на шов!

– Цэ нычого, заживеть, як на собаке! – успокаивает меня раненый и радостно уходит: он потерял трудоспособность по первой категории, больше за зону ему не выходить, он спасен!

Так они идут сотня за сотней. Часто от моего диагноза зависит их жизнь. Жара и духота такие, что пот бежит со всех, как вода. Я изнемогаю. И вдруг тонкий, дрожащий вой рельсы, точно перебор струн гавайской гитары – нежный, мягкий. Отбой! Я падаю на стул. Закрываю глаза. Лихорадочно соображаю. Кажется, настоящих больных отобрал и завтра буду лечить всерьёз. Кое-кого покажу начальнику. От напряжения ещё кружится голова.

– Сколько приняли?

– 200.

– Здорово!

Мы смачиваем полотенце в горячей воде и вытираем лица, шеи и руки.

Я подписываю три списка, одеваюсь и выхожу. Отнесу к нарядчику и спать. Но, шагнув за порог, вижу лежащее в снегу тело.

Сидоренко выходит за мной и запахивает полы бушлата – начинается пронзительная поземка.

– Остап Парфирьевич, приоткрой дверь! Здесь кто-то лежит! Упал, что ли? Уж не наш ли гипертоник?

Сидоренко распахивает дверь. Я присаживаюсь на корточки. Руками поворачиваю голову. Лежащий вдруг издаёт протяжный стон.

– Ну, что там? Кто? – сипит Сидоренко, повернувшись на ветер спиной.

– Сюняев из 36-й. Всё в порядке.

Я поднимаюсь, и, поддерживая друг друга, мы идём дальше сквозь ночь, мороз и ветер. Я довожу Сидоренко до инвалидного барака, сдаю нарядчику списки и вместе с дежурным по лагерю вхожу в медицинский барак. Зона уже пуста, бараки на запоре.

– Там около амбулатории лежал кто-то, вы посмотрите, гражданин начальник.

– А вы на что, доктор?

– Это не по моей части!

Тускло горит лампочка. У окна стоит, повернувшись к людям спиной, потерявший разум японец-коммунист. В углу обычное ворчание, словно два медведя укладываются спать:

– Эх, и как это я тебя, жид, в Риге не повесил?

– Не понимаю, как я тебя, эсэсовский бандит, не утопил в Васюгане!

Обычный обмен любезностями...

...Итак, наконец, раскачался дядя Сыр... Надо продолжать, начинается самое интересное... Где-то идёт от Ростова в Сибирь заветное письмо. От Анечки... Интересно, замёрз Сюняев или нет? Гипертоническая болезнь приняла у меня необычную, нервную форму – давление выше 200 не поднимается, а спазмы и парестезии усиливаются... Я осмотрел на вшивость свою норму – 250 человек, днём принял около 100 больных, вечером – 200... Рубахи и люди, вши и болезни, начальники, нож в рукаве, дежурный офицер – всё сливается в одну тусклую ленту, которая ползёт в сознании всё медленнее, всё неяснее... И вспыхивает наконец последнее яркое воспоминание дня – я наливаю в заострившийся полумёртвый нос мясной бульон...

Чувствую мучительную боль...

Потом кончается и это, и наступает последнее и самое желанное – отключение.

Сон...

Этот роковой в моей жизни день я с раннего утра назвал «Дядя Сыр», потому что мысленный подбор материалов для следующей главы был закончен, и я решил прорепетировать чтение текста, кое в чём изменяя порядок изложения для получения большей выразительности. Эта работа по монтажу текста требует огромного умственного напряжения, потому что нужно переставлять отдельные кирпичики, сохраняя в уме точный образ достроенного дома. Писать литературное произведение вообще нелегко, но писать его в уме тем более трудно. Я имею в этом деле большой опыт и знаю, как такая кропотливая работа изнуряет мозг. Словом, день начался, четвёртая глава «Дядя Сыр» была подготовлена, я побывал на разводе, принял больных, отобранных накануне, и после обеда наведлся в ДОПР и ШИЗО, в то же время путешествуя из Голландии в Париж, ибо мой литературный герой на деньги дяди Сыра отправился в Парижскую Академию художеств, навстречу своему материальному успе-

ху и моральному краху, который затем и заставил его искать смерти в далёкой экзотической стране, на манер гамсунговского лейтенанта Глана.

Однако часов в пять нарядчик принёс мне извещение на получение посылки от Анечки. Она прислала очень нужную книгу «Диагностика внутренних болезней», а так как по положению спецлагерник не имеет имени, а только номер, то я и поставил на книге свой номер 0-837. И сейчас она лежит передо мною и напоминает все подробности этого дня.

День «Дядя Сыр» был, естественно, немедленно переименован в «День Анечки». Помимо книги в ящике находились сухофрукты для компота – сокровище для лагерника вообще, вдвойне – для находящегося в Сибири и втройне – для февраля месяца, то есть для окончания изматывающей все силы холодной зимы. Конечно, я сейчас же сварил себе компот, угостил Сидоренко, и так мы вместе просидели до начала вечернего приёма, разговаривая о том и о сем, потому что оба были уверены, что доживём до свидания со своими милыми – заключение окончится.

Начался приём, утомительный, жаркий и шумный как всегда. Персональный шпик у дверей отсчитывал одну партию за другой, люди толклись в комнате, потные и возбуждённые, и я уже начинал чувствовать ту тупую боль в левом темени, которая для меня в последнее время стала служить сигналом нервного перенапряжения.

– Що, голова болить? – шёпотом спросил внимательный Сидоренко.

– Начинает. Но скоро конец, сейчас уже часов девять!

В этот момент к столу подошёл молодой урка и потребовал освобождения от работы. Урки в Камышлагге были отборные, оторви и выбрось, как говорят в лагере, самый опасный сброд, который присылали со всех лагерей, чтобы от них избавиться.

– На что жалуетесь?

– Я здоров. Пиши освобождение, гад, и не разговаривай. Пиши по-хорошему, падло, пиши, пока жив, понял?

И урка сгреб меня за чёрную куртку, заказанную мне начальником в портняжной мастерской в виде поощрения.

– Это твой, поднимайся! – сказали два пахана, украинец и узбек, третьему, русскому.

– Ты кто такой есть, очкастый? – спросил плечистый урка власовца. – Иди, батя, пока я не вогнал тебя спиной в стену!

Произошло замешательство. Урки – не власовцы, власовский пахан урке не указка. Люди с термометром под мышкой стали улыбаться. Это подбодрило хулигана.

– Ну, надумал? – спросил он меня. – Нет? Так подумай!

И с размаха ткнул меня кулаком в грудь. Удар пришёлся по кончику грудины и, надо полагать, надломил его. Я задохнулся от боли, качнулся назад и потерял равновесие – упал правым боком на Сидоренко, тот с аппаратом Рива-Роччи в руке повалился на пол и потянул за собой стол так, что тот опрокинулся на регистраторов со всем тем, что на нём находилось – чернильницами и бумагой. Кое-кто захотел – от одного удара повалились пять человек, вверх торчали четыре ножки стола, а из-за них – три пары ног. Это окончательно раззадорило урку. В одно мгновение он изловчился и ударил меня кулаком в левый бок – как раз туда, где у меня в Норильске были выпилены ребра для лечения травмы, нанесённой железным тросом следователя Соловьёва. Это место у меня болит и сейчас, а тогда от удара колющая боль пронзила меня спереди и сзади, как будто в груди лопнуло сердце. Боль была настолько сильна, чтохватило дух, и я замер, молча стоя на четвереньках посреди комнаты. Больные долго поднимали меня и усаживали, а тем временем паханы загнали урку в угол, и пока один отвлекал его внимание лёгкими ударами в лицо, двое всадили ему железные огурцы в живот. Урку вынесли и выбросили в снег с порога, я отдышался и довёл приём до конца – принял свою норму в 200 человек.

На койку доплёлся кое-как. Сидя, думал: «Нет, этот день будет днём двух ударов. Я его не забуду».

Когда всё стихло, я почувствовал странное беспокойство – руки и ноги не лежали на месте. Я стал поворачиваться с боку на бок, но потом вдруг сообразил, что такое странное возбуждение я ещё никогда не чувствовал.

Так прошла ночь.

Наутро я оделся. Стала болеть голова – как всегда левый висок, но по-новому, совсем необычно. Я пошёл завтракать. За столом люди со мной здоровались и что-то спрашивали. Я отвечал и вдруг заметил сначала удивлённое выражение лиц моих собеседников, а потом ушами услышал, что я хорошо понимаю говорящих и мысленно им правильно отвечаю на вопросы, а язык мой отвечает неправильно, произнося не те слова, что надо.

В это время по зоне понеслась свора самоохранников и надзирателей. Объявили общую проверку: день был морозный – ниже –40, выводить на работу было нельзя, и начальство решило отравить день неожиданного отдыха стоянием на морозе. Три тысячи человек построили колонной, началась проверка. Я стоял в рядах, чувствуя нарастающую тупую боль в левом виске и необъяснимое беспокойство. Сосед что-то спросил меня и откачнулся: я ответил ему набором бессмысленных слов. Меня ударило в пот. Собрав последние силы, я вынул бумагу и написал на ней личные данные (фамилию, имя, отчество, год рождения, срок и пр.).

В это время ко мне пробрался личный шпик.

– Вас чукаэ начальник, пан доктор! Вин у нас в секции!

Я вошёл и почувствовал, что теряю силы. Ухватился за дверь. Молча протянул листок с данными, потому что боялся говорить.

– Быстролётов пьян! – сказал начальник и расхохотался. Его смех – это было последнее, что я услышал и понял.

Меня подняли. Плачущие от горестного сочувствия инвалиды понесли меня на руках в больницу – до неё было шагов двадцать. Когда меня донесли, то на мне уже не было ботинок и телогрейки – инвалиды, обливаясь слёзами, обокрали меня.

В больнице моё тело положили на топчан и ушли – переключка продолжалась, отбоя ещё не было. Я вскочил с топчана и порвал больничный журнал и все истории болезней. Босой и раздетый выбежал в зону. Упал в снег и, наконец, потерял способность двигаться.

Этот роковой день оказался днём второго паралича.

Прошло трое суток.

Первое, что я увидел, когда пришёл в себя, – это слабо освещённую комнату, наполненную серой водой. В ней плавали слова. Они медленно крутились, и я без труда читал их: ру-ка, но-га, сте-на. Потом стало светлее, и я услышал голоса, неясные вначале, потом громкие и знакомые. Голос корейца Кима, санитаря, сказал:

– Иван, кончай завтракать. Начальница больницы уже пришла. Сейчас будет обход.

Я открыл глаза и увидел, что лежу в небольшой палате для четырёх больных. На койке против меня с книжкой в руках сидит сапожник Иван, суровый, рослый и красивый парень, бывший гестаповец, из пленных красноармейцев.

– А-а, проснулись, доктор! Поздравляю! Эй, корея, иди умой доктора! Он проснулся.

Иван вышел курить, кореец ловко и быстро вытер мне лицо и руки полотенцем, которые смочил в горячей воде, улыбнулся и тоже вышел. В коридоре уже слышался голос начальницы, капитана медслужбы Костровой.

«Что со мной? – вяло думал я. – У меня ничего не болит, только голова тяжёлая. Кашля нет... Гм... В чём же дело?!»

В это время вернулся Иван и сел на свою койку. За ним вошла начальница в сопровождении заключённого врача, пожилого грузина, бывшего парижского меньшевика.

– Доброе утро, больные! А, наш доктор уже проснулся!

Она подошла к моей койке. Я в ожидании насторожился – из ее слов сейчас я узнаю причину моей госпитализации.

– Доктор, кто я? – начальница и врач наклонились надо мной.

Я молчал, поражённый нелепостью вопроса. Стоит капитан Кострова, с которой я работаю четыре месяца, и спрашивает, кто она! Провокация? Насмешка? Или она не в своём уме?

– Что же вы молчите? Ответьте, кто я?

– Капитан Кострова, – ответил я с некоторым раздражением. И вдруг похолодел от ужаса: ушами услышал, как мой язык с трудом произнёс:

– Ка...стр...юлька!

– Кастрюлька? Нет, нет, доктор, вы не поняли. Я спрашиваю о себе, понимаете? Скажите – кто я?

– Капитан Кострова, – мысленно ответил я, а мой язык опять произнёс:

– Кастрюлька!

Капитан и врач переглянулись. Выпрямились. Кострова повернулась к двери. Бросила через плечо:

– Пока совершенный идиот. Если выживет, то будет в инвалидном доме клеить конверты!

Крупные капли пота выступили у меня на лбу. Я лежал, не шевелясь, придавленный ужасом. Внутри бушевало неопределимое смятение, мысли неслись как вихрь. Потом почувствовал горячие капли на лице, увидел у ног сложенное полотенце и приподнялся к нему. Взял левой рукой и вытер лицо.

Иван наблюдал за моими движениями, сказал:

– А ты разве не замечаешь, доктор, что тебя парализовало? Пошевели-ка правой рукой или ногой!

Я попробовал пошевелить и не смог.

– Смотри, каким стал красавцем!

Сочувственно улыбаясь, он поднёс к моему лицу своё карманное зеркальце. Я увидел жёлтое осунувшееся лицо, кривой рот, из которого справа вывалился кончик языка, и глаза, подёрнутые синеватой мутью. Правый зрачок был приведён к носу.

Я застонал от ужаса, хотел заплакать, но не мог, лицо осталось неподвижным. Только горячие капли побежали по щекам в рот и на подушку.

– Да, здорово тебяхватило, доктор! – угрюмо проговорил Иван, пряча зеркало в карман. – Ты, доктор, настоящий мертвец! Если выживешь, будешь клеить конверты, слышал?

Внутри меня всё обрывалось, падало, разбивалось вдребезги... Анечка... Будущая жизнь с ней на воле... Всё, всё... Особенно меня поразили мои глаза – мёртвые и косые.

Мертвец! Жизнь кончена!

А день шёл своим чередом. Разнесли лекарство. Потом Иван читал и играл с корейцем в шахматы. Принесли обед. Я отказался есть. Час отдыха. Иван опять, насупившись, читал книгу. Принесли ужин. Иван шлялся по больнице, где-то кто-то громко смеялся. Потом из морозной темноты за окнами донёсся жалобный вой рельсы. По коридору протопал дежурный офицер с фонарем. Свет в палатах выключили. Настала ночь.

Целый день я молчал. Тысячу раз хотел спросить Ивана о себе – когда случился удар, где... Но в моих ушах ещё звучало страшное слово «Кастрюлька!», и я молчал, потому что знал, что лишён дара речи. Перед отбоем кореец принёс Ивану передачу – кусок сала и хлеба в свежей газете. Я посмотрел и понял, что потерял и способность читать, потому что в верхнем левом углу, там, где должно было находиться слово «Правда» или «Известия», темнели какие-то иероглифы, похожие на армянские или грузинские буквы. Да, я был потерянным, конченным человеком, отбросом, мусором, поллагерному – **огарком**.

Так что же делать?!

И сразу пришла спасительная мысль, счастливо разрешавшая все вопросы – покончить с собой! Повеситься! Этой же ночью! Немедленно!

Ни одной трусливой мыслишки не мелькнуло против такого решения: какое может быть сомнение? Плохо быть парализованным всюду, но в лагере... В этом загоне, где каж-

дый насмерть прижат к тысячам озверелых людей... Здесь ждать милосердия и любви нечего!

Я деловито повернулся на бок. Иван уже сопит. Кореец начал топить печи. Надо использовать момент и повеситься. На полотенце, привязанном к железной спинке кровати. Я видел такие фотографии в газетах и медицинских книгах.

Подтащился к ногам, дотянулся до полотенца. Стал крутить. Нет, надо сначала закрепить на спинке. Закрепил у изголовья. Рука так дрожала, что на дело, на которое раньше потратил бы одну минуту, если бы действовал стоя и двумя руками, теперь потратил полчаса, и узел получился большой, ненадёжный. Пусть... Чёрт с ним... Надо спешить... Я стал снова крутить жгут, но тут вспомнил о петле. Как её связать? Если большую скользящую петлю, которую потом можно одеть на голову и сползти с кровати, то это отпадает, лагерные каптеры и начальники – воры, они из одного казённого стандартного полотенца делают два, а полученное второе сбывают на рынок. На такой коротышке две петли – для спинки кровати и своей шеи – не свяжешь. Так что же делать?! Меня бросило в жар от страха, что я не смогу повеситься. И снова удачная мысль – надо использовать не полотенце, а простыню. Я стал выдергивать простыню из-под себя, возился, возился, десять раз обливался жарким потом, и когда, наконец, выдернул – прозвучал подъём: ночь незаметно ушла на борьбу с собственной тяжестью и неспособностью.

Весь день я лежал как на раскалённых иголках. Тысячу раз всё обдумал и мысленно отрепетировал. Хотел ещё загодя, днём подготовить простыню, но Иван, чёрт бы его взял, заправил её опять, а после отбоя заправил кореец, да ещё крепко-накрепко засунул края под матрас. Я чуть не заплакал от горя. И вдруг уснул.

Проснулся утром, когда кореец пришёл мыть мне лицо и руки. Я скрежетал зубами от злобы и горя.

А тут ещё разыгрался аппетит. Четыре дня я ничего не ел. Тем утром съел с ложечки завтрак и кусок сала с чесноком – угощение сурового Ивана. Пришёл в хорошее расположение духа, и чёрт меня дернул даже принять участие в шахматной игре в качестве болельщика. Это меня очень утомило, и, поужинав, я неожиданно опять уснул на всю ночь.

Поздно утром проснулся в неистовом бешенстве. Прощёл ещё день! Ночью я вытащил из-под себя простыню и убедился, что завязать два узла, то есть две петли, лежа на

боку и работая одной рукой, я просто не в силах: петли не получились, как я ни бился!

И, наконец, последний удар: под утро мне показалось, что петля на шею вышла неплохо, и я начал было подвязывать жгут к спинке кровати, как вдруг Иван сел на постели и рывкнул:

– Это ты зря, доктор! Надо выиграть время! Жди и терпи, потом станет виднее! Умереть всегда не поздно! Эй, Корея!

Прибежал кореец.

– На этом больном держи глаз, понял? Каждый свободный момент заглядывай! Дошло? А теперь распутай евойную простыню и постели как положено! Шевелись!

Покурив, Иван стал ложиться досыпать ночь, но, уже лежа на боку носом к стене, пробурчал:

– Я тебя при твоей жизни уважал и теперь обратно не брошу. Покедова я тут, у тебя с простыней ничего не выйдет! Пустой номер задумал, понял?

Но ведь из всякого положения должен быть выход! Я думал целый день, прикидывал то и другое и решил – надо повременить, чуть-чуть окрепнуть и доползти ночью до уборной, прихватив с собой и простыню. И повеситься там на водопроводной трубе, она расположена очень удобно!

Я успокоился и со следующего утра пустился приводить свой план в исполнение.

Вместе с решением покончить с собой пришло душевное спокойствие, а с ним и его верный спутник – здоровый аппетит. Каждый день я посылал корейца в ларек за полукилограммовой банкой варенья и съедал её за день. За десять дней съел десять банок, потом варенье опротивело, и аппетит исчез. Заглянул в зеркало, к этому времени глаз стал на место, и исчезла из зрачка трупная мусть. Это придало мне силы, я понял, что мой план выполним и через месяц я доберусь до уборной, и всё будет кончено. Времени было много, я принялся тренировать парализованные руку и ногу, в особенности пальцы. Я должен быстро и надёжно завязать петлю, а с непослушными пальцами этого не сделать. Поэтому здоровой рукой начал сгибать и разгибать конечности, массировать их, постепенно давая двигательную нагрузку. Каждый день от подъёма до отбоя я работал без отдыха, восстанавливая работоспособность конечностей. Тем временем незаметно для меня самого начала восстанавливаться речь, я неожиданно осознал это, когда поймал себя

на коротком и несложном разговоре с Иваном. Дело явно шло на лад!

Когда пальцы стали послушнее, я начал каждый день вязать петли из полотенца, практикуясь в скорости и прочности вязки: едва Иван уходил в коридор покурить или поболтать, как я хватал полотенце и начинал работать. Потом однажды осмелился и спустил ноги с кровати... Встал на них... Сделал первый шаг... Сделал у постели пять шагов... Десять... Двадцать... Конечно, парализованная нога волочилась, как мёртвый груз, но я научился передвигаться боком, держась одной рукой за стену и работая одной ногой.

Это был тяжёлый труд, но он увенчался успехом!

Наконец наступила вожделенная ночь моей смерти.

В три часа, когда все больные крепко уснули, я поднялся, стащил с постели простыню и, держась за стену, пополз в коридор. Сделал передышку. Дополз до уборной. Вполз в неё. Запер дверь. Сделал жгут. Закинул его через трубу. Один конец укрепил внизу за стульчак. На другом связал прочную петлю. Присел передохнуть с гордостью – вот чего я достиг упорством, силой воли, твёрдостью! Конечно, я – подбитый орел, но орел!

Я уже хотел было одеть на шею петлю, как вдруг меня поразила удивительная мысль: если я за несколько недель сумел доползти до уборной, то ведь за несколько месяцев я сумею дойти до своего рабочего стола! У меня не кровоизлияние в мозг, то есть состояние непоправимое, а спазм одного сосуда – он сжался и не разжался, образовался участок с нарушенным кровоснабжением и выпадением мозговых функций. Но ткань мозга – чудесный материал: жизнь требует функций, кровь приливает к обескровленному участку, и под её давлением мозг начинает расширять старую сосудистую сеть и строить новую. Отсюда и восстановление утерянных способностей! Как врач я понимаю этот процесс и хорошо его представляю. А вывод?

Перекинув простыню через плечо, я пополз обратно на постель. Спасение возможно. Оно в трудовой нагрузке.

Вперёд!

Прежде чем начать учиться говорить, читать и писать, мне пришлось восстанавливать способность слушать. Когда я пришёл в себя, то сразу же обратил внимание на мерные удары не то большого молотка, не то топора – они слышались через стену из соседней комнаты, где, я знал это

хорошо, находилась приёмная. Если бы я был здоров, то, конечно, обратил бы внимание и на равномерность и постоянство ударов. Но я соображал плохо, мог сосредоточиться и задуматься об этих звуках только моментами, а потому решил, что в приёмной начался ремонт, и этот стук вызван работой плотников. По ночам я хорошо спал. Позднее, когда начал ходить, увидел, что над моей головой с другой стороны тонкой стены висели часы с цепочкой и гирями, и их равномерный ход мой расстроенный слух воспринимал, как удары молотом. Ненормально громкой казалась и речь людей, звон посуды, шаги. Слух стал обычным только через месяц-два.

Раздражали соседи: больные старички чавкали при еде, сопели по ночам. Иногда Иван нарушал своё хмурое молчание, и я стал его слушать для тренировки. Вначале его то и дело приходилось останавливать: «Стой! Дай отдохнуть, Иван!» Я вытягивался на спине и закрывал глаза. Стреляющая боль в левом виске успокаивалась, потом проходила тяжесть в голове, я шептал: «Поехали дальше!» – и Иван продолжал рассказ. Его повествование о себе не лишено интереса, потому что, на мой взгляд, это довольно обычная история красноармейца, ставшего гестаповцем, и потому я здесь её привожу.

Представьте себе, что высокий, хмурый и красивый Иван нервно шагает из угла в угол, молодой кореец жмётся к печке и спокойно слушает в ожидании проверки и отбоя, старички мирно сопят, а я лежу с закрытыми глазами и тренирую свою способность концентрировать внимание. В комнате тепло. Где-то в коридоре поёт сверчок, потрескивают в печке дрова, глухо кричат часовые с вышек – словом, это зимний уют, который так любил и так хорошо описывал Диккенс, только перенесённый в лагерь.

– У нас, доктор, до революции на Урале было середняцкое хозяйство, построенное на поте и крови прадедов и дедов. Когда в тридцатом году пришло распоряжение добровольно всё нажитое добро отдать в колхоз, отец не захотел, был арестован и выслан с матерью в Сибирь, там в тайге и помер. Нас, мальцов, меня и сестрёнку Фросю, взял к себе в Одессу дядя, Анисим Петрович, и научил меня сапожному делу. Перед финской войной я пошёл служить, и армия мне понравилась: понимаешь, доктор, для здорового хлопца военное дело не в тягость, и даже фронт вроде захватывает, манит эта игра со смертью, она хуже вина, хотя, конечно, на

любителя. Служил я хорошо, про мать и отца вспоминал мало – ведь я их и в лицо уж не помнил. Короче, стал неплохим красноармейцем.

В немецкий плен попал сразу же, с ходу, по прибытии части на передовую: был там большой беспорядок, мы сдались всем полком. Думаю: «Конец тебе, Иван!» Однако выручила случайность: наши, уходя, подорвали мост, и немцы для работы решили использовать военнопленных. Выбирали людей посильнее на вид, и я, конечно, попал в этот рабочий батальон. Сила была, и работал я добросовестно. Старался. Меня заметил один фриц, вроде техником служил при нашем стройбате: ведь я с детства от еврейских детей нахватался немецких слов и считать научился. Стал я у техника за помощника работать. А сам примечаю все подробности: где и как можно поскорее бежать к своим. Случая не было. Нас всем батальоном отправили в Бельгию строить береговые укрепления. Опять я стал присматриваться, нашёл одного вольного бельгийца, получил от него адресок. Думаю, доктор, сейчас выберу момент – и айда! А тут нас перебрасывают во Францию, потом в Южную Германию, на Рейн. А годы не стоят, понял? Я уже с техником по-немецки лопочу, он мне кое в чём доверяет. Но только подготовлю побег – как подоспеет и очередная переброска, и всё приходится начинать сначала. Только по прибытии в Польшу ждать не стал – бежал в первую же ночь. Шёл по ночам, крестьяне помогали. Фронт перешёл удачно. К своим являюсь со слезами на глазах и лезу ко всем целоваться. А мне в ответ: «Кто такой? С каким заданием пожаловал? Говори, гад! Почему морда такая сытая, а? В плену с голода дохнут, а ты, что, на курорте был? Говори, падлю, с каким заданием пришёл?» И начали меня бить, доктор. Били днём и ночью. Дадут отлежаться и снова бьют. Потом, изувеченного, послали в тыл, а оттуда – в штрафную роту и на фронт. Я зубы сжал, аж скрипят: «Ну, думаю, сейчас или голова с плеч, или мотанусь к немцам!» И переметнулся! По-немецки кричу фельдфебелю ихнему: «Нихт шиссен! Веди в гестапо! Хочу служить у вас!»

Там месяца три присматривались, а потом выдали форму, и стал я солдатом хозяйственного батальона, который собирал продовольствие и вёл строительные работы под Минском – готовил оборонительные сооружения, потому что в том году наши стали немцев теснить. Мы стояли в пригороде, и свёл я дружбу с одной вдовой, Стасей. Муж у неё

ушёл ещё на финскую и пропал, а при ней остался пацан лет девяти. Эта Стася жила с того, что гнала самогон. Жить же чем-то надо? Кругом война! Полюбила она меня на жизнь и на смерть, доктор! Не знаю, за что полюбила, просто мы до точности подошли друг другу: будто ключ и замок. В жизни это редко бывает, люди маются годы и не находят суженого. А у меня с этой Стасей получилось так, что сомкнулись без трения и навек! Кабы не война, хорошая бы с нас пара получилась. Стася была рослая, лицом белая, волосы рыжеватые, очень мне нравилась. Раз утром, в дождь, подошли наши. Снаряды стали рваться то тут, то там. Я Стасю в грузовик впихнул, сам вскочил, глядь, а пацана она бросила: он жмется под деревом и на нас глазами моргает. Я кричу ей: «Слазы!» – а она: «На кой он нам, едем, а то немцы нас бросят! Я только тебя и люблю, больше мне никого не надо!» Бросить пацана решила, а? Я её за борт грузовика перегнул, она к пацану подбежала, и тут за деревом упал снаряд. Я присел в машине за борт, а когда поднялся – ни её, ни пацана нет – обоих разбрызгало, как воду.

В Бреслау стал я служить при тамошнем гестапо, но недолго: наши уже опять тут как тут. К этому времени я себе штатскую одежду припас и кое-какие аусвайсы, то есть бумаги. С одним напарником, русским, мы переоделись и двинули с первым поездом на север, хотели попасть в Данию. А кругом вся Германия кверху ногами, фрицы голову потеряли, мечутся кто туда, кто сюда. В такой обстановочке мы добрались до Фленсбурга. И тут при одной пошивочной фабрике оказался женский лагерь для рабочих, согнанных с разных стран. Охрана уже сбежала. Мы туда попали к ночи и во Фленсбурге с разбитого магазина прихватили по штуке самого лучшего на вид шёлка. Вот польке, старшей надзирательнице, и говорим: «Держи шёлк и тащи, мол, сюда двух русских девок покрасивше, будем ждать в этой разбитой сторожке!» Она, конечно, девок приволокла. При нас были шнапс и консервы. Легли. Под утро вздремнули часа на два, потом эта моя девка спрашивает: «Ты откуда?» – «С Одессы». – «Значит, земляки. Болгарскую улицу знаешь?» – «А то нет! Я там жил». – «Где?» – «У Шевченки Анисима Петровича, сапожника. Слыхала?» – «Знаю!» – говорит и вдруг в слёзы! – «Чего ты, дура?» Молчит и ревет! «Да чего ты, землячка? Или плохо тебя за ночь отработал?» – «Ванечка, – отвечает, – так я ж Фрося, твоя любимая сестра!» Да, доктор, вот она, война! Чего с людьми делает, а? Страсть!

Иван вышел закурить. Вернулся, как всегда, хмурый.

– Ну, а потом?

– А потом фельдполицай нас забрала и направила в Котбус, в гестапо. Фрицы начали следствие, выяснили, где и когда я у них работал. Наши захватили меня в гестаповской тюрьме. Стал я героем, получил наше обмундирование и оружие и пошёл с частью дальше. Но разведка документы гестапо разобрала и вслед моей части вдарила телеграмму. Я отхватил четвертак.

– А какой же вывод из твоей истории, Иван?

Иван раскрыл книгу и, не поднимая головы, сказал:

– Никакого, доктор. Война – она людей не разбирает, всех мешает в кучу, всё уничтожает. Там, наверху, среди вождей, может, есть правые и виноватые, а внизу – ничего нет, кроме смерти: кого разорвёт на куски – тот счастлив, кто остался при руках и ногах – тот живёт дальше и опять же несёт в своей душе её. Только её.

– Кого?

– Смерть.

Начался второй период выздоровления.

То, что я проделывал над собой, можно назвать только одним словом – издевательство: я зверствовал и не давал поражённым органам покоя. Но эта борьба не была бесплодной. Именно одни достигнутые результаты заставляли яростно, иступлённо добиваться достижения других.

Однажды я взглянул на газету и вместо грузинских иероглифов увидел крупно и ясно напечатанное слово – «Правда».

«Братцы! Ура! Я опять умею читать! Иван, смотри!» – вне себя от радости я схватил газету и хотел было показать ему своё умение, но посмотрел и с ужасом увидел, что газетный лист опять покрыт для меня только иероглифами. Подали обед. После обеда взглянул – в углу напечатано: «Правда». Но я не закричал. Отвёл глаза и через полчаса посмотрел опять: «Правда». Ещё через час: «Правда», во время отбоя: «Правда». На следующее утро я просмаковал первую страницу от слова до слова. Так вернулась способность читать, сначала только по-русски, потом на других языках в той последовательности, в какой я их изучал в течение всей жизни. Постепенно вернулась русская речь, потом иностранная. Вернулось письмо, не сразу, после долгих попыток. Вернулось все, кроме счёта. Акалькулия осталась, я не умею считать и сейчас.

С разрешения начальницы я стал больничным дворником – наступила поздняя сибирская весна, распустились деревья, зацвёл садик, и я взял на себя обязанность ухаживать за ним. Сперва только подметал окурки, потом взялся и за поливку.

Я никогда в жизни не интересовался чужими окурками. А тут изучил манеру курить каждого больного или вольняшки, узнавал по окурку, кто его бросил, и возненавидел небрежность, с какой люди сорят вокруг себя. Да, если бы поручить написать мемуары подметале в Кремле или Бурбонском дворце, получились бы любопытные мемуары!

Настало лето. За больницей инвалиды посадили капусту для больничной кухни. Кочаны в Сибири растут огромные, сибирская капуста – сладкая и сочная. Тело, истощённое болезнью, властно требовало зелени, и я решил украсть кочан, спрятать и есть его в течение недели.

Это был экзамен моим достижениям!

Волоча ногу, я забрался в огород и одной рукой ухватился за самый большой кочан. Потянул – не тут-то было! Ухватился и второй, больной – ничего! Видимо, корень ушёл глубоко в землю либо земля ссохлась без дождя: тащу, обливаясь потом, а кочан не идёт из земли ни на сантиметр!

– А вот я тебя, хулиган, разбойник! – закричал с вышки стрелок. – Пошёл с огорода, собака, а то положу на месте! Ну! Слышишь? Давай отсюда!

Я в отчаянии тащу, в голове все идёт кругом, перед глазами багровые круги.

– Брось капусту, бродяга!

Я тащу – кочан поддался, потянулся и бесконечный корень!

– Брось капусту, гад! Стрелять буду!

Стрелок щёлкнул затвором.

Но я выдернул корень. Хромая и спотыкаясь, поволок кочан за угол. Я был полумёртв от напряжения.

Но экзамен сдал!

Ослабление режима проявилось, между прочим, и в появлении в зоне бородатых лагерников: махнув горестно рукой, начальники проходили мимо самых диковинных бород и бакенбардов, даже таких, каких никто раньше вообще не видел – бакенбардов с подусниками в стиле Франца Иосифа, эспаньолок Наполеона Третьего и закрученных кверху усов Вильгельма Второго: каждый мудрил и изобретал что-

то совершенно невообразимое. Поэтому я не был особенно удивлён, когда однажды утром в палату вошёл красавец с бородой монаха-капуцина – тёмный шатен, голу-боглазый и с великолепной окладистой тёмно-рыжей бородой! Это был наш новый больничный врач, сменивший чахлого меньшевика, – тоже грузин, но пышущий энергией и радостью жизни. Его историю я и хочу сейчас коротко рассказать.

Напрасно думают, что Джугашвили и Берия истребляли народ во всех уголках нашей страны, кроме своей Грузии. Сталин действительно предоставил грузинским колхозам ряд негласных незаконных льгот и тем завоевал себе любовь, которая при Хрущёве вызвала открытые беспорядки и чувствуется при приезде в Грузию до сего времени. Но интеллигенцию Великий Кормчий не ценил и не щадил, потому что имел все основания бояться её. Количество арестованных и расстрелянных среди грузинской интеллигенции, вероятно, не ниже, чем в других советских республиках, и любви к Сталину в этих кругах меньше, чем среди местных крестьян.

Родители нового врача-капуцина были арестованы и погибли. Сын, молодой врач, когда прошёл первый период оцепенения, стал искать дружбы других детей репрессированных и вскоре организовал тайный кружок, который поставил себе целью убить Берию. Но выполнить такое намерение для молодых заговорщиков оказалось непросто: трусость – родная сестра жестокости, и Берия, как и Джугашвили, были не только патологическими палачами, но и патологическими трусами: они ходили под охраной даже в уборную, находясь в здании, окружённом войсками НКВД, а уж подстеречь их на улице нечего было и думать. Значит, нужно было заготовить бомбу большой взрывной силы и замедленного действия и заранее подложить её в кабинет, где Берия работает, или в комнату, где он будет спать.

Кружок разделился на две группы – техническую и оперативную. Техники занялись изготовлением бомбы, а оперативники – выяснением условий для установки взрывного механизма. И та и другая работа продвигалась медленно: в советских условиях, когда все технические и химические материалы не продаются, а распределяются либо через базы прямо на заводские склады, либо через специализированные магазины по требованиям учреждений, достать все необходимое оказалось почти невозможно.

Не лучше и не проще оказалось установить данные о передвижении в течение дня такого человека, как Берия. Поэтому обе группы пришли к выводу: надо вербовать нужных помощников в соответствующих лабораториях и в НКВД. Начали подыскивать подходящих людей. Капуцин, состоявший в оперативной группе, нашёл красивую девушку из дома, где бывает Берия, – она оказалась его очень дальней родственницей. Познакомился. Завязал дружбу. Инсценировал увлечение и роман. Но когда очень осторожно приступил к вербовке, то почувствовал с её стороны подозрительное любопытство: на один вопрос о Берии она отвечала двумя вопросами о кружке заговорщиков. Возникло подозрение. Устроив ужин с вином и ночь любви, Капуцин, когда утомлённая любовница крепко заснула, тихонько поднялся и залез в её сумочку. И там нашёл пропуск в НКВД!

К сожалению, я не могу по памяти восстановить рассказ Капуцина, ведь тогда я был очень болен, а сейчас придумывать его самому здесь не к месту. Рассказ звучал, как лучшие страницы Достоевского. Конечно, предательницу решили убить и поручили это её счастливому любовнику. Но как убить? Где? Каким образом обставить убийство, чтобы НКВД не догадался и потом не уничтожил бы всех участников кружка?

Прикидывали один вариант за другим, а тем временем не смогли выдержать тон прежней искренности, предательница почуяла недоброе и донесла. Всех заговорщиков **заподозрили** в подготовке террористического акта в отношении Л.П. Берии: одни были расстреляны, другие, в их числе и Капуцин, получили по четвертаку и отправились умирать в Сибирь.

Так и шло вперед выздоровление – шагами и шажками то поменьше, то побольше, но всегда шло вперёд, и каждый шаг был экзаменом.

Когда нас повели в баню, я встал под горячий душ и почувствовал жар на виске, то подумал, что упаду. Удержался за стену. Второй раз такое испытание прошло легче, потом ещё легче.

В невероятно жаркий вечер КВЧ устроил показ фильма под открытым небом. Когда замелькали перед глазами светлые и тёмные пятна, я закачался на стуле. Но удержался, выдержал, настоял на своём. Давали «Половецкие пляски»,

заснятые в Большом. Я решил умереть, но досмотреть. Досмотрел и не умер.

Как-то рано утром увидел начальника, сидящего в садике на скамейке в позе не то глубокой задумчивости, не то отчаяния: долговязые ноги вытянуты, спина согнута, голова упала на грудь.

– Разрешите попросить у вас работы, – сказал я, подойдя к нему и кашлянув, чтобы обратить на себя внимание. – Я уже могу раздавать лекарства на амбулаторном приёме, гражданин начальник!

Начальник поднял голову, посмотрел на меня и снова уткнулся глазами в землю. Помолчал. Потом с трудом, как будто нехотя, ответил:

– Хороший вы работник, доктор. Когда вы ушли, я должен был взять трёх человек, а на вечерние приёмы – ещё одного. Четыре взамен одного! А? Вот чего вы стоите! Это я и командованию говорил, и заключённым. Я – тоже хороший работник, вы сами видели: не лодырь, не вор и не лагерный верхогляд. Но такие люди здесь не нужны, они тут не ко двору, доктор. Меня снимают с работы за вечные стычки с начальством. Я, доктор, беспокойный, а таких никто не любит. А вас я включил в список на досрочное освобождение по инвалидности. Скоро поедете домой! Настанет, доктор, хорошее время для вас – все или почти все вы вернётесь домой, и эти лагеря закроются! Достроят завод и снесут эти заборы. Вы по домам, а я...

Он не закончил, посидел молча, потом вдруг встал и зашагал прочь – растрёпанный, немного дикий, как всегда. Вероятно, очень одинокий. Может быть – бездомный.

На 07 было время, когда я старался не думать об окружающем. Теперь жизнь стала врываться в наше существование так, что забывать о лагере стало невозможно; вдруг мы услышали, что лагерная система, построенная на фундаменте из многих миллионов человеческих черепов, скреплённая потоками крови и казавшаяся незыблемой на веки веков, вдруг дала трещину, лопнула через весь свой парадный фронтон и стала разваливаться. Но разваливаться не сразу, а постепенно, сопротивляясь изо всех сил и пытаясь спасти то, что можно спасти.

Мы замечали эти трещины то тут, то там, и каждая из них в отдельности по своему значению была невелика. Но все вместе они отчётливо указывали направление, в кото-

ром развивались события в партии, в стране, а значит и в лагере.

Я свалился замертво в феврале прямо перед хитрым домиком опера, в котором он незадолго перед этим **мудохал** меня всю ночь из-за Миши-Попа. А весной выполз из больницы с метлой в руках, глядь – а перед проклятым местом топчется очередь смеющихся работяг.

– А где же опер? Перевели в Штаб?

– Выгнали за зону, браток! Ты что, долго болел, што ли? Хитрый домик разделили пополам: в энтой половине общественная кухня, а в той он ещё принимает всякую свою сволочь. Но увидишь – выгонят их и оттуда!

Оказалось, что начальство собрало в зоне частную посуду у отдельных работяг, добавило казённой кухонной и выделило уголь и дневальных из инвалидной бригады обслуживания. Теперь работягам разрешили покупать еду в вольных ларьках на строительстве, и они приносили покупки в зону и здесь готовили себе всякие разносолы по вкусу, кто что умел и мог, в основном старались всё жарить, потому что лагерная кухня пищу варила, и всем хотелось поесть чего-нибудь сухого, румяного и хрустящего.

Потом стали снимать номера. Самотёком, то с одной ноги, то с двух. А то и со спины или груди. Надзиратели за это раньше тащили на вахту, а пришив номера – в карцер. Потом махнули рукой и перестали замечать это своевольство.

Дьяков пишет, что на его лагпункте начальство формально объявило о снятии номеров. Я этого не пережил; освобовился в начале следующей зимы, и фотограф, готовя снимки для документов, досочкой прикрыл номер на груди, а за пачку сигарет сделал второй снимок, с намазанными номерами, на **добрую память**. Но количество твёрдокаменных носителей номеров по форме значительно поредело – урки сняли номера первыми, за ними последовали иностранцы, которых группами отправляли на родину, – то венгров, то поляков, то чехов. Наконец дошла очередь до немцев и японцев. Многие немцы пришли с благодарностью пожать мне руку и пожелать скорого освобождения. Заходил поэт из Хемница – его возвращали домой. Пришёл и морской полковник. Японцев за месяц до отправки поставили на усиленное питание и прекратили выводить на работы.

Организм человеческий похож на резиновый баллон – то надувается, то спадает. Отоспавшись и одевшись в новенькую форму, японцы в самом деле вдруг обрели выправку и

внешность офицеров. Полковник подошёл и крепко-крепко потряс мне руку.

– Я получил в России полезный урок, господин доктор. Я вам скажу только одно: у нас надо всё перевернуть, как у вас.

Он щёлкнул каблуками и вытянулся – руки по швам. Я потрепал его по плечу. На непроницаемом лице вдруг мелькнул луч какого-то чувства, он рванулся ко мне, потом махнул рукой, взял под козырёк и отошёл прочь. Японца-коммуниста проводить не пришлось: он тяжело заболел в моё отсутствие и был переведён в центральную больницу. Умер ли, выздоровел и вернулся на родину, не знаю...

И вдруг ещё новость: опера совсем выкинули из зоны! Вот была радость! Хмурые надзиратели под общий смех грузили папки:

– Граждане надзиратели, поскорей вывозите опера, а тележки не забудьте вернуть: мы скоро в них вывезем всех вас!

Что было бы раньше... Страшно подумать! А теперь ничего... Обошлось! Скушали!

Опер, правда, наладился приходить в зону – на людей посмотреть и себя показать. Однажды я получил письмо от Анечки:

«Ура! Лагеря закрываются! Всюду ездят комиссии и на местах сортируют людей – настоящих преступников отправляют куда-то на дальний север, а таких, как ты, отпускают на волю! Скоро встретимся! Ваших начальников снимают с работы? Наших уже начали! Кто хочет остаться, посылают тоже на север, кто боится – выкидывают вон из системы! Такие на рынке продают синие фуражки и покупают кепки! Сбылись наши надежды».

И такое письмо пропустила цензура! Оно пошло по рукам, зажигая в потухших сердцах огонёк воскресшей силы, воли жить и светлой радости.

Я сидел у окна и обедал, когда ко мне подошёл толстый повар. Умильно осклабился:

– У вас, доктор, говорят, есть письмо с воли насчёт свободы. Дайте почитать!

Я дал и проследил из окна, как повар юркнул за кухню и оттуда вскоре вышел опер и уныло поплёлся к воротам.

– Вот, пожалуйста, доктор, ваше письмо! Спасибо.

– Я видел: оперу показывали?

– А хоть и оперу! Теперь ему не до арестов, он вон сам не знает, куда податься! На север – страшно, а здесь что ему делать? На перекрёстке движение регулировать? Образо-

вания нет, а привычка не позволяет трудиться. Да у них, доктор, сейчас проблема. Он ваше письмо читал и всё повторял: «Парадокс! Парадокс! Дожили!» Что это за парадокс, скажите? Он очень его напугался!

А в кабинете опера открыли ларек, да какой: со свежим мясом, сметаной, маслом! И я на восемнадцатом году заключения испытал мстительную радость, когда увидел нашего опера в кепочке – он стоял среди заключённых в очереди за мясом!

Жизнь в лагере переменялась: весь контингент, кроме инвалидов, стал питаться со *своей* кухни, а казённые щи и жирную кашу прямо из котлов повара вываливали в бочки, и бесконвойники вывозили их за зону кормить свиней.

– Это один разговор насчёт свиней, доктор! На воле – нищета и голы! Кашу нашу из бочек черпают котелками и тащат детям! – рассказывали бесконвойники.

А бригадир бригады обслуживания добавил:

– Тут недалеко от зоны есть поле, где мы картошку копаем для лагеря. Так сбоку детей и женщин вокруг собирается человек пятьдесят, а то и больше. Ну, мы, конечно, копаем и часть для себя в корзины бросаем, а часть им.

– А стрелки?

– Отворачиваются, вроде не видят. Дети собирают брошенную картошку в котелки и мешочки. Видно, нужда на воле – страсть! Да, дожили мы до такого чуда!

А потом грянул гром среди ясного неба: на соседней зоне подняли красный флаг. Зона опустела. Вот было чудо так чудо!

Дело было перед вечером. До отбоя люди, тысячи две человек, молча и сосредоточенно смотрели в одну точку. Стало заходить солнце. Красный флажок вспыхнул так ярко, как тысячи и тысячи кремлевских звёзд: наверное, так в начале революции, ещё при Ленине, жарким пламенем горели знамена и сердца, но вот оказалось, что такое может статься и теперь... Люди в чёрной одежде с обрывками номеров на груди и на спине знали – теперь ждать осталось недолго!

Сталинской системе пришёл конец!

События стали принимать такой благоприятный и конкретный оборот, что тянуть дольше было нельзя – нужно было подумать об Анечке и о себе самом.

Я надиктовал Едейкину письмо, в котором подчеркнул, что, думая обо мне и нашей возможной встрече в близком будущем, Анечка не должна представлять меня таким, ка-

ким помнит по Суслово в 1947 году: я отсидел три года в спецобъекте, побывал в психоизоляторе, а здесь, в спецлагере, перенёс два паралича. Теперь я совершенно нетрудоспособный старик и неизлечимый больной, плохо вижу, туго соображаю, волочу правую ногу, правая рука висит плетью. «Поэтому, Анечка, надо без сентиментальности решиться и порвать со мной начисто, – прекратить писать письма и высылать деньги и посылки. Жизнь теперь тяжёлая, звериная, Анечка, она не устроена, и ты не можешь вешать себе на шею меня, а потому наша связь естественно разрывается. Мне обещают койку в Омском инвалидном доме для бывших заключённых, и меня это вполне устраивает». Посылать письмо такого содержания через нашу почту было опасно, а тут подвернулся майор, начальник соседней женской зоны: бабы его проиграли и должны были облить дерьмом, как только он явится на работу. Майор боялся скандала и отсиживался в нашей амбулатории. Я прочёл ему письмо и объяснил, в чём дело; он дал слово бросить его в городе.

Затем я написал заявление начальнику лагеря с просьбой о предоставлении койки в Доме инвалидов как бездомному в случае, если будет решение о моём досрочном освобождении. Это заявление вместе с самой лестной рекомендацией взялся передать полковнику наш уходящий в отставку начальник. После этого я обратился к новому нарядчику (Кулешова убрали из зоны), и он внёс меня в список заключённых, не имеющих ни семьи, ни места жительства, ни адреса.

Началась осень.

Нас, группу тяжёлых инвалидов, уложили в постели. Новая начальница МСЧ, полная добродушная женщина, посоветовала принять вид умирающих. И вовремя. Однажды утром в больницу явился наш полковник в сопровождении камышлаговского начальства и поздравил с предстоящим освобождением по инвалидности. Ко мне подошёл особо и уведомил, что по его настояниям мне будет предоставлена койка в инвалидном доме.

И сразу лагерь как будто отдалили от нас куда-то далеко-далеко. Конечно, мы оставались в зоне, но в глазах всех других товарищей стали другими, особенными, немного чужими. Все работяги и инвалиды считались просто лагерниками, нас же стали величать «освобождающимися».

Начались медицинские осмотры и составление документации. Стали вызывать в Первую часть для проверки личных дел. Засуетился вещевой каптёр.

Пришёл день фотографирования без номера.

И, наконец, объявили день выхода за зону.

Наша группа инвалидов лежала в особой палате, весёлая и довольная, говорили только о предстоящем прибытии домой, о свидании с семьями. Начальство разрешило известить родственников, нам даже раздали для этого белые конверты и бумагу. Улыбаясь от счастья, все уткнули носы в письма, полные восклицательных знаков и словечек «ура!», «еду!», «ждите!» и прочее.

Только я один лежал равнодушным, потому что инвалидный дом находился где-то недалеко, и суетиться мне было нечего. Если под защитой стрелков и при каком-то подобии дисциплины жизнь в зоне – трудная и опасная, то в Доме инвалидов для бывших заключённых защиты нет: урки занимают командные места, хулиганы обижают более слабых, отнимают у них еду и вещи, дисциплина отсутствует, и жизнь там поистине невыносимая: по описаниям бесконвойников этот инвалидный приют являлся филиалом ада. Поэтому-то и освобождение меня не радовало. Анечка всегда оставалась светлой звёздочкой впереди, а когда её не стало – не стало и радости от освобождения.

Вот в час таких раздумий, когда я лежал, закинув руки за голову, и смотрел в потолок, вбежал новый нарядчик.

– Ты что же, мозгокрут, всем нам темнил головы, что тебе некуда ехать? А? – И сунул мне в лицо письмо Анечки начальнику лагпункта.

Анечка в резких выражениях протестовала против проволочек с моим освобождением, подчёркивала, что обязуется содержать меня пожизненно, и сообщила московский адрес, по которому и надлежало направить меня из Омска!

– Ну что? – злорадно улыбаясь, спросил нарядчик.

И вдруг безразличия как не бывало! Вскипела энергия, восторг ожидания скорого свидания! Захотелось и мне написать письмо на белой бумаге – каракулями, но написать. Захотелось прыгать и кричать от физической радости...

Да вот в том-то и заключается человеческое счастье – оно не вне, оно внутри нас, и человек видит жизнь не такой, какой она есть, а такой, какой он её способен видеть.

Послесловие

Предо мной на столе лежат две небольшие книги и моя рукопись.

Ф.М. Достоевский острог прошлого века назвал «Мёртвым домом», подчеркнув этим и монотонность жизни каторжника того времени, и мертвящее воздействие заключения на человека. И всё же, судя по его же описаниям, каторжники оставались живыми людьми, сильными духом и телом. Острог был, вернее, «Трудным домом», но выбранное автором определение пусть пребудет на его художественной совести – теперь спорить трудно, да и бессмысленно. Важно другое. Прошло сто лет. С тех пор напряжение жизни резко возросло, и сибирская каторга тоже не могла не измениться. Записки Дьякова и мои в один голос это утверждают и подтверждают.

Так почему же всё-таки, выйдя из одних ворот и в одно время, мы вынесли столь разные впечатления и дали весьма непохожее описание виденного? Объясняется ли это только цензурой и заказом? Кто из нас ближе к истине?

Оба!

Я заявляю, что писал правду. Но это не значит, что сталинист Дьяков заведомо лгал. В лагере, как и на воле, можно спокойно жить вдали от крови и грязи и всегда сохранять чистые руки. Это зависит от характера человека и от принципов, на которых он строит свою жизнь: что лучше – пройти мимо испытаний или прыгнуть в их гущу головой вниз? Дело вкуса! Мы искали разное и разное нашли...

Вероятно, Дьяков не столько сознательно украшал лагерную действительность, сколько плохо видел её. Он был тыловиком и из окошечка КВЧ в распреде не мог разглядеть обожжённую и простреленную грудь китайца. Торговля койками в больнице № 2 производилась, конечно, негласно, и человек, связанный с КВЧ, тоже мог её не заметить. А лагпункт, на который он попал после больницы, был, надо полагать, спокойной тыловой зоной без надругательств и убийств – ведь я же сам описываю такую больницу и зону и тем самым ещё раз удостоверяю, что подобные места в Озерлаге действительно были.

Мы не опровергаем, а дополняем друг друга.

Наши отчёты в разной степени свидетельствуют только об одном бесспорном факте: в суровых условиях усиленного режима жили обыкновенные живые люди, среди всякого

сброда здесь томились самые жизнестойкие и жизнелюбивые существа на земле – советские люди. Существование было там трудное, но не однообразное и серое, а как раз напротив – очень контрастное, своеобразное и яркое. Было много плохого, но немало и хорошего, потому что только в особо тяжёлых условиях обнажаются подлые черты человеческой натуры и сверкают высокие нравственные ценности человеческой души.

Режимный загон – не дом, но уж если говорить высоким стилем, то я утверждаю, что жил в «Живом доме» и только о нём и старался рассказать в этих записках, невольная беглость которых отражает только моё тогдашнее болезненное состояние. Но удалось ли мне достаточно живо и убедительно всё это показать читателям – не знаю...

Об этом пусть они судят сами.

Москва,
февраль – июнь 1963–1966 г.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Книга десятая

Необходимый урок

Кто-то осторожно, почти ласково коснулся моего плеча. Даже самый слабый из моих больных не притронется так мягко, а уж о санитарях и думать нечего. Я знал это кошащее прикосновение и поэтому метнулся на койке, как испуганная мышь.

– Тс-с-с... Тише, – прошипел из темноты незнакомый голос. – Одевайтесь. Быстро! Вас вызывают в Третью часть.

«Почему? Списки освобожденных от работы в порядке... Ведомость на питание – тоже... Кто донес? Что именно?» – мысли прыгали в еще сонной голове с лихорадочной поспешностью. Я знал, что ни в чем не виновен, и все же сразу по спине пошел холодок. Время было тяжелое: началась война, немцы рвались в глубь страны.

Но, войдя в кабинет начальника оперчекистской части, я сразу успокоился: за столом вместо нашего **идеального законника**, подтянутого и культурного Долинского, развалился в полушубке и мохнатой шапке, сдвинутой на затылок, начальник лагпункта Сидоренко: когда опер бывал в отъезде, Сидоренко, про которого заключенные говорили, что он – бывший милиционер, замещал его и любил по ночам вызывать людей и разыгрывать из себя политического Шерлока Холмса. В общем, это был малокультурный и чудаковатый, но неплохой человек: о нем мне с одобрением рассказывали товарищи еще на Штабном лагерном пункте в Мариинске, когда я получил направление на работу сюда. Как и я, начальник раньше работал на другом лагпункте и был переведен на наш недавно. Я его знал плохо и пока только начинал приглядываться к нему. Дело в том, что Сидоренко не был похож на тех начальников, к которым я на третьем году заключения уже привык: все они, кадровые служаки и случайно попавшие в лагерную администрацию люди, являлись равнодушными свидетелями человеческого горя и более или менее аккуратными механическими исполнителями порученного им дела, то есть чиновниками, придут утром в положенный час, отработают положенное время и уйдут за зону – заниматься своими делами, и заключенному потом нечем их вспомнить: были ли они хороши? Плохи? Трудно сказать, потому что вместо живого человека в фуражке с синим верхом здесь действовала толь-

ко фуражка – устав, предписания и сложившиеся на месте привычки. За это время я не встретил ни одного жестокого садиста и ни одного культурного, умного и доброго человека – это были почти неограниченные владыки с культурным багажом постового милиционера. Сидоренко был первым начальником с ярко выраженными личными особенностями, а поэтому мне надо было на первых порах быть с ним начеку, тем более что я числился штрафником. Знакомство с ним совпало с тяжелыми обстоятельствами в моей жизни.

Двадцатого июня сорок первого года ко мне в Мариинск, где я тогда работал врачом на Штабном лагпункте, приехала из Москвы жена. За хорошую работу командование разрешило мне пять трехчасовых свиданий. На свидание моя жена явилась похожей на скелет, она умирала от бурной вспышки туберкулеза, которая началась после моего ареста, и приехала проститься перед смертью. Прощаясь, жена судорожно обняла меня за шею, надзиратель стал отрывать, грубо дернул, и больная женщина упала, и изо рта у нее хлынула кровь. Я потерял голову, бросился на надзирателя и избил его до крови. В этот день началась война. Переполюх, вызванный войной, помог мне избежать суда и суровой кары. Я отделался карцером и был со Штабного лагпункта в Мариинске сослан сюда на должность фельдшера. Ослепшая старушка-мать, использовав отъезд жены ко мне, отравилась, чтобы не висеть на шее у больной. После начала войны жену выслали вместе с ее сестрой из Москвы. В эвакуации она всем мешала кровотечениями и беспомощностью. Коротенькие письма от нее самой, от ее сестры и знакомых были сухи и обходили все самое главное и острое, но и того, что я мог понять из скудных фраз, было достаточно.

Сидоренко кивнул на стул.

– Сидай. Зараз все Расскажи про твои преступные связи с Антантой. Учти: я усе знаю. Поэтому не бреши и не выкручивайся.

Он довольно усмехнулся, потом сурово нахмурился и свирепо гаркнул:

– Ну? Давай!

Вообще вопрос не удивил меня. После ареста я много раз бывал на допросах – и страшных, и нестрашных, всяких – и знал, что каждый нестрашный может всегда обернуться страшным.

– Позвольте, гражданин начальник, – начал я осторожно. – Я, правда, бывал за рубежом, но это случилось в годы, когда Антанты уже не было.

– Та куды ж вона запропастилась?

– Рассыпалась. Это всем известно.

Сидоренко посмотрел на меня озадаченно.

– Хм... Як вона рассыпаться могла? Ты зачинаешь выкручиваться, а?

Он нагнулся ко мне.

– А это што? У меня в руках письмо к тебе от этой самой Антанты. Тебе письмо чи ни? Отвечай!

Он протянул почтовую открытку. Сердце так стукнуло, что я взялся рукой за грудь.

– Это от Иоланты, моей жены! Иоланты, а не Антанты, гражданин начальник!

– На, читай, – и начальник сунул мне в руку измятую и замусоленную в чужих руках почтовую открытку. Там было написано всего несколько слов. Я опустил голову. Прошла минута, другая.

Сидоренко почесал затылок и сдвинул шапку сначала на лоб, потом набок. Другим голосом сказал, косо глядя в ночь за окном:

– Эге... Це про твою жинку? Хм... Я и сам уж пидумав, що це вона... – И вдруг, как бы желая отвлечь меня от моих мыслей, гордо откинулся в кресле, распахнул полушубок и постучал желтым от махры ногтем по ордену на груди: – Усем давным-давно известно, що Антанта рассыпалась, хай черт ее забере! Здорово мы ей давали жару пид Пятихаткой, у Жмеринки та на Перекопе – з того ж вона и рассыпалась! Бачишь геройский орден? То-то! З рук самого Климента Ехремовича получив! А ты – Антанта, Антанта... Да я сам усе давно знаю про ее, суку, про лорда Керзона, про все чисто. Ну, иди спать. Эх, ты, Антанта!

С беззлой хитринкой в глазах подмигнул мне и приосанился – дескать, здорово я тебя проверил, а? И добавил:

– А про жинку знаю. Ты держишь себя, як положено мужику, Антанта.

С тех пор Сидоренко, когда бывал в хорошем настроении или приходил ко мне с какой-нибудь просьбой, всегда называл меня Антантой и подмигивал одним глазом. Без свидетелей, конечно.

В ту ночь, придя в барак, при мигающем свете копилки я опять прочел открытку. Еще и еще. Но что читать-то, если и так все до предела ясно и бесповоротно? Вопреки нарочито запутанной (для лагерной цензуры) фразе сомнений и надежд больше не оставалось. Иоланта умерла.

Я неясно помню последующие несколько месяцев. Все стало мне ненужным, все проходило мимо, как будто не задевая меня. А месяцы начались поистине страшные. На лагпункте находилась тысяча заключенных. Ежедневно умирало до десяти – пятнадцати. Были открыты два специальных барака, откуда никто не выходил сам, из них только выносили. Я был туда назначен заведующим. Количество овощей в кухонной раскладке оставалось прежним, и голодных смертей в прямом смысле не было, потому что, кроме хлеба, каждый лагерник получал три раза в день капустный или турнепсовый суп с картофелем и кашу. Но белки отсутствовали, и у всех заключенных стало развиваться заболевание, позднее получившее в мировой медицинской литературе название квашиоркор: люди быстро отекали или высыхали, умственные способности расстраивались, больные теряли возможность передвигаться. Они накрывались с головой, отворачивались лицом к стене и умирали – без стога, без сожаления, без ропота. Топлива не хватало, хотя торф лежал рядом, за зоной. Борьбу с клопами вести было некому и нечем. Электричество в бараках погасло. В темном и холодном помещении я сидел один вместе с неподвижными больными и восторженно суесящимися клопами. Едва живой от слабости я ожидал свою очередь. Многие больные умирали, не пролежав и трех суток, и тогда я должен был, согласно правилам, производить вскрытия, и делал это тупым ножом, без перчаток, вскрывал десятками и сотнями.

Население нашего загона фактически вымерло за один сорок второй год, сам загон от этого не пустел: с этапами прибывали новые лагерники взамен списанных, и так как по штатному расписанию лагпункт должен был иметь тысячу заключенных, то он их всегда имел, тысяча оставалась всегда тысячей, лишь менялся личный состав. Лагерь имел сходство с кастрюлей, из которой на горячей плите испаряется вода: взамен испарившейся подливается другая, новая, и уровень ее остается прежним.

В таких условиях потерю матери и жены я переносил тяжело: расход душевных сил был слишком велик. Как инстинктивная мера самозащиты появилась замкнутость, погруженность в себя, отчужденность. Но и такой экономный расход сил все-таки оказался губительным, и мозг стал истощаться. Я начал замечать в правом углу поля зрения протянутую ко мне руку с шевелящимися пальцами и как врач мучился тем, что не мог объяснить себе природу такого

явления: была ли это игра сосудов сетчатки на почве повышения общего и внутриглазного давления и кровоизлияния в камеры глаза или чисто психопатологический сдвиг – галлюцинация и спутанность сознания? Конечно, лекарств не было, и средой изменить я не мог, оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Однако как врача меня это, конечно, очень занимало.

Больничную зону отгородили от рабочей колючей проволокой, но я имел право выхода, и вечерами голодные женщины кричали мне через проволоку:

– Доктор, идите в клуб! У нас сегодня танцы! Оторвитесь от своих дохликов!

Это был пир во время чумы.

Иногда ветер доносил оттуда звуки музыки, пение. Наша культбригада ставила все больше фарсы и комедии – «Чужой ребенок», «Тетушка Чарлея» и т.п. Центральная культбригада из Мариинска раз в месяц угощала нас более серьезной и изысканной пищей.

– Мойте руки, доктор, и идите сюда. Приехала центральная! У нас сегодня «На дне», – кричали мне, когда я выходил на крыльцо морга, чтобы глотнуть свежего воздуха и немножко прийти в себя.

– А я уже на дне! Мне идти некуда! – шутил я и показывал девушкам руки. Они с криком разбежались, а я, покачиваясь от слабости, шел бессмысленно потрошить следующих серых и бесформенных. Их было много, они снились мне ночами, но те сны носили профессиональный характер и совершенно не казались страшными.

Страшной была тогда явь.

– Слухай, Антанта, до тебе дело есть, – рявкнул Сидоренко однажды после развода, ввалившись в амбулаторию и с грохотом усаживаясь на топчане.

Я внимательно посмотрел на него. Вид у начальника был обычный, как у буденовца после сабельной рубки: телогрейка нараспашку, на гимнастерке орден Красного Знамени с огромной во всю грудь полинявшей розеткой, заливчатый чуб, фуражка на затылке. Одним словом, артист Бабочкин, загримированный под Чапаева, хоть фильм крути! Устроившись поудобнее, он закончил:

– Сидай та слухай! Ох, хорошо же у тебя в амбулатории, сюды зайтить – чистая радость!

Он был прав. Домик амбулатории находился на краю зоны, прямо у огневой дорожки, и выглядел очень опрятно, я бы сказал, кокетливо: лагерь был **оздоровительный**, переделанный из совхоза. Едва ли не половина заключенных числилась больными и выздоравливающими, то есть находилась в ведении медсанчасти, а потому являлась для нее бесплатной рабочей силой. Не в пример другим лагерным постройкам, обнесенным общим высоким дощатым забором и колючей проволокой, этот домик снаружи был всегда чисто выбелен и подкрашен, а внутри приветливо улыбался нарядной чистотой: полы выскоблены добела осколками стекла, на окнах – занавесочки из хирургической марли, выкрашенные медицинской метиленовой синью в небесно-голубой цвет, топчаны и столы покрыты свежевystиранными и отутюженными больничными простынями. В углу стояла и радушно приветствовала входивших еще одна принадлежность лагерного медицинского уюта – тонкий лом для укрощения некоторых больных из мелкой шпаны и проезжего шакаля во время лечебного приема. (Конечно, пользоваться им нужно было умеючи, иначе можно проткнуть нападающего насквозь или переломить ему хребет.) Это был любимый командованием показательный уголок лагерной культуры, и начальники ежедневно забегали сюда покурить, отдохнуть, посоветоваться и поругаться между собой, а то и вздремнуть. Здесь же у меня собирались и полумертвые члены нашего негласного литературного кружка, чтобы обсудить творческие планы и прочесть что-нибудь новое. Хотя я был выслан из Мариинска без права работать на врачебной работе, то есть для физического труда, но сразу же был назначен формально фельдшером, а фактически – врачом. Помимо меня на лагпункте тогда работали еще врачи – Мария Васильевна, доктор Волковая и другие пожилые женщины. Более спокойную работу в больнице получили они, а самые неприятные участки – амбулаторный прием, санитарный надзор за зоной, в первую очередь за пищеблоком, и обслуживание штрафного изолятора и этапов – достались мне. В должности фельдшера со мной работал бывший московский студент-медик: как бытовик с легкой статьей и сроком он имел пропуск за зону и потому был очень нужным человеком.

– Вспоминаешь, дохтор, предпоследний этап? Ну, малолетский, мы его еще комисовали здесь, бо баня стояла на ремонте та не топылась? Ага, вспомнил? Подбросили нам

тогда всякую падаль, оторви та выбрось: парни и девки уже потерлись на пересылках та нахватались разных премудростей, короче – наблатыкались. Одни – грубияны, лезут в духари, другие – отказчики та симулянты, все работать никак не хочуть. У тебя, небось, побывали?

Я кивнул на лом.

– Побывали, гражданин начальник. Этот этап я помню.

На комиссовке подростки стояли серые и тонкие, будто прозрачные: некоторых санитары поддерживали под руки. Трое умерли в пути, и я уже произвел вскрытие – так, ничего интересного, просто резкий упадок питания и дистрофические изменения: сердца у них остановились потому, что устали биться. Человек пятнадцать лежали в больничном бараке без диагноза с пометкой: «После этапа». Эти отлежатся. Войдут в силу. И станут опять такими, как были, – наглыми, разнузданными, агрессивными.

Заканивалось лето 1943 года – время неисчислимых потерь на фронте и в тылу. Снабжение гражданского населения стало очень скудным, на военных заводах рабочие шли к станкам далеко не сытыми, а что же говорить о нас, заключенных? Жиры и мясо из нашего пайка беспощадно расхищались недоедающими начальниками и лагерной обслугой – каптерами и поварами. В зоне росла смертность. Единственным спасением для лагерника оказался выход на работу: лагерь был сельскохозяйственный, труд – обычный, крестьянский, на работе выдавали дополнительное питание, и можно было при удаче подобрать морковку или стянуть пару картофелин. Каждый лишний кусок означал шаг к спасению, но эти еле живые подростки упорно отказывались от работы и изображали из себя **честных воров**, которым **блатной закон** запрещает трудиться. Сочувствие к ним пропадало: мы понимали, что растет смена тем, кто в лагерях делал наше существование трудным, а подчас и невыносимым.

– Эта девка, – объяснял между тем начальник, – малолетняя проститутка, була связана с преступным миром. Конечно, отощавших лечи, це положено. Но таких, як вона, буду лечить я сам: девка здоровая, но притворяется глухой. А по закону я не могу выводить за зону глухую – вона не чуеть команды конвоя. Но я ее ломаю! Лломаю!

– И что же вы собираетесь с ней делать, гражданин начальник?

– Зараз побачишь. Пошли дневального за девкой в малолетский барак. Хвамилия – Сенина, зовуть – Татьяной. А теперь слухай дальше та помогай мне честно, совершенно честно.

Начальник встал и растворил окно, выходившее на оплетенный колючей проволокой высокий забор, из-за которого шаловливо выглядывали верхушки **вольных** березок.

– Як привести девку, ты ей заговори зубы и дуже внимательно дывись на лицо. А я сховаюсь сзади, та выпалю з пистолета в окно. Ты только замечай, як вона скривится чи щось скаже – замечай точно, все дело будет в тебе. Сумеешь, Антанта?

Я нехотя пожал плечами: ясно, что для Сениной будет лучше, если она станет работать. Но солидарность заключенных мешала мне участвовать в такой проверке – сам я считал себя вправе разоблачать симулянтов для их же пользы, хотя они этого и не понимали, но помогать начальнику мне казалось чем-то зазорным.

– А вы имеете разрешение от опера, гражданин начальник? Как бы чего не вышло?

– Эх ты, голова! А еще интеллигент! Да наш лагерь як называется? **Справительно-трудовой!** Ось як! Без труда туточки люди пропадают, а за труд выдается дополнительное пищевое довольствие и теплое обмундирование первого или второго срока. Без труда опять же выскакивают разные мысли, человек приучается баловаться, жить на чужой счет. Ты же, врач, сам все знаешь. Чего ж виляешь, а? Надо выполнять положенное.

– Все знаю, но, гражданин начальник, Долинский...

– Хе, дался тобі Долынський... Плохо ты его понимаешь! Знаешь, хто вин? **Интеллект!** Моя Надя, – а вона студентка медицинского института – як его побачила, зараз так и казала: «Папочка, каже, Анатолий Эдуардович – интеллект». Понял? Мы должны вашего брата, заключенных, не тильки сторожить, но и перевоспитывать. Ясно?

«Вот дурак!» – подумал я, вспомнив холеное розовое лицо Долинского, но возразил опять, хотя меня, в конце концов, все это очень мало касалось, – только простофиля Сидоренко невольно возбуждал к себе симпатию и было бы жалко, если бы по своему неразумию он влип в какую-нибудь историю.

– Я все понял, мне все ясно. Но оперуполномоченный большой законник. Он разрешил вам такую проверку?

Сидоренко вспыхнул.

– Не то чтобы разрешил, а не возразил. Главное – знает, в курсе, стало быть, дела. Ну и все! Што мне опер? Я начальник! Я здесь за главного! Опер – политическая часть, а я – следственный орган. Он – только одна линия, а во мне уси линии сходятся – я отвечаю за хозяйство и за людей, я туточки – советская власть. Ну, скажи – понял? А понял, так не дрейфь, Антанта, а помоги исправить девку. Тильки в цем деле нужна честность и доброта. Ты на доброту к людям та на честность к ним способен, Антанта?

– Если сомневаетесь, дайте мне пистолет: я выстрелю, а вы наблюдайте за девкой! – насмешливо пошутил я. И сделал, конечно, ошибку.

Сидоренко откинулся на топчане и сдвинул фуражку на самый затылок. Не понял шулки, идиот, или действительно верит, что я враг? Первое мне безразлично, но второе...

– Ага, – процедил он наконец сквозь зубы, – ага, умный який сыскався! Я тебе дам пистолет, а ты ж меня и положишь туточки на мисте! Хе, хвашист, а хитрый!

Я опустил голову.

Положение заключенных врачей было двойственным: начальство нуждалось в нас, предоставляло работу по специальности, и это давало некоторое моральное удовлетворение. Как знающего иностранные языки меня даже вызывали в оперчекистскую часть цензуровать письма из-за границы, дело доходило даже до нелепостей. Но душевное спокойствие не длилось долго, потому что сейчас же какая-нибудь грубость, одно обидное слово, даже случайно оброненное, вонзалось глубоко в сердце, и потом оно болело днями и ночами, а тем временем наслаивались свежие обиды и боль, превращавшие наши сердца в кровоточащие раны, боль не утихала никогда. «Я страдаю, значит я живу», – с болью и возмущением сказал бы товарищ Декарт, доведись ему отбывать в нашем лагере четвертак за шпионаж в пользу папы римского.

Я ничего не ответил и только крепче стиснул зубы.

Между тем привели девку – обыкновенную отказницу, грязную, лохматую, в дырявой телогрейке и ватных штанах. Я мельком взглянул на учетную карточку и не нашел в ней ничего хорошего. Девка переступала с ноги на ногу и не поднимала низко опущенной головы.

– На что жалуешься? Что болит?

Она развела руками. Как врач я понимал, что этот жест выдал ее – она меня слышала. Без Сидоренко я бы с ней справился в два счета...

Начальник за ее спиной, кряхтя, полез в карман за пистолетом, щелкнул предохранителем и стал не спеша целиться в окно. И девка поняла, что за ее спиной что-то происходит: она пугливо вскинула на меня бледное, грязное и все-таки очень милое, почти детское лицо. Широко раскрытые серые глаза молили о помощи. Я едва успел подмигнуть ей, как грянул выстрел. Девка не вздрогнула, она поняла мой знак, только лицо все-таки передернулось от неожиданности.

– Ну, як?

– Сами видите, гражданин начальник: никакого действия! Глухая, как пень! – отрапортовал я и подумал: «Я тебе покажу хвашиста!»

– Все вы пни! – выпалил в сердцах Сидоренко и выскочил вон, с размаха трахнув при этом дверь, но сейчас же опять открыл ее, добавил с порога: – Ты – не интеллигент и не врач: нет в тебе человечества! – и затворил дверь.

Что-то больно укололо в сердце, я присел к столу и опустил голову на руки.

Нет человечества... Гм... И кто это говорит? Мне? Ну и времена пошли – пауки проповедуют пойманным мушкам гуманность... А возможно ли человеколюбие в лагере? В отношениях между заключенными – да, оно возможно, оно есть. Есть оно и в глубоко человеческой идее, на которой были построены советские лагеря еще при Ленине и Дзержинском. Но ведь эти времена прошли, теперь идет ломка всего хорошего, что было, и наши теперешние начальники – это ставленники нового времени, они выполняют **его заказ**. И вдруг такие слова... «Нет в тебе человечества»... Болван! А если... Гм... Да нет, не может быть!

– Прощайте, доктор, – грязная девка притронулась к моему плечу и благодарно улыбнулась. – Говорю, мол, прощайте и... Спасибо!

И вдруг сквозь ее улыбку я увидел другую девушку: она мне показалась чистой, невинной и честной. Это были человеческие глаза...

Так за что же она меня благодарит? За вынутый изо рта кусок хлеба?

На следующий день начальник явился снова, на этот раз после обеда, когда больница погрузилась в желанный сон.

– Пелагея Ивановна, жинка моя, тебя клычать, дохтор! Зараз собирайся!

Жена Сидоренко уже много лет страдала параличом обеих ног – еще на Украине она попала под автомобиль. Ее лечила вольный врач, начальник нашей медсанчасти, болезнь была хронической, и ничего срочного случиться не могло. «Странно, – думал я, собирая в сумку скорой помощи все, что могло понадобиться у постели такой больной. – И почему он явился в нерабочее время, будто тайком? Здесь что-то есть». На вахте начальник расписался за вывод заключенного из зоны, демонстративно сунул в кобуру свой пистолет, и мы отправились. Согласно правилам, я заложил руки за спину, слегка наклонив голову, и на положении конвоируемого прошел калитку для вольнонаемных сотрудников. Сразу за забором начинался убогий поселок с пышным названием «вольный городок». По сравнению с зоной, всегда чисто убранной и подкрашенной, эти беспорядочно разбросанные избы производили жалкое впечатление: на всем лежала печать всенародного бедствия и разорения, печать страшной войны не на жизнь, а на смерть. Заборов не было – они пошли на дрова, собаки и кошки исчезли – кормить стало нечем, здесь и там под открытым небом посреди пустынных дворов угрюмо застыли лохматые низкорослые коровенки – единственное богатство людей, которым заключенные в зоне так остро завидовали. Мы вошли в дом начальника – конечно, самый большой дом поселка. В передней, нахохлившись, стояли куры, которые при нашем появлении начали было проявлять признаки некоторого оживления, но потом узнали хозяина и, не ожидая ничего хорошего, смолкли и повернулись к нам задом. В большой горнице, в ящике, по-детски пищал поросенок, прикрытый тряпьем. На столе стояли: бутылка браги, щербатая тарелка с кружками колбасы и два стакана. С самодельной очень чистенькой постельки, стоявшей в углу, нам приветливо улыбалась маленькая иссохшая женщина, все еще очень милорвидная. Я поздоровался и стал вынимать перевязочные материалы.

– Пролежни? Я так и думал, гражданин начальник. Помогите повернуть больную на правый бок.

– Слушаю.

– Только отойдите от света, мне плохо видно.

– Слушаю.

Рана оказалась хорошо обработанной. «Это начальница постаралась, – подумал я. – Так зачем он меня вызвал?»

– Ну-с, теперь перевернем на другой бок и посмотрим вторую рану. Да отойдите же от света!

– Посторонись, Остап Порхвирович, не стесняйся. Что же делать... Пусть доктор знает – куды же денешься?

Я поднял голову.

– Я верующая, товарищ доктор, а вин переживает, бо на стене висит икона. Стесняется – коммунист он у меня и герой! Так вы не осудите, товарищ доктор!

Сидоренко смущенно крякнул и расправил усы.

– Воно, конечно... Гм... Не положено, штоб икона на стенке... Да жалею вот жинку несознательную: болеет она сильно... А икону я враз зничтожу в день, як жинка встанет. Это уж само собой. Я – коммунист и скидок на то да на се не обожаю, а для себя самого вообще их не допускаю. Ты понял, Антанта?

Из-за его плеча на меня искоса поглядывала Мона Лиза, сложив на круглом брюшке пухлые руки, и весьма двусмысленно улыбалась. Это была старая репродукция, сильно выцветшая. Перед Джокондой висела на проволочке баночка из-под сапожного крема, в ней теплился фитилек. Все было как полагается... Пелагея Ивановна поймала мой взгляд.

– Икону теперь и не достанешь, товарищ доктор, – время тяжелое, война. У меня вот сыночек старшенький на хронте пропав без вести. Був пограничником. Может, вернется, однако... – Она полезла под подушку, вынула чистенькую тряпочку и вытерла слезы. – А икона была у меня дуже добрая, да заключенные девки вкрали: пришли помыть пол, а я заснула, так воны и вкрали. А зачем она им? Удивляюсь! Та була Иверская, точно як в Москве, а эта неизвестно якая. Помогает ли, нет – хто знает...

– Помогает, не сомневайтесь, гражданочка, – заверил я и с видом знатока прибавил: – Это Луврская, она лучше Иверской. Вот поправитесь, увидите сами!

Сидоренко благодарно посмотрел на меня и покрутил головой.

– А теперь сидай за стол, Антанта. Будь гостем. Поговорим!

«Вот оно что. Занятно!»

Мы не спеша выпили и закусили. Брага и колбаса с луком и уксусом показались мне необычайно вкусными, ска-

зочными, фантастическими: я их не видел шестой год. Потом мы закурили по настоящей папиросе. Я мысленно поднял тост за Мону Лизу – это были ее проделки! Я готов был перекреститься...

– Я так полагаю, – медленно начал Сидоренко, пуская в пространство синий дымок, – я так полагаю, что наша жизнь, конечно, твердая, очень твердая, вроде будто орех: кусаешь – и зубы болят. А бывает, что и ломаются. Но всякий орех имеет живое ядро, без него он – гадкая шелуха, она и свиньям даже не в потребу. Ясно? Живое ядро в нашей жизни есть, его треба тильки знать и уметь доставать: это – человечество. Наша партия, Владимир Ильич Ленин и великий вождь Иосиф Виссарионович Сталин для того и революцию сделали, щоб вести народ к человечеству, скрытому от него за самодержавием. Ты понял, Антанта? Раньше, за царя, мы ломали себе зубы та бильше ничего с жизни не имели, а пришел Ленин и показал нам живое ядро, без которого сам орех нам был не в радость и не в корысть. Теперь – другое дело! Советская власть – за человечество. Дывись, ты и шпиен, и предатель, короче, извини меня – сукин сын: попались ты мне за гражданскую войну, я б тебе – х-х-хак! – и рубанул голову с плеч. Коротко и ясно!

Я передернулся, но смолчал: спорить было бесполезно. Сидоренко с видом проповедника вдохновенно продолжал, размахивая в воздухе кружком колбасы на черной кривой вилке:

– А советская власть тебя пиймала та кормить, та дает возможность работать по специальности: ты був дохтор на воле, ты есть дохтор и в заключении! Мы справляем вас трудом. Но сам труд ничего не дает, хвашисты тоже трудятся не меньше нашего, нас от них не работа отличает, а человечество: они – зверюки, мы – люди. Понял, Антанта? Скажи мне: понял?

Он подлил себе и мне браги, мы хлебнули и взяли с тарелки по кружку колбасы, предварительно поваляв их в ук-сусе с луком: у меня все еще текли слюнки от одного этого давно забытого запаха.

– Ось ты работаешь у мене в лагере, работаешь добре, слов нет. Но, – Сидоренко повернулся ко мне и постучал вилкой о стол, – но делаешь все без души. Ты лускаешь скорлупу и не хочешь нияк понять, що пид ней – сладкое ядро. Ты без утешения работаешь, Антанта: день пройдет, ночью в постели тебе и порадоваться нечему, потому как нечем тебе вспомнить потраченное время. А вот я каждую

ночь радуюсь – у меня день проходит не напрасно. Ты меня понял?

Я еле разжал зубы. Говорить о своей семье бесполезно. Да и не в этом дело.

– Понял, гражданин начальник. Недавно начальник Долынский искал украденные в каютке телогрейки. Явился в амбулаторию, все перевернул вверх дном, перетряс мои личные вещи в кабинке. Ничего не нашел. Потом говорит: «Доктор, мне известно, что вы знаете, кто вор и где спрятано украденное. Я обращаюсь к вам как интеллигент к интеллигенту, больше того – как человек: помогите восторжествовать закону!» Я тогда подумал: «Ты, милый, должен был начать с этого. А то тряс, тряс, ничего не нашел и теперь поешь о человечности!»

Сидоренко покачал головой.

– А для кого было вещевое довольствие? Для вашего брата, заключенных. Долынский хочет тебе добра, и так каждый коммунист, наверх аж до Сталина: советская власть стоит на добре, а ты озлобился на нас и за то идешь мимо людей. Яких? Та твоих же товарищей! А при чем туточки воны? Воны страдают, як ты сам, но бачишь – вольный начальник тому сочувствует, а ты, лагерник, – хоть бы хмык! Сердца у тебя – ни грамма! Антанта, помни, у тебя здесь свободный выбор: хочешь – будь человеком, хочешь – зверюкой! Своим равнодушием об нее и злобой на меня ты Татьяне Сениной сделал зло и ее доведешь до режимной бригады, ты оставил работяг без телогреек и за чего? За Сидоренку, за Долынского! А разве Сенина одна в зоне? Тебе доверена тысяча человек! Я говорю, слухай хорошенько: не думай за нее, думай за себя. Я ж добре бачу: ты за людей считаешь тильки контру, а бытовики та воры для тебя не существуют, их болью ты не болеешь. Плохо, Антанта, дуже несправедливо. Мы в Красной Армии и беляков раненых лечили! Ведь наш боец – завсегда человек! А ты? Хочешь выйти живым з лагеря – будь человеком! Потеряешь в себе человечество – выйдешь мертвецом!

Возвращаясь в лагерь, я мысленно пожимал плечами. Идея хорошая и верная и изложена для лагерного начальника неплохо, но стоило ли вызывать меня к себе ради такой нелепой проповеди?

Многим позднее жизнь ответила:

– Стоило!

Лечение трудом

Торжество и радость в лагере не длятся долго.

В стороне от правильных рядов мужских и женских рабочих барачков, ближе к больничной зоне, вытянулся грязный, запущенный барачок, из которого всегда неслись песни, сквернословие, хохот и визг: внутренний коридорчик, темный и скользкий, разделял его на две равные половины – мамскую и малолетскую. В мамской жили беременные и матери. Декретные отпуска до и после родов, правила предоставления легкой работы беременным и кормящим и положение о дополнительном питании (молоко, сливочное масло и сахар) строго соблюдаются и в заключении. Они не нарушались даже в эти годы всенародного бедствия и использовались уголовницами и бытовичками для своих целей: рождение детей для них являлось своего рода дополнительной профессией, избавляющей от соблюдения режима, от работы и от скудного питания на общей кухне, и не случайно всюду, где отбывают срок уголовницы, начальство обязательно строит мамский барачок, родильный дом и ясли. Мамский барачок не подчинен нарядчику, начальники туда заходить боятся, а поэтому его можно считать земным отделением преисподней: там грязные полуголые женщины занимаются перешивкой краденого, литрами продают голодным инвалидам женское молоко, разведенное водой и мелом, и принимают мужчин. Сидоренко тоже не совал нос на мамскую половину: ему донесли, что бабы его проиграли. Какая-то мамка, спустив в карты все свои тряпки, поставила на кон его самого, опять проиграла и обязалась вылить начальнику на голову ведро жижи, почерпнутой в уборной. Сидоренко знал, что за дверью всегда стоит наготове полное ведро, а за печкой припрятан топор на случай, если проигравшая **заиграется**, то есть не выполнит обещанное: **по закону** заигравшимся полагается смерть, и в таком случае мамки сообща ночью зарубили бы нарушительницу. Беда была в том, что начальник никак не мог установить фамилию этой женщины и сплавить ее в этап, а потому на всякий случай держался подальше от всех мамок.

Через коридорчик зловонные потроха мамской половины во всех подробностях были видны с порога малолетской половины, где размещены девочки, которых из соображе-

ний нравственности и человеколюбия в лагерях выделяют из здоровой рабочей среды и сталкивают лицом к лицу с лагерным дном. Малолетки также, если не по положению, то фактически, жили без работы и дисциплины – закон **охранял** их несовершеннолетие, а для начальника они всегда оставались только обузой: в условиях лагеря невозможно установить для несовершеннолетних особые нормы выработки и предоставить им нужное количество легкой и легкой работы. Однако Сидоренко в свободное время залетал в малолетское отделение, учинял там погром, наиболее дерзких отсылал в штрафной изолятор, и тем дело кончалось до следующего налета. К Сениной он пристал из-за явно симулированной глухоты, из-за неудачи с выстрелом, а может быть, еще и потому, что какая-то осведомительница успела передать ему несколько ее обидных слов: девка была, как говорится, с норовом.

В начале осени начальник снова явился в амбулаторию по поводу этой же отказчицы.

– Помнишь Сенину, Антанта? Долянский посоветовал списаться с ее мамой и просить навестить дочку, – вона живет недалеко, под Новосибирском. Сейчас баба вже на вахте! – он довольно потер руки и рассмеялся. – Зараз собирайся, все трое пойдем в барак, и вона загукает дочку з порога: побачимо, услышит глухая голос матери чи ни. Враз составим акт, и я завтра турну ее в режимную бригаду. Я тобі казав, що ее вылечу и вылечу, побачишь сам! В труде – туточки усе спасение, позднее девка це пойметь и буде мне благодарна! Пишли!

Марфа Прокофьевна, сухощава, слегка сутулая колхозница с мешком сухарей за спиной и клюшкой в руках, увидя меня, вдруг заплакала. Когда мы шли позади начальника к бараку, она шепотом спросила: «Сколько?» – и на мой ответ: «Двадцать», – перекрестилась, на ходу вынула из мешка большой сухарь и сунула мне в руку. Перед тем как войти, остановилась, вытерла лицо краем головного платка, несколько раз провела по груди корявой ладонью, вздохнула и потом засеменила вперед. Вой и визг с мамской половины на мгновение ошеломили ее, она торопливо, но метко плюнула в сторону какой-то багровой туши, которая с порога пропела: «Зайдите сюда, начальничек, я вам что-то покажу, очень даже интересное!» – и рванулась к другой двери – Сидоренко, как видно, уже рассказал ей все что нужно.

– Сюды, товарищ начальник?

– Туды, гражданочка.

Но едва мать распахнула дверь и приготовилась головою вперед нырнуть в плотную клейкую муть махорочного дыма и сквернословия, как Сидоренко галантно придержал ее за рукав, приятно ослабил ее и взял под козырек:

– Давайте не входить, мамаша, давайте не надо! Кричите з порогу, як я вам объявляв!

Задыхаясь от волнения, мать поставила мешок на заплыванный пол, прижала натруженные руки к впалой груди и негромко крикнула:

– Танюшенька! Дочка!

Она старалась вобрать в грудь как можно больше воздуха, чтобы ее вопль смог проткнуть это горячее зловоние, но ничего не выходило: стоя у порога, пожилая измученная женщина глядела в сизую тьму, сжимала руки на груди и бессильно повторяла:

– Доченька! Доченька!

И вдруг из самых глубоких недр барака ответно прозвучал чистый молодой голос:

– Мама!

Разбрасывая всех на пути, дочь из темноты рванулась на зов. Крики стихли, малолетки поняли смысл происходящего и замерли в ожидании. Мгновение – и дочь повисла на шее матери.

– Я ж казав: си-му-лянт-ка! – торжественно повернулся ко мне начальник. – Пиши акт. Теперь спущу с девки шкуру! Раз ты по-хорошему не разоблачив, теперь по-плохому буду ее спасать я.

Глава 3

Что такое выбрасывание флага?

Началась недолгая и ясная сибирская осень.

Сначала буйная и полнотелая тайга поблекла, притихла, стала задумчивой, будто углубленной в себя. «Она сейчас, как девушка, которая узнала, что скоро умрет, – говорил я себе. – Она поглощена внутренним ощущением обреченно-

сти!» Но прошла неделя – две, и настал черед моих двух любимых дней; каждый год я ожидал их с волнением, ждал и все же всегда неизменно дивился этому чуду: утром выйду на крыльцо амбулатории и за табличками с надписью: «Огневая зона. Часовой стреляет без предупреждения», позади черных костлявых сторожевых вышек вдруг вижу тайгу в нежно-розовом платице, кисейном и до слез трогательном: умирая, девушка кокетничала, она приподнялась, взялась розовыми пальчиками за высокий забор, увитый ржавой колючей проволокой, и заглянула к нам в зону, улыбаясь и ожидая возгласа приветия. В эти дни неизменно сияло солнце, воздух был синь и свеж, на дулах нацеленных на нас автоматов блестели и трепетали паутинки. Круглый год, любуясь сибирской природой, я не забывал повторять: «Судьба, верни меня в серые улицы городов, дай мне еще раз надышаться автомобильным чадом!» Но в эти розовые дни подумать такое казалось кощунством. Потом умирание природы шло быстрее, она старилась на глазах. Начались дожди и грязь: в косых полосах холодной воды рабочие бригады, нахохлившиеся и продрогшие, уходили в серое зыбкое никуда и растворялись в нем. Но и это длилось недолго. Наступили дни туманов, прозрачных, серо-розовых, сибирских – нашенских и родных, как эти таблички, и ржавая проволока, и вышка. И вдруг утром, идя на развод, я услышал, что земля, покрытая серебряным налетом изморози, гудит под ногами, как чугун. Зима идет... Как бодро дышится, как спокойно и твердо глядится вдаль, в безвозвратно потерянное. «Неужели это было? – объятый светлой печалью, повторяю я. – Я теперь болен и стар, мне сродни только вот эта одна призрачно-серебристая мгла. Но благословенно все, что было». И отставной строитель и борец улыбается, пожимает плечами и бодро ковыляет на развод. Что это – торжественный финал? Сцена под занавес? О, нет, они еще впереди: я верю в правду на советской земле, я додержусь! Если только сумею сохранить в себе **человечество**... Спасибо Сидоренко: он вернул меня к людям. Я опять не один! Еще считанные дни, еще – и наступит смиреннейший и тишайший серенький денек, и крупные хлопья снега повалятся к нам в зону: зима теперь уже всерьез вкрадывается в нашу жизнь, притворно ласковая вначале и такая неумолимо жестокая потом. Первый пушистый снежок покрыл заплаты на бушлатах и украсил втянутые в плечи головы, обернутые тряпьем, – теперь издали лагерники похожи на вся-

ких людей, даже на иностранных богатых туристов... Почему нет? И как конец всем чудесным превращениям осени – мороз: без предупреждения, сразу, по-сибирски, так это градусов под тридцать и больше. Ура! Клопы исчезли! Сомнений нет, зима здесь!

Лагерная жизнь текла своим размеренным чередом, крепко подкрученной рукой войны: наше хозяйство перевели на выполнение жестких заказов военного ведомства, замедлить выполнение которых было нельзя. В основном лагпункт перестроился на поставку свиного мяса в тушах – свинарники были сильно расширены и продолжали расширяться, а зерновое хозяйство отошло на второй план. Ремонтно-механический завод начал поставлять детали в Мариинск, а тамошний РМЗ стал сдавать военведу готовые ударные механизмы для гранат и мин. Все подтянулись, почувствовав на своих лицах обжигающее дыхание войны. С другой стороны, резко сократились нормы снабжения пищепродуктами и усилилось воровство на складах и на кухне – недоедало все население по обеим сторонам заборов с вышками, но бесправные лагерники, не имеющие возможности защищаться, страдали прежде и больше всех. Кривая смертности удерживалась на высоком уровне. Лекарств хватало, но фон всех болезней был один – белковая недостаточность, а поэтому и лечебный эффект сводился к нулю. Внутри зоны посадили капусту и турнепс, для заболевших зелени было как будто бы достаточно, но белки отсутствовали, и диагноз у всех больных был одинаков. Одни падали, другие упорно тащились на развод и дальше – за зону, на десятичасовой труд. Война! Она вошла в наш быт...

Однажды в первый морозный день, когда строй черных бригад особенно четко рисовался на снегу перед воротами, начальник вдруг дернул меня за рукав. Мы прошли мимо мужских режимных бригад. По положению одежду лагерников из-за возможности побега **на рывок** полагается проверять перед воротами для того, чтобы отобрать **вольные вещи**, которые бежавший мог бы потом для маскировки надеть поверх форменной одежды. Практически это было бессмысленным, потому что на рывок бежали только малолетки, которых быстро ловили; успешные побеги совершались всегда ночью и в плохую погоду, прямо из зоны. Сидоренко это знал и зимой не допускал раздевания перед воротами. Но изредка на развод выходил Долинский, идеальный законник, и раздевал мужские режимные бригады и

отдельных лагерников по своему выбору; женщин не трога-ли, потому что они **на рывок** не бегут. Долинский в таких случаях не руководил, а священнодействовал: в ладно сшитом белом полушубке и нарядном башлыке кавказского по-кроя с серебряной кисточкой, из которого приятно розове-ло круглое лицо, он стоял, молодцевато подбоченясь, сре-ди голых людей, топтавших на снегу, поштучно тряс их тряпье и швырял в сторону все неказенные вещи, которые зимой лагерники одевали на работу, – рваные свитеры и жакеты, диковинные самодельные кацавейки, какие за две-три пайки хлеба в зоне шили из ветоши, украденной в кап-терке или в слесарных мастерских, инвалиды и мамки. Жел-то-лиловые тощие тела будто плясали перед черными ря-дами рабочих, угрюмо застывших в немом бессилии.

В тяжелой тишине слышались голоса:

– Снимайте, снимайте, не задерживайте. Ведь вашим товарищам холодно. Неужели не понятно?

– Да я только прошу...

– Не просите. Вы не нищий: их при советской власти нет.

– Я больной, туберкулезный. Начальницу медсанчасти спросите или вон нашего доктора, он скажет.

– Давайте вашу кофту. Как вам не стыдно? Вырядились, как старая баба!

– Так не рвите же, гражданин начальник! Зачем же рвать? Я за нее хлеб отдавал!

Снятое с тела белье на морозе сразу коробилось, и дро-жащие руки не лезли в рукава. Такой обыск всегда длился долго. Но на этот раз Долинского не было. Мы сразу подо-шли к женской режимной. На правом фланге стояла скрю-ченная от холода фигурка и держала веточку, на которой пе-чально болтался кусок полотенца. На нем чернильным каран-дашом было старательно выведено: «**ДОЛОЙ СТАЛИНА!**».

Начальник схватил фигурку за шиворот и выволок из рядов.

– Такие слова на казенном рушнике! Тварюга! Ну, я ж тоби! Была отказчицей, а теперь лезешь в контру?!

Сидоренко несколько раз трепанул фигурку, ушанка по-катилась по снегу, и я увидел знакомые вихры и большие серые глаза измученного животного.

– Я выкидываю флаг, гражданин начальник, – задыха-ясь от рывков, сипела Сенина, но крепко держала ветку с тряпкой.

– Брось флаг, дурья голова!

– Не брошу! Вырвите сами!

Это соответствовало принятому порядку: если заключенная бросит флажок, то начальник, не желая связываться, составит акт, что тряпка с надписью просто была найдена на разводе, и в наказание лишит рабочие бригады трех дней отдыха, то есть получит сотни сверхплановых трудодней. Но если флажок вырван из рук – тут ничего не поделаешь, надо заводить дело и на время следствия посадить виновную в теплую подследственную тюрьму, а потом направить в суд. Так, смотришь, и зима прошла! А новый срок? О нем шпана не думает...

– Нарядчик, на ночь в холодный изолятор подлюку! Щоб вона не робыла з меня дурня – для цього ще молоденька... В изолятор! – скомандовал Сидоренко, оторвал с ветки тряпочку и сунул ее в карман. Он поднял девку за шиворот, как нашкодившую кошку.

– Как в ШИЗО? Вы не имеете права! – болтала в воздухе красными от холода руками Сенина. – Я политическая! Направляйте в ДОПР!

– Режимная, вперед! – закричал нарядчик, без слов понимая начальника. – Сколько?

– Тридцать! Освобожденных нет! – ответил бригадир.

– Пшел! Марш!

– Ты хочешь в ДОПР, паскуда? Думаешь меня тянуть на веревочке, куды тебе удобно, як молодого бычка? А такого не хочешь? Дулю видела? На!

Сидоренко поставил девушку на ноги, нахлобучил ей на голову шапку, крепко ухватил шапку за оба уха под самым подбородком, задрал лицо к небу и ткнул бунтарке в нос огромный костлявый кукиш.

– Шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой стреляет без предупреждения, слышали? – крикнул скороговоркой конвойный, подстраиваясь к тронувшейся бригаде.

– Слышали! – буркнуло несколько голосов.

– Задержать режимную! Начальник конвоя! Примите ще одного работягу!

Сидоренко подтащил девушку к воротам и сильно толкнул ее вперед, бригадир подхватил и поставил в ряды.

– Марш!

Лениво кружился мелкий морозный снег. На бледно-сером небе и белых сугробах четко рисовался квадрат уходившей бригады, откуда доносился плач и крики:

– Незаконно! Незаконно! Я хочу в тюрьму!

Беспокойная душа

Сенина **выбрасывала флаг** еще четыре раза. Ей полагалось за это, по крайней мере, пятьдесят лет срока и перевод в разряд заядлых **контриков**, то есть смертный приговор с разверсткой на годы. Однако Сидоренко, отобрав и уничтожив доказательства преступления, не отдал девушку под суд, а только заставлял работать. Он ее спасал. Уберег от непоправимой ошибки.

Почему? По двум причинам.

Во-первых, ни контрики, ни серьезные уголовники, то есть взрослые люди, взвешивающие выгодность своих поступков, никогда не **выбрасывают флагов**: это делали только подростки из уголовной шпаны и всегда по самым мелким, случайным, а то и просто нелепым причинам: бригада должна идти на работы в поле, а утро выдалось морозное и идти не хочется, или бушлат накануне проигран в карты, а нового получить не удалось и т.д. Но чаще всего флаг выбрасывали перед этапом: нужно уходить за ворота **с концами**, значит, расставаться с товарищами навсегда, а тут как раз разгорелась типичная лагерная дружба, сентиментальная вспышка чувств, характерная для нервно-потрясенных и психически неполноценных людей. И парень или девушка выбрасывали флаг как простой технический прием, чтобы добиться своего – не выйти на работу и остаться в тепле или не уйти с этапом и остаться с товарищем. Прием этот почти всегда достигал цели потому, что начальник **обязан** применять меры против столь дерзкого и вызывающего нарушения порядка. А расплата? Получить новые десять лет срока для подростка ничего не стоит, он о будущем не думает: добился своего – и ладно! Но начальники поумнее не хотели идти на поводу и настаивали на своем – гнали демонстранта за ворота с удвоенной энергией – чаще со злобным остервенением, чтобы показать свою силу, изредка – спокойно, с воспитательной целью.

К числу таких разумных начальников относился и Сидоренко. В прошлом рубака из Первой Конной, а потом, кажется, старший милиционер в каком-то украинском городке, он, когда подросла единственная дочь Надя и понадобилось больше денег на ее содержание в медицинском институте, решил перейти туда, где хорошо платят, – в Управле-

ние исправительно-трудовых лагерей. Об этом нам рассказывала начальница медсанчасти, дружившая с Надей. Сначала Сидоренко попал в столицу Сиблага, Новосибирск, потом, ознакомившись с делом, перешел на третий и первый лагпункты нашего отделения в качестве начальника. Разумный, сметливый, с хитрецей и очень себе на уме, Сидоренко удачно справлялся с делом, а время было трудное, военное, страна требовала мяса и зерна и за невыполнение плана по головке не гладила. Нам, заключенным, секрет успеха начальника был ясен: он знал, что работу выполняют люди, и понимал, что людей надо кормить. Поэтому работяги Сидоренко любили, ласково называли **батей** и считали счастьем попасть к нему на лагпункт. Так гоголевский казак хитрил с чертом, которому продал душу: продать-то он ее продал и даже деньги получил, но не спешил вручить покупателю проданный товар. А черт оказался не гоголевским, а бесом бериевского производства. Поэтому такая игра не могла продолжаться долго.

Рядовые заключенные не видят начальника лагеря. На начальника отделения они могут посмотреть случайно и издали во время приезда какой-нибудь важной комиссии из Центра. Начальника лагпункта встречают довольно часто, например, утром на разводе. Но и он для работяги и доходаги далек и непонятен, как звезда в небе. Поэтому о его характере лагерники судят не по личному опыту, а с чужих слов, по рассказам заключенных, ежедневно встречающихся с начальством по ходу своей работы – со слов **придурков** (работников обслуживающего персонала – поваров, каптеров, банщика, бухгалтеров) или **помощников смерти** (врачей, фельдшеров). Согласно лагерному этикету, придурков величают титулом **дядя** с прибавлением имени – дядя Саша, дядя Коля, врач в лагере всегда доктор, а лекарский помощник – липком (вместо лекпом), или лепила. И все же дяди, доктора и лепилы лагерного пункта могли плохо знать своих начальников: ведь в конечном счете все зависело от стиля руководства. Так вот тут-то и следует сказать прямо: Сидоренко был человеком и начальником примечательным, каких в лагерной системе заключенные встречали в те времена довольно редко и тем больше ценили и уважали. Добрую славу далеко за пределами лагпункта Сидоренко получил не случайно: он ее заработал.

Ночь. Холодно и тихо. Лагерь спит. Лампы на вышках освещают закутанных в сибирские дохи часовых, они с нетерпением шевелятся и притопывают – скоро подъем, развод и смена.

Сквозь морозную мглу чуть брезжут в зоне освещенные окна только одного здания. Это – кухня. Держа болтающийся на кольце фонарь, я сонно плетусь к открытой двери и еще издали слышу знакомый крик.

– Це що, паскуда? Я кажу – це що?

Вхожу. Обычная сцена: Сидоренко стоит на коленях и, сунув голову и плечи под продуктовый ларь, гребет оттуда куски мяса, луковицы, какие-то заботливо повязанные веревочкой свертки. Он похож на охотничью собаку, яростно разрывающую звериную нору.

– Ага! А це що?

Начальник раскрывает пакет, в азарте швыряя обрывки газеты далеко вокруг себя. В пакете оказывается шелковая блузка.

– Хм... Хм... – Сидоренко осторожно вертит тоненькую вещицу в растопыренных корявых пальцах. – Чья?

Но повара будто не слышат. Деловито нахмурившись, они усиленно работают большими деревянными мешалками и готовы от усердия прыгнуть в бурлящие котлы; оттуда столбом валит пар и желтоватой теплой тучей ползет по потолку к распахнутой двери, из которой по полу навстречу ей катится струя сизого морозного тумана. Сидоренко стоит на коленях с блузкой в руке, точно грозная скала в седом океане. Нарядчик – бандит, отрубивший себе пальцы, чтобы не работать, и затем перешедший **в суки**, глядит в пространство, повара заняты: все оглохли и ослепли, ничего не знают о мясе, луке и блузке. Слышны только приглушенные голоса: «Жар выгребать, дядя Саша? Второй уварился, дядя Саша, первый доходит!»

– Кохту я бачив на врачихе Марье Васильевне! – рычит Сидоренко. – Кто вкрав, а?

Его не видят и не замечают.

– Нарядчик, кохту верни врачихе и найди вора. Не найдешь до вечера – трое суток тебе, щоб не зевал. Мясо и лук зараз сыпте до котлов работягам, паршивые вы ворюги. Завкухней Мамедов, получай неделю ночного содержания в ШИЗО с дневным выводом на работу с режимной. За кохту пиши объяснение. Понял? Не напишешь – выгоню с работы. Ты сейчас с кем живешь? С цыганкой Сашкой? А?

Это для нее тоби вкралы кохту? Нарядчик, цыганку выведи на свинарник – хай копається в навозе, позорница!

Завывание рельсы на вахте прерывает расправу – начинается раздача завтрака. Сидоренко по очереди наклоняется над котлами и нюхает пар. Довольно улыбается.

– Нюхни, доктор! Як воно, а? Чуешь разницу?

Разница есть: для инвалидов и третьей группы (легкий труд) по положению сварена баланда, для рабочих свинарников и завода – суп. И неплохой в условиях страшного военного времени. Из этого котла слегка пахнет мясным наваром и жареным на сале луком. Сидоренко подмигивает.

– Моя механизация действует! – говорит он гордо и молодецки крутит ус. Я знаю, что это за **механизация**, и с видом заговорщика киваю головой. – Хронт не просе, вин требуе, это понимать надо, заключенные! Вас временно лишили свободы, а не гражданства! Война усих касается, це общее дело!

За покрытым инеем стеклом первый робкий стук и движение синей тени.

– Начинайте раздачу! Помните: Сидоренко не спит, Сидоренко по-пластунски на пузе полезет пид ларь и найдет. Усе дочиста. У меня заначить краденое – бесполезное предприятие! Ворив – на этап! К черту! Слышали?

Мы вприпрыжку бежим мимо длинной очереди. На сиреневом снегу черным драконом вьется безликая масса людей, здесь и там украшенная желтыми точками светящихся глаз – дракон курит, кашляет, он еще как следует не проснулся. И все же я слышу:

– Понесся наш батя порядок наводить!

– Этот наведет. Душа у него беспокойная, вот что.

– По всей форме молодец!

В амбулатории летучий утренний прием. Студент принимает только температуращих. Лампочка едва светит, до начала работы экономят электричество, но Сидоренко опытным взглядом уже находит все, что надо.

– Эй, вы двое! Куды сховались! Да нет, ты, не ты... Вон тот, с повязкой! И ты, шапка! Выходи! Ну! Што у него, доктор? Покажь сюды, не стесняйся! Дамов нет, усе свои. Доктор, што у него? Ничего? Вечером зайдешь, а пока вали на развод, хлопче! Время-то, пойми, теперь военное, тяжелое. Писля победы отдохнем! Студент, яка у шапки температура? Нормальная? Обрывайся видсися, шапка! В момент! На хронте умирают за Родину, а ты що робишь?

Сидоренко бегом опять пересекает зону и дергает дверь каптерки. Снова тусклая лампочка, но на этот раз прилавок, за которым зевает упитанный каптер, два заключенных стоят босые на покрытом снегом полу, третий в хорошей форменной одежде держит кипу рукавиц.

– В какую?

– Вторую полевую, – говорит бригадир, заключенный Семенов.

– Иди. А эти кто?

– Получаем починенные валенки, вместо энтих дырявых, начальник. Мы с Эремзе.

– А чего босые?

– Да вот дядя Петя...

Каптер вынимает изо рта закрутку.

– Портянок я вчера не получил, гражданин начальник. Склад закрыт на переучет, – он отвечает вяло, едва подавив зевок, и равнодушно смотрит, как два босых человека зябко перебирают ногами на заснеженном полу.

– Як закрыт? Лодырь! Скидай свои валенки, ты на морозе не работаешь. Ну! Враз, живо!

Дородный каптер, кряхтя, вытаскивает ноги из новеньких валенок и раскручивает теплые портянки. Сидоренко замечает второй подавленный зевок, и желваки на его впалых щеках начинают двигаться. Он опять похож на охотничьего пса: раздувает ноздри, поводит глазами вправо, влево и вдруг отбрасывает перекладину на стойке и шагает за нее, дальше меж стойками с обмундированием, еще дальше – туда, где в темноте пышет жаром низенькая железная печурка.

– Дай хвонарь, дохтор! Свети!

Я повыше поднимаю свою «летучую мышь». Из теплой темноты выплывает чистенькая кровать. На ней мирно посапывает белотелая блондинка.

Сидоренко молча ее рассматривает.

– Хе, у тоби ж була чернявая? Уже сменял на другую, стрикулист? А ту куды сунув? В этап? Поганая твоя душа!

При звуке знакомого голоса блондинка раскрывает глаза и натягивает на себя одеяло.

– Та не укрывайся! Прийихалы, дамочка, до развода десять минут! Пийдешь с режимной, а пися работы – до ШИЗО, на хлеб та воду! Марш, шалашевка дешевая! За барахло продаешься? Сынь!

И вдруг Сидоренко замечает, что вокруг постели и печурки выстроена перегородка на манер уютной комнатки: будуар в десяти шагах от босых людей на заснеженном полу и в ста шагах от проходных ворот, через которые работяги скоро уйдут на мороз и труд.

— Га! Индивидуальная кабынка? На свинарнике досок не маюť, а туточки... В военное время, когда люди сражаются с фашистами! Сукин ты сын, каптер! Ну, я ж тоби...

«Начинается», — подумал я, по опыту зная, что «ну я ж тоби» у Сидоренко означает начало приступа ярости. Начальник вдруг задергался, засопел, схватил топор, стоявший у стопки поленцев, и начал рубить стены кабинки. Он рубил их не как плотник, сверху вниз, а как кавалерист — наотмашь, направо и налево. Блондинка, пригнувшись к полу, мелькнула под летающим в темноте топором и как была в одном белье, так и вылетела в дверь: работяги замерли с валенком на одной ноге и с другим — в руке; каптер, вдруг сильно вспотев, прижался спиной к полкам и следил глазами за малиновым сверканием остро отточенного лезвия. Слышалось только сиплое дыхание начальника, глухие удары и сухой шелест щепок, разлетающихся из-под топора, как брызги. Наконец все было кончено. Сидоренко бросил топор к печке, перевел дух, потом нагнулся и аккуратно поставил топор на место, к стопке хорошеньких поленцев, вытер рукавом кофуха вспотевшее лицо. Приступ ярости кончился, и, как бывает с такими людьми, начальник вдруг притих и, словно извиняясь за вспышку, объяснил:

— Ох и рубака ж я був в Первой Конной! Герой! — он покачал головой и просветлел, как всегда, когда вспоминал о том времени, которое навсегда осталось в его представлении самым лучшим. — Вообще я рабочий человек, у мене тело работы хочет, уси косточки по работе свербять. А я — начальник! На тоби — начальник! Хо-хо-хо! Добре я размяв руки та спыну! Як в баню сходяив! Так-то, доктор!

Он взял со столика чайник, потрогал его сбоку широкой ладонью и потянул воду прямо из изогнутого носика, нахмурился. «Каптеру сегодня же влетит», — подумал я, начиная лучше понимать начальника.

— Освежился! Теперь за дело!

И стремглав выбежал на двор.

Посветлело. Снег кажется еще синим, но на востоке уже ширится розовое пятно, там снег тоже будто пожелтел и зарумянился. По всей зоне по протоптанным в снегу дорожкам

движутся к воротам темные фигуры, образуя ручейки, стекающие в запруды. У хлебобрезки возня. Мы сворачиваем туда.

Дневальным и бригадирам инвалидных барачников хлеб выдается после рабочих. Еще издали, на бегу, мы видим, как среди шатающихся фигур в тряпье лихорадочно мечется высокий парень с ножом в руке: нож явно мешает и играет роль театрального реквизита, потому что больные старики уже сдались, носильщики покорно отдали корзины с хлебом, а охрана бросила на снег палки. Тут нужно было поскорей ухватить корзины да и уволочь их в синий полумрак, в сугробы, за первый, второй, третий барак, но нож тычется в замерзшую ткань и не лезет в карман, и пока грабитель возится с ним, Сидоренко успевает схватить его за ворот.

– Цыган Иван? Ты?

– Хм... Тоже мне приятная встреча... Здравсьте, гражданин начальник!

Цыган дружелюбно подает нож и выпрямляется во весь рост: он моложе, выше и сильнее Сидоренко. Тот на цыпочках топчется вокруг пойманного. Это смешно, и цыган улыбается. Сидоренко это замечает.

– Дал бы я тебе по морде, так не улыбался бы, тварь, но не положено, сам знаешь. А вы з якого барака, заключенные?

– Второго... Инвалидного... Гражданин начальник... Спасибо вам.... Помогли... Хлебец отбили...

Носильщики и охранники начинают плакать.

– Спасибо... Гражданин... Начальник... – фигуры покачиваются, как одуванчики на тонких стебельках, и трясут серыми лохмотьями. У них нет лиц. Это привидения. Сидоренко смотрит на них и закусывает губу.

– Так не плачьте, чудилы... Чего ж вы не загукалы? – говорит он дрогнувшим голосом. – У вас же и палки булы... Вас шесть, а вин один!

Цыган скалит ослепительно белые зубы и одобрительно кивает головой, доходяги мнутя, что-то соображают и сами начинают удивляться, что слов у них нет. Доходяги не говорят.

– Да вот... Оно конечно...

– Дали бы палкой по башке, чтобы с копыт свалить, и все! Просто, как колумбово яйцо! – рассудительно скрипит в форточку по-бабьему обвязанный полотенцем мужчина с узким, породистым лицом. Это – хлебобрез, бывший моряк, ныне такой же инвалид: он – контрик, **враг народа**, но

Сидоренко все-таки доверил ему раздачу хлеба, иначе нельзя, – бытовики, **социально близкий элемент**, в полчаса растащат и разбазарят все до крошки: не только инвалидам, но и работягам не досталось бы ничего.

– А ты сам чего ж не выбежал на пидмогу с ножом, храбрец?

Голова в платке исчезает. Из форточки слышится:

– Я сижу на запоре, гражданин начальник, и выходить не могу: этак сразу выманят, подшибут ноги и растащат хлеб. Мой долг – раздать хлеб всем. Я один, а шакалья здесь много.

Сидоренко подмигивает мне.

– Значит, ты – моряк и к сухопутному бою не приспособленный. Так? Плохо! А ты, цыган, на развод не ходи, жди меня в Штабе. Шакалюга поганый! Я тебе опять дам срок! Ты когда получил последнюю добавку?

– Месяцев десять назад, гражданин начальник!

– Так, так... Не уменьшается, значит, у тебя срок? Свою десятку будешь кончать уже пид землей? Эх, кабы я мог загнать тебя на передовые: тебя твои статьи бережут от немецкой пули, поганец!

У ворот уже начинают строиться бригады – бесформенная темная запруда приобретает очертания квадратов. Но сигнала еще нет. Сидоренко делает последний зигзаг по зоне и с разбега влетает в баню.

В моечном зале еще не жарко, пара нет: в этот ранний час здесь тихо, светло и пусто. На дальней скамье, подальше от двери и окон, мирно плещутся две женщины – пожилая и молодая. Это врач Марья Васильевна и красивая цыганка Сашка, преданная жена цыгана Ивана; с ведома и согласия мужа она сожительствует со всеми дядями зоны, недурно снабжается сама и посильно поддерживает любимого супруга, а жаркие минуты свидания с нарядчиком в замерзшем морге обеспечивают им обоим безнаказанный невыход на работу. «Эти луковицы и мясо под ларем Мамедов приберег или для Сашки, или для нарядчика, – думаю я. – Впрочем, это одно и то же». При нашем появлении обе женщины поворачиваются к нам спиной и ставят на колени по жестяному тазу с водой.

– Я вашу кохточку нашед пид ларем на пищеблоке, – кричит Сидоренко через приоткрытую дверь. – Кто бы мог ее вкрасть, кажите мени, дохтор?

Женщины переглядываются. Я понимаю и это: блуза попала в руки Мамедова за ежедневное получение порции премиального питания для ударников: дядя Саша умеет печь пирожки, похожие на бакинские чебуреки. Это обычная сделка придурка и помощника смерти, каких в лагере много; они – фон нашей жизни. Но простак Сидоренко не понимает этого.

– Слухай, цыганка, брось путаться с завкухней! Я уже знаю, поняла? Одевайся та давай на развод! Опоздаешь – в ШИЗО! Дошло?

– А то как же, начальникек, что за дамский вопрос? Кстати, оставьте покурить!

Бросив Марье Васильевне успокаивающий взгляд, Сашка не спеша встает и, усиленно раскачивая бедрами, шествует к двери. Сидоренко в щель просовывает ей навстречу желтые от махры короткие пальцы с бычком:

– За прогул буду судить! Ты не очень-то распуская перья – не павлин!

Цыганка вдруг сильно толкает дверь ногой и с порога спрашивает:

– Вы чтой-то хотели сказать, начальникек?

За окнами сигнал – отсюда он похож на нежное пение гавайской гитары. Развод! Возиться с цыганкой некогда. Но Сидоренко остается верным себе: вдруг неожиданно бухается на колени, потом ложится на живот и ползет под небольшой настил для чистого белья. Некоторое время оттуда слышатся глухие удары, возня и писк. Потом начальник выползает назад и выволакивает двух крупных кроликов. Сидоренко озадачен, кролики озадачены, цыганка Сашка в дверях тоже озадачена.

– Ой, не могу! – кричит она. – Кролики!! Марья Васильевна, скорей сюда: здесь кролики!

– Живые? – дребезжит из моечного зала старческий голосок. – Как мило! Несите их сюда, Сашенька! Начальник уже смылся?

Сидоренко медленно поднимается и стоит в глубокой задумчивости. Он держит кроликов за уши, они смиренно висят, хлопают сильно выпуклыми черными глазами и осторожно стараются достать пол длинными ногами.

– Хм... Да где воны их узялы? Проблема!

Потом отсутствующий взгляд начальника останавливается на заведующем баней, дяде Тарасе. Это строптивый одиночник из-под Киева, в тридцатом его с семьей привезли в сибирскую тайгу на поселение меж красных флажков, боль-

шим кругом воткнутых в глубокие сугробы. По очереди похоронив в снегу детей и жену, ссыльнопоселенец сбежал, но был пойман и с тех пор равнодушно сидит в разных лагерях и временами расписывается в продлении срока.

Статья у дяди Тараса легкая, бытовая – нарушение правил о прописке, но взгляд выдает – тяжеловатый, прямой и немигающий. Начальники понимают, что отпускать такого пока нельзя, надо попридержать, после войны будет видно.

– Так що, Потийчук?

– Та нічого.

– Кроликами интересуєшся?

– Забежали сами: хочуть тепла, я так располагаю.

– Бачу. Це усе?

– Усе.

Вот они стоят друг против друга, начальник и заключенный, Сидоренко и Потийчук, два украинских крестьянина. Стоят и насквозь пронизывают друг друга горящими глазами. Мой фонарь коптит, уже рассвело, но я не тушу его, черт с ним. Голая цыганка стоит в дверях с потухшим окурком в плотно сжатых губах и исподлобья наблюдает за немим разговором.

Проходят минуты...

Потом Сидоренко вздыхает, говорит самому себе «так-так», чешет лоб и выскакивает вон. Он повторял «так-так...» и большими шагами бежал на развод, все еще держа кроликов за уши, видимо, забыв про них, а кролики зажмурили глаза, подобрали лапы и мерно покачивались в такт шагам начальника, как два маятника.

Черной заруды уже нет: ворота настежь открыты, перед ними ровными четырехугольниками выстроились бригады. С этой стороны забора стоят начальник, нарядчик и дяди, с той стороны – конвойные с собаками. Начальник лагеря сдает выходящих на работу заключенных, начальник конвоя пересчитывает и принимает. Сидоренко хмуро глядит на проходящие черные ряды и о чем-то напряженно думает, точно не может чего-то понять. Желваки у него опять двигаются на щеках.

– Чапай думает! – шепчет мне дядя Петя и показывает глазами на Сидоренко: кроликам уже надоело висеть, они начинают дрыгать лапами, и начальник со спины действительно смешон, положительно смешон. Но дядя Петя не видит его лица.

– Бригада, стой! Ты, с полотенцем на шапке! Сюды!

Коренастый работяга испуганно выходит из рядов, придерживая болтающиеся на поясе кружку и мешочек с ложкой и хлебом.

– Заключенный Листов Сергей Сергеевич, год рож...

– Заткнись. Це що?

Сидоренко поворачивает его спиной к дяде Пете и показывает на дыру в бушлате.

– Каптер, давай свой!

– Гражданин начальник, я сейчас принесу...

– Меняйся с работягой! Живо!

Дядя Петя снимает свой новенький бушлат, изготовленный в лагерной мастерской по его специальному заказу, – в талию и с замысловатой строчкой на груди и плечах, и подает работяге, а сам напяливает на плечи кургузый бушлатик с дырой на спине. Бригада злорадно ржет.

– Гадский придурок! Попался, а?!

– Позорник! Побаловался с бабой в тепле и будя – теперича побалуешься с топором на морозе!

Сидоренко безошибочно находит нити, связывающие его с работягами: они думают и чувствуют одинаково.

– Становись рядом с работягой! Бригадир, внеси його до списку! Каптер зажрался, гад, и тепла уже не хоче. Хай буде по його желанию! Нарядчик, оформи перевод, а нового каптера хай тобі даст бухгалтер Рубинштейн!

После развода я всегда напряженно ждал – пойдет начальник по рабочим точкам или вернется в зону? Если уйдет – можно спокойно приступить к работе с больными, останется – ну, тогда беда: начнется продолжение утренней беготни, только на этот раз Сидоренко будет наблюдать, а я – разворачивать перед его зорким оком неприглядное нутро лагерного быта – уборные, морг, бараки, мусорные кучи... Особенно донимали осмотры на вшивость: ее в лагерях не было, но Сидоренко, большой поклонник медицины, оставался непреклонным, и я со студентом до одурения тряс все бараки. Так проходил беспокойный день. А вечером – ужин с дежурным выступлением Сидоренко на кухне, потом ночь и внезапные вызовы в бараки – присутствовать при ловле «жен» в мужских бараках и «мужей» в женских. Я на месте давал справки о состоянии здоровья на предмет немедленного выдворения в ШИЗО и для срочной помощи пострадавшим в нападениях и драках; хирургические инструменты были всегда наготове, перевязочные материалы – при себе. Под

утро – забытие, и новый день... Один из семи с половиной тысяч, которые мне предстояло пережить в заключении...

Описать сутки такой жизни – это написать яркую повесть под названием «Один день с начальником Сидоренко». Я его ругал тогда за лишнюю нагрузку и вместе с тем восхищался. Он был для меня образцом. Много красивых слов можно сказать о человеколюбии, но не так просто показать его на деле.

Глава 5

Идеальный законник

Однако, как бы ни работал начальник лагеря и чем бы он ни занимался, за ним всегда незримо стоит оперативный уполномоченный, то есть начальник третьей, или оперчекистской, части. Опером в это время у нас работал Анатолий Эдуардович Долинский – красивый, несколько полноватый человек, большой щеголь и сердцеед, ходил он по зоне с очередным номером толстого журнала в руках, носком ярко начищенного сапога показывал старикам-дневальным плохо вымытые пятна на полу и сквозь зубы цедил:

– Будьте любезны доложить нарядчику, что я вас арестовал на трое суток.

Сидоренко в таких случаях опускал голову и желваки на щеках его начинали двигаться.

Время шло, и узел недоразумений между двумя начальниками затягивался: это было неизбежно при такой разнице в характерах. События развивались в основном за зоной, и за ними я пристально следил через моего помощника.

Студент был сыном известного московского хирурга, профессора того медицинского института, в котором он учился на третьем курсе. Когда отец уехал в армию, Студент начал брать у приятеля уроки вождения машины и наехал на старушку. Случайное убийство – это легонькое уголовное дельце, дающее право на звание лагерного аристократа: по положению Студент немедленно получил пропуск бесконвойника, то есть право выхода за зону. Он доставлял нам лекарства из аптеки, сопровождал больных в центральную

больницу в Мариинск, танцевал с вольными девушками у них на квартирах и считался в вольном городке видным и желанным, но – увы! – недоступным женихом – все-таки столичный студент, сын генерала... Добрая и очень расстроенная мама немедленно списалась с Сидоренко, помогла Наде перевестись в московский институт и уладила все больные вопросы с пропиской и комнатой, так что Сидоренко оставалось только любезно брать под козырек при встрече со столь высокопоставленным заключенным. Да он и не был похож на лагерника – всегда веселый, сытый, уверенный в будущем, он носил хорошо перешитую солдатскую форму и издали смахивал на опера Долинского, только был моложе и стройнее.

Как-то в те дни Студент отвез тяжелобольных в центральную больницу в Мариинск и возвратился поздно, усталый и встревоженный.

– Вы знаете, доктор, наш батя в конце концов нарвется на скандал: сегодня я краем уха слышал в управлении, как начальники с третьего и пятого доказывали Долинскому, что Сидоренко кормит лагерников за счет каких-то скрытых фондов. А знаете, как это называется? Обкрадывание государства в военное время! Петров с третьего кричал: «Сидоренко у солдат на передовых из глотки выдирает кусок и сует его врагам народа!»

– Что это за Петров?

– Да смещенный в прошлом году с восьмого, слышали? Он украл тысячу новых валенок и поджег склад. Помните массовое обморожение рабочих бригад? Это как раз у него случилось!

– Сволочь какая...

– Сволочь не сволочь, а повредить батю может. У Сидоренко я имею пропуск, живу лучше вольных. А придет другой – неизвестно, как повернется дело. И на черта ему работы, доктор? Вот еще лагерный толстовец сыскался: помешался на человечности! Сам полетит и других потянет... Петров требует строжайшей ревизии, угрожает прокурором и Москвой.

Я потер лоб для прояснения мыслей: дело принимало серьезный оборот. Надо предупредить Сидоренко.

– Черт... Как бы это поговорить с нашими штабными бухгалтерами? Устройте мне завтра разговор с Рубинштейном: пригласите его сюда, ладно? Ну, рассказывайте дальше. Что отвечал Долинский?

– Ничего. Улыбался, молчал, внимательно слушал. Ведь он сам весь этот год с наслаждением режет все смелые начинания бати – насчет расширения свинарников и удвоения сдачи мяса в армию, насчет заготовок кормов... Проваливает на законных основаниях все Сидоренкины патриотические штучки – я об этом слышал на вечеринке у Веры Николаевны Глухих – там был наш вольный агроном Федьковский, бывший заключенный.

Студент вздохнул и отправился отдыхать, обронив в дверях:

– Уж эти мне доморощенные герои! Не замечают, что курок взведен и остается сделать последнее движение пальцем.

«И верно: батя – прекраснодушный слепец!» – подумал я.

На следующий вечер к концу приема в амбулаторию явился Рубинштейн. Больные уже разошлись, санитар принялся за уборку, Студент понес нарядчику список освобожденных. Мы остались одни. Я рассказал новости, привезенные Студентом из Мариинска.

Маленький бухгалтер снял старомодное пенсне, медленно протер стекла и задумался. Он как будто сразу постарел, поблек, стал меньше.

– Я давно озабочен этим. Сведения поступают со всех сторон, и все плохие. Гроза надвигается...

Рубинштейн напоминал нахохлившуюся под осенним дождем птицу – повел длинным носом направо и налево, потом вобрал голову в плечи да так и остался сидеть на высоком стульчике для перевязок. Теперь он был похож на промокшую галку на позабытом среди поля подсолнухе.

– Я озабочен больше, чем вы, доктор. Мы оба – советские люди: желаем лучшего питания нашим голодным товарищам, хотим сдать больше хлеба и мяса фронту, помогаем успеху начальника. Он этого достоин. Но вы, доктор, только сочувствуете. Вы – врач, хозяйство вас не касается. Сидоренко, я и Федьковский – хозяйственники, мы в ответе за все. Поняли разницу? С замиранием сердца мы идем по канату, к которому с ножом крадется Долинский.

– Негодай!

– Ну как сказать. Бывший артист оперетты в чекисты пошел, чтоб избежать фронта. Вы этого не знали? Как же, Федьковский видел документы. Хотя Долинский и сам не скрывает этого. Говорит только, что в жизни ничто так его не захватывало, как работа в оперчекистском отделе: это якобы его призвание свыше. Негодай ли он? Гм... Трудно

решить. Кому какое дело до чужого характера? Важно, чтобы в государстве действовал фильтр, не допускающий отдельных лиц к определенной работе. В лагерной администрации фильтра нет. Напротив – здесь растратчика сажают за кассу, хулигана делают нарядчиком, аморального человека – опером, обдуманно используют самые дурные черты разных характеров. В общем порядке дело, милый доктор, а не в личностях: как опереточный негодяй в широкополой шляпе с пером Долинский был бы хорош, но беда в том, что ему позволили надеть фуражку с синим верхом. Личное стало общественным.

Я сделал нетерпеливое движение рукой.

– Александр Львович, этот простак рискует шеей!

Рубинштейн поднял лохматые рыжие брови и насмешливо подмигнул через очень выпуклые стекла пенсне.

– Это наш батя-то? А он и не простак, и не слепец! Вы, доктор, здесь сравнительно новый человек, а я с Сидоренко работаю давно и разглядел его насквозь. Научился отличать наружное и поверхностное от внутреннего и главного.

Рубинштейн сделал паузу и собрался с мыслями.

– В Первой Конной он получил два сабельных удара по голове и ранения в грудь и в ногу. Попытки учиться, как он говорит, у него вызвали головные боли такой силы, что от учения пришлось отказаться. Все вокруг него в какой-то мере выросли, только он сам остался тем, кем был, – умным мужиком-неучем. А работать ему приходится теперь с культурными людьми, которых он уважает за не давшееся ему образование и вместе с тем стесняется своих неизбежных и частых промахов. Помните, вы как-то рассказывали о случае с Антантой-Иолантой? Вот вам пример. А Сидоренко сначала сваял по своей некультурности глупость, а потом, по своему природному уму, понял ошибку и постарался из нее выпутаться так, чтобы **спасти лицо**. Как это можно сделать? Только прикидываясь чудаком, таким мужичком-простачком, который по сути дела умен и хитер, как черт, и только, мол, прикидывается, чтобы половчее всех вывертывать наизнанку. Поняли? Если нет, то характер Сидоренко вы никогда правильно не оцените и не сумеете разобраться в его поступках, то есть отличить настоящего человека от взятой на себя защитной роли. Отсюда и его внешность: чуб, розетка под орденом и прочее. В виде Чапая он всем приемлем, он инстинктом чувствует вызываемые этой бутафорией симпатии. А если бы он одел приличный штатский кос-

твом или вырядился в щеголеватый мундир на манер Долинского? Получилось бы посмешище! Я думаю, что он когда-то уже пробовал и то, и другое и потерпел полную неудачу – заметил за своей спиной улыбочки, услышал обрывки насмешливых замечаний. А Сидоренко – гордый человек, боец, орел. Вот и пришлось отказаться от культурной и современной наружности и остаться на всю жизнь Чапаем. К тому же такая маскарадная внешность как нельзя лучше соответствует его вынужденной роли мужичка-простачка.

– Думаю, – сказал я серьезно, – что только теперь начинаю понимать его как следует. Но это лишь усиливает симпатии к нему! Замечательный человек!

– Хороший, конечно. Но замечательно здесь другое – условия, в которых он действует: замечательна наша советская власть, создавшая возможность добру расти во всю ширь и высоту и светить кругом так ярко. Что было бы из него при царе? Дельный вахмистр драгунского полка. Разумный мужик. В полку его ценило бы начальство и любили бы рядовые, в деревне он дотянулся бы до кулака, построил бы себе обширную избу. И все. Поэтому вы должны прежде всего видеть главное – партию и советскую власть. Я ежедневно выписываю для больных двух ваших барачников по стакану молока и по котлетке из сырого мясного фарша. Семьдесят пять граммов, а? Это не шутка! Вы получаете все сполна? Да? Несколько ведер молока, несколько килограммов мяса! И это в условиях всеобщего страшного недоедания! Ведь мяса и молока не видят дети стрелков, слышите? Для них это – роскошь! А партия руками Сидоренко предоставляет ее больным заключенным! Вот в чем главное – в нашей партии, в гуманности нашей идеологии, и во многом Сидоренко светит отраженным светом. А Долинский? Ему партия мешает творить безобразия, она держит его за руки, не дает возможности совсем распоясаться. Наша действительность подталкивает сидоренок вперед, а долинских отодвигает назад. Не будь у нас наших советских порядков, опер загубил бы уже много людей, а так ходит вокруг, щелкает зубами, а укусить не может! Так-то, милый доктор, так-то!

Он вытер очки и посмотрел на меня радостно и гордо. Потом вдруг спохватился:

– Время уходит. Нам пора расходиться. Мы говорили о том, что над Сидоренко и мной нависла гроза. Он это знает так же хорошо, как и я. В этом его подвиг: прекрасно знать обстановку и все же сознательно рисковать собой. Как и

нам, прикрывающим его «механизацию» – неучтенные гектары посева, неучтенный приплод свиней сверх нормы. Подкормленные работяги стараются изо всех сил, я прикрываю нарушение буквы закона, Федьковский скрепя сердце молчит, а ведь он – бывший заключенный, в случае чего ему попадет вдвое... Сидоренко разумно использует результаты наших общих усилий. Когда ему присвоили звание и дали орден, начальники других лагпунктов затаили злобу: на фоне хорошей работы плохая виднее. Но мы всех обскакали. Пока.

– А что может случиться?

Рубинштейн оглянулся и ответил шепотом:

– Катастрофа. Надо или работать, как другие, думая больше о себе, или идти на риск ради победы и Родины. Я выбрал второе: открыл глаза пошире и прыгаю через пропасть всякий раз, когда составляю отчеты. Остался жив на этот раз – прыгаю снова, из месяца в месяц вот уже третий год.

Холодок пробежал у меня по спине. Я с удивлением посмотрел на человека, мимо которого равнодушно проходил столько времени, на его тщедушную фигурку, лысину, пенсне.

– Предупредить Сидоренко?

– Не надо. Ваше дело – сторона. Излишки по книгам нигде не проходят, а от строгой ревизии их не скроешь. Наша «механизация» висит в воздухе, и мы все – хорошая мишень. Лишь бы Долинский не спустил курок! Лишь бы не стряслось чего-нибудь непредвиденного!

– А если?

Рубинштейн поднялся, тяжело вздохнул и повел плечами, как будто бы и его охватил холодок страха. Но ответил ясным и твердым голосом:

– Я – коммунист с семнадцатого года. В гражданскую дважды ранен. Был директором большого военного завода. Мне отступать нельзя: стыдно. Солдаты идут в бой за нас, а почему же нам не пойти в бой за них? Опасность надо видеть и все-таки идти на нее! Было бы за что.

Несколько дней я ходил потрясенный.

Какой счастливец! Значит, и в лагере можно быть героем?

А потом произошло непредвиденное. В новогодние праздники среди бела дня бесконвойная бригада видела, как Сидоренко вытащил со склада лагерного обмундирования свою дочь, студентку Надю, а вслед за этим приведенная им оперша выволокла оттуда за шиворот и своего супруга. Скандал был **громкий** – мы в зоне слышали каждое слово и

все сообща решили: «Бате несдобровать!» Так и случилось: оскорбленный Долинский спустил курок.

Сидоренко в выражениях не стеснялся и сделал все возможное, чтобы побольней ударить пойманного с поличным сиблаговского донжуана: он знал, что вздорное самолюбие и тщеславие – слабые стороны характера Долинского, и гвоздил по ним обидными словами, словно бил молотом. Конечно, крепко влетело и Наде, видевшей в красивом и щеголеватом опере стоявшего вне всякой конкуренции красавца и умника – **интеллект**. Разгневанная оперша публично влепила мужу пару оплеух. Словом, поднялась обычная мешанская потасовка, о которой все участники скоро забыли, и в первую очередь Сидоренко.

Но не Долинский. Оскорблений он не простил, а не простив, начал мстить – по складу своего характера и по должности.

Так скрытая вражда стала явной.

Дней через пять из окна амбулатории я увидел их обоих – батя шагал впереди, полушубок нараспашку, чуб белый от изморози; опер шел сзади – одетый по форме, подтянутый и щеголеватый.

– Вы не сердитесь, товарищ Сидоренко, – нарочито громко проговорил опер, когда они вошли и начальник получше закрыл дверь моего кабинета. – Я по долгу службы должен подчищать кое-какие грешки.

– Чого?

– Не чего, а кого, вы, вероятно, хотите сказать? Я отвечаю: ваши. Их много. Вот, например, э-э... – надо полагать, опер вынул записную книжку и стал читать. – Э-э... Да вот: Сенина Татьяна Александровна. Мне известно, что вы в нарушение положения о запрещении прохода в зону с оружием устроили здесь в амбулатории проверку ее слуха и осмелились вынуть пистолет в присутствии такого нашего злейшего врага, как здешний врач, предатель и шпион. Вы даже произвели выстрел. Это правда?

Сидоренко шумно вздохнул.

– Дывлюсь на вас, товарищ Доляньский, та ничего не понимаю: я же вам об этом казав, и вы же сами разрешили, а теперь...

– Позвольте, позвольте, дорогой товарищ, не приписывайте мне того, что я, известный в Сиблаге законник, никогда не мог разрешить. Вы мне рассказали о вашем намерении проверить слух заключенной, и я как хороший товарищ

и коммунист выслушал вас в твердой уверенности, что вы выполните это гуманное начинание в границах закона: я не только законник, но и гуманный человек. А вы нагородили таких глупостей, что только руками можно развести. Разрешения я не давал, тем более в письменной форме!

– Та я... Слухаю та просто не верю... Вы... Я... Ось бачите! Ось...

Сидоренко совершенно растерялся, запнулся и смолк.

– Вот вам и ось, товарищ Сидоренко. Но это не все. Вы устроили Сениной свидание с матерью в бараке, хотя доступ в зону для посторонних строго воспрещен. Еще одно нарушение.

– А чье?! Ваше, товарищ Долыньский! Вы меня на это мероприятие сами навели! Это ваше дело!

Опер усмехнулся; я ясно представлял себе, как он довольнo улыбается и в упор рассматривает Сидоренко, как посетитель в зоологическом саду спокойно и с любопытством следит за бьющимся в клетке животным.

– Мысль – моя, вы правы: я – человек и могу ошибаться. Не подумав, я мог сказать глупость, но перед тем как действовать, всегда следует вспомнить законы и поступить в пределах дозволенного. Я – советский человек, товарищ Сидоренко!

Начальник заворочался на топчане. Глухо:

– Вы советовали поймать Сенину, а поймали меня, товарищ Долыньский. Це була ваша цель?

– Ну, ну... Не преувеличивайте так, успокойтесь! К тому же не это главное: эта же Сенина пять раз на разводе устраивала дерзкую антисоветскую провокацию. И вы опять-таки не приняли никаких мер. Больше того: вы подали дурной пример заключенным, нашим врагам. Вы...

За дверью грохнуло так, что я отскочил от двери к окну.

– Не можу цього слухать! – заревел Сидоренко, стуча кулаком по столу. – Не можу! Я рубал врагов пид Пятихаткой та на Перекопе! Геройский орден получив вид самого Климента Ехремовича!

– При чем здесь товарищ Воро...

– Не встравайте! Слушайте, що я кажу! Я всим подал пример: четыре раза ранен, у меня у грудях завсегда огнем печеть вражеская пуля! Я рубал беляков – це правда, но рубать дивчину з колхоза не умею: партия не научила! Я признаю человечество! Сенина – пидросток, дурочка, нахваталась в лагере всяких пакостей та щось з себе строе, хоче

себя показать, свою волю нам наперек поставит. Но она не лодырь, товарищ Долянский, она есть трудовой класс! Моя дочь, Надежда Остаповна, медицинская студентка, а скоро полный врач московского выпуска, девку видала и сразу казала, що вона – романтик. Чуете? Романтик! Она на голову больная, ось що! Поняли? А вы з советской дивчины врага робите! Стыдно, товарищ Долянский, дуже стыдно!

На этот раз пауза длилась минуты две-три. Тишина прерывалась только шумным дыханием начальника. Затем прожурчал ласковый голос:

– Вот как? Удивительно! Значит, я могу сообщить по службе, что вы одобряете призыв к борьбе против нашего любимого вождя? Ну, не ожидал, товарищ Сидоренко! А еще рубака из Первой Конной, орденоносец, второй Чапаев! Не ожидал! Я надеюсь, стоящие за дверью врач, лекпом и санитар слышали ваши слова: они – свидетели, отпираться будет бесполезно!

– Так я... Щось... Ось...

За дверью щелкнула зажигалка, и сквозь щель вдруг потянуло медовым ароматом: Долянский курил только английские или американские сигареты.

– Опять ось и щось! Эй, кто там? Доктор!

Я вошел в комнату.

– Позвать заключенную Сенину из режимной бригады. Рабочие уже вернулись в зону?

– Как раз входят, гражданин начальник.

– Давайте ее. Живо!

Я вышел и опять прикрыл дверь. Санитар рысью понесся на вахту. Опер барабанил по столу пальцем, а голос Сидоренко глухо повторял:

– Да я що... Я... Ця дивчина дуже молоденька. Хм... Узять секиру, товарищ Долянский, та гакнуть аж пид самый пид корень – це просто. Було деревцо – та нет його. А деревцу расти семнадцать лет!

Наконец явилась Сенина. Я не узнал ее: да, строить свинарники на морозе не легко... Она сняла в передней валенки и стояла перед начальником босая, растопырив красные руки. На поясе висели кружка и мешочек с сахаром и хлебом. Обледенелый бушлат сначала хрустел при каждом движении, но в теплой комнате начал сыреть, потом по грязным пальцам потекла вода, и под девушкой стала шириться лужа.

Батя, нахмурившись, смотрел в окно, опер вынул из кармана кителя (он первый среди лагерных начальников надел

погоны) замшевую подушечку и стал полировать ногти. Потрет-потрет, вытянет перед собой руку с изящно отставленным мизинцем, посмотрит и начинает полировать снова.

Вдруг он заметил девушку.

– Шапку долой!

Сенина стала раскручивать на голове тряпье, старые портянки или полотенце, потом сняла ушанку. Примятые вихры опять поднялись дыбом.

– Приветствовать начальника не умеете?

Девушка переступила с ноги на ногу. Деревянным голосом сказала, глядя вниз:

– Здравствуйте, гражданин начальник.

Но опер вдруг повернулся к двери.

– Кстати, доктор. Вы слышите меня? Подойдите ближе! На днях я просматривал ваше дело. Вы работали для чехословацкой разведки против нас? Так?

О, что там инфаркты и стенокардии, при которых боль длится лишь минутами или часами! Что все это по сравнению вот с этой дьявольской болью, которая не стихает столько бесконечных лет?

И неожиданно я встретил взгляд серых глаз: с окоченевшего лица они посылали мне свет и тепло. Я был не один.

Опер усмехнулся: он замечал все.

– Но вернемся к делу. Девушка, я потревожил вас не надолго. Сейчас вы сможете идти за ужином... Слушайте. Вы выбрасывали контрреволюционный лозунг вот перед этим начальником.

Долинский сделал паузу и с холодной усмешкой рассматривал заключенную в упор.

– Теперь вами займусь я. За шестой флаг я вам обещаю пятьдесят восьмую статью и двадцать пять лет срока в режимном лагере. За седьмой флаг – расстрел.

Опер перекинул ногу на ногу и оправил ремни на шинели.

– Вы слышали, Татьяна Сенина? Я вас расстреляю! Идите.

Минуту девушка стояла неподвижно. Потом пошевелила белыми губами:

– Могу идти?

– Прошу. И пришлите санитару с тряпкой – под вами лужа.

Батя сидел сгорбившись и подпирал буйную голову тяжелыми большими руками: он как будто бы пальцами затыкал уши.

На следующий день после развода он отвел меня в сторону.

– Дивчине скажи, Антанта, хай добре работае та не трепле языком, бо буде несчастье. А ты возьми на заметку нового зубного техника: вин есть оперов провокатор!

Глава 6

Помощник смерти за работой

Подкапывая под Сидоренко, опер принялся и за всех с ним работавших заключенных, в том числе и за меня: он приказал ежедневно подавать ему списки освобожденных от работы с указанием диагноза. Каждый день после развода все оставшиеся в зоне вызывались в амбулаторию для проверки. Проверять приходила вольный врач, начальник медсанчасти, девушка весьма громкого поведения. С порога она кричала:

– Доктор, я вас сгною в изоляторе, если найду в списке хоть одного вашего поэта или писателя!

Затем, не раздеваясь, садилась за стол, на скрещенных руках укладывала мохнатую шапку и на мокрый мех опускала щеку, говорила: «Черт! Как холодно!» – и мгновенно засыпала. Но иногда вкрадывался Долинский, вежливый, корректный, и тогда мы все волновались – больные, санитары, я, буйная начальница: все могло случиться, всего можно было ждать.

– Ну, вот! Жрите! – со злобным торжеством крикнула мне однажды на утреннем приеме Сенина, торопливо срывая с себя бушлат, телогрейку и гимнастерку. Руки ее дрожали. Она была вне себя. – Проклятые помощники смерти! Вам голову принеси в руках – и то отдыха не дадите. Теперь нате – жрите!

Она села на табурет и двумя руками потянула мне свою левую грудь. Это была грязная серая тряпочка, вернее, маленький пустой мешочек, похожий на те, в которых заключенные тащат на работу замусоленные огрызки сахара и хлеба.

– Что ж, что я режимная?! А в режимной не люди? Бойтесь, гады! Сколько просила – день! Один день! Нет! «Здоровая!» «На работу!» Звери! Теперь ложите в больницу! На месяц! Два! Буду отдыхать в свое удовольствие!

Она рванулась ко мне.

– Я загнала большую ржавую иголку себе в грудь!

Под серой, тонкой и шершавой кожей глубоко в рыхлой ткани действительно прощупывалась игла.

– Студент, – скомандовал я помощнику, – рауш!

Мы тогда получали немецкие и американские ампулы с жидкостью для быстрого кратковременного наркоза. Сенину уложили на топчане, закрыли нос и рот ватой, обернутой в марлевую салфетку, Студент нажал рычажок на головке ампулы, и жидкость волосяной струей брызнула на тампон.

– Живомеры! Живоде... Живо... Жи...

– И все. Готова, доктор. Приступайте!

Поскольку жира в кожаном мешочке не было, я крепко двумя пальцами сдавил иголку и одним движением тупым концом наперед вывел ее наружу: сначала показалось ржавое ушко, потом я пинцетом извлек всю иглу. Студент смазал это место йодом и заклеил его квадратиком пластыря. Мы одели Сениной гимнастерку, телогрейку и бушлат и посадили на табуретку, спиной к стене.

– Я... Я... Что это? – она открыла глаза. Минуту глядела перед собой, ничего не соображая. Потом опять рванулась к нам.

– Чего стоите? Не верите? Испугались?

– Ладно, вставай. На завтра освобождена, – успокоил ее Студент изменившимся голосом и отвернулся. – Вот выпей сульфидин – заражения не будет. Открой рот! Через два часа придешь опять.

– А иголка? Так и останется?!

Сенина торопливо начала раздеваться снова. Вот сдернута через голову гимнастерка, она опять берет в дрожащие руки свою серую тряпочку... И видит на ней наклейку. Чистенькую, аккуратненькую.

Молча натягивает одежду. Шатаясь, выходит. Для слов и плача сил уже нет. Следующее усилие только чтобы убить себя...

Я вписал ее фамилию в список и стал одеваться.

– А все-таки, доктор, мы с вами действительно помощники смерти! – вдруг прошептал Студент и начал торопливо вертеть закрутку.

Я вспомнил слова Сидоренко, которых со времени разговора у портрета Моны Лизы не мог и не хотел забыть, толкнул дверь ногой, с порога обернулся и ответил твердо:

– Нет. Нам на плечи навалена тяжесть свободного выбора. Как только Сенину переведут из режимной, я возьму ее в бригаду ослабленных при больничном бараке: будет чистить картошку на кухне!

Глава 7

Предательский камень

Ах, хороша сибирская зима, до чего же хороша!

Вначале погода обычно неустойчива – волны теплого западного и холодного восточного воздуха борются друг с другом, и поэтому небо хмурится, часто в течение дня ветер дует то с одной, то с другой стороны, не стихает никогда. Однако Сибирь – благодатный край: через месяц **«зима садится на место»**, как говорят старые чалдоны. Теперь каждое утро из голубых глубин тайги выкатывается бледно-розовое солнце и пузырем не спеша плывет сквозь серебряные завесы морозной мглы. Тихо-тихо. Молча улыбаются людям деревья в розовых шубках, будто приглашая поиграть с ними. А почему бы нет? Эх, здорово-ядрено! Кровь кипит! Хлопнуть бы овчинной варежкой о варежку да за работу: кажется, горы бы сдвинул с места в такие деньки! Да, хороша сибирская зима, но только не на пустой желудок, когда кровь еле-еле движется, подгоняемая полумертвым сердцем, и дырявая брезентовая рукавица сама валится наземь с повисшей от бессилия руки...

Зимой список освобожденных от работы неуклонно рос: рабочие первой и второй категорий, восстановившие здоровье свежим воздухом, солнцем и нетяжелым трудом на полях, осенью, после уборки урожая, отправлялись в другие места – на шахты и заводы, а наш лагерь принимал оттуда обессиленных людей для подготовки их к весеннему севу. Вместе с нашей третьей категорией и доходягами они обслуживали свинарники и коровники – работа там легкая, в тепле и без нормы, лишь бы дело шло, ведь людей зимой хватало с избытком. Особо ослабевших медсанчасть посылала на кухню чистить картофель, съесть лишнюю миску баланды и поспать потом лишних несколько часов. Это был

обычный в деревнях период трудового затишья, и Сидоренко зимой охотно развлекал рабочих тем, что почаще выписывал из Мариинска центральную культбригаду из заключенных, хотя у нас имелась и своя собственная: честно говоря, она всем надоела со своими романсами и чечеткой. А мариинцы обещали привезти новую постановку «За тех, кто в море». Военная тема воспринималась нами как порыв свежего ветра: ведь командование тщательно вычищало современность из программ, так же как и передачи по радио. Газеты читались уголовниками-«воспитателями» редко и только в виде разрешенных начальником режима выдержек.

Именно в один из таких дней с новой постановкой к нам прибыла центральная культбригада. В ней работал Андрей Рыбаков, ленинградский студент, в лагере начавший писать стихи. Ночью мы долго болтали: Андрей внимательно слушал мои рассказы о Голландии. Потом вдруг ушел в себя, замолчал.

– Что случилось?

– Пришла мысль... Ваши рассказы можно увязать с нашим житьем-бытьем...

Вскочил и зашагал к дверям.

– Завтра после развода зайду в амбулаторию... Ждите!

Наутро он еще издали махнул под окнами дощечкой – есть, мол, поздравьте с уловом! Бумаги тогда не было, и мы писали на финской стружке – узких длинных дощечках для покрытия барачных крыш. Писали списки больных и посаженных в изолятор, списки для кухни и морга – писали все, включая стихи и рассказы. Лагерная обслуга важно ходила со стопкой таких дощечек под мышкой – врачи и нарядчики, повара и поэты.

– Слушайте, мне невтерпех! – у Андрея голубые глаза светились радостью творческой удачи.

В это утро я делал вливания больным сифилисом. Они выстроились гуськом со спущенными штанами и по очереди подставляли болтающиеся сзади пустые мешочки, в которые я втыкал длинную и толстую иглу, снимал с нее шприц и минуту ждал, не покажется ли кровь, и если все было в порядке, то вводил в мышцу густую оранжевую жидкость. Больных было около двадцати человек, и дело продвигалось медленно.

– **«Катастрофа»**, – особым сценическим голосом начал автор и несколько театрально поднял руку. Стоящие гусь-

ком больные, придерживая спущенные штаны, повернули головы и открыли рты.

– Приходько Иван Иванович, четвертое вливание! – словно в ответ прогудел Студент.

– Не давайте препарату стынуть! Студент, шприц! Поэт, вперед!

Андрей тряхнул светлыми кудрями (членов бригады не стригли) и медленно, с чувством начал:

Все мы живем в Нидерландах
Под грозной чертою прибоя,
Спрятавши наши домишки
За каменной кладкой плотины.
Рвется на нас и грохочет,
Вздымая тяжелые волны,
Ощупью пробуя камни,
Угрюмая мощь океана.
И никогда не смолкает
Поющая глухо угроза,
Завтрашний наш победитель,
Сужденная избранным гибель.
Брат, не надейся на стену,
Какой ни казалась бы прочной!
Помни: запрятался где-то
Неверный, податливый камень.
Где он – не высмотреть глазом.
Но неизбежно когда-то
Выпадет он и откроет
Дорогу заждавшейся смерти.
Может быть, это – идея,
Высокая, светлая правда,
Завтрашняя аксиома
Начального школьника жизни,
Та, за которую ныне
Сужден я невиданной казнью
Через чужую работу
И через медленный голод!
Может быть, это – искусство,
Горячая, жадная топка,
Жерло, которое кормим
Собственною судьбою,
То, для чего нам не жалко
Жизни своей и счастья,
Только бы ярче горело
И грело великое пламя!

Может быть, это – ребенок,
Кристаллик вчерашнего счастья,
Маленький теплый комочек,
Кого ты ласкаешь сегодня,
Тот, кто посмотрит однажды
Бескрайне чужими глазами,
И зарыдаешь, орлица,
Выкормившая цыпленка!
Может быть, это глухое,
Единственное призвание,
Слепорожденная сила
С походкой взбешенного тигра,
Та, что ведет нас на подвиг,
На преступление и гибель,
Та, что рождает и рушит,
И странно зовется – любовью!

– Доктор, я сейчас из вас сделаю котлету! – вдруг раздался знакомый крик за окном, и в комнату ворвалась наша бойкая начальница Аня. – Опять послали на кухню ослабленных без медицинской справки! Молчите! Я знаю, что вы скажете! Надо честно работать! Всех переосвидетельствовать! И без липы! Смотрите всерьез! Живо! А что здесь делает Рыбаков? Хочет тоже получить дозу биохинола?

Все это означало, что начальство уже успело с утра за что-то накрутить девушке хвост, и она решила заняться делом. Обычно я никогда не осматривал отправляемых в корнечистку людей, потому что и без того знал состояние здоровья каждого человека в зоне. Но форма есть форма. Нарядчик уже гнал по дорожке из кухни лохматую и спотыкающуюся процессию серых призраков, которые на ходу что-то жевали. Рыбаков сделал мне знак «зайду позднее!» и исчез, нарядчик вышел покурить, а начальница Аня, положив руки и голову на стол, сонным голосом пробормотала: «Я все вижу, не вздумайте халтурить, доктор. Я... Я...» – и заснула. Я закончил вливания и принялся за корнерезов, которых выбирал из числа особенно уставших от работы и мороза людей.

«Нет, Андрей чего-то не договорил, – думал я. – Потерпевшие катастрофу не погибли... По крайней мере, не все. У каждого нашелся свой предательский камень: рядом с погибшими за идею здесь сидят и те, кто был погублен чувствами. В этом смысле стихотворение хорошее. Оно написано со знанием дела. Молодец Андрей! Лишь бы его стихи

дожили до иного времени... Но все-таки вещь не закончена и поэтому пессимистична, а это нам не к лицу. Не в неверном камне дело, а в нас, в нашем мужестве. Андрей не говорил, не сказал самого главного, что нам дорого: мы переживем прорыв плотины, выдержим натиск взбесившихся волн, выдюжим: еще бы, ведь мы проверены испытаниями. Тому, кто верит, ничего не страшно! Живые или мертвые, но мыждемся правды!»

— Ну, доктор, последняя из команды ослабленных, слава Богу: Сенина Татьяна Александровна, год рождения тысяча девятьсот двадцать шестой, статьи нет, осуждена особым совещанием, формулировка: «Проституция. Социально опасный элемент. Срок десять лет». Ну, ты, шевелись! Ложись! Не ломайся, не в театре. Слушай-ка, Татьяна Сенина, с таким приговором нечего строить из себя Татьяну Ларину!

Студент сам улыбнулся своей шутке и тихонько запел:

Я вам пишу, чего же боле,
Что я еще могу сказать...
Тра-ля-ля... Тра-ля-ля...

Через минуту я поднял голову и медленно разогнул спину.

— Встань. Так какая у тебя статья?

Девушка, побагровев от стыда, повернулась к нам спиной и не отвечала. Она медленно натягивала свои тряпки. Я стал мыть руки. Так вот оно что... Как же я не смог этого понять раньше: поверил взгляду исподлобья... Стыдно, очень стыдно! Сидоренко оказался прозорливым. «Було деревцо, та и нет його... А деревцу расти семнадцать лет...»

— Все идите на кухню. Нарядчик, вот справка.

— А эта дешевка? Больная, гадина?

Я пристально посмотрел на девушку. Не поднимая головы, она стояла совершенно неподвижно, только один палец лихорадочно теребил веревочку, которая поддерживала штаны.

— Пока останется. Придет после. Студент, идите в больницу, я хочу поговорить с Сениной наедине.

Девушка по-прежнему стояла потупившись и крутила пальцем веревочку.

«Нужно бороться за человеческое в себе самом. И лучше всего это можно сделать, помогая человеческому в других...»

Я поднял ей лицо, погладил по волосам.

— Эх, ты... Дурочка... Пусть начальница спит, а ты тихонечко расскажи, в чем дело...

Балда

– Я родилась в деревне под Новосибирском. Отец умер давно. Мы с братом Алешей, как война началась, пошли на военный завод. Он – рабочим, а я – ученицей. Я ведь на воле здоровая была, во какая, что парень. И головастая, хвалиться не буду: очень даже понятливая, доктор. Как немец допер до Волги, Алеша пошел на фронт, ему год как раз подошел, а я осталась в бараке одна. Народ там разный, плохих тоже хватает. И стала я весной гулять с мальчиками в парке. Тут они как раз решили достать себе оружие, поихнему бухало. Зачем – не знаю, у них такая мода: война всех заразила. Наметили они одного дядечку в парке с пистолетом на боку и говорят: «Ты, девка, его замани подальше, а остальное мы сделаем сами». Я это начала, конечно, перед дядечкой вертеть юбчонкой, подсаживаюсь под бок и говорю: «Скучаете, гражданин военный? Видно, нездешний?» Он: «Нет», – отвечает, и я его сразу под ручку и по дорожке подальше от фонарей. Только начала, стало быть, объявлять про любовь и прочее, а дядечка и говорит: «Вот балда, и где только такие губошлепки родятся! Ты из деревни?» – «Из деревни», – говорю. «Работаешь?» – «Работаю». – «А учишься?» – «Нет». – «Вот и дура. Что работаешь – это хорошо, но мало: надо учиться. Будешь учиться – станешь чуток поумнее. А пока катись отсюда к чертовой матери, и больше чтоб я тебя в парке не видел». Тут ребята накинулись и стали пистолет тянуть. Мне бы бежать, доктор, а я с перепугу палец в рот и стою как пень! А дядечка Петьку, который у них за главного был, сразу скрутил и милиционеру сдал, а тот прихватил и меня. Петька в милиции всех сразу засыпал – малолетка ведь вроде меня.

Судились мы вместе – за попытку ограбления с применением холодного оружия (у этих дураков нашли самодельные ножи, большущие, во какие!) и за попытку обезоружить военнослужащего в военное время. Понимаете, доктор, чего мы себе наделали? Жуть! Мальчишкам суд повесил по десятке, и меня тоже начали было судить за соучастие в ограблении и разоружении; прокурор тоже потребовал червончик. А дяденька этот начал меня выгораживать. «Нет, дескать, – говорит, – она есть случайная проститутка, я сам подцепил ее в парке!» Суд хотел мне всунуть по этому слу-

чаю петушок. Однако подвернулась какая-то тройка – мы ее и в глаза не видели – двух мальчиков двинула на передовую, остальным всунула по пятнадцати, а мне прицепила решение без статьи: «Проституция. СОЭ». И десяточку в подвесок.

Начальница повернула голову на столе и что-то сказала во сне. Мы притихли и дали ей время как следует заснуть. Но девушка уже не могла говорить спокойно и тихо.

– В заключении, доктор, меня больше всего обижает, когда толкают: здесь все толкают кому не лень – и стража, и заключенные. Во как, доктор! В этом-то и есть все наказание: когда меня толкают в шею или в спину, тащат, швыряют наземь – у меня сердце отрывается от корня, больно так, доктор, верьте, оно отрывается и падает: я остаюсь каждый день без сердца и не могу этого выносить. Отсюда и мои флаги, доктор: не выдержала, сил не осталось. И потом такое слово в приговоре: каждый день здесь проверки, и каждый день я в голос кричу его людям сама – «проститутка», «проститутка». Бандиток боятся, их уважают, слушаются. С воровками тоже считаются. И они тоже люди. А я? С такой наклейкой? Плевалка на полу, вот кто! Каждый мной помыкает, я всем подстилка! Не могу больше такого терпеть! Не могу больше, доктор, милый!

– Ладно, не плачь.

– Я потерялась, доктор... Одна, никого нет... Я потерялась!

Она вдруг зарыдала и положила голову мне на грудь.

Начальница шумно вздохнула и открыла глаза.

– А? Что?

Вскочила и схватила карточку со стола.

– Сейчас из обоих будет блин! Я вам покажу, как обниматься у меня на глазах!

Я рассказал, в чем дело.

Начальница потеряла глаза и долго трясла головой. Потом умылась, крепко вытерла лицо полотенцем. Закурила. И внимательно выслушала Татьяну еще раз.

– Чего же ты раньше не потребовала освидетельствования? Отвечай!

Но Сенина только багровела, отворачивалась и молчала.

Наконец начальница порывисто вскочила и наотмашь протянула руку:

– Заключенная Сенина, поздравляю со скорым освобождением!

Размашисто нахлобучила ушанку и запахнула полушубок.
— Эту карточку беру с собой. Сегодня получу дело и еду в Мариинск к прокурору. Сяду ему на шею и не слезу, пока он не добьется пересмотра. Девушку поместить в стационар на отдых и откорм с диагнозом «дистрофия». Приказываю стеречь ее, как начальство стережет лагерные ворота. Поняли, доктор? Нет, я вас еще раз спрашиваю: вы поняли меня? Ее судьба теперь зависит только от девственности — это законное основание для отмены приговора!

Глава 9

Королева в натуральном виде

Анна Герасимовна, или попросту начальница Анечка, не то чтобы действительно любила шум, нет, он был ей нужен просто для прикрытия: она ненавидела свою работу. После окончания института еще в Москве получила назначение в лагерь и была этому очень рада: время было мирное, работать среди молодых командиров в палаточном городке на лужайке веселой рощи представлялось девушке очень привлекательным. Но лагерь оказались не армейскими, по-настоящему она поняла свою ошибку, только когда впервые увидела измученные лица заключенных. Но и это вскоре перестало быть главным, когда она узнала, кто эти люди и за что многие из них попали за проволоку. Легкомысленная молодая женщина стала серьезной, сразу повзрослела лет на десять и решила бежать, то есть любыми средствами добиться снятия с работы, потому что по-хорошему уйти было нельзя. Отсюда внутренний надрыв, отчаяние и буйство. Позднее своим поведением она вынудила командование отчислить ее из кадров. Другим человеком врач Семигласная вернулась в Москву — что-то сломалось в ней, какая-то пружина, которая движет человека по жизненному пути. Но в Москве ее ничто не могло успокоить: по ночам снились серые лохматые призраки, жующие гнилые картофельные очистки. Молодая женщина все искала чего-то, металась и не могла сжиться с людьми. Лет через пять она умерла.

Дело Сениной для начальницы Ани явилось отдыхом и желанной отдушиной. Все накопившееся в ней отчаяние и жажду добра она вложила в хлопоты по пересмотру Таниного дела. Досрочное освобождение неправильно осужденной стало на несколько месяцев стержнем ее жизни. Увлечшись чужим горем, она забыла свое, успокоилась, похорошела.

— Дело продвигается быстро, Таня: меня горячо поддержал товарищ Долинский, а его помощь — это все. Долинский — человек культурный и гуманный.

Что-то промелькнуло на лице Тани, на мгновение она стала похожей на лохматую девку из штрафной бригады — тот же косой взгляд исподлобья, те же вихры дыбом.

— Ты не веришь, Танечка? Напрасно! От умиления у него даже слезы навернулись на глаза, от радости за тебя: он у нас чувствительный, как красная девица! Как все славно получилось! Ты понимаешь?

— Мне-то будет лучше, спасибо, гражданка начальница, а вам-то что? Ведь вы — вольная!

— Эх ты, дуреха! И ничего же ты не понимаешь! И мне тоже хорошо! И я... — тут начальница смолкла и закусил губу.

Молодое тело — податливый и благодарный материал, из него можно лепить все, что хочешь. Малолетнинский барак и режимная бригада вылепили из Тани Сениной костлявую лохматую девку в дырявых ватных штанах, с землисто-серым измученным лицом и косым взглядом исподлобья. Но вот отталкивающая фигурка, казалось бы, навсегда оформленная, попала в руки другого ваятеля, и он принялся быстро и легко менять законченный облик. Волосы отросли и упали на плечи легкими волнами, теперь светлое лицо с лучезарными глазами всегда гордо смотрело вперед, и, когда красивая девушка проплывала между толпившимися в коридоре больными, слегка прикрывая мужскую нижнюю рубаху на высокой груди и придерживая полы новенького синего халата, все покачивали головами и дружно хрипели ей вслед:

— Королева! Натуральная королева!

Но королева вскоре принялась за работу: она попросила Семигласную назначить ее санитаркой.

— Зачем тебе? Отдыхай!

— Этого же я и прошу, гражданка начальница! Хочу отдохнуть от лежания. Руки требуют, во как!

С раннего утра Таня принималась за работу. Сурово нахмурившись, в сером рабочем халате, подпоясанном вере-

вочкой, она быстро и бесшумно двигалась по коридору и палатам, мыла полы и мебель, больных и посуду, таскала ведра с углем и топила печи, скребла, чистила, вытряхивала: все горело у нее в руках, и, странно, работа никогда не переводилась. Новая санитарка вставала первая и ложилась последняя: розовая, сильная, с развевающимися волосами, она, казалось, играла в работу.

– Что-то с девкой деется? Огонь в правильном виде. Неужто с того загорелась, что вроде идет на волю?

Но оказалось не то.

Глава 10

Что такое любовь?

– Таня, – однажды шепнул я Сениной после обеда, когда больница погрузилась в сон, – тихонько, чтоб никто не заметил, возьми сумку скорой помощи – побольше бинтов и ваты. Прихвати два жгута для остановки кровотечения. Носилки вынеси на крыльцо будто для мойки и оставь их там. Как начнет темнеть, обойди зону кругом и жди меня возле последнего барака против БУРа. Не спрашивай ничего, все увидишь сама.

Утром этого дня после развода я обходил рабочие бараки согласно положению – проверял оставшихся по списку освобожденных и делал указания дневальным по части поддержания чистоты. Осень уже началась, самая скверная ее вторая половина – проливные дожди, непролазная грязь, промозглый холод. В одном из женских барачков, пустом, холодном и темном, я увидел на фоне высокой печи совершенно обнаженную молодую женщину: она прижималась к печи всем телом, обнимала ее широко раскинутыми руками и казалась распятой.

– Это я, цыганка Сашка, – громко прошептал мне знакомый голос из полутьмы. – Не пугайся, доктор, и не шухери!

– Ты что здесь делаешь? Принимаешь воздушные ванны?

– Не шулуй, не будь гадом. Батя припер к Штабу тележку с какими-то пакетами, так я пакеты сбросила, а тележку смыла, порубала и вот греюсь: холода не обожаю, я с Ти-располя, у нас сейчас тепло.

– Гм... А чего это ты голая? Продулась?

– Не в цвет попал, тут серьезное дело. К тебе просьба. Мой Иван в БУРе, ты сам знаешь: сидит за хлеборезку, помнишь? Через проволоку он уж дней десять кричит, чтоб я ему доставила табачку. Мол, невтерпеж, понял? А откуда его взять, энтот табак? На вахте один стрелок втихаря подторговывает махрой, и товар у него на большой палец, очень распрекрасный, но денег, гад, не берет, хочет барахло, теперь тряпки дороже денег. Так я с себя все как есть стиранула, выгладила и загнала за наволочку махры – видишь, висит на вагонке? Вон та самая! Теперь слушай: сегодня, как смеркнется, я поползу через огневую дорожку в БУР, поволоку махру. Ребята, которые гладят дорожку, давно уже в одном месте проделали над самой землей проход и замаскировали проволокой.

– Белое тело стрелок с вышки заметит сразу.

– Я лезу в пальте, смотри, в этом самом. Оно переделано с шинели. Пальто на полчаса дала наша сука дневальная. За две пайки. Полезу, как смеркнется, но до фонарей – в самое неразберительное время. Передам мешок Ванечке – и враз обратно. Ты будь другом, подожди с бинтами у барака. Если меня кокнут начисто – смывайся, не показывайся гадам, а если только зацепят – выползай, скажи, что, мол, шел случайно с обходом. Поймают – всунут тебе десятку за соучастие. Ты не боишься?

«Мы и беяков лечили, а ты? – вспомнились слова Сидоренко. – Их болью ты не болеешь».

– Нет, – твердо ответил я. – Не боюсь. – «Рисковать собой из-за бандита и шлюхи? Надо! Я не только врач, но лагерник и человек. Это обязывает. Начнешь вычислять по счетам, кто чего стоит, – ничего не сделаешь! Рисковать надо!» И я еще раз повторил: – Я не боюсь!

– Молодчик. Ты в последнее время сильно изменился, доктор, – голая женщина дружески улыбнулась и добавила: – Тебя теперь любят в зоне. Раньше я с таким делом к тебе и не подступилась бы. С чего это ты подобрел?

– Проснулся.

– Здрасьте пожалуста... А разбудил кто? Скажи!

– Есть здесь один проповедник.

– Неужто поп, что работает на кухне? Вот чудеса! Его наши старухи почитают, пайку ему носят, а я соображаю так – раз у голодных берет, значит – гад. Надо давать, а не тянуть руку за последним.

– Верно.

– А как же? Надо быть человеком, не строить из себя Долинского, небесного законника.

Я вздрогнул.

– И ты в проповедники записалась, Сашка?

– А мне зачем? Я – на земле живу, я – черт, во мне всякого много – и сладкого и горького. Так насчет сегодняшнего вечера заметано?

– В законе.

И вот вместе с Таней и долговязой женщиной по кличке Швабра, владелицей пальто, мы втроем стоим у крыльца и делаем вид, что ведем деловой разговор. Косит холодный дождь. Видимость плохая: столбы ограждения БУРа почти не видны, в полосах воды они как будто бы покачиваются и то выступают вперед и станут ясно видимыми, то отодвинутся назад и пропадут в бурой мгле. Вышки тоже не видно, хотя она где-то близко. Стрелку еще хуже – он смотрит сверху: колья ограждения для него сливаются в один ряд, в узкую черту на фоне текущей по грязи воды. От волнения у нас дрожь пробегает по телу, у Тани громко цокают зубы.

– Эх, зубки у тебя больно хороши, чтоб мне свободы не видать! – хрипит Швабра. – А насчет Сашки, это уж верно, доктор, вы не сомневайтесь: проползет, чума. Природа-то какая сейчас – дождь, туман, тоже и вечерится – все одно на одно, и получается как мое пальто. Гад на вышке разве усмотрит?

Мы напряженно всматриваемся в серую муть, в которой притаилась смерть.

– Вряд ли, – говорю я. – Туман колыхнется пластами, как бурые одеяла, сложенные одно на другое, знаете, так в магазине бывает, – одеяла столбом до потолка.

Таня щелкает зубами. Швабра кашляет и сипит:

– Это до революции было, чтоб столбом до потолка. Сейчас все рвут с руками. И одеялы были шелковые розовые и голубые, не то чтоб, как теперь, – шинельного сукна.

Мимо крадется, точно плывет в дождевой туче, темная фигура с болтающимся мешком. Сдавленное:

– Это вы?

– Мы. Не бойся!

– С Богом! – добавляет Швабра и крестится. – Эх, мое пальтишко! Новенькое – и в грязь...

Фигура быстро подходит к краю барака, ложится на живот в потоки воды и уползает к огневой дорожке. Мы ничего

не видим кроме булькающих пузырей – кругом только призрачный свет, мгла, качающиеся полосы дождя.

– Обещала простирать пальто в бане, шпана, – судорожно вздыхает Швабра. – Материя новая, бабы недавно смыли за зоной шинель у одного стрелка – жена развесила на заборе, дура.

– Я не могу так, – жалобно шепчет Таня и рукой поддерживает челюсть, чтоб не цокать зубами. – Подойдем ближе, к углу хотя бы, а, доктор? С вышки все равно не видать!

За углом мы прижимаемся спинами к бревенчатой стене барака. Где-то в зоне голоса – возвращаются рабочие бригады. Кругом нас ровный шорох дождя, немолчное бульканье и хлопанье текущей по грязи воды.

– Она уже проползла?

– Первую дорожку, конечно! Вторую, с той стороны ограждения, – не знаю. Нужно два раза пролезть сквозь дыру в колючей проволоке и пересечь четыре огневых дорожки. Не забудь, Таня, она потянула мешок.

– А если железные колючки разорвут наволочку?

– Табак высыплется в грязь.

– Так зачем же она поползла?

– Чтоб передать махру Ивану.

– Дура. Верно, доктор?

– Нет.

– Ради табака рискует жизнью!

– Она рискует жизнью ради любви, Таня. Махра – это дешевое барахло, но оба они – Иван и Сашка – сейчас самые богатые и счастливые люди: он тем, что его так любят, она – что способна так любить. Жаль, что высокие чувства даны такому низкому отребью – грабителю и потаскухе.

– Почему жаль?

– Они их недостойны. Оба способны крепко любить только потому, что сильны их тела, а не души. Поняла? Это примитивные люди, и только.

Мы тихонько говорили и напряженно глядели вперед. Вдруг дождь прекратился, разом посветлело, и сейчас же справа сверху тяжело захлопала в бурой мгле первая автоматная очередь. Часовой стрелял из трофейного автомата транслирующими пулями. Они мгновенно прошли зелеными стежками серую пелену, и мы неожиданно низко, у самой земли, вдруг увидели грязные голову и плечи Сашки: они были похожи на камни, едва возвышавшиеся над зыбкой грязью.

– Она... Родненькая... Ползет...

Я оторвал от моего рукава вцепившиеся в него пальцы Тани.

– Успокойся. Приготовь бинты! Быстро!

Стрелок, местный колхозник, наверное, на охоте попал белке в глаз, чтоб не испортить шкурку. Но стрелять из немецкого автомата он явно не умел: опытный охотник, он впопыхах забыл, что тут нужно не целиться, а водить стволом, нащупывать цель огневой струей. По зеленым иглам, мгновенно протыкавшим мглу и дождь, мы хорошо это видели.

Сашка ползла медленно: она боялась согнуть руки и ноги, чтобы они не поднялись над уровнем грязи, она гребла ими, как веслами, и плыла в холодной слякоти среди дождевых пузырей, пулевых всплесков, мелькания и свиста светящихся пуль. Ближе... Ближе... Нарушительница уже давно переползла дорожку, но увлеченный охотой сибиряк все еще продолжал стрелять: это был уже только спорт.

– Не поднимайся, Сашка! Ползи за угол! – трубили мы в сложенные ладони: стрелок на вышке был недалеко и в азарте мог полоснуть очередью и по нам.

Вдруг по всей зоне вспыхнули огни – вдоль забора, на вышках. Стрельба сразу смолкла: часовой увидел, что дорожка пуста, что кто-то уже успел проползти из БУРа в зону. А это было, в конце концов, не такое уж серьезное нарушение, как побег из зоны на волю. И сейчас же, совсем неожиданно, прямо у наших ног Сашка тяжело оторвалась из грязи. Густая жижа стекала с ее длинного пальто. Она была похожа на статую из полированного камня. Только этот камень теперь сладко всхлипывал от возбуждения и счастья.

– Грязь – это ничего, смоемся. Молодница ты, Сашка! Пресвятая Богородица, Матерь Пречистая, на все воля Твоя! – шептала Швабра, торопливо крестясь и одновременно зорко осматривая со всех сторон свое пальто. И вдруг хрюкнула, всплеснула руками, размахнулась и со всей силы ударила Сашку по лицу. Раз и еще раз. – Это чего? А? Смотрите, доктор! Скидывай мое пальто, скидывай, падло! Враз, ну!

Швабра, пыхтя, стянула с плеч Сашки стопудовое пальто и мигом просунула несколько пальцев сквозь поперечные рваные дыры на спине.

– Пули! Видишь, позорница? Спина порватая как есть! Ах, ты, слон цыганский – и пролезть толком не можешь! На тебе! Получай еще! За дело бью, Сашка! За дело!

Поперек голой Сашкиной спины чернели пулевые ожоги, а может быть, и раны: опять полил дождь, окончательно стемнело, я ничего не видел толком. Обнаженная женщина ежилась под холодным дождем и поводила от боли плечами, но молчала: в этой покорности было счастье, сознание вины, боль – все...

– Не жмись голая, одевай пальто и беги в барак! Облейся водой, займи у кого-нибудь платье и в амбулаторию! Ну! Сейчас ударят проверку!

И действительно: на вахте судорожно завыл рельс.

– Ты когда ползла – думала за пальто? Будешь платить, Сашка! За каждую пулю по отдельности! – рычала Швабра.

– Я их спиной видела, эти самые пули! Все дергали! Чвырк! Чвырк! – блаженно скулила Сашка. – А табачок я передала Ванечке в самые евойные ручки! Верно говорю, Швабра, чтоб меня зарезали!

Они обнялись и, поддерживая друг друга, зачавкали по грязи.

– Бежим и мы! Пора! – я перевел дух и рукавом стер со лба холодный пот. – Как удачно обошлось дело, а, Таня?

Но Таня не двигалась. Крепко ухватив меня за плечи, она глядела ликующими, восторженными глазами в темноту и дождь, сквозь меня, через меня.

– Да что с тобой? Очнись!

Она вздрогнула, тряхнула головой, и мы двинулись в больницу. Уже на крыльце, с носилками под мышкой, девушка вдруг спросила:

– Доктор, как по-вашему, я – примитивная?

Глава 11

Можно ли в заключении быть счастливой?

Несколько дней Таня оставалась тихой, задумчивой, глубоко ушедшей в себя. Станет у окна и смотрит молча и сосредоточенно на весенние звонкие ручейки, бегущие по двору. А я видел – внутри у нее шла большая и напряженная работа по осмысливанию виденного. Это было понятно по ее вопросам.

– Доктор, любить могут все живые природные существа?
– Нет, Таня. Живых существ разного пола в природе влечет друг к другу всего лишь инстинкт, то есть бессознательная потребность. А люди наделены сознанием, только им одним в природе дано высокое счастье любить.

– А Иван и Сашка?

Я сделал отмечающий жест.

– Ах, эти двое... В их любви много бессознательного влечения. Животные также способны на самопожертвование, и все же они остаются только животными. Любящий человек ради махорки не вовлечет близкую ему женщину в смертельную опасность. Это гадко, это зло, а человеческая любовь, Таня, прекрасна, она всегда добро.

И снова большие глаза, не видя, наблюдают за веселой игрой вешних вод.

А еще несколько дней спустя, торжественно затворив дверь, Таня идет через длинную дежурку ко мне, словно плывет по розовым весенним облакам, – такая просветленная и торжествующая. Минуту колеблется, потом кладет обе руки на мои плечи и шепчет, счастливо сияя синими глазами:

– Вы мне заместо отца и матери, доктор. Кому же еще смею довериться? Примите мою радость: я люблю Студента...

Первое время начальница Аня, я и Марья Васильевна приглядывали за Студентом и Таней – дело было серьезное, все считали себя в ответе за Танино будущее. Несколько раз мы по очереди делали ей строгие предупреждения: объясняли значение свободы для человека вообще и освобождения без судимости для ее будущего: если паспорт не будет замаран, то перед ней откроются все двери – к образованию, к более интересной работе, к хорошему советскому браку, к счастливой семье.

– Будь осторожна, Таня! – твердили хором мы.

– Буду! – улыбалась она и кивала головой.

Время шло, и мы успокоились. К тому же Студент был поглощен легкими победами в **высшем обществе** за зонной, а Таня казалась погруженной в блаженный мир своего внутреннего счастья: она светила им, она излучала радость, гордость и торжество. Внешне ничего как будто бы не изменилось: по-прежнему добровольная санитарка таскала больных и их горшки, носила ящики с углем, топила печи и с удивительной быстротой производила уборку – видимо, накал рабочего рвения точнейшим образом отражал общий подъем ее физических и духовных сил.

И все-таки кое-что изменилось. Самое главное.

– Отдохни и ты, – сказал я как-то Тане, когда после обеда она объявила «мертвый час» и разогнала курильщиков из коридора. В больнице стало тихо, послышалось тиканье настенных часов и ровное сопенье. Окна были распахнуты, стоял светлый прохладный денек раннего сибирского лета сорок четвертого года. – Угомонись! Посиди, Таня!

Она присела на подоконник, закрыла глаза и подставила лицо солнцу.

– Мне теперь не уgomониться, – вдруг ответила она, не раскрывая глаз и чему-то улыбаясь. – Я теперь по-другому работаю, доктор. И работа у меня другая.

– Гм... Не понимаю, – ответил я, делая записи в истории болезни. – Уж полгода ты возишься с этим литовцем Лукашевичусом, у которого абсцесс легкого, поворачиваешь его на постели и моешь теплой водой. Не надоело?

Она долго молчала, видимо, подыскивая слова для ответа.

– Нет, не надоело, доктор! Раньше я была другая, понимаете, то есть совсем-совсем другая: когда ослабла, то работала плохо, потом отъелась и стала работать хорошо, в полную силу. Чего же лениться, если силы есть? Но работа меня не трогала: не мне она была нужна, а моим рукам. Я оставалась совсем в стороне. А теперь...

Она звонко засмеялась, повернулась на подоконнике лицом ко мне и радостно ударила в ладоши.

– Теперь работа нужна мне самой, то есть Тане Сениной, а не ее рукам, поняли, доктор? Я хочу... Как бы это сказать... Выразиться, ну, да, – выразиться в работе: пусть все знают, какая я что ни на есть самая счастливая. Во как! Я люблю Студента и через него люблю работу, и Лукашевичуса этого тоже полюбила! Как он вчера мне руки целовал! Если б только вы видели...

Она засмеялась. Я насторожился.

– Кто? Студент?

– Лукашевичус! – Таня вскочила с подоконника и несколько раз топнула ногой как в танце, а потом шутливо сгорбилась и, подражая больным, просипела:

– Королева в правильном виде! – наконец гордо выпрямилась и закончила твердо: – Да, королева и счастливейшая на земле!

Не примитивная, а человеческая

Седьмая осень в заключении. Впереди – восемнадцать. Вот опять два розовых дня. С крыльца амбулатории я смотрю на тайгу, и что-то сладко щемит на сердце. Не отрываясь, я гляжу на тоненькие кудрявые вольные березки за зоной и на заключенные березки в зоне, они сегодня удивительно похожи. И те, пышные, и эти, общипанные, – они сегодня праздничные, они розовые. Я думаю о прошлом о чем же думать еще? Ведь будущего у меня пока нет. Я в него лишь верю...

Я вспоминаю дни и ночи труда и борьбы, упоение достижениями, думы о будущем: страна вокруг меня растет, и я расту вместе с нею – ведь мы слиты воедино. Да, это было...

Сквозь розовую тайгу и слезы на глазах я смотрю еще дальше вглубь прошлого, самонадеянного и жестокого. Я вижу молодость. Кто не щадит себя, не щадит и других; не глядя по сторонам, я шел вперед и видел только дальнюю цель, я шагал напрямик, как слепой, и никогда не спотыкался. Да, и это было...

Была молодость как триумфальное шествие беспредельно вперед; были зрелость и родной эшафот, на который склонилась моя полумертвая, израненная в боях голова...

И вот теперь только старость – вера в то, чего нет, и как посмертный венец – два розовых дня и серебряная паутина на дуле направленного в меня автомата...

– Ты що, доктор, спышь? Чи сказывся?

Я открыл глаза. Сидоренко стоит во главе торжественной процессии начальников из Маротделения: за его спиной прокурор, начальник Первого отдела, наш опер и наш начальник Первой части, наша начальница.

– Це комиссия насчет Сениной. Зови ее.

Комиссия входит в кокетливую комнатку с голубыми занавесочками. Все рассаживаются. Начальник Первого отдела вынимает из портфеля документ.

Вводят Сенину. Она спокойно останавливается у двери. Все улыбаются. Все в прекрасном настроении. Анна Герасимовна за плечи выводит виновницу торжества на середину комнаты и говорит:

– Ну, Танечка, твоя минута настала. Слушай!

Держа в руке документ о досрочном освобождении, начальник отдела встает. С видом доброго дядюшки кладет руку на плечо красивой девушке и ласково говорит:

– Гражданка Сенина! Прежде чем прочесть вам решение суда, я хочу по-простому, по-товарищески объяснить, как произошла такая ошибка и почему было нанесено оскорбление хорошей советской девушке. Я хочу, чтобы вы все выслушали, поняли и извинили.

Все закивали головами и растроганно заулыбались. Это был великолепный момент торжества оскорбленного судопроизводства. Но Татьяна Сенина вдруг шагнула вперед, легким движением руки отбросила назад волосы и твердо, громко и ясно отчеканила:

– Я беременна.

Холодно. Ветер треплет черные, голые ветви деревьев. В грязи перед воротами выстроились правильные квадраты бригад. Из-за забора слышатся тявканье сторожевых псов и кашель конвойных.

Первой справа в ударной бригаде, выходящей на свинарник, прямо и уверенно стоит вихрастая молодая женщина в добротном ватном обмундировании первого срока.

– Будешь уставать, заходи за освобождением, – тихонько шепчу ей я.

Она поднимает серые глаза, ставшие теперь такими глубокими и серьезными.

– Я добровольно отказалась от свободы не для безделья, доктор. Сашка не ждала танк, чтоб перебраться через огневые дорожки. Где же тогда любовь? В чем? Много я наделала глупостей – в парк с ребятами пошла, флаги выбрасывала. А вот этого не жалею: люблю и свое ставлю как положено. Я не примитивная, доктор, я – человеческая. Во как!

Она помолчала, глядя вперед, в ворота и через них – на волю.

– Спасибо за предложение. Однако же я не приду. Я хорошо работаю, и у меня теперь есть помощник. Он меня поддержит.

– О ком ты говоришь? Студент...

– Я говорю о моем будущем ребенке.

Режимная скрывается за воротами.

– Первая ударная, вперед!

И, наклонив головы, черные ряды врезаются в холодный ветер, крутящий на мокрой дороге желтые осенние листья.

Освобождение? Гм...

В эти дни был неожиданно амнистирован Студент. Если в начале суровой барачной жизни Таня могла надеяться на какие-то короткие минуты душевного отдыха, то теперь эта возможность отпала. Студент, обезумевший, оглушенный неожиданной свободой, кое-как простившись с Таней, наскоро обещав ей писать и позднее привезти ее к себе в Москву, поскорей выбежал за ворота, бросив в лагере даже свои вещи.

– Черт с ними, не хочу брать с собой ничего, что потом может напомнить мне лагерь! – захлебываясь, повторял он, глядя на всех невидящими глазами. – Кончился проклятый сон! Я – снова человек!

По нашему мнению, для будущей матери это был жестокий удар, и все со страхом ожидали впечатления, которое произведет на Таню неожиданный разрыв. Но ничего не произошло.

– Я была ко всему готова заранее: к этапу, аресту, разлуке, смерти. Я – заключенная, как и он, – сказала Таня и больше никогда не говорила о Студенте.

В середине зимы у Тани родилась девочка. Мы долго спорили, как правильней ее назвать – Любовью, Верой или Надеждой. Мать решила сама:

– Назовем Любовью. Веры и надежды без любви не бывает, правда? А любовь – это все, в ней каждое доброе чувство умещается! Ловко придумала? Все в одном слове!

И мы называли девочку Любовью.

Перед Новым годом от Студента пришло письмо. Вот оно:

«Здравствуйте, доктор!

Вы помните, что когда мне неожиданно объявили об освобождении, я ошалел и вел себя безобразно: уехал, по настоящему даже не простившись. Вы уж простите: таково действие слова “свобода”. Мне тогда все что-то говорили, давали поручения, просили, советовали, и всем я кивал головой и повторял “да, да”. Но верьте, даю честное слово: я ничего не слышал. “Я – свободен!” – исступленно орал во мне какой-то сумасшедший голос, а остальное казалось несуществующим. Вы все для меня внезапно умерли или превратились в призраков из другого мира!

Но когда я вышел за ворота, когда часами на вокзале ждал билета и посадки на поезд, тогда все внутри улеглось и приняло настоящие очертания: мое невольное преступление, законное наказание, которое я честно отбыл, и значение людей, с которыми я встретился за колючей проволокой. Я с благодарностью думал о Вас как о своем учителе и старшем друге, но больше всего, конечно, вспоминал Татьяну.

Я понимал, что совершил второе большое и глупое преступление, вторую ошибку: сибирская колхозница и московский студент – это слишком чуждые друг другу люди, разные вследствие несоответствия культурного уровня, чужие вопреки физической близости, которая иногда могла казаться любовью. Лежа в Омске на вокзальной скамье, я пылко клялся, что не брошу Таню, что найду ее после войны и исправлю ошибку женитьбой. Но в Свердловске я еще более успокоился, окончательно нашел себя и подумал, что такой брак не был бы счастливым, и прежде всего для нее самой: потом мы все равно разошлись бы – совершенно естественно, неизбежно и закономерно. Мой внезапный отъезд, конечно, навязан мне обстоятельствами, но он – не горе для нас, а единственно практичный выход. Я оставил Сенину в гуманном советском лагере, она родит в родильном доме под наблюдением врача, потом сдаст ребенка в лагерные ясли. В пределах разумного будущее матери и ребенка обеспечено. Война скоро кончится, и говорят, что после заключения мира объявят амнистию; может быть! Тогда Сенина уйдет из лагеря, оставя ребенка в детдоме, – это разрешается! Она вернется домой ничем не запятнанная и начнет жизнь сызнова. Я обдумывал дело со всех точек зрения и успокаивался все больше и больше: будущее Сениной не будет опорочено ничем, по крайней мере, во всем том, что касается меня. А весенняя молодая вспышка – ну, в этом виноваты мы оба, она никак не меньше, чем я, – в следующий раз оба будем осторожней.

А когда я вернулся в Москву... Доктор, я узрел чудо: город мне показался высоким, как Нью-Йорк, и солнечным, как Рим! Точь-в-точь как Вы мне когда-то рассказывали! Моя комната казалась прекрасней золоченых залов Версальского дворца! Первую ночь я не спал до утра, глядел в давно не беленный потолок и все себе повторял: "Дома! Снова дома!" А наутро нахлынули московские дела, и, знаете, доктор, я забыл все, что пережил и видел в Сибири! Будто все выме-

ло из памяти! Все забыл – лагерь, Сенину... К черту! Я хочу быть свободным от прошлого!

Это письмо я пишу потому, что вчера мне вдруг подумалось, что в декабре родится ребенок, и Сенина начнет разыскивать меня из-за алиментов. "Осталась гнилая нитка, все еще связывающая меня с прошлым, – подумал я. – Нет, я еще не свободен!" Скажите ей, что я добровольно пошел на фронт и пропал без вести. Моя мама в случае запроса все подтвердит. Кстати, это в значительной части правда: как советский гражданин я не стал ожидать повестки и действительно иду в армию добровольно, чтобы выполнить долг перед Родиной. С отцом я уже списался, он берет меня к себе, я буду работать в большом госпитале, а это очень пригодится мне потом, в институте: я вернусь в науку не из лагеря, а с фронта.

Твердо надеюсь на Вас и потому верю, что близится окончательное мое освобождение от всех грехов молодости, вовлекших меня в лагерную грязь. Вы один можете порвать последнюю нить связи с Сиблагией, этим серым царством удушения благородных чувств в человеческих душах. Так рвите же нить, и да здравствует свобода!

Ваш Студент».

Глава 14

Вот оно, это слово!

Конечно, история Татьяны Сениной не могла не занимать меня – ведь я был ее участником. И все же рядом размеренным ходом текла и моя собственная жизнь, и жизнь лагерного пункта. Извне он казался одной из крохотных производственных точек Мариинского отделения Сиблага, являвшегося в свою очередь только одним, и очень неприметным, звеном цепи, в те годы тяжело опутавшей нашу страну: с одной стороны к границам Сиблага со столицей в Новосибирске примыкали рубежи одного соседнего лагерного государства – Карлага со столицей в Караганде, с другой – Краслага со столицей в Красноярске. Вся страна с запада до востока тогда была покрыта этими неизвестными

населению государствами, вместе составлявшими одно единое целое в границах нашей великой страны, яростно оборонявшейся от нашествия гитлеровских захватчиков. Жители этих незримых государств тоже самым деятельным образом участвовали в войне – добывали руду и уголь, валили лес, выращивали хлеб, поставляли армии одежду и мясо. Их было много – миллионы и миллионы, и их общая помощь стране и фронту была велика. Но изнутри каждый лагерный пункт представлялся отдельным миром, жившим своей обособленной жизнью, как островок среди безбрежного моря: люди, зажатые в загон из колючей проволоки, были, конечно, очень разными – хорошими и плохими, добрыми и злыми, но все они были нашими советскими людьми, и поэтому маленький мирок, отделенный от большого мира огневыми дорожками, не был каким-то инородным телом, он жил в народе и с народом и являлся советской землей.

В этой книге я рассказываю об отдельных людях; но таких, как они, было много, и их судьба была похожа на общую судьбу. Ведь только в этом смысл моего повествования, и, по существу, ее герой один – лагерная масса, судьба которой показана через судьбу немногих.

Так почему же я выбрал именно их?

В предыдущих книгах я рассказывал о встречах с множеством людей, как заключенных, так и начальников. Общий вывод читатель легко может сделать сам. Но никто из этих людей не оставался в моем поле зрения надолго: мелькнет мимо и исчезнет. Лагерная жизнь похожа на фронтовую: люди сталкиваются, быстро сближаются и потом опять теряют друг друга из вида, большей частью навсегда. За восемнадцать лет я дважды встретил только одного интересного человека – Гумилева, и рассказал о нем в предыдущей книге. В Сиблаге рядом со мной, Сениной и цыганкой Сашкой пять лет жила моя бывшая московская знакомая, с которой я в лагере сдружился на жизнь и на смерть. Ее муж также был арестован и погиб. Она освободилась в сорок седьмом году, и я проводил ее до ворот. Затем, при приемнике Ежова и Берии, Абакумове, она получила второй срок, отсидела его в другом лагере и нашла меня после моего освобождения – больного, парализованного, умственно неполноценного. Я потерял способность говорить, читать, писать и считать. Но дружба и любовь у края могилы – великая сила: лагерная подружка подняла меня на руки и вынесла из бездны. Это моя теперешняя жена, Анна Михайловна, ей

я обязан всем, чего достиг потом. О ней более подробно я пишу в следующей книге, как и о нашей жизни после освобождения. И все же для этой книги, где я хочу дать общий обзор лагерной жизни и свести его к какому-то одному определяющему слову, Анна Михайловна не подходит: пять лет вместе из восемнадцати, один лагерный пункт из десяти – этого мало. Пришлось остановиться на тех, кого я наблюдал более длительное время, кто внутренне развивался вместе со мной, то влияя на меня, то испытывая мое влияние. Иного и не могло быть! И все мы с разных сторон отражали великую идею, заложенную в советской карательной системе, – человечность. Человечность несмотря ни на что – ни на чудовищные преступления судопроизводства сталинского времени, ни на отвратительные недостатки лагерной организации, ни на ужасные годы материальных лишений во время войны.

Человечность!

Вот слово, которое я выбрал для того, чтобы коротко охарактеризовать лагеря, в которых мне довелось отбывать заключение, и это с достаточной степенью ясности могут показать судьбы Сидоренко, Сениной, Долинского, а также, конечно, моя собственная судьба: выбор героев – вынужденный, но с поставленной автором задачей они справятся!

И, наконец, об основе основ, об истоках нашей советской человечности, лагерной и нелагерной. Как бы ни сопротивлялись плохие начальники, а они должны были волею-неволею приспособливаться к общему положению и в меру неизбежного творить добро или, по крайней мере, удерживаться от зла. Как бы ни сияли человеческие качества хороших начальников и честных лагерников – все же не только их личными достоинствами измеряется и объясняется содеянное ими добро: одни Сидоренки и Рубинштейны сами по себе, вне связи с окружающей средой не смогли бы много сделать. Потому что в самые худшие годы сталинского безвременья и в самых печальных областях нашей жизни – лагерях, всегда исподволь действовали могучие жизненные силы, которые вдохновляли советских людей к добру и создавали для него объективные условия.

Эти силы – Коммунистическая партия и созданная ею советская власть.

Не будь этих источников добра в стране, не были бы написаны мои воспоминания. Но они написаны – и пусть будут сказаны слова благодарности, признательности и любви.

Осенью, как раз после несостоявшегося освобождения Сениной и еще до отъезда Студента, по зоне прошла комиссия: впереди известных нам начальников бодро шагал высокий мужчина в спортивном костюме, приветливо улыбался заключенным и по-хозяйски, со знанием дела осматривал бараки и подсобные помещения. Вечером мы узнали, что Остап Порфирьевич Сидоренко арестован, а энергичный приветливый мужчина – это Абрам Самойлович Бульский, наш новый начальник. С этого дня в зоне и за зоной начались перемены, налаженный порядок пошел кувырком, теперь заключенные по вечерам бросались к возвращавшимся из-за забора бесконвойникам, чтобы от них узнать последние новости. А они текли со всех сторон бурным потоком.

– Псст! – на общей проверке цыганка Сашка сделала мне страшные глаза и шепнула с угла рта: – Топаи в амбулаторию. Жди.

В амбулатории она, захлебываясь словами, выпалила сороговоркой:

– Я теперь, слышь, доктор, бесконвойная. Цыганка Машка слышала от жены одного стрелка, что батю будут судить за мешок овса. Понял? А что за мешок – знаю от Ванечки, он прямой всему свидетель – из окна вещевого склада видел. Мешок у бати в таратайке нашел сам Долинский, при свидетелях из числа начальников. А этот самый мешок ему подложил – кто бы ты думал? Не отгадаешь! Зубной техник! Здорово? Батя залетел в столовку хлебнуть горячего чая, а техник оглянулся, видит, никого нет, под уздцы завел коня за угол и подсунул, позорник дешевый, мешок бате под сиденье. Потом подвел таратайку на место. Такое падло, скажи, доктор! Мешок был заранее спрятан в кустах. Мой Ванечка сам все видел своими глазами. Ванечка теперь тоже бесконвойный, пропуск получил вместе с этим гадом – техником. Сожрал-таки кум нашего батю! Жалко как, а, доктор, скажи? А техника бойся – змея!

Так началось дело о краже мешка овса начальником Сидоренко.

– Чепуха, – сказали хором молодые заключенные, – мелко плавает Долинский: Петрову на Восьмом тысяча валенок легко сошла с рук, а мешок овса – ф-фу! Ерунда какая! Долинский – балда! Залез не в свое дело!

Через неделю был арестован заключенный бухгалтер Александр Львович Рубинштейн. В связи с кражей мешка овса Долинский потребовал строжайшей проверки всех дел

и быстро доказал все, что ему было нужно, – ведь все материалы он подготовил заранее. По характеру вопросов следователя заключенные работники Штаба хорошо видели ход следствия: нет, мешок был подброшен не зря. Долинский рассчитал все ходы, и теперь дело Сидоренко стало расти естественно, без нажима: все поняли, что батя пойман и не вывернется из розовых пальцев с лакированными ногтями, что борьба гоголевского казака с бериевским бесом кончается...

Оставалось только странным – почему арестовали и через неделю выпустили агронома Федьковского, бывшего заключенного. Но позднее объяснилось и это.

Еще через неделю, накануне своего неожиданного освобождения, из-за зоны прибежал Студент с видом человека, внезапно узнавшего большие государственные тайны. Он немного хмурился под их тяжестью, но долго сдерживать себя не мог: пригласил меня в дежурку, проверил, чтобы никто нас не подслушивал, и сдавленным шепотом начал рассказывать:

– Ух! Дыхание захватывает, доктор! Слушайте внимательно: за зоной делаются большие политические дела! Долинский оказался Шерлоком Холмсом первого класса, хотя, я уверен, доктор, он себя считает, конечно, просто Дзержинским: раскопал, что сестра Рубинштейна, Роза Львовна, была замужем за неким Блюмкиным, слышите – Блюмкиным! А сам Рубинштейн при Керенском поступил в школу прапорщиков и получил чин подпоручика! Замечаете?! С одной стороны – Блюмкин, с другой – подпоручик! А? Все ясно?! Но это не все! Слушайте дальше, не перебивайте, доктор! Да не спешите! Слушайте! Рубинштейн родом из Киева, он в восемнадцатом году окончил там Коммерческий институт, а в это время, – тут Студент вскочил, быстро открыл дверь, проверил коридор и затем снова плотно закрыл дверь, – а в это время эсер Блюмкин убил немецкого генерала Эйхгорна, чтобы спровоцировать нападение кайзеровской Германии на большевиков! («Посла фон Мирбаха, болваны!» – подумал я, но говорить пока не стал: чем больше ошибок допустит Долинский, тем легче будет Рубинштейну доказать надуманность обвинения.) Ну, теперь-то вам уже все ясно, доктор?! А? Каково? Блюмкин – Эйхгорн – Вильгельм – Рубинштейн! Как вам это нравится?! Долинский так и говорит: «Зловеще сверкающее ожерелье крупных имен!» Только Рубинштейн якобы не может вспомнить, как звали его Блюм-

кина, тот якобы случайно погиб в Киеве тогда же, в восемнадцатом году, а Долинский обыскал все энциклопедические словари и справочники и не может найти имя убийцы немецкого генерала! Какое же невезение: эти невыясненные имена и отчества мешают – все портят! Но ничего – Долинский выпутается. Он и меня просил узнать у вас, – он вас уважает как культурного человека, – не помните ли вы? А? Подумайте, доктор, это важно, очень важно! Помогите правде! Вот какие дела раскрываются у нас под носом! Да, Долинский пойдет в гору! Настоящий чекист, ничего не скажешь! В этих делах плавают как рыба в воде!

«Ну, и дурак же ты, братец, – подумал я. – Скоро этот мыльный пузырь лопнет, и я досыта посмеюсь над тобой!» Но дело пошло так, что смеяться никому не пришлось: Студента досрочно освободили, он уехал и не узнал конца этой истории, а мы все остались и с болью наблюдали дальнейший ход событий.

Еще через неделю был арестован наш старенький хлебоборез – Николай Александрович Ланской, бывший мичман царского флота и командир крупнейшего линейного судна в советское время и товарищ известного мичмана Раскольников. «Ага, – сказали опытные контрики и многозначительно посмотрели друг на друга. – Клеится организация! Поэтому-то и отпустили Федьковского: он не подходит для схемы, он – бытовик». Потом нас начали вызывать на допросы. Сенина со слезами на глазах рассказывала, как она за два прошлых года высохла до костей; я, подтверждая каждое свое слово цитатами из амбулаторного журнала и актов вскрытий, засвидетельствовал картину резкого упадка состояния здоровья заключенных в первые годы войны. Все это было чистой правдой, и все эти факты имели совершенно очевидное объяснение – неожиданную и опустошительную войну и регулярное прибытие из других лагерей особо ослабленного контингента, за здоровье которого Сидоренко никак не отвечал. Наш лагерь был восстановительный и в какой-то мере действительно выполнял свое назначение – это я мог бы доказать этими же самыми журналами и актами: какое же могло быть восстановление, если бы не было больных и ослабленных? Однако нам разрешалось только отвечать на вопросы, а их задавали по схеме, заранее подготовленной Долинским. Санитар и я вынуждены были показать также, что оперуполномоченный своевременно предупреждал начальника. После доклада высшему на-

чальству начались аресты и на других лагпунктах. И там у заключенных собрали факты, твердую как гранит правду, которую положили в основание чудовищной лжи: выросло дело о мощной, разветвленной внутрилагерной антисоветской организации, члены которой поставили себе целью голодом истреблять временно изолированных советских людей и срывать поставки продовольствия для армии. За счет этих контрреволюционных заговорщиков и были объяснены заключенным страдания и потери военных лет, а заодно, так сказать, под шумок списаны злоупотребления всех начальников.

Мешок овса, подкинутый зубным техником Ковальчуком в повозку начальника Сидоренко, сделал свое дело...

На показательном суде прокурор дрожащим от негодования голосом говорил об ужасах сорок третьего года, о том, как многие сотни временно изолированных советских граждан нашли в лагере преждевременную смерть от рук кровавых заговорщиков – Рубинштейна и Ланского, которые задались целью истреблять наши кадры из вполне понятных политических мотивов: первый был эсером, второй – монархистом. Чуть не плача, зачитывал он показания Сениной и других, громовым голосом приводил мои цифры и даже погрозил обвиняемым кулаком, когда произнес два роковых слова:

– Восемьсот двадцать!

Приговор, к общему удивлению, оказался мягким: семь лет Рубинштейну, пять – Ланскому с пребыванием в течение одного года на штрафном лагпункте в Искитиме – там изготовляли известь.

– Война кончается! – говорил мне Рубинштейн, возбужденно снимая пенсне и опять водружая его на длинный нос. – К черту наш приговор: мы победили! Величайший оплот капитализма – фашистская Германия – наголову разбита! И кем? Страной социализма! Вот вам всемирно исторический вывод: социализм берет верх над капитализмом! Мы являемся свидетелями перехода человечества от одной ступени развития к другой!

– Но ваш приговор...

– Наши армии хлынут в Европу и возвратятся домой заряженными протестом: победителей уже не смогут загнать обратно в конуру и заткнуть им рот! Внутренняя логика экономического и культурного роста вызовет невиданный накал сопротивления! Повторится история, как после первой

Отечественной войны, но с более успешным исходом: тогда не было большевиков и Коммунистической партии. На нашу Сенатскую площадь мы выйдем иначе и более подготовленными: ведь в советской системе заложены возможности для мирного возврата к широкой демократии и твердой законности. Наша страна создана Лениным, мой милый доктор!

– Но ваш срок...

– Полноте, я его не досижу! Останусь должен Долинскому и компании!

И Рубинштейн оказался прав: через год он вернулся смертельно больным, с тяжелейшим силикозом легких и умер от легочно-сердечной недостаточности месяца три спустя у меня на руках в инвалидном бараке: Искитим отработал его быстро, а мягкий приговор остался как памятник гуманности правосудия сталинской эпохи.

Перед Новым, сорок пятым годом, вскоре после рождения ребенка, Таня нарушила странный обет молчания и заговорила о Студенте. В выходной день после обеда, когда вся больница погрузилась в сон, она незаметно проскользнула в дежурку. Я сидел у стола и делал записи в истории болезни.

– Доктор, я пришла к вам с вопросом! – Таня несколько мгновений стояла, тяжело дыша и не смея поднять глаз. Потом нашла в себе силы. – Скажите, он вернется?

Я взглянул в чистые и правдивые глаза и покачал головой:

– Нет, Танюша.

Молодая мать оперлась о стол, потом села. Прошла минута. И вдруг на ее лице мелькнула мысль – она еще надеялась, это была последняя возможность.

– Но он не писал и вам, доктор? Вы тоже не получили ничего? Вы просто так думаете?

– Я получил письмо, милая Танечка, – произнес я как можно мягче и взял ее руки в свои. Мне было очень тяжело. – Получил и тогда же сжег. Со Студентом все кончено. Прости его и забудь.

Она помолчала. Потом улыбнулась и покачала головой.

– С него моя жизнь и начинается, доктор: он мне оставил Любу. Эх, доктор... Как же мне, матери, это забыть? Что значит сожженная бумажка, когда у меня остался живой ребенок? Прощать нечего, нужно радоваться! Во как!

Гордо закинув голову, она вышла... «Все еще королева», – подумал я, глядя ей вслед.

В конце февраля я был вызван к лейтенанту Бульскому: у него началась экзема. Закончив перевязку, я открыл дверь кабинета и в коридоре увидел Долинского: взявшись обеими руками за боковины оконной рамы, он напряженно глядел вниз, на лагерный двор. Но в момент моего появления тихо выругался, раздраженно стукнул кулаком по стеклу и зашагал к выходу. Брови были нахмурены, губа прикушена. Я быстро взглянул вниз и увидел Сидоренко, которого, как видно, минуту назад втолкнули в зону, и он стоял у вахты, растерянный и уничтоженный: полушубок свесился с одного плеча, шапки не было, на стриженую голову падал снег. В руках новый лагерник держал газетный сверточек и большую алюминиевую кружку. Вокруг толпились заключенные, хлопали бывшего начальника по плечу и предлагали замусоленные кисеты с махрой. Получилось братание, оно-то и поразило Долинского – он явно рассчитывал на другое. И в нарушение положения сунул осужденного в зону, где тот был начальником; обычно бывших чекистов пересылали в другие места, где они могли скрыть свое прошлое от остальных лагерников.

Он не понял ни батю, ни заключенных...

Когда я подбежал к воротам, встреча уже закончилась: батю вели в барак. Сгорбившись, Сидоренко широко шагнул в толпе лагерников и вытирал кулаком слезы, а наш ассенизатор, маленький, кривоногий мужичонка, прихрамывая, скакал рядом и восторженным надтреснутым тенорком визжал:

– Ничего, батя, не тушуйся! Помни: в лагере главнейший струмент – надежда! Будешь надеяться – не пропадешь!

Я растолкал толпу, стал на пути Сидоренко и, улыбаясь, протянул ему руки.

– Вы среди друзей, Остап Порфирьевич, и друзья вас в беде не оставят! Идемте в амбулаторию – поговорим. Я вам помогу устроиться: устрою санитаром. Не качайте головой: поможет Семигласная – проведет через комиссовку и даст легкий труд в зоне!

Но Сидоренко опустил голову и спрятал руки за спину.

– Мои друзья остались за воротами, дохтор, – глухо, едва слышно ответил он. – Партия може, конечно, узять у меня партийный билет, но партийное сердце вона отобрать не може: и я здесь останусь таким, яким був. Хвашиста з меня не получитя, звыните.

Академия его имени

– Оно, конечно, усим гадам когда-нибудь конец буде, це ясно, – не спеша рассуждал Сидоренко несколько месяцев спустя, сидя на койке в моей кабинке и делая закрутку, похожую на фабричную трубу.

Был выходной день, мы собирались к обеду втроем – пришла Таня Сенина и принесла невеселое письмо от матери: Марфа Прокофьевна писала, что в колхозе дела неплохие, но ее здоровье сдает, и выходить на работу становится все труднее, а жить чем? Сын убит на войне, дочь в лагере... По указанию начальника в этот день я расписывал **ковер** согласно пожеланиям заказчика, доставшего мне малярные краски и трофейную немецкую простыню: на ярко-желтом фоне песчаной пустыни с египетской пирамидой на заднем плане по голубым волнам матушки-Волги, распустив парусами крылья, плыл белый лебедь, над которым стремительно несли самолет с исполинскими красными звездами и стрелял крупными красными пулями в зеленого гитлеровца, позорно улепетывавшего с явным желанием спрятаться за пирамиду.

Заказчик, нужный начальнику человек, заведующий овощехранилищем при станции Суслово, уже принес и аванс – краюху ароматного серого хлеба, кусок отварной свинины и три луковицы: предстояло невиданное пиршество.

– Да, да, гадам конец буде: разных тварюг развелось тучки до чертив, и жить стало тяжело. Неспроста Долыньский, получив орден та майора, и переведен до Мариинска. Конешно, он оказался не на высоте: подвел-подвел, сукин сын, – Сидоренко потряс опущенной в раздумье головой. – А еще интеллигент... Кому же верить, а? Но скильки бы не було круг нас долыньских, наверху сидить Сталин и в том, – Сидоренко поднял голову и внушительно потряс в воздухе желтым от махры корявым пальцем, – тильки в том дило. Так, дохтор?

Я вклеил в спину гитлеровца последнюю пулю, сложил кисти. Коротко передал содержание своего доклада на литературном кружке о ленинской характеристике Сталина и о ее медицинской расшифровке. Вспомнил общественные суды над Сталиным, организованные за границей в тридцатых годах с участием крупнейших психиатров и юристов. И закончил:

– Да, правда возьмет свое, это верно, но не благодаря Сталину, а вопреки ему. Поймите, Остап Порфирьевич, виноват не вождь Сталин, а человек по фамилии Джугашвили. Поняли разницу? Если поняли, то никогда не смешивайте их обоих – это фигуры разного значения: вождь и человек. Сталин – это твердость в проведении генеральной линии нашей партии, а Джугашвили – больной пастух, подозрительный, злой, не верящий ни овчаркам, ни стаду: раз овчарки не лают, значит, и они плохи, значит, и они его обманывают, а среди овец ему мерещатся волки. Он требует рычания, он ищет псов из породы долинских. Ну, поняли? Уважать советских людей надо, Остап Порфирьевич, они – герои, а Сталин нас и за людей не считает, мы для него – материал.

– Долыньский обманывает начальство. Сталин ничего не знает, что роблять долыньские.

– Знает. Он нуждается в долинских – без них ему не удержаться.

Сидоренко угрюмо усмехнулся. Подозрительно поднял одну бровь.

– А кого ж ему бояться?

– Сидоренок – вот кого! Людей с крепкими руками и чистыми сердцами, людей, что умеют трудиться и не боятся стать грудью за народное дело. Вас лагерь еще ничему не научил?

Сидоренко долго молчал.

– Я, конечно, сел за чепуху. Ну, а ты? Все твои дружки – контрики? У них тоже виноваты долыньские? Ой, сомневаюсь! Дуже сомневаюсь, Антанта!

– Тоже они. Только они.

Сидоренко вытянул сильную руку, как будто бы прикрылся ею от моих слов.

– **Не верю! Не верю!**

– А вы знакомьтесь с людьми, прислушивайтесь, наблюдайте. По вашему делу погублены Рубинштейн и Ланской – честные, хорошие советские люди. За что? За что теперь пострадают и их семьи? Ну, скажите прямо – за что?

Долго Сидоренко курил, хмурился, тяжело вздыхал, шумно ворочался на топчане.

– Слухай, Антанта, я тебе шось скажу. После гражданской войны я служил в продовольственном отряде нашей губчека и до коллективизации работал на селе по той же линии. Я – бывший чекист, понял? Не милиционер, як ты думаешь, а чекист!

– Ну?!

– Ось тебе и ну. Ты против Чеки? Говори прямо!

– Конечно, нет. Я против тех, кто использует аппарат ЧК не по назначению. Для своих личных целей.

– Значит, я – использованный? Подлый человек? А орден на мои ты видал?

– Да, Остап Порфирьевич, и один вы заслужили на моих глазах. Это – ленинские заслуги и ленинские ордена!

Сидоренко даже вскочил от возбуждения.

– Ну, видишь! Ленинские!

Он выпятил грудь, как будто бы на ней еще красовались его ордена. Таня подняла голову и уставилась на него большими глазами.

– Но оба ордена у вас отобраны, Остап Порфирьевич. Сорваны рукой Долинского. Поняли? Жизнь прошла, и грудь опустела. Пощупайте-ка гимнастерку, заключенный Сидоренко. Вы – Чапай, наголову разбитый Долинским! Пуста грудь, а?

Сидоренко рухнул на топчан и схватился за голову.

– Доляньский виноватый?

– Нет.

– Сталин?

– Нет!

– Советская власть?

– Нет.

– Так кто ж виноватый, скажи, дохтор! Кто?

– А я уже сказал: спаянная воедино организация, где Сталин нужен Долинскому и Долинский нужен Сталину как источники власти: они не могут существовать один без другого. И мы в этой системе тоже нужны, мы – третье звено в цепи: пугало для устрашения больного Джугашвили и корм для питания подлого Долинского. А советская власть? Она тут ни при чем. Оба живут за ее счет. Вот у ворот при первой встрече в зоне, вы даже не протянули мне руки, Остап Порфирьевич, считали меня фашистом! Ну, а теперь? Неужели не прозрели, товарищ курсант?

– Який курсант?

– Воспитанник Академии гражданского мужества имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Откройте глаза и посмотрите правде в лицо! Пора!

Сгорбившись, Сидоренко молчал. Я потряс его за плечо. Ничего. Потряс сильнее – ни звука. Также сгорбленная широкая спина, также согнутая книзу крепкая упрямая шея.

– Да что с вами, Остап Порфирьевич? Вы заболели? Что случилось?

– Не могу... Як же жить дальше? Не могу вынести такого... Зломалы, гады, в моей душе хребетник! Начисто зломалы!

Глава 16

Главнеющий инструмент

Но жить надо, и жизнь идет, бежит, летит вперед, не особенно даже интересуясь состоянием **хребетников** наших душ.

Восьмого мая памятного сорок пятого года кончилась война. Заключенных собрали на плацу перед Штабом, и Бульский объявил о Победе. Лагерники переминались с ноги на ногу и кашляли, начальники выкурили по папиросе и ушли, но когда скомандовали: «Разойдись!» – заключенные разбились на кучки и долго топтались на плацу.

Урки, поблескивая на летнем солнце медными крестиками, **отбацали** чечетку, кто-то бросил шапку вверх, несколько силплых голосов жиденько прокричали «Ура!» и «Спасибо Сталину за счастливую жизнь!». Шпана правильно почуяла вероятность близкой амнистии и возможность **правильной житухи**.

Контрики тихо переговаривались, потрясенные, недоверчивые, растерянные.

– Значит, товарищи, мир?

– А вам он на что? Этот мир нас не касается. Наш мир – открытые ворота.

– Неверно. Стыдно так говорить! Страна радуется, и мы с ней. Мы – граждане.

– Бывшие.

– Суд нас гражданства не лишал! Тем более что мы сидим без вины и руки у нас чистые!

– Надоевшая песня, знаете ли, Иван Васильевич. Кому нужны ваши чистые руки?

– Родине. Может, и нас отпустят...

– Родина наставила на нас толстый зад. Нам здесь помирать! Всем поодиночке. А впрочем, что-то будет, это ясно... Какие-то перемены...

Все понуро побрели в бараки, чувствуя, что короткий, но важный период в жизни нашей страны пережит и кончился и что у всех лагерников впереди – тревожная неизвестность.

В моей жизни и в жизни моих друзей перемены действительно произошли, и при этом раньше, чем началась предпоследняя перестройка лагерей – закручивание винта потуже перед тем, как винт лопнул, и вся машина пошла на слом.

Любочка росла, а хорошие ясли находились в распреде, пересылочном лагерном пункте близ Мариинска. Отдав нарядчику брошенные Студентом вещи, Таня получила перевод туда для работы на коровнике: лейтенант Бульский не дорожил кадрами и равнодушно отпустил хорошую работницу. Тогда же в Мариинской центральной лагерной больнице стала работать врачом Надежда Остаповна Сидоренко: молодой женщине было тоскливо одной с больной матерью, и она добилась перевода отца в распред на постоянную работу – плотником в рабочей зоне. Таня и Сидоренко уехали вместе, и мы разошлись, потеряли друг друга из виду, потому что заключенным не разрешается писать письма из лагеря в лагерь. Так незаметно прошли еще два года – сорок шестой и седьмой. Я плохо перенес это время: воспаления легких следовали одно за другим, потом начался туберкулезный процесс в горле. Если бы не заботы верного друга и жены, я бы, вероятно, погиб: Анна Михайловна кончала срок, ее расконвоировали, и она работала посудомойкой в комсоставской столовой и под юбкой приносила мне в зону кое-какую еду, каждый раз рискуя получить новый срок, то есть смертный приговор. Одновременно мобилизовали опытных врачей, каких в зоне теперь было много, и даже профессора из соседней каторжной зоны. Мое здоровье сильно пошатнулось, хоть я старался держаться бодро.

Осенью я проводил Анну Михайловну за ворота, а в ноябре сорок седьмого года неожиданно пришел вызов в Москву. Зачем? Центр в течение войны дважды отказал в рассмотрении моего дела по ходатайству командования, а теперь вдруг вызов... Почему? Зачем? У меня была **вся катушка**, значит, оставался пересуд с добавкой опять до предела или расстрел. Но за десять лет заключения в условиях военного времени, голода я так ослаб, что мне это было уже все равно: не дождусь я, дождутся другие – это главное. Но все равно они дождутся! Время придет! В распреде после двухлетней разлуки мы встретились все трое: я стал ждать эта-

па в Москву, Сидоренко оставался досиживать свою десятку, а Таня получила извещение о досрочном освобождении. Мой любимый лагерный поэт Андрей Рыбаков оставался на центральном лагпункте в Мариинске – совсем рядом, но повидать его было невозможно. А так хотелось! Отъезд в Москву мог означать разлуку навсегда...

Ранним утром мы собрались перед воротами. Сидоренко, у которого открылась старая рана на ноге и оттуда начали выделяться осколки кости, опирался на клюшку, я держался за фонарный столб. Таня стояла выпрямившись и, не отрываясь, глядела на ворота.

В чистой косыночке и новой телогрейке, с толстеньким ребенком на руках она нетерпеливо перебирала ногами, как молодая лошадка перед скачками. От сильного возбуждения ее трясло.

– А я вот не согласна с товарищем Сидоренко! – засмеялась она, цокая зубами и вздрагивая. – Не согласна, доктор! Остап Порфирьевич все повторял: надежда – это наш **главнейший инструмент**... А моим **главнейшим инструментом** была любовь. Я людей люблю! Жизнь научила. А чем? Не поверите: чем крепче я всех люблю, тем больше и они меня любят! Просто удивительное дело, доктор: получилась любовь за любовь! Во как! И жить мне стало с того легче! Я теперь сильная: не боюсь жизни никак!

Таня подбросила вверх смеющуюся девочку. Потопала ногами, цокнула зубами и снова рассмеялась:

– Ногам не терпится! Им невтерпеж. А голова, доктор, не может никак оторваться от лагеря: ведь здесь я прожила самое главное в жизни – стала человеком. Всем кланяюсь в ноги, всем-всем: вот товарищу Сидоренко – он спас меня от смерти, когда я флаги выбрасывала, и он же открыл мне главное в жизни – труд. Кланяюсь и вам, доктор! Слышите, как цокаю зубами? А помните вечер перед БУРом? Вы протянули мне руку и открыли вторую тайну – про любовь. Кланяюсь начальнице Анечке за ее доброе сердце. Кланяюсь Студенту! Всем спасибо, кто помог мне выйти отсюда человеком. А ведь это самое главное, правда ведь?

Из вахтенного помещения вышел дежурный надзиратель.

– Готова?

– Готова! – ответил от волнения дрожащий голос Тани: он прозвучал как чужой.

– Вперед!

Мы обнялись. Говорить было трудно, все трое молчали. Потом Таня делает шаг вперед – тот шаг, который сразу разделил нас. На время? Навсегда? Неизвестно... Но я верю... Верю...

Наступает минута величайшего душевного напряжения.

– Сенина Татьяна Александровна, год рождения тысяча девятьсот двадцать шестой. С дочерью Любовью Викторовной года рождения тысяча девятьсот сорок четвертого, гражданкой Советского Союза.

– Документы!

Последние объятия – теперь уже только мысленные.

– Порядок. Вахта!

Засов на воротах нестерпимо медленно ползет назад, громыхая и скрипя, и нет ему конца... Вдруг калитка вздрагивает, чуть слышно скрипит и приоткрывается.

– Проходи!

И милый молодой голос звучит уже из-за ржавой колючей проволоки на высоком заборе, на этот раз звучит такой растерянный и удивленный:

– Ой, как хорошо на свободе! Ой, не могу!

Этот голос прозвенел, как пенье жаворонка из бездонной синевы неба.

На вышке старенький часовой зашевелился, стукнул автоматом, зевнул и свесился за зону.

– А ну не вертеться! Не положено, поняла? Давай отселева! Лети!

И тот же изумленный голос вдруг донесся откуда-то справа и многим тише:

– Прощайте!

Потом еще правее, совсем уже издалека:

– До чего же хорошо!

Мы молчали, взволнованные, потрясенные.

– Улетела птичка и верещит – радуется! – философски заметил стрелок и с ладони понюхал толченой махры. – Оно и правильно. Воля, брат, она каждому живому естеству от природы дадена, хучь человеку, хучь птице. Так-то. Да.

В бараке Сидоренко долго делал вид, что дремлет. Потом не выдержал.

– Ось нас стало меньше, Антанта. Улетела наша птичка. Це добре. Хай живе на воле, та живе добре. А Студент... Студент був нужен Тане для пробы: девка чуяла, що расте, и

хотела за щось ухватиться та вертануть похлеще, щоб са-
мой спытать свою силу... Ну и вертанула!

Сидоренко растроганно улыбнулся и провел рукой по
лицу, словно обнимал прошедшее – милое, навсегда поте-
рянное...

– Да, все это, конечно, було... Таня на наших глазах вы-
росла. А мы? Мы тоже не стояли на месте!

– Не стояли? – испытующе спросил я.

Сидоренко понял намек.

– Стоять не можно, Антанта, – жизнь пихае пид зад коле-
ном! Понял?

– Гм... Пока не вижу!

– Увидишь, Антанта! Дай мне якогось Студента – мне тре-
ба ухватиться та спробовать силу!

И Студент нашелся.

В это утро происходила общая проверка по личным де-
лам – процедура долгая, на весь день. На плацу поставили
столы, на них разложили ящики с пакетами личных дел, и
работники Первой части начали по алфавиту вызывать зак-
люченных, выстроенных группами согласно первым двум
буквам их фамилий. Я не без удовольствия вышел из бара-
ка – день был прекрасный, не особенно холодный, солнеч-
ный и тихий, а проверка дает возможность увидеть весь
наличный состав, всмотреться в произошедшие изменения
и понять их смысл.

Когда-то я говорил себе, что символической фигурой
советского лагеря является **доходяга** – серая лохматая
фигура в грязном и рваном тряпье, жующая картофельную
кожуру, подобранную на мусорной куче возле кухни. Если
когда-нибудь мне удастся написать книгу о лагерях, то та-
кую фигуру, безликую, как привидение из страшного сна, я
нарисую для обложки: более меткого символа не придума-
ешь! Но вот в конце войны питание значительно измени-
лось к лучшему, и серые призраки в зоне незаметно исчез-
ли. Одевать инвалидов в активированное тряпье запретили,
теперь все были одеты по форме, и рабочие отличались от
нерабочих только по степени изношенности их форменной
одежды. И движения людей, их манера сидеть и говорить –
все изменилось... Значит, серый призрак был символом не
лагеря, а войны? Конечно! Мне это стало совершенно ясно.
Теперь для обложки нужно было бы изобразить **работягу** –
коренастого мужичка в черном бушлате, подпоясанном ве-

ревичкой, на которой болтаются кисет, кружка и сумочка с ложкой, сахаром и хлебом. Так выглядел типичный лагерник времени второй половины войны. Но вот я вышел на проверку теперь, после ее победного окончания, обвел опытным взором наличный состав и отметил новые перемены. Направо стоят люди в новенькой немецкой армейской форме. И носы у всех как будто бы крючком, и глаза серые, и волосы будто светлые. Кто это? Да это наши ударники, те самые, которых с добродушной усмешкой еще недавно мы называли работягами. А это что за люди – в рваных красноармейских шинелях, кое-как напаянных на плечи, в мятых фуражках с обломанными козырьками? Это – военнопленные немцы, финны, японцы. В своих лагерях они проворовались или нахулиганили и попали под суд, а потом сюда, к нам, в исправительно-трудовые... Фу-ты... Стоят, понуриив головы, и носы у всех стали чисто русскими – картошкой...

Новые времена – новые люди!

Я стоял и наблюдал. Может быть, эту неожиданную проверку назначили из-за какой-то важной комиссии из Новосибирска. Несколько полковников и генерал стоят перед фронтом, и мы с удивлением рассматриваем их кителя, золотые погоны и, главное, лампасы: генерала мы видим впервые. Вдруг тучный красивый подполковник с почтительной улыбкой говорит что-то генералу, тот кивает головой, подполковник подходит к нашим рядам и приятным голосом, слегка картавя, спрашивает:

– Нарядчик! Здесь присутствует заключенный Сидоренко Остап Порфирьевич?

– Сидоренко? – рванулся нарядчик. – Сидоренко... Сидо... Да, да, гражданин подполковник, имеется! Эй, Сидоренко! Из строительной! Сюда! На цирлах!

Из рядов не спеша ковыляет Остап Порфирьевич. Начальник медленно подошел ближе и остановился шагах в десяти.

– Заключенный! – мягко, приятно улыбаясь, обратился нарядный и подтянутый офицер к лагернику с клюшкой. – Вы узнаете меня? Я – подполковник Долинский из Управления Сиблага. Ну, узнали? Я хочу лично поздравить вас и сообщить приятнейшую весть.

Долинский сделал паузу. Разноцветные ряды заключенных замерли, насторожились.

– Заключенный Сидоренко, по ходатайству Управления Сиблага перед правительством СССР вы подведены под последнюю амнистию!

Общий вздох, легкое движение. Даже надзиратели перестали зевать и повернули головы. Довольный эффектом подполковник приосанился.

Строго:

– Нарядчик, срочно оформить дело в Первой части – я уже дал указание. Чтоб гражданин Сидоренко сегодня же был в городе у своей дочери, Надежды Остаповны.

Ласково:

– Не волнуйтесь, Остап Порфирьевич, будьте благоразумны. Желаю здоровья и счастья в жизни. Передайте привет Надежде Остаповне. Всего хорошего!

И торжественно, величественно, как заключительный аккорд героической симфонии:

– А вам, заключенные, это пример: советская власть стоит на правде, за советской властью правда не пропадет!

Лагерник с клюшкой шевельнулся и провел рукой по лицу, точно стараясь проснуться. Я сделал движение вперед, чтобы вовремя подбежать и подхватить его: мне показалось, что неожиданно освобожденному сделалось дурно от радости.

Но Сидоренко твердо шагнул вперед, дрожащими пальцами оправил ремень, по-солдатски вытянулся, провел языком по внезапно высохшим, белым губам, тяжело и шумно перевел дыхание и отчеканил громко, ясно, как вызов:

– Разрешите доложить, гражданин начальник: я осужден безвинно и амнистии принять потому не могу, бо вона надлежить тильки виновным. Я не прошу свободы, а требую восстановления честного имени советского человека и коммуниста. От амнистии категорично отказываюсь!

Вечером в бараке стоял невероятный гам. Многие лезут друг на друга, как в драке. Конечно, единственная тема – утреннее происшествие.

– В чем дело, Ганс? На проверке ты разобрал хоть что-нибудь? Чего это все так шумят? – спрашивает низенький рыжий военнопленный немец в дырявой буденовке другого – высокого, в выцветшей фуражке, на которой еще темнеет след пятиконечной звездочки.

– Разобрал, – бурчит Ганс и шмыгает носом. Думает и добавляет: – Удивительные люди эти русские. Им за пустяки дают сверхжизненные сроки, и они спокойно молчат, а предлагают ни за что ни про что свободу – они возмущаются, оскорбляются, демонстративно отказываются. Непонятно, Гейнц.

Оба медленно раздеваются и натягивают на головы дра-
ные красноармейские шинели.

– Недоделанные контрики, – орут через лежащих немцев
уголовники. – От свободы отказываются, падлы! И верно: на
кой им свобода?! Правильно делают начальники, когда их,
гадов, калечат!

– Дурак ты, Сидоренко! – стараются перекричать шпану
бытовики и часть пятьдесят восьмой. – Вышел бы на свобо-
ду и хлопотал о пересмотре дела: там легче добиться толку!
Прямой расчет! Что само лезет в руки – выпускать не надо!
Сглупил, брат, сглупил: щеголять высокими чувствами в ла-
гере – глупо, начальнички этого все равно не понимают. Для
них нечего стараться!

Но Сидоренко довольно ухмыляется, глаза у него сухие и
блестят, на впалых щеках играет малиновый румянец.

– Ухватился?

– Ухватились!

– Вертанул?

– Вертанули!

– А почему, Антанта? Зараз тебе скажу. Слухай: я понял!
Ты понимаешь? А? **Я понял!** Усих долиньских сверху аж до
самого низу! Их всю организацию понял: все у них постро-
но на брехне. Посадили меня за ихнюю брехню на меня, и
теперь он отпускает на волю и опять бреше в глаза: я под-
лежал амнистии давно, он так долго держал меня, як мог,
але бильше не може, советский закон не позволяе, бо и эти
гады живут в нашей советской державе и законам должны
повиноваться. Партия та советская власть сильнее! Где мо-
гут, они, конечно, гадять, но бывает, что и не удастся им их
мошенство. Вот он круть-верть, держать под замком не може,
бо його самого могут за нарушение посадить, и с того он и
прикинулся таким добрым!

– Правильно. Амнистия в переводе с греческого – непо-
минание, то есть заявление, что государство больше не по-
мнит совершения человеком преступления. Нам нужна не
амнистия, а честный пересмотр дела и освобождение по
решению суда об отсутствии состава преступления. Вы пра-
вильно поступили, Остап Порфирьевич! Честь вам!

– То-то, Антанта. Будем ждать честного выхода. Комму-
нистом я могу быть и туточки, а большим та малым долинь-
ским я бильше не слуга!

Беседы с трупом

Из распреда каждодневно уходили в этап на Москву и дальше отдельные люди, вызываемые обычно как свидетели по чужому делу или для добавки. А я валялся на нарах в пересылочном бараке, ждал и волновался. Наконец получил разъяснение – за мной едет спецконвой. Эта новость показалась мне очень неприятной: почему такое внимание к моей особе? Значит, мне готовят какую-нибудь пакость... Настроение было, конечно, неважное, и сусловский лагпункт теперь вспоминался чуть ли не со слезами умиления, как тихая обитель. Вот тогда я и заболел воспалением легких и на несколько недель слег в больницу – болезнь трижды началась вновь после, казалось бы, окончательного выздоровления. Наконец холодным осенним вечером меня выписали, и, держась за стены, я дополз до пересылочного барака. А тут новая неожиданность: спецконвой не дождался и ушел обратно, нужно ждать другого. Я было обрадовался возможности отлежаться и набраться сил, но нарядчик сообщил, что принято решение направить меня в общем порядке, что я должен сдать чистенькое обмундирование первого срока, которое носил как врач, облачиться в тряпье и броситься вниз головой в бурный и опасный поток, именуемый общим этапом.

– Ну, что ж – этап так этап, ничего не поделаешь, – сказал я Сидоренко, подсаживаясь вечером к нему на опрятную койку в рабочем бараке. – Завтра утром иду в Первую часть расписываться. Значит, пора нам расставаться, Остап Порфирьевич. Давайте попрощаемся!

Конечно, Сидоренко знал, что я должен уехать, и ждал этого момента, но все же мое сообщение показалось ему неожиданным: старый рубака отвернулся, засопел, желваки на впалых щеках задвигались.

«Переживает... – подумал я. – Точь-в-точь как когда Пелагея Ивановна неожиданно заговорила об их убитом сыне».

Мы помолчали. Я думал о разговоре под лампадкой, висевшей перед Моной Лизой.

Славное было время! Каким важным для меня оказался этот разговор, я понял только позднее, часто вспоминал его до мельчайших подробностей и раскрывал в них все новый и более глубокий смысл. Для моего внутреннего нрав-

ственного развития этот разговор оказался поворотной точкой, перекрестком: я превозмог личное горе и вызванное им временное обособление и свернул опять к людям. Стал мягче. Счастливее. И так уж получилось, что, вспоминая о разговоре, я вспоминал и Пелагею Ивановну и привык думать о ней как о матери: думать о своей матери я не смел, это было слишком тяжело. Когда я получил извещение, что моя мать отравилась, в моих мыслях ее место заняла Пелагея Ивановна – других пожилых женщин я не видел уже десять лет, а любить кого-то человеку всегда надо...

– Ось, дывысь, що вона пише, – наконец проговорил Сидоренко, точно угадывая, о ком я думаю. – Бачу: помирає моя Пелагея Ивановна. Помирає...

Он потупился, а я стал читать старательно выведенные четкие крупные буквы:

«Мой ненаглядный Остап Порхвирович,

Надя говоре, що товарищ Долинский ей обещал хлопотать за Вас. Може, и чего добьется, хоть я ей запрещаю с ним видаться и его просить, бо вижу, чего вин хоче. От своей дочки я такой уплаты не разрешаю, хотя и за Вашу судьбу, а Вы сами тоже того нияк не разрешили бы, хочь за мое выздоровление. Здоровье мое дуже слабое, и до августа месяца 1954 года я не доживу. Надя хотела меня везти до Вас на тележке для последнего свидания, но я и того не вынесу. Приходится повидаться уж на том свете, Бог мне это забеспече за мои мучения. Я Вам земно кланяюсь и прошу меня звынить за все главное, за долгую болезнь, хотя я була покалечена шофером в нетрезвом состоянии, як в протоколе написано. Теплые носки две пары на зиму я связала, их передаст Надя. Тоже и деньги, 110 рублей. Деньги мои личные, Надя от них отказалась. Ей будьте ненаглядным отцом, як Вы мене булы мужем.

Кланяется и просит прощенья
Сидоренко Пелагея Ивановна».

– Кто здесь Сидоренко Остап Порфирьевич? – закричал в дверях надзиратель. – В Первую часть! Быстро! Идите распишитесь!

– Гражданин надзиратель, это, наверное, требуют меня! – Я назвал себя.

– Говорю: Сидоренко! Марш! А вы, доктор, идите в пересылочный барак, вам здесь делать нечего. Скоро будет отбой!

Минут через десять вернулся Сидоренко и, кряхтя, опустился на койку.

– Дело в шляпе. Распысався.

– В чем?

– За петушок. Теперь выхожу в пятьдесят девятом – помалу тебя нагоняю, Антанта. Долюньский расплатился со мной за отказ от амнистии. Гм... И як быстро провернул дело, подлюка розовая. Як ему це удалось, доктор?

Я был поражен.

– А какая формулировка?

– «Решение суда по вторичному рассмотрению дела вследствие дополнительно выяснившихся обстоятельств». Я списав на бумажку.

В дверях барака опять надзиратель.

– Доктор, вы еще здесь? Бегом в Первую часть! Через полчаса этап выходит к поезду! Живо!

Дней за десять до этого в распред доставили неизвестного, когда-то бежавшего из лагерей и пойманного с чужими бумагами на имя Станислава Сигизмундовича Скушиньского. Это был человек, убивавший бритвой или ножом якобы без причины – за ним уже числилось одиннадцать мертвых. Суд механически добавлял срок до предела, а предел при последнем судебном разбирательстве был установлен несколько недель тому назад, и поэтому мертвецы обходились Неизвестному дешево. Теперь его возили по лагерям, чтобы установить личность и найти основное дело: начальство подозревало, что он – бежавший контрик. По прибытии в распред Неизвестный явился в кабинет начальника и заявил, что до этапа просит предоставить ему больничное питание: тогда он обязуется не выходить из барака и никого не тронет. Если же это условие принято не будет, то первым убитым будет сам начальник. Тот выслушал ультиматум, подумал и условие принял: собственная жизнь дороже одного больничного пайка, а в том, что Неизвестный зарежет его, сомнений не могло быть. Все успокоились, и за это время только раз Неизвестный нарушил договор – явился на концерт центральной культбригады, но был схвачен нарядчиком как пробравшийся зайцем инвалид: концерт предназначался только для рабочих, а их легко можно отличить по новому обмундированию. Неизвестный медленно поднимал мертвые глаза и слабо улыбнулся – и парализованный смертельным ужасом нарядчик понял свою ошибку.

– Проси прощения на коленях! На колени! Ну! – едва слышно промямлил Неизвестный и вынул из рукава телогрейки короткий и широкий нож.

Нарядчик в переполненном зале стал на колени и был прощен. Отобрать нож он, конечно, и не подумал: Неизвестный отдал бы его без возражений, а утром нарядчика нашли бы зарезанным, но уже другим ножом – в зоне ножей было достаточно, так как при частых обысках – **шмонах** – начальники находили и отбирали только швейные иголки и писчие перья.

– Доктор, спешите стать в ряды поближе к началу колонны: последним я приведу Скшиньского, он едет с вами. Постарайтесь не попасть с ним в одно купе, – предупредил нарядчик.

Но я так долго обнимался с товарищами, что не заметил, как небольшая колонна, человек в сорок, выстроилась у ворот. Я едва успел подбежать к последнему ряду, как возле меня выросла тщедушная сутулая фигурка в рваной телогрейке, сунула руки рукав в рукав и согнулась от холода крючком.

– Скшиньский здесь, гражданин дежурный! Все по списку! Пошли!

Ворота распахнулись, и под смешанным снегом и дождем мы двинулись в ночную тьму: неожиданно подул юго-западный ветер, снег превратился в кашу и закрутила мокрая теплая метель.

От распеда до станции недалеко – несколько километров хода по ровной дороге. Но справа и слева дворы и дома, какие-то пустыри и склады, здесь бежать **на рывок** легко, и конвой нервничал: мы продвигались под разрывы осветительных ракет, в причудливом фиолетовом свете, сквозь качающиеся на ветру полосы дождя и снега, скользили, падали в пузырящуюся под ногами жижу и опять вприпрыжку бежали вперед, подгоняемые прикладами и бешеным рычанием выученных псов, которых бегущие солдаты держали на цепочках.

– Ты что это приклеился ко мне? – вдруг обернулся ко мне Неизвестный. – Не боишься? Я – Скшиньский. Слыхал?

Мы оба поскользнулись, ухватились друг за друга, вместе упали, потом побежали дальше. Грязь текла у нас по лицам и смывалась струями холодной воды.

– Слыхал. Чего мне бояться? Страх уже позади. Теперь бояться поздно.

Я опять упал, потом, хромая, поспешил дальше: мы бежали последними, сзади нас были только мальчишки-стрелки, их приклады и псы.

– Давно сидишь?

– Кончаю десятку.

– Значит, наблатыкался? Битый фрайер или духарик?

Ракеты так бухали и шипели сзади, что мы оба инстинктивно вздрагивали и прижимались друг к другу: казалось, что мальчишки из баловства стреляют нам в спину.

– За десять лет не стал ни тем, ни другим. Хочу выйти, кем вошел, – человеком.

– Не спотыкайтесь, гады! Вперед! – орали стрелки. – Не смотреть по сторонам! Бегом! Ну! Ну!!!

И травили на нас разъяренных псов.

Неизвестный долго обдумывал мои слова.

– А сколько у вас сроку?

– Вся катушка.

– Думаете выдержать?

– Обязан.

Неизвестный качнулся на ухабе, ухватился за мое плечо и удержался. Мы бежали дальше, задыхаясь, ослепленные снегом и дождем, светом и оглушенные буханьем ракет, криками и рычаньем псов.

– Зачем?

– Чтобы работать, как раньше.

– Рассказать, как мы здесь жили, о чем думали. Мы войдем в историю. Нас из нее и клещами не вытащишь.

– Бери их! Хватай! – кричали стрелки псам. – Рви их, гадов! Вперед!

В фиолетовом свете ракетной вспышки я увидел мертвую улыбку Неизвестного, печальную и безразличную. Потом свет потух, «мертвец» схватил меня за руку, и мы побежали рядом, как братья.

– Шевелись! Шевелись! – ревели солдаты, размахивая автоматами. – Вперед! Бегом!

Вдали показались пути, ряды вагонов, освещенное здание вокзала: они выплывали из завесы дождя, расплываясь и покачиваясь с нею вместе. Колонна замедлила бег. Потом пошла шагом вдоль вагонов.

– Этап, стой! Стойте же, гады! Куды претесь? Назад! Садись!

Окруженные рычащими псами, рвущимися с цепочек, мы присели на корточки у вагона с решетками на окнах. Ракет

больше не запускали, нас охватила темнота, прижатая книзу светом высоких станционных фонарей. Оскаленные пасти и светящиеся зеленые глаза псов были совсем рядом.

– Сейчас начнется посадка. Прощайте. Я вам завидую, глупец. Жаль, что я не способен на такие идеи. Как я был бы счастлив! Спасибо!

Он вдруг как будто всхлипнул и крепко пожал мне локоть. В Новосибирске нас высадили и доставили на пересылку для формирования нового этапа до Омска. В камере Неизвестный разыскал меня и улегся рядом.

– Хочу поболтать с вами, доктор. Вы мне нужны – для споров, что ли, сам не пойму. Но нужны. С вами я говорю вроде как с самим собою.

Едва захлопнулась тяжелая железная дверь камеры, как он вынул из подошвы обломок лезвия безопасной бритвы, налил в миску горячий чай, достал из телогрейки завернутый в тряпочку кусок американского душистого мыла и поздравил ехавших с нами **паханов**. Они ловко побрили друг друга, затем Неизвестный повернулся и ко мне:

– Пожалуйста, доктор, не обессудьте, лезвие новое, американское – я наших не терплю. Садитесь, бритвой я владею хорошо.

Отказываться было неpolitично. Я сел, закинул голову, Неизвестный левой рукой слегка надавил мне ухо, нагнул голову к правому плечу и начал старательно водить лезвием по моей шее. Это было странное ощущение: с десяток человек он зарезал этой бритвой и именно таким образом – неожиданно во время разговора клал собеседнику правую руку на левое ухо, отклонял голову на правый бок и одним быстрым и точным движением перерезал жертве сонную артерию. Неудач не было, бритвой он владел действительно превосходно: все раненые умирали в течение минуты.

– Бритва не беспокоит? Нет? – шутил мой страшный собеседник, видимо, подражая парикмахеру. – Подбородочек извольте поднять выше, чуть вправо, вот так-с! – и вдруг изменил тон: – Однако давайте вернемся к нашему разговору, я не могу его забыть, доктор. Все о нем думаю! Так вот, наша жизнь – это поругание разума и достоинства человека. Согласны? Забавно! А сами собираетесь тянуть двадцать лет? Это трусость!

Я покосился на лезвие и промычал сквозь душистую пену:

– Твердость!

– А не отговорочка ли? А? Слушайте, если вы в самом деле твердый и сильный человек, кончайте-ка лучше самоубийством! Чик! – и он провел тупой стороной лезвия по моей шее. – Чик – и все! Единственное спасение.

Я передернулся, но возможно спокойнее покачал головой. Потом Неизвестный вытер горячей тряпкой мое лицо, и мы сели пить чай вместе с паханами, которые тупо моргали глазами, не понимая смысл нашего разговора.

– Мне не нужно спасение. Я додержусь. Это мой долг.

– Повторяю, доктор, вы – чудак! Но если додержитесь, то расскажите и обо мне. Я – слабый. Живу и мучаюсь. Потерял смысл жизни. Не могу кончить с собой. Смешно?

Днем в камеру неожиданно вошел опер с дежурным офицером для разговора с отобранными в разные этапы. Уже уходя, опер обернулся к дежурному:

– А бритых немедленно в карцер! Сейчас же! Бритву отобрать!

Нас обыскали, конечно, ничего не нашли (обломок был сразу передан на хранение незаметному старичку), раздели и по двое сунули в холодильники – узкие карцеры на одного человека. Тесно, всем телом, даже щеками мы с Неизвестным прижались друг к другу и стояли в конверте босые на холодном полу, мелко цокая зубами и дрожа.

– Чтоб не сойти с ума, давайте говорить дальше, доктор.

– Давайте. Нет, мне не смешно, Неизвестный. Вы не можете кончить с собой, но с другими кончаете в два счета!

Краем глаза я видел его свежевыбритую щеку и полузакрытый тусклый глаз. Он долго молчал.

– Однако же я не убиваю без разбора, не думайте. Выбираю тех, кто меня боится. Прикончить смелого скучно. Парадокс, правда? Вы думаете, что убивать плохо? Вздор!

Неизвестный вдруг оживился, на его бескровном лице появилась краска, он даже разжал объятия и несколько отодвинулся от меня.

– Не будьте наивным, доктор! В чем же тогда данная нам свобода воли? Я – за утверждение самого себя: это последнее, что мне осталось. Бунт против судьбы! Говорю вам, я – слабый. Живой мертвец. Комично, а?

Потом возбуждение прошло, и он снова прижался ко мне.

– Так вот и мучаюсь без толку. Я вам завидую. У вас есть идея. Глупая, но идея. А я – заблудившаяся в трех соснах Красная Шапочка. Верно?

Наши спины стали подмерзать. Судорожно обнявшись, мы изо всех сил прижимались друг к другу, чтобы дождаться утра. Красноватая лампочка освещала наши стриженные головы и пар, исходивший от нас, от нашего дыхания. Потом легкое облако пара исчезло, и мы перестали цокать зубами. Захотелось спать. Это был опасный признак: началось замерзание.

– Нет, – еле шевеля языком, ответил я. – Вы тоже с идеями. Оволчившаяся маленькая овечка. Вам надо встряхнуться и открыть глаза. Не валяться в БУРах, а работать.

Неизвестный был слабее меня. Под утро я почувствовал, что его руки размыкаются, что он как будто обвисает в моих объятиях. Своими коленками я ощущал, как стали подгибаться его колени.

– Насчет глаз... это тоже идея. Но просыпаться... надо... уметь... Трудно выдержать... дей...стви...тельность... когда от...кроешь... глаза...

«Да, конечно, – думал я, держа в руках смолкнувшего собеседника и вспоминая Рубинштейна, прыгнувшего в пропасть с открытыми глазами и за других. – Это надо уметь. Вот для меня два примера. Неизвестного я понимаю: я сам мог бы стать таким, если бы поддался соблазну бежать или, оставаясь в лагере, вовремя не повернул бы к людям. Судьба Неизвестного – предупреждение мне до последнего дня моей лагерной жизни: отказ от человечности – это смерть заживо! Встреча с Неизвестным мне так же нужна, как и встреча с Рубинштейном».

В пути я не умер ни от голода, ни от холода, ни от пули, ни от нервного перенапряжения, ни от побоев, но был так слаб, что в Москве уже не мог стоять или двигаться без помощи: сказались три воспаления легких, смерть семьи, этап, все... Мне дали отлежаться, а потом вызвали на допрос по чужому делу, и я подтвердил свои прежние, совершенно не существенные показания, потому что они были правдой. Но ведь они могли бы быть записаны нашим новым опером в Сиблаге, на нашем лагпункте или в Мариинске. Тем более что я не отпирался и все мог подтвердить. Зачем же меня притащили в Москву? Я уже знал повадки долинских и понимал, что нужно ждать, что настоящая причина вызова в должное время откроется.

Так оно и вышло.

Ровно через десять лет со дня ареста меня вызвали из камеры, вымыли в бане, побрили и одели в новенькую серую куртку и брюки гражданского покроя. Сердце екнуло в предчувствии недоброго. «Начинается! – повторял я себе. – Сейчас ты все узнаешь». Два вахтера под руки ввели меня в обширный кабинет, где за большим письменным столом сидел рыжеватый генерал-майор, а рядом стоял полковник. Много позднее мне сообщили их фамилии и судьбу: оба были расстреляны.

– Здравствуйте, Дмитрий Александрович! – приветливо сказал генерал. – Как поживаете?

Я не нашелся, что сказать, и молчал.

– Подведите его ближе. Вот сюда! Смотрите, чтоб не упал! Поставьте лицом к окну, – приказал дюжим вахтерам генерал.

Полковник вполголоса почтительно разъяснил мне:

– С вами говорит начальник следственного отдела!

Пауза. Мгновения последней подготовки перед началом поединка. Сейчас произойдет непоправимое...

– Ну-с, Дмитрий Александрович, узнали площадь? Как она называется?

Я ответил.

– Так-так. Вижу, что не забыли. А как называется бульвар, который начинается налево от Большой Оперы в Париже?

Ответ.

– Хорошо, очень хорошо, – генерал помолчал, пощупал меня глазами и вдруг резко бросил мне в лицо: – Через полчаса вы можете очутиться вон там, у входа в метро! Через месяц – в Париже! Слышите?! Ну?! Отвечайте!

Я молчал.

– Растерялись? Понятно! Я объясню: решил провести вас через амнистию! Вы – нужный человек! Сегодня же можете отправиться обедать в «Метрополь», через пару недель в отель «Ритц»! О работе с вами поговорят позднее. Слышите? А?

Я собрался с силами. Выпрямился.

– Мои преступления вымышлены, они ничем не доказаны, гражданин начальник. Я – подозреваемый, которого нельзя амнистировать. Можно только назначить переследствие и отпустить на волю. Потом можно начинать и разговор о работе.

Генерал жестко засмеялся. Встал.

– Подведите его еще ближе. Вот так, – он повернулся ко мне и постучал пальцем по стеклу. – Видите множество

людей на площади, Димитрий Александрович? Это рядовые наши граждане, обыкновенные люди. Все они – подозреваемые и поэтому пока что находятся там, по ту сторону стены этого дома. По эту – подозреваемых нет: здесь находятся только осужденные. Вы арестованы – значит и осуждены. Если это целесообразно, мы готовы вас амнистировать. Слышите – амнистировать. Вы ясно поняли мое намерение?

Еще бы... Выпустить меня с клеймом на лбу, чтобы сначала снова использовать, скажем, в качестве провокатора, а потом, когда это перестанет быть нужным, вернуть обратно, но уже без права заявлять о своей невиновности... Пересмотр дела он отклоняет, а принятие мною амнистии – это формальная расписка в несовершенном преступлении... Нет, когда-то я мог быть восторженным и добровольным **исполнителем**, но процветающим рабом я быть не должен.

Я думал и молчал. Генерал и полковник переглянулись.

– Послушайте, Димитрий Александрович, скажите: что вы стали бы делать, если бы вышли на эту площадь? Да еще в такой солнечный день? Ну-ка? Отвечайте, не бойтесь!

Сердце так сильно и тяжело билось, что казалось, генерал слышит эти глухие удары. Мне было стыдно за свое сердце – ведь утром оно казалось полумертвым. Я задышался, но собрал все силы и выпрямился. Какой величественный, какой страшный момент! Мысли несутся неудержимо, скачут, обгоняя друг друга... «Надо выдержать действительность, когда откроешь глаза: это надо уметь», – лепечет живой мертвец и улыбается мне сквозь морозный полумрак карцера. А Рубинштейн – маленький бухгалтер и большой герой? Он сумел открыть глаза и выдержал! Только бы и мне выстоять испытание до конца!

– Я подошел бы к первой же витрине и ногой выбил бы ее!

Генерал и полковник быстро переглядываются: «Спятил с ума?»

Ласково:

– А зачем, Димитрий Александрович?

– Чтобы скорее опять попасть в заключение.

Мгновенный обмен взглядами: «Да он рехнулся!»

Еще ласковее, почти по-матерински:

– А это вам зачем, Димитрий Александрович?

Вот оно, отречение от жизни во имя правды, добровольное прощание с близкой волей! Но я – не Скшиньский и

поэтому смело открываю глаза перед жестоким ликом такой жизни.

Я широко открываю глаза и гордо закидываю голову. Решено.

Я отвергаю свободу, покупаемую у кривды, и да здравствует свобода, даруемая советскому человеку правдой!

За отказ от амнистии Сидоренко получил пять лет лагерей. Я получил одиночное заключение в условиях особого режима спецобъекта. Через три года в мой каменный ящик вошли три молодых человека. Я их плохо видел, потому что года за полтора до этого произошло кровоизлияние в оба глаза, но все же видел – синие верха фуражек и малиновые околыши. Но я не понимал, кто они и что значит эта форма. Думая дать им больше места, хотел отступить назад, но оступился и упал и не мог подняться, потому что не был в состоянии определить свое положение в пространстве. Молодые парни сердечно рассмеялись и опять что-то сказали, а потом им надоело возиться, и они попросту ухватили меня за ноги и выволокли из камеры.

Из спецобъекта меня привезли в тюрьму. Я вспоминал, что когда-то уже бывал здесь, но не мог сообразить, что это за помещение. Рано утром дверь загремела, и в камеру втокнули второго заключенного. «Доброе утро!» – сказал он мне. Я посмотрел на него, повалился на пол и надолго потерял сознание. Потом началось лечение в тюремной больнице. Постепенно вернулись сознание и зрение. Я научился разумно говорить и понимать человеческую речь и только тогда с удивлением увидел, что все же не понимаю окружающих меня людей – изменников, карателей, бывших гестаповцев и эсэсовцев. Новые заключенные перестали быть для меня товарищами, я очутился один среди врагов. По сравнению с ними Сидоренко и Таня Сенина теперь казались странными и особенно милыми: все они были своими, а эти – не только чужими, но и ненавистными мне людьми.

Подъезжая к станции Мариинск, я торопливо собрал свои вещи и приготовился: мне хотелось поскорее расстаться со своими спутниками. Поезд остановился, кого-то вывели, а про меня забыли. Я начал колотить в дверь, кричать, но никто не подошел, а при вечерней проверке мне разъяснили, что меня везут куда-то дальше. В Тайшете вывели, и на пересылке я узнал необычайные новости: лагеря реорганизованы, мужчины отделены от женщин, особо опасные преступники с большими сроками независимо от статей собраны в

лагеря со строгим режимом, которые называются спецлагерями. Как **опасный** я попал как раз в такой спецлагерь, и не случайно – сюда в свое время были привезены контрики из Сиблага, меня возвратили, так сказать, по старой принадлежности: в этом спецлагере соединили контриков из Сиблага и из Горной Шории. Значит, Рыбаков, Сидоренко и другие друзья здесь?! Какая радость! Вскоре я встретил нескольких старых знакомых, а через полгода был назначен врачом на затерянный в тайге маленький лагпункт, где на разводе увидел Сидоренко.

– Здорово, Антанта! Як ты постарев – совсем в старики записався!

– Здравствуйте, Остап Порфирьевич! Как вы изменились! За три года на тридцать лет!

Когда рвутся нравственные связи по одну сторону забора, тогда они крепнут по другую. Мы расхохотались и обнялись крепко-накрепко.

Мы опять вместе!

Глава 18

Низшая точка

Весной пятьдесят второго года я однажды проснулся беспричинно взволнованный и возбужденный; немного полежал на койке и вдруг вспомнил, что сегодня с утра нужно заготовить заявку на лекарства – Василиса Петровна, начальник медсанчасти, после развода едет на Новочунку, центр нашего лагерного отделения. Я хотел было подняться и тут только обнаружил, что правая половина тела парализована. Паралич оказался вялым, нерезко выраженным. Меня перенесли в инвалидный барак, и вскоре я получил новое назначение – стал дворником: мне отвели часть двора в углу зоны между баней, дровяным складом и моргом. Так судьба снова поставила меня под команду Сидоренко – он был бригадиром бригады обслуживания. Остап Порфирьевич дал мне место на нарах рядом со своим, и жизнь потекла дальше – страшная жизнь во враждебном окружении. В бригаде было пять немцев-штурмовиков, пять эстонцев-эсэсовцев, два татарина из гитлеровского Мусульманского легиона,

остальные – полицаи с Украины и Белоруссии. В большинстве случаев это были малокультурные, ограниченные и тупые люди, ненавидевшие нас обоих лютой, звериной ненавистью.

Двадцать восемь человек целый день не сводили налитых тяжелой злобой глаз с двоих. Настало время, когда два советских человека на советской земле могли говорить только шепотом: это было заключение в заключении.

– Да, слюсаю я наси бригадир и доктор и удивляюсь: оба сидят здесь ни за цто, – тягучим голосом громко говорит в пространство, ни к кому не обращаясь, долговязый старик Ян Янович Кронберг, в молодости бывший унтером лейб-гвардии Преображенского полка, а до заключения – богатым фермером, имевшим большую мызу недалеко от Тарту. Ужин окончился, наступил час отдыха до отбоя, час утонченной пытки.

Бригадники поняли сигнал и радостно хмыкнули: началось обычное развлечение.

– А я вот знаю, за цто сизу: за преступление. Правильно меня Бог наказаль. Правильно! Да. Казды сутки я восемь цяс спаль? Спаль! Три раза ель? Ель! Узе десять цяс! В уборную ходиль? Ходиль! Куриль? Отдыхаль? Да, я казды день куриль и отдыхаль! Пятнадцать цяс я ничего не делаль! Пятнадцать цяс – ф-ф-ф – и ничего! Пропаль! А цто я дользень быть делать?

Ян Янович сделал паузу, приподнялся и медленно обвел глазами всех слушающих. И вдруг резко ударил ребром ладони по нарам:

– Я дользень биль убивать русски! Казды день, казды цяс убивать русски! Пятнадцать цяс не работаль – пятнадцать русски не убиль! И вот за все это Бог меня наказаль! Я сизу за преступление!

– Правильно, Кронберг! Правильно! – гудят с нар остальные и ждут: представление ведь только начинается. Все с наслаждением курят и смакуют каждую минуту мести.

– Да вы же были унтером в Петербурге, Кронберг! – не выдерживаю я. – Раз из вас сделали унтера, значит вы служили отлично. Разве не верно? Так при чем же здесь убийство русских? Вы служили русским, были их чухонским холопом!

Ян Янович не спеша вытряхивает трубку и завязывает ее в кисет. Все улыбаются в ожидании.

– А я не служил русски, я служил император!

– Так, значит, не в национальности дело, – говорю я внешне спокойно, хотя меня душит ярость. – Вы – монархист? Ладно. Кого же вы убивали в таком случае?

– Большевики! Пленный красноармеец! Вот кого! Я им надевала фуражку на лоб до самих глаз и стреляла в красный звездочка!

Жидкий смешок ползет по моим ногам как змеиное шипенье.

– С-с-с-собака! – вдруг рычит Сидоренко и, как раненый лев, начинает вылезать из темноты нижних ярусов в тусклый круг света под лампочкой над столом. – С-с-собака, гадина фашистская!

Сидоренко хватается за Кронберга за толстую длинную ногу и начинает тянуть его с верхних ярусов.

Кронберг только этого и ждал: он приподнимается, дает себя тянуть на метр, потом быстро сгибает другую ногу и мокрым грязным валенком бьет Сидоренку в лицо. Тот падает на спину прямо под стол. Жестяные миски летят на пол, кто-то услужливо оттягивает стол в сторону. Кронберг не спеша спускается вниз и заносит ногу над лежащим наземь Сидоренку, но я резко толкаю его в поясницу, и стоящий на одной ноге старик теряет равновесие и падает на своего бригадира. Начинается драка на полу. Я поднимаюсь с нижних ярусов, наклоняюсь и хочу разнять дерущихся, но косою полицией Чубарь сильно толкает меня валенком в зад, и я ныряю головой под ярусы. Общий хохот: до слез смеются все – полиция и эсэсовцы, легионеры и штурмовики, двадцать восемь фашистов досыта потешаются над двумя советскими людьми.

– Хе, недобитый гитлеровец та недобитый ленинец связались! Хай бьются, сучьи дети, хай душаться насмерть! – сипит Чубарь. – Так им и надо! Хай убиваются!

Все они прекрасно знают, что Сидоренко никогда и ни за что не побежит жаловаться оперу, и теперь пользуются этим: здесь была бы нужна только физическая сила, но она на их стороне, и они это тоже хорошо знают. Кронберг каждый месяц получает из дома по восемь килограммов копченой свинины, он здоров, сыт, жилист и внутренне спокоен, а Сидоренко живет на скудном пайке, он почти не спит от унижения и горя, от старых ран, которые теперь, когда организм ослабел, не дают ему покоя. А я парализован... И мы лежим на полу, не в силах даже подняться на ноги, а с ярусов удовлетворенно смотрят на нас и стряхивают нам на головы папиросный пепел.

Потом Сидоренко становится на колени и, кряхтя, тащит меня из-под нар. Бывший комендант какого-то белорусского городка, гауптман Кнорринг, свешивает голову вниз и говорит мне по-немецки:

– И все-таки вы не правы, герр доктор! Вы не понимаете самого главного: герр Гитлер и герр Сталин – только две вывески. Настоящая сила в руках тех, кто стоит позади них и чьими руками создается новый порядок на земле. Меня очень утешает ваша судьба, герр доктор: я в плену у вас, а вы в плену у нас, да еще на вашей территории! Хо-хо-хо! Что за время! Какое великолепнейшее свинство, герр доктор, а?

Дверь раскрывается настежь. Входят дежурный офицер и надзиратель.

– Проверка! Становись!

Мы строимся между нарами. Нас пересчитывают. Дневальные вкатывают со двора парашу и устанавливают ее у дверей. Валенки укладывают у печки подошвами к горячей стенке. Двери захлопывают, запирают тяжелым засовом, на который вешают огромный замок. День кончен. Не раздеваясь, мы укладываемся плотным рядом на нарах и потеснее прижимаемся друг к другу, а сверху прикрываемся слоем бушлатов; Ян Янович обнимает Сидоренко, тот – меня, я – полица Чубаря и так далее. Грязные, мокрые валенки быстро нагреваются, и зловонный пар ползет по бараку.

Наступает ночь, а с ней вместе – горькое раздумье.

Да, плохо остаться последними **контриками** среди этого фашистского зверья! Черная, черная ночь без единого огонька впереди. Никакого разумного основания для надежды. Все кончено: долинские торжествуют, это – самая низшая точка нашего унижения. Худшего уже ничего быть не может.

Глава 19

Разгром всех долинских

И все-таки земля вертится! Все-таки за каждой ночью неотвратимо наступает день!

Прошел еще год.

Шестого марта пятьдесят третьего года Василиса Петровна, милая девушка, которая по секрету мне признавалась, что отдыхает душой только в зоне, влетела в амбулаторию со странно застывшим лицом. Я и мой санитар, Остап Порфирьевич Сидоренко, вытянулись и дуэтом произнесли обязательное:

– Здравствуйте, гражданин начальник!

Девушка по очереди прошептала нам одни и те же четыре слова:

– Умер Сталин; яйца вареные.

И в состоянии полного смятения выскочила вон. Глаза у нее были как огромные синие пуговицы для модных дамских пальто – круглые и бессмысленные. В руках у нас осталось по еще теплomu яйцу.

Яиц мы не видели и не ели около десяти лет – со второй половины войны. Поэтому мы сначала съели яйца, конечно, без хлеба – было бы глупо портить нашим лагерным хлебом такой изысканный деликатес; потом подумали и сжевали скорлупу – кальций в организме тоже пригодится! Только покончив с яйцами, вдруг вспомнили о Сталине.

– Я кажу: вмер!!!

– Наконец-то! Умер!!!

Мы хотели было броситься друг другу на шею, но... Лагерники всегда остаются лагерниками:

– А що з цэго буде?

– Да... Что несет нам эта весть? Заключенным всегда бывает плохо. При всех обстоятельствах. Как страна радовалась окончанию войны, а для нас оно обернулось только спецлагерями...

Настроение упало. Ноги подломились. Все – вздор... Или того хуже...

Мы садимся по сторонам столика с лекарствами и задумываемся.

– Эх, Антанта... Ничего-то мы не узнаем...

– Будем наблюдать за начальничками, Остап Порфирьевич! Они – барометр: по барометру определим виды на погоду!

К вечеру, перед самым приемом, в амбулаторию зашли начальник лагпункта и опер. Мы деликатно вышли в прихожую и демонстративно прикрыли дверь, но так, чтобы оба они были хорошо видны в щель.

– Ну, как дела, Василий Никанорович? – осторожно спросил опер.

– Да какие могут быть теперь дела, товарищ Родимцев? Вот не спал всю ночь – слезы так и лились из глаз! – в сторону, не глядя на опера, пугливо выдавил из себя начальник. – Жена говорит: «Вася, усни! Нельзя же так нервничать!» Куда там... Не могу: чувствую – не переживу!

Опер покосился на начальника и съехал: ему тоже было очень не по себе.

– И я провалился до утра: мучения просто невероятные! Схожу с ума! Надо срочно ехать в Новочунку за новостями. Если в Штабе спросят насчет плана, что сказать?

– Да какой план... Товарищ Родимцев, слушай. Я тебя прошу – поезжай сейчас же: это важнее всякого плана. Ведь нас всех касается дело, пойми! А план – потом. Скажи, что я на днях дам сводку. Оба трактора уже работают. Начали новую просеку за сопкой. Да что там просека, эх!

Когда начальники вышли, Сидоренко посмотрел на меня вопросительно:

– Ну, как? Вроде начальнички забеспокоились?

– Еще бы, Остап Порфирьевич, их корабль тонет: крысы – верный предвестник крушения!

Мы тихо и счастливо засмеялись.

– Так що ж, Антанта, поцелуемся? Такое не часто случается!

Мы обнялись. Я пошутил:

– Христос воскресе!

Но Сидоренко с досадой отмахнулся:

– Який Христос? Мы воскресаем, Антанта! Мы! Та що мы, тысячи и тысячи безвинно осужденных: настанет всенародный праздник! – он вытер рукавом вспотевший от волнения лоб. И вдруг опустил голову и задумался: не сговариваясь, мы оба вспомнили прошлое.

Сидоренко покачал головой и развел руками:

– Вмер Сосо Джугашвили, усатый чертяка, хай ему, як говоритсь, ни дна, ни крыши... А Сталин? Слухай, Антанта, ты же ученый человек, интеллигент, скажи мени як коммунисту: может Сталин вмереть? Ты же сам ще в Сиблагу мне объяснял разницу.

– Не может, – с волнением ответил я. – С ним навсегда слита наша история – как же его можно вычеркнуть из нее? Почему? Зачем? Разве Троцкий с Бухариным также твердо держали бы курс? Разве не могли они вильнуть вправо под напором невероятных трудностей? Нет, что было, то было. Народ – единственный правомочный судья, Остап Порфи-

рьевич, он и вынесет когда-нибудь тщательно взвешенное и справедливое решение: принять негибачего Сталина и отвергнуть мучимого подозрительностью и страхом Джугашвили!

Прошел еще год...

16 декабря 1954 года, город Омск.

«Здравствуйте, наши дядя Сидоренко и дядя доктор!

Сегодня мне исполнилось десять лет. К нам придут девочки из нашего класса. Еще в этот день мы всегда посылаем вам посылочки. Я учусь хорошо. Мама очень радуется. А еще будем встречать Новый год в школе, я буду читать стихи. И еще папа говорит, что вам скоро выходить на волю, теперь другие времена. Посылочки ждите.

Папа, мама, я и братик Павлуша вас обнимаем и целуем.

Ваша Любаша Головина».

Железная дорога была достроена, из Тайшета в Братск и обратно пошли поезда. Лагерники сделали свое дело, и основной контингент, бывшие сиблаговцы и бывшие горношорцы, стали перебрасывать в Омск на новую грандиозную стройку. Остап Порфирьевич и я ехали в одной теплушке и попали на один лагпункт. Я принял амбулаторию, Сидоренко – бригаду обслуживания, все опять потекло по-старому, но условия жизни оказались иными: жизнь изменилась.

Посредине каждого загона год назад здесь были выстроены аккуратные домики с двумя дверьми: входящие не рисковали встретиться. Вокруг такого домика со спущенными занавесками заключенные ходили с опаской: внутри, как злой паук, таился кум.

– Наш опер еще ничего, человек неплохой, – рассказывали нам местные старожилы. – Но в управлении сидит зверь. Его знают, наверное, по всему Союзу.

– Кто такой?

– Полковник Долинский! Гад, каких мало. Вот и эти домики в каждой зоне понастроил. Говорит: «Что думает каждый лагерник – это его дело, но что говорят меж собой два лагерника – это уже мое дело!» Всех таскает в этот домик, будь он проклят! Придет время – эти домики будут уничтожены первыми! Сожжены, а место перепаханно!

Надо полагать, что весна пятьдесят третьего года запомнилась Долинскому на всю жизнь как высочайшая точка его

жизненного пути. Он был по-прежнему красив, но стал еще дороднее, в его манерах появилось что-то очень величавое, барское, немного капризное. Когда розоволицый полковник появлялся в зоне, то все, кто мог, разбегались, а застигнутые на месте вытягивались во фронт, снимали шапки и наклоняли головы – это было его последнее изобретение.

И вдруг...

И вдруг в стране начали происходить перемены – сначала медленно и незаметно, потом скорее и скорее: государственная кривда сменилась государственной правдой. Зловещий домик не снесли, это не было в духе нового руководства: его слегка перестроили и в одной половине открыли неплохой ларек, а в другой – общественную кухню с ярко начищенной посудой и двумя расторопными дневальными. Три раза в день дюжий конь, натужившись и опустив голову, волок от кухни за ворота телегу с огромными бочками – и в них вывозили на свинарник суп и кашу с маслом и пережаренным луком. Необыкновенное время! Заключенные за свою работу на строительстве получали деньги, покупали в ларьке мясо, масло и сметану и готовили себе пищу сами, а хороший хлеб стоял в нарядной столовой в мисках, нарезанный аккуратными ломтиками: каждый мог брать сколько хотел.

Однажды начальник на производственном совещании (появились и такие) в клубе не сдержался: «Вот вы, заключенные, все жалуетесь, все хнычете! А знаете ли вы, что за зоной многие живут хуже вас?» За это при выходе из зоны он был арестован Долинским. Начальник вернулся дней через пять, значительно похудевшим и как будто бы более седым, а Долинский, гордо запрокинув голову, прошелся по зоне, ни на кого не глядя: в упоении властью он беспробудно спал наяву, не замечал бега времени и проглядел перемены вокруг себя – комиссию по пересмотру дел, массовое освобождение заключенных сначала по инвалидности, а затем – о, радость! – вследствие отмены приговора. Наши загоны, разделенные один от другого высокими заборами и огневыми дорожками, начали пустеть. Последний заключенный, выходя из лагеря, поднимал на высоком шесте красный флаг и уходил, оставляя проклятые ворота открытыми. Собачье тявканье смолкало навсегда...

В эти счастливые дни осени пятьдесят четвертого года, после второго и очень тяжелого мозгового удара, я опять

работал дворником, на этот раз при больнице, в которой до этого был врачом, одной рукой мел окурки с дорожек чахло-го садика. Напротив находился ларек. И вот там, среди стоявших в очереди заключенных, я и увидел очень осунувшего мужчину в смешном штатском костюмчике и с пестрой кепочкой на вобранной в плечи голове. Он стоял и, опустив глаза, покорно слушал то, что ему говорил сгорбленный лагерник с клюшкой. Этим пришибленным штатским был выгнанный с работы Долинский, а заключенным с клюшкой – Остап Порфирьевич Сидоренко.

– На Кавказе водится червячок, гражданин бывший начальник, – рассказывал Сидоренко, возбужденно блестя глазами. – Поганый до невозможности! Вин появляется, як поспевает большой орех. Прогрызает чуть заметную дырочку коло черенка и вползает через нее до ореха, як длинная тонкая ниточка. В орехе паразит начинает кормиться – мякоть-то в це время ще молочная, сочная, сладкая. Живое ядро! Червячок толстеет: знаете, гражданин бывший начальник, не поверите даже, до чего це гадкая тварюга може раздуться – з нитки на шарик! Но зремя идет, и корм кончается – больше кушать нечего: пора выходить! А дырочка усе та же – маленькая, як игольное ушко! И вредитель з голода начинае худеть! А? Як вам це нравится?

Сидоренко весело захохотал. Заключенные подмигнули и заулыбались, Долинский вежливо пояснил:

– Да я только за мясом... В городе тоже очереди, и ехать далеко... А пропуск еще сохранился. Я на днях уезжаю, знаете ли... Я за мясом!

– За мясом? Ничего, ничего – купите, мясо у нас в ларьке неплохое. Но дослушайте историю с червем, вона вам дуже понравится. Раздувшийся червяк начинает з голоду худеть. Голодае и худее дни и ночи! Становиться тоньше, ще тоньше, потом превращается в ниточку! Чуете – в ниточку, и ниточкой выбирается вон – через ту ж дырочку, як и вошел, таким же ничтожным, яким забрався в бронированную скорлупу для легкой кормежки!

«Как вырос Остап Порфирьевич за десять лет! – подумал я, издали слушая его рассказ. – Да, это была для него недурная школа!» А кругом говорившего все засмеялись, на этот раз громче и злее.

– Здорово! В точку, Сидоренко! Правильно!

– Да, поучительно, – вяло подтвердил и Долинский. – Все хорошо, что хорошо кончается. Но я уезжаю...

Тут Сидоренко шагнул к нему ближе, вытянулся, сжал кулаки, впился пылающими черными глазами в потухшие голубые глаза и закричал, дергаясь от ярости. Он был похож на человека, у которого через мгновение начнется припадок.

– А живое ядро?! То, ради чего советский садовник растил деревцо тридцать шесть лет?!

Долинский поглубже вобрал голову в плечи и боком юркнул в дверь ларька. Справа и слева за высокими заборами уныло скрипели на ветру растворенные ворота да победно плясали на высоких шестах красные флажки.

Так начался разгром всех долинских в нашей стране...

Глава 20

Долгожданное торжество

– Дело в шляпе. Распысався.

Я расхохотался.

– Десять лет тому назад, Остап Порфирьевич, этими же словами вы сообщили мне о получении подарка от Долинского!

Сидоренко добродушно машет рукой.

– Розовая гадюка, хай ей сто чертив... Распысався за пересмотр и отмену приговора. Я – гражданин Советского Союза и без судимости! Академия гражданского мужества имени Иосифа Виссарионовича Сталина закончена, диплом получаю завтра у ворот!

Мы сидим на моей чистенькой коечке.

Я получил повышение и назначен вместо него бригадиром бригады обслуживания. Старых барачников с нарами уже нет, рабочие спят на вагонках, бригадиры – на отдельных койках.

– Ну, давайте подводить итоги, Остап Порфирьевич! Пора. Мы оба задумываемся.

– Стильки було людей... – задумчиво, как будто говоря с собой, шепчет Сидоренко. – Добрых... Злых... Усяких! Кого ж помянуть и яким словом в такую минуту? Не ведаю, Антанта; вот идуть вони перед моими очами, як этапной ко-

лонной, без начала и без конца. Бачу лица, кое-кого узнаю... Но тьма их идет мимо, тьма...

Мы сосредоточенно молчим, курим сигареты, пьем чай с печеньем. Наконец я отвечаю:

– И все же в этой людской реке броско выделяются отдельные люди. Они характерны. Позади каждого из них тысячи таких же. Вот проходит последнее пополнение лагерей – двуногие звери, неудачливые устроители нового мира без **человечества**. Это – раздавленные враги всего прекрасного и высокого в жизни. Фашисты. Мы их отвергаем, Остап Порфирьевич, и самое страшное, что нам пришлось испытать здесь, – это их глумление над нами.

Опять молчание, новые сигареты.

– Но людская река движется дальше. Глядите – вот следующий характер: Неизвестный. Помните Скинзского в сиблаговском распеде? Это я про него говорю! Неизвестный был контриком, который совершил тягчайшую ошибку: одурманенный жадой воли и ослепленный несправедливостью ареста и заключения, он бежал из лагеря, наткнулся на невозможность возвращения к прежней советской жизни из-за отсутствия документов и поневоле отрекся от нее – спустился в уголовное, а это значит антисоветское, подполье и получил от урка чужой паспорт. Но спокойно жить разбоем не мог – не позволила советская интеллигентская сущность! Так и повис он между небом и землей: жизнь жестоко отомстила ему за измену – превратила в живой труп, сырой материал для фашизма. Таких людей здесь мало, но они есть. А большинство выдержало и осталось людьми. Мы тоже. Вот это, по-моему, главное. Мы выйдем советскими гражданами и сольемся с жизнью всей страны, как зубцы одного зубчатого колеса попадают меж зубцами другого. Мы возвращаемся в народ, из которого вышли.

– А кем ты був раньше, Антанта? Як попал до заграницы? Звини, пожалуйста, що питаю.

– Я был советским разведчиком.

– Эх, мовчав стильки рокив... Видать, що разведчик – у вас це положено. Но я уж давно догадався. Ты – интеллект. Я расхохотался: еще бы!

– После Неизвестного стоит Студент: он лучше, никого не убивал и не грабил. Это просто мещанин, Остап Порфирьевич, понимаете? Ограниченный себялюбец. Лагерь его ничему не научил. Студент и на воле будет таким же мелким подлецом. Будет стыдиться лагеря. Студенту я противопо-

ставляю доблестного бухгалтера Рубинштейна, пожертвовавшего собой для других, и Андрея Рыбакова – человека, который, умирая от голода, писал стихи и смотрел вперед поверх физических и моральных испытаний. У долинских был наметанный глаз и ясные указания сверху: нас заподозрили в несогласии с их порядками, и это делает нам честь. Конечно, многие попали сюда по ошибке, они были переоценены. Такие здесь страдали, так и не поняв смысла своей судьбы. Ну, что ж: им слава и честь за муки, за труд на морозе в дырявых бушлатах. Но есть среди нас люди, осмыслившие все до конца. Люди с большой буквы. Их сила, гордость и слава совсем не в том, что на морозе они работали в дырявых бушлатах, а в том, что, работая на морозе в дырявых бушлатах, они думали о Родине и искали своего особого способа выражения любви к ней – в труде через внутреннее добровольное включение во всенародную стройку!

Эта повесть посвящается советским людям – твердым, верящим и преданным, стоящим за правду до конца. Повесть подходит к своему естественному концу, и рассказчик, как принято, должен закончить ее особенно приподнято, ярко, патетически, заготовив для длинной цепи скорбных происшествий особенно трагический конец. В другие годы это было легко сделать, и последними строками можно было бы потрясти читателя. Но в том-то и дело, что подоспел пятьдесят третий год и все последующие перемены. Не будь их – не было бы и этой повести: действующие лица ее, включая самого рассказчика, так и сложили бы головы в загонах из ржавой колючей проволоки, к такой повести нашлась бы достаточно эффектная концовка, только досказывать ее пришлось бы кому-то другому... Но перемены настали и изменили весь стиль лагерной жизни, они придали особый характер и выходу Сидоренко на свободу в конце зимы пятьдесят третьего года – сделали его деловым, даже бытовым. Пафос как раз и сказался в такой уверенности и спокойствии. Таким образом, рассказ о людях превратился в картину смены двух этапов нашей недавней истории, когда временное засилье кривды сменилось окончательным торжеством правды. И разве может что-нибудь быть выше и прекраснее?

Величие и великолепие нашего времени – в его обыденной простоте...

В тот морозный день после развода освобождаемых погрузили на трое больших саней. Провожать вышло только несколько человек – массовое освобождение стало явлением обычным. Перед открытыми воротами я стоял в толпе людей, занятых делом. Сидоренко сидел на первых санях, его тощие ноги торчали из-под одеяла: его посадили в сани для счета, ехать было недалеко – через невидимую роковую черту у ворот, а там уже ждали свои.

– Дядя доктор! – кричала **с воли** Любаша через открытые ворота. – Весной папа мне купит велосипед!

– Одеяла даю по пяти на каждые сани! Слышите, возчики? По пяти! – волнуется каптер. – Прошлый раз одно замотали, обормоты! – возчики смеются, хлопают валенком о валенок и рукавицей о рукавицу, трут носы: сегодня очень холодно.

– Сторонись! Сторонись! – это выезжает на свинарник наш завтрак: из открытых бочек сладко пахнет горячей кашей и поджаренным луком. – Дайте проехать!

– Ну, трогайтесь же наконец! – кричит надзиратель возчикам и машет инвалидам рукой: – Счастливого, граждане! Поехали!

Но из-за зоны наезжает вереница пустых саней, рядом с криком бегут бесконвойные грузчики: у нас в зоне начали разбирать опустевшие бараки.

– Тьфу, черт, толкучка какая! – сердится надзиратель. – Не вахта, а базар! Порядку – ни грамма!

Надюша, Таня и Любаша стоят, обнявшись, и поют здравницу. Врач Сидоренко кричит отцу:

– Папочка, а почему ты не одел носков? У тебя ботинки одеты на голые ноги! Ведь носки ты хранил специально для этого дня? Ты их потерял?

Сидоренко дрожащими руками шарит по бушлату, достает из кармана гимнастерки деревянную ложку, потом пару носков.

– Ось, бачишь, Антанта, це ще те самые, що жинка звязала! – он ласкает их полными слез глазами и прячет обратно в нагрудный карман. – Воны у мене на самом сердце хранятся. Ось що. А то – на ноги! Хиба ж це можно?

– Так не клади же обратно, папочка! Ох, беда со стариком: старые – как малые, – жалуется Тане Надежда Остаповна.

– Брось ложку, гражданин старик, а то с хода вернешься обратно в лагерь! Поломай ее у ворот – это старая примета! – советует Остапу Порфирьевичу возчик, хлопая себя рукавицами по бедрам. – Ну и морозец! Как хватил, а?

– Для чего ломать ложку? – бурчит Сидоренко, пряча ложку обратно в карман на груди. – Ложка – память о хороших людях, хай вона живе со мной. Лагеря ломаются начисто, а ты кажешь – ломай ложку! Эх, чудило!

Но едва возчики трогают коней, как встает новая помеха, на этот раз серьезная: колонну заключенных под сильным конвоем и с собаками выводят пешком тоже на вокзал, но, надо полагать, к другим вагонам: это отобранные комиссией особо тяжкие военные преступники, их пересылают куда-то в другой лагерь для таких же, как они сами. Опустив головы, как прибитые, шелудивые волки, проходят укутанные люди, бросая в стороны косые, полные ненависти взгляды. Сидоренко кричит мне из саней:

– Бачив? Повели полиция Чубаря та Яна Яновича! Узнал? Як то давно було, як давно!

«Нет, не удался новый порядок на земле, – радостно думаю я и невольно опять вспоминаю друзей и врагов этих удивительных лет. – Жизнь теперь нас разделит и одних повезет к родным очагам под теплыми одеялами, а других пешком погонит по морозу в сугубо недобрые места. Сидоренко и Неизвестный – оба уйдут отсюда, но в разные стороны. Победит на нашей земле только человечность!»

Сани трогаются.

– Ура! Ура!! Ура!!! – звонко кричат за зоной знакомые молодые голоса. Брови Сидоренко насупливаются, на щеках играют желваки.

– До скорого, Антанта!

Он закрывает лицо ладонями и отворачивается.

Медленно, со скрипом ворота закрываются... По пазам ползет тяжелый длинный засов.

Ничего! Скоро ворота снимут, а засов вместе с другим ржавым ломом сдадут на переплав!

Двадцать второго февраля пятьдесят шестого года мне вручили казенного вида пакет. В нем я нашел узенький листок сероватой бумаги. Избранного извещали, что на восемнадцатом году со дня восхождения на родной эшафот его дело пересмотрено и приговор отменен **за отсутствием состава преступления.**

Да, вместе с любовью и надеждой вера – великая сила...

Москва, 1964 г.

Продолжение следует...

Быстролётов Дмитрий Александрович

Пир бессмертных

Книги о жестоком, трудном и великолепном времени

Возмездие

Том III

Компьютерная обработка фотографий и рисунков
из семейного архива Д.А. Быстролётова и набор текста
выполнены С.С. Милашовым

Отв. за выпуск Е.А. Белова

Оформление Л.П. Митич

Подписано в печать 30.08.2011. Формат 84х108/32.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 12,5.

Тираж 1000 экз. Заказ № 4878.

ООО Издательство «Крафт+»

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 4

Тел.: 620-36-94, 620-36-95, 926-25-48

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.

610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36

<http://www.gipp.kirov.ru>; e-mail: order@gipp.kirov.ru